

НОВОБИТ
МИР

12

1967

12

НОВОБИТ
МИР

1967

НОВОБЫТИ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLIII

№ 12

Декабрь, 1967 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
МУСТАЙ КАРИМ — Четыре стихотворения. Перевел с башкирского Яков Козловский	3
А. ШАРОВ — Из рассказов о детстве	6
МИКОЛА БАЖАН — Повести о надежде (Вариации на тему Р. М. Рильке). Перевел с украинского Д. Самойлов	22
ВЯЧЕСЛАВ АДАМЧИК — Кароль Небожа, рассказ. Перевел с белорусского Н. Кислик	31
Д. САМОЙЛОВ — Александр Блок в 1917-м. стихотворение	41
ИГОРЬ ВОЛГИН — Два стихотворения	43
Е. ГЕРАСИМОВ — Путешествие в Спас на Песках. Из записок старого журналиста	44
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
Ю. БУРЛАКОВ — Одним табором	97
ПУБЛИЦИСТИКА	
В. БЕЛКИН, В. ИВАНТЕР — Банк и управление экономикой	134
ВЛ. КАНТОРОВИЧ — Социология и литература	148
В МИРЕ ИСКУССТВА	
А. КАМЕНСКИЙ — Поэзия человечности	174
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
А. ЛЕБЕДЕВ — Судьба великого наследия	202
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ — Г. Лисичкин. О чем говорят факты.— И. Травкина. «Методика» недобросовестности	228

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ С С С Р»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Е. Полякова. Сто тыщ Смирновых...— Кайсын Кулиев. Чем продолжительней молчанье...— В. Кантор. Кого читать?— Эд. Кузьмина. Одно лето.— Л. Лазарев. Документы обвиняют неопровержимо.— Р. Орлова, Л. Копелев. Писатель и совесть	239
<i>Политика и наука</i>	
Г. Ханин. Экономический рост и выбор.— Д. Фурман. Поиски новой концепции.— Р. Баландин. Пути современной географии.— А. Василевская. История психологии с точки зрения детерминизма.— В. Ревич. Страницы из биографии века.— Д. Лихачев. Сага об Исландии.	261
КОРОТКО О КНИГАХ — С. Н. Баранов. Ветер с Балтики.— И. М. Кривогуз, Ю. Л. Молчанов. Ленин и борьба за единство рабочего движения.— Михаил Цунц. Властелин рек.— Графика Пикассо. Альбом.— М. Булатов, В. Порудоминский. Собирал человек слова...— Корней Чуковский. Джек, покоритель великанов, и другие сказки для детей.— Н. С. Лейтес. Романы Анны Зегерс.— Эврика. 1966 год.	275
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	279
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1967 ГОД	280

МУСТАЙ КАРИМ

★

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

С башкирского

ПРОЩЕНИЯ ПРОШУ...

Мне с укоризной женщина одна
На перекрестке, помнится, сказала:
— Не узнаешь?
Иль, может, я должна
Тебе при встрече кланяться сначала?

Ты хоть кивнул бы мне. Иль голова
От славы закружилась?..
А когда-то...
— Прости! Я не узнал. Ты не права.
Запомню. Время виновато...

Ах, как неловко.
Говорю: — Да-да,
Жизнь не стоит. Что сделаешь? Обидно,
Но пролетели юности года,
И берегов минувшего не видно.

Она расхохоталась:
— Берега!
А помнишь, на пиру сидели рядом,
И ты тогда — покорный мой слуга —
Меня когтил чуть захмелевшим взглядом?

И сумрак переплавился в рассвет,
Такие ночи выпадают редко..
— Забыл, ханум, прошло ведь столько лет.
Прости, моя застольная соседка...

Но коль забуду тех друзей своих,
С кем тяготы делил я и печали,
Когда забуду, как ладони их
Под пулями мне раны зажимали,

Когда забуду дерево, чья сень
Мне облегчила непогоди бремя,
И взгляд, что обогрел в лихое время,
Во мраке ночи предвешая день,

А. ШАРОВ

★

ИЗ РАССКАЗОВ О ДЕТСТВЕ

1. «Разбойники»

Мы проходили «Разбойников» Шиллера. Урок литературы начался докладом Фунта; давно, в день, когда его принимали в школу-коммуны, Ульяна Дмитриевна, взвешивая на весах-платформе новенького — маленького, бледного, со странным, треугольным, как редька, лицом, — удивленно сказала:

— Два пуда и фунтик.

Так и пошло — Фунт, Фунтик — на всю школьную жизнь.

Первые месяцы мы с Фунтом дружили, но дружба продолжалась недолго. У меня начиналось то, что называют «трудным возрастом»; я ушел в себя, затаился, а Фунтик между тем стал активистом, одним из лучших ораторов коммуны, кумиром коммунарских девочек.

На уроке Фунт говорил, как всегда, ясно и бесспорно. Он сказал, что «Разбойники» — гениальное произведение эпохи «Sturm und Drang» — «Бури и натиска», что это манифест революционного бюргерства и угнетаемого юнкерским дворянством немецкого народа. Что разбойники Карла Моора громят прогнивший феодальный мир, расчищая дорогу новому.

Иногда он делал неприметный знак, и, повинувшись «манию руки», лучший актер коммуны Герман Келлер, блестя выпуклыми голубыми глазами, громовым голосом читал заранее выписанные отрывки из монологов Карла Моора.

— Люди! Люди! Лживые, коварные ехидны, — гремел Герман. — Их слезы — вода! Их сердца — железо! Я хотел бы превратиться в медведя, чтобы заставить всех полярных медведей пойти на подлый род человеческий!.. О, я хотел бы отравить океан, чтобы из всех источников люди впивали смерти!

Восклицательные знаки в конце фраз звенели, как рельс под железной битой. Они рассеивали сонную одурь, всегда владеющую невыспавшимися и промерзшими коммунарами на первом уроке.

— Карл Моор — олицетворение благородства и революционного мужества, а Франц — олицетворение низости, коварства, трусости и подлости старого мира, — чеканил Фунт, снова подавая условный знак Келлеру.

— Дух мой жаждет подвигов, дыхание — свободы, — отозвался Герман. — Убийцы, разбойники! Этими словами я попираю закон... Прочь от меня сострадание и человеческое милосердие! У меня нет больше отца, нет больше любви!.. Так пусть же кровь и смерть научат меня забыть все, что было мне дорого когда-то! Идем! Идем! О, я найду для себя ужасное забвение! Решено — я ваш атаман! И благо тому из нас,

кто будет всех ужаснее убивать: ибо, истинно говорю вам, он будет награжден по-царски!

Бум! бум! бум! — Жечь! Убивать! — гремело в воздухе.

— Карл Моор — олицетворение благородства, потому что он и его разбойники прокладывали дорогу революционному бюргерству, а все полезное революционному бюргерству было для той эпохи благородным и нравственным, — уверенно говорил Фунт.

Странно, когда я накануне вечером дочитывал «Разбойников», ничто в этой знаменитой пьесе не затронуло меня, а сейчас на уроке я чувствовал волнение и непонятное горе.

Голос Келлера еще заполнял комнату, перекатываясь от стены к стене, а Ольга Спиридоновна, учительница литературы, зорко оглядывала ребят, молча вызывая наиболее смелого решиться выступить первым, сразу же после самого Фунта.

Взгляд ее скользнул и по моему лицу: быстро и холодно, как всегда.

Они и сейчас живы в воображении — удивительные глаза Ольги Спиридоновны, дорогой нашей учительницы, рано покинувшей свет.

Большие, круглые, как у птицы, серо-зеленоватые глаза эти обладали удивительной способностью то загораться, сиять, если обращены были к человеку, как подсказывало ее чутье, непохожему на других, думающему по-своему, то становиться незряче-равнодушными, пробегая по лицам ребят обычных, ничем «своим» не освещенным; к таким относился и я.

Взгляд вещих глаз Ольги Спиридоновны еще пробежал по моему лицу и по всему моему существу, как зимний ветер — ощущение колкого холода я помню и сейчас, — а я уже заговорил помимо собственной воли, не зная, зачем, не зная, что скажу.

Первый раз в жизни заговорил на ее уроке.

Я как бы со стороны услышал свой напряженный, излишне громкий, срывающийся голос и преисполнился ужаса, но одновременно и понимание того, что отступить некуда; если прыгнул с обрыва, не от тебя зависит, благополучно ли опустишься на землю.

Ольга Спиридоновна очень медленно, преодолевая внутреннее недоверие, снова повернулась ко мне, но взглянула уже по-иному, с чуть заметной улыбкой и, может быть, даже сделала шаг ко мне.

Этот ее взгляд я помню; глаза ее высветляются из прошлого, светят зеленым живым светом.

Потом я узнал: величайшее чудо на земле, если взгляд, устремленный на тебя, из совершенно равнодушного, какой бывает и вообще может быть только у женщины, становится внимательным, удивленным, радостным; тут степени и порядки совершенно неважны, да они и неопределимы, а важно само это чудо мгновенной, необъяснимой перемены — перехода ночи в день.

И эти изменения свойственны вовсе не одной лишь любви — ее зарождению и исчезанию, — но вообще женскому отношению к миру: к ребенку, истине, красоте, природе.

И когда такое потепление, как явление природы, как весна, коснется тебя, ты оживаешь и становишься тем, чем и должен быть, — становишься порой совсем ненадолго, а иногда до самой смерти.

..Я помню ораторски-звонкую речь Фунта и голос Келлера; заново просматривая «Разбойников», я легко нахожу монологи Карла Моора, которые читал Келлер, но того, что говорил я сам, припомнить не могу — ни одного слова, ни единой мысли.

Только какие-то неясные картины из разных, далеко отстоящих друг от друга времен жизни возникают в воображении, когда я пытаюсь оживить тот предельно важный для меня день.

Мне вспоминаются немцы в железных, защитного цвета касках, марширующие через захваченное бандитами наше местечко Бродицы — такие, какими я увидел их в восемнадцатом году сквозь грязное косое окно чердачной комнаты, где убивали мою бабушку; и такие, какими я видел их много позднее, во время войны с гитлеровской Германией.

Нет, одно дело читать красивым голосом красивые слова о разбойниках, гордо попирающих закон, и совсем другое — увидеть хоть одного разбойника, действительно пришедшего жечь и убивать. Слова Фунта, может быть философски мудрые и верные, потонули для меня в крови — навсегда, — были застланы кровью, исчезали за почти бесплотным телом бабушки, соскальзывающим по стене на пол. И с ними навеки стали для меня непознаваемыми и другие слова такого же рода, какими бы они ни казались на первый взгляд бесспорными.

...Вспоминается конец войны, Освенцим. Наш танк грудью обрушивается на колючую проволоку. Приостанавливается на секунду, пока механик-водитель переключает рычаги. А потом танк вновь наваливается на проволоку, натягивает ее, и кажется, что колючая проволока в кровь рвет танку грудь.

Но танк наваливается на проволоку, натягивает ее. Ряды проволоки клонятся, увлекают за собой столбы с загнутыми, как у кобры, вставшей на хвост и готовящейся ужалить, головами.

И все это — убивающее, враждебное жизни с корнем вырывается из земли. Клонится, падает сторожевая вышка, с которой били из пулемета охранники-часовые. Я все это вижу из-за танковой башни с открытым люком, где стоит командир танка в шлеме; да святится имя его.

И в великий день уничтожения Освенцима мне представляется, что когда-нибудь люди соберут со всего света колючую проволоку и сожгут ее. Хотя проволока горит плохо, а книги так легко, но и проволоку можно сжечь в сильных струях синего кислорода — бесследно, до пепла, развеваемого ветром; навсегда.

Танк натягивает ряды проволоки, сдирая защитную окраску, полосы камуфляжа, в кровь раздирая стальную грудь. И увлекая кобринные столбы, сторожевые вышки и ворота лагеря с бессмертной по своей низости, выкованной из металла надписью: «Труд делает свободным» — «Arbeit macht frei».

А по дорожкам ползут серые тени — те, что остались от миллионов заключенных здесь людей. Но и это, почти не представимое, — еще не самое страшное.

Из каменного барака — блока — выходят дети: парами, взявшись за руки, близнецы, оставленные в живых фашистскими учеными для своих опытов и постепенного умерщвления. Ни одной улыбки на неподвижных детских лицах. Дети идут медленно; в тех, кто ускорял шаги, стреляли — это весь опыт их жизни. Тех, кто бежал, затравливали овчарками.

Ветер свободы гудит танковыми дизелями, врывается в пролом лагерных оград, — и полутрупы, те лагерные заключенные, кто ползет нам навстречу, чувствуют этот яростный ветер и оживают. А дети не знали человеческого существования; им нечего вспомнить.

Все эти картины сливаются: минуты детства в чердачной бродицкой комнате, и лагерь, и многое другое, услышанное от людей или виденное.

Мне кажется, что тот отряд в железных касках шел через Бродицы принимать караулы в Освенциме.

...Я не помню того, что говорил на уроке, — картины, возникающие в воображении, не имеют к этому отношения, — но помню, как после урока Ольга Спиридоновна взяла меня за руку.

Мы долго ходили по коридору, она еле слышно читала мне стихи. Не Шиллера, а Пушкина, Лермонтова, Блока.

В пятидесятые годы, когда вышел словарь пушкинского языка, я узнал, что одно из важнейших, если не самое важное слово у Пушкина — «добрый». Оно встречается у него 277 раз: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал».

Ольга Спиридоновна читала стихи, а когда она замолкала, я почему-то все время говорил ей о Франце Мооре — это я помню точно.

На уроке я не собрался с силами, не успел или не осмелился сказать все это, а ей говорю. Мысль моя, которую почему-то мне необходимо высказать ей, очевидно, в том, что ведь и Франц такой потому, что его никто не любил.

Отец презирал Франца, и любимая девушка тоже презирала. И потому он стал таким. А Карлу все простили. Даже убийство детей; хоть бы в мыслях.

Всего этого я, конечно, не сказал, да и не понимал тогда, а только говорил, что Франц обижен, и жестоко. Нет к нему в пьесе ни капли жалости, ни росинки, какая выпадает даже из совсем сухого воздуха. Я не говорил об этом на уроке, внутренне понимая, что в этих рассуждениях заложено нечто касающееся меня, а не Франца и меня чем-то унижающее.

— Да, да! — отвечала Ольга Спиридоновна.

2. Суд

Гусеница окукливается и под серебристым покровом проходит свой трудный возраст, превращается в бабочку. У детей это превращение более скрытно и занимает иногда годы, а иногда дни, даже — минуты.

Девочка по-мальчишески перемахнула через лужу, вся заляпалась грязными брызгами — ну и что ж, она даже не заметила этого — и вдруг иначе шагнула, замерла, может быть испугалась, вздрогнула, ощутив перемену, и пошла так плавно, прекрасно, словно даже над землей, по иному пространству.

И маляр, забыв про кисти, и мальчик, спрятавшийся за оградой, — смотрят ей вслед.

Трудный возраст — переход, перелом — в жизни не один, у иного таких переходов — сотни.

Страница дочитана, природа замерла, все не соберется открыть другую страницу.

Эпохи человеческого детства. Секрет этих эпох, а может быть, и детства зверей, звезд, растений, — в том, что живые следы пережитого остаются внутри, как годовые кольца в стволе дерева, как жучок древнейших времен или цветной камушек в янтаре.

Детские эпохи покоятся в незримой глубине; но наступит время — они проявятся, оживут в душе, как распускаются почки даже совсем старого дерева.

Ветки, веточки распухают под напором соков, движущихся по стволу. Дерево становится неповоротливым. Ветви его — сонными, недвижимыми, узловатыми, как у ревматика, почти уродливыми. Они стонут на пронзительном предутреннем ветру; этот стон задолго до завтрашнего щебета птиц наполняет лес предчувствием воскрешения.

И вдруг — сразу, почти одновременно распускаются почки, вырываются из земли сквозь прошлогодние листья травинки.

...Вероятно, после выступления на уроке литературы о шиллеровских «Разбойниках» Ольге Спиридоновне казалось, что нечто подобное такому превращению, обязательному в жизни каждого, случилось и со мной.

Ей так казалось, но на самом деле этого не произошло.

В прекрасной японской танке говорится: «Улитка, улитка, высунь свои рожки, напугай хулиганов». Бывает, что и ребенок, юноша, даже взрослый человек только изредка, по странному наитию проявит себя, «выглянет» и вновь затаится.

Трудный возраст — порой он продолжается всю жизнь, — очень трудный возраст. «Жизнь вредна, от нее умирают», — грустно шутил Юрий Олеша.

«Улитка... Улитка...» — выманивала меня на солнце, на свет незабвенная Ольга Спиридоновна, когда мы ходили по школьному коридору, — разговаривая со мной, читая мне стихи.

Это были, вероятно, одни из самых важных минут жизни, самых запомнившихся, хотя мне и пришлось тяжело за них расплатиться.

— Знаешь что? — сказала Ольга Спиридоновна, наклоняясь ко мне — лет до тринадцати я рос медленно, был очень маленьким — и разглядывая, высвечивая меня. — Знаешь что, — проговорила Ольга Спиридоновна почти заговорщически, — через месяц литературный суд над повестью Н., ты же слышал?! Фунт будет прокурором, хочешь выступить защитником?

Я не читал повести Н., только вышедшей и очень всех взволновавшей в те месяцы, лишь мельком слышал разговоры о ней и о готовящемся в коммуне суде над главным ее героем, но у меня не хватило сил признаться в невежестве и отказаться от непосильной роли школьного Цицерона.

Меня легким лучом коснулось доверие, внимание учительницы, в которую я был влюблен, и из-за всего этого, так необходимого человеку, сказать Ольге Спиридоновне правду я не сумел.

— Хорошо! — еле слышно проговорил я.

Знаменитый англичанин, самый старый человек, во всяком случае — самый старый мальчик в мире, Бертран Рассел вспоминал, что в детстве у него были часы с маятником, который можно было снимать. Он обнаружил, что без маятника часы идут гораздо быстрее. «Если основная цель часов идти вперед, — писал Рассел, — то для них было бы лучше избавиться от своего маятника».

...С этого момента, с урока литературы и последующего памятного разговора с Ольгой Спиридоновной, время, отбросив маятник, безудержно устремилось вперед.

Я помню афишу о суде, название повести, выведенное огромными красными буквами, и изображенные буквами поменьше имена Председателя суда, Прокурора и мое — Защитника.

Во всех углах свидетели обвинения — Герман Келлер и девочки с низкими, как у горлиц, и высокими, звонкими голосами — репетировали, готовились, читали отобранные Фунтом отрывки из повести.

А я еще не открывал книги. Да у меня и не было ее. И я почему-то боялся, просто не мог попросить книгу у Ольги Спиридоновны. Ведь я ей тогда сказал, что читал повесть.

Иногда я останавливался у дверей клуба или спальни девочек и прислушивался к смутно доносившимся голосам, убегая, лишь только в коридоре раздавались шаги.

Из случайно услышанных отрывков я знал, что герой повести, которого я обязался защищать, влюбился в красивую женщину, но женщину, чуждую по социальному происхождению, и стал дарить ей цветы, шоколад, чулки. Это увлекло его в пропасть или могло увлечь, потому что,

самозабвенно полюбив, он забыл о служебном долге, который, как велел автор, превыше всего иного, всех иных человеческих чувств.

Так во всяком случае мне представлялось содержание повести Н.; я и теперь не решаюсь прочитать ее, столько горького — не по вине автора, конечно, — связано у меня с этим сочинением.

Я часто думал о женщине, которую любил мой подзащитный, и она представлялась то Ольгой Спиридоновной, то умирающим лебедем из «Лебединого озера».

И всегда почему-то представлялась мне не просто красивой, даже очень красивой, но и еще чем-то самым главным в человеке — вызывающей любовь и горькую, до слез, жалость.

А время летело все быстрее. Уже до суда оставалось не тридцать дней, а двадцать пять, двадцать, пятнадцать.

Странное безразличие охватывало меня.

Я словно спал все время; даже на уроках почти спал с открытыми глазами. Безразличие бабочки, летящей в пламя, овец, вслед за бараном вступающих на помост, чтобы принять смерть. Оно, это безразличие, заложено, должно быть, где-то в самой душе живого.

Время шло, и я ведь чувствовал его течение, ни на минуту, ни во сне, ни наяву, не забывая о приближающемся позоре.

Но ничего не предпринимал.

Несколько раз Ольга Спиридоновна, остановив меня, заботливо спрашивала:

— Готов ты к защитительной речи? Не нужна тебе помощь?

Я отрицательно мотал головой и торопился убежать.

Почему Ольга Спиридоновна с ее вещим взглядом не догадалась о моем состоянии?

Вероятно, то, что творилось со мной, во мне, своей нелепостью было просто непостижимо для такого ясного и гармоничного человека.

Или она так поверила в меня во время случайного выступления на уроке, что ни о чем не тревожилась. Ведь есть люди, и они не редки, которые, поверив, навсегда теряют дар сомнения.

Или от растерянности и смущения при редких встречах с учительницей я невольно придавал лицу такое спокойное и уверенное, даже, может быть, самодовольное выражение, вкладывая в это мимическое чудо всю волю и силы, необходимые для другого?..

Слушая краешком уха отрывки, с гневным пафосом читаемые свидетелями, я ощущал бессильную жалость к подзащитному.

В такие минуты я забирался в подвал или в пустоту школьного сада; мне казалось, что мы — я и мой подзащитный — тут одни, казалось, что вообще мы одни на свете.

Я тогда очень ясно представлял себе его лицо — смуглое, изможденное, глаза, смотрящие с последней надеждой, которую я не мог оправдать.

Мне казалось, что мой подзащитный — живой человек, а я совершаю предательство, необъяснимое и не могущее быть прощенным.

Мне казалось, что он — друг, с которым можно было бы пройти через всю жизнь, до старости, безмерно тогда далекой. Но через четыре, нет — через три, два дня я по своей вине потеряю дарованного судьбой единственного друга.

...В раннем детстве у меня были свои гномики, особые человечки. Они, эти гномики, даже целые сказочные царства гномиков, входят, когда придет пора, в воображение каждого ребенка.

Чаще всего они мудрые, добрые, но не всегда. Добрые выплывают из предутренних снов, неслышно спускаясь на твою подушку. Злые на-

ходят момент, когда ты один, и выползают из коридора, из темного угла, из-за шкафа, из-за спины.

Если ты взглянешь на злого гнома, карлу, бесстрашно открытыми глазами, ничего не случится: карла отступит в темный угол, исчезнет в нем навсегда. А если ты испугаешься?

Мой первый карла появился, когда мне было пять или шесть лет.

Он был очень злой.

Тогда, в Петрограде, у меня и старшего брата Шурки была детская — маленькая узкая комната. Кровати наши стояли у стен, изголовьями к окну. Рядом с кроватями стояло по стулу: мой — гнутый, венский, а у брата нечто вроде черного деревянного кресла с жестким сиденьем. Я укладывался раньше брата и, сморенный усталостью, швырял как попало одежду — штаны, рубашку, куртку — и засыпал.

Однажды я проснулся среди ночи; с этого все началось. Комната была наполнена тьмой, прореженной серовато-желтым светом луны и фонарей. По потолку гнались друг за другом, сбегались и разбегались тени.

Совсем рядом — протяни руку и достанешь — в серой тьме, только он один совершенно неподвижный, стоял квадратный человек.

Немного он напоминал оловянного солдатика и еще — часового на посту: каблук вместе, носки врозь. Руки — пустые рукава — висели вдоль туловища. Плечи были широкие и сутулые. И хотя у него не было головы, только плечи, он — это и было самым страшным — смотрел в упор, следил за мной, выслеживал.

Если бы я не спал, то сообразил бы, что это так развесил на кресле гимназическую форму и так поставил ботинки Шурка — самый педантичный и аккуратный мальчишка на земле.

Но я почти спал. Кроме того, мне ведь было всего лишь пять или шесть лет. Когда я проснулся, похолодевший от ужаса, — карла уже существовал.

Сколько таких уродливых карл по вине несчастных обстоятельств вползают в воображение, а потом в настоящую жизнь, из которой их и не выгонишь; воображаемое меньше всего боится разума, а убитое, оно возникает вновь.

Я проснулся и разобрался, что это Шуркина форма и его ботинки — каблуками внутрь и носками врозь, — но уже не мог забыть, что при всем том сейчас, ночью, — это человек.

И он имеет власть надо мной — человек без головы.

Сонный, я сполз с постели, добрался до кресла, сбросил одежду брата на пол, отчего безголовое наваждение исчезло.

Мудрый поступок, достойный Дон-Кихота, тогда мне еще неизвестного, но впоследствии ставшего для меня самым реальным из всех литературных героев.

Я и сейчас помню ощущение радости, избавления от опасности, когда увидел врага — поверженного и разъятого на части, жалкого.

И сейчас, разумом взрослого, я понимаю, что победить врага воображаемого часто не менее важно, чем настоящего, во плоти.

Сколько раз воображаемые люди управляли миром по воображаемым законам и уродовали, обезчеловечивали мир плахами, гильотинами, электрическими стульями, душегубками, лагерями — совсем не воображаемыми. Ведь и ветряная мельница, на которую бросился Дон-Кихот, реально — голодом — убивала бедняков, отбирая в пользу сеньора, государства и церкви половину помолы.

Победив — тогда, мальчиком, — я уже знал, что карла существует. И он обязательно воскреснет. Знал, что в темноте он срастается, все его части соединятся, как у драконов прирастают отрубленные головы.

Наутро, перед уходом в гимназию, Шурка, обычно добрый и справедливый, задал мне трепку. Ему, более взрослому, да еще склонному к рациональному мышлению — в будущем он стал инженером, — я не мог ничего рассказать о человеке без головы и о ночном сражении.

На следующую ночь все повторилось, и утро принесло новую трепку, более жестокую.

Первый карла занял, должно быть, большую часть места, отведенного природой во мне, как во всяком ребенке, для гномов разумных и добрых.

Добрые гномы имеют седые бороды и носят островерхие шапки.

А мой карла был, конечно, без шапки, потому что он ведь и головы не имел; это-то свойство и было самым опасным.

Вероятно, именно так, лишая карла какой-то важнейшей черты человеческого существа — тени, головы, жалости, воображения, — детство учит человека уметь в будущем отличать нелюдь от людей; людей, имеющих совесть, воображение, сердце, — от потерявших сердце.

Это лишь на первый взгляд так просто.

Он, квадратный человек, еженощно возникал рядом со мной, пока мы жили в Петрограде; в Бродицах он почти забылся, а в Москве, в коммуне, в дни перед судом, появился снова.

Чтобы существовать, ему нужно было, чтобы его боялись.

У него был неприятный, пронзительный и тонкий голос: скрип половиц, звучащий, когда в Петрограде я подбирался к креслу с гимназической формой брата.

Скрип несколько испуганный, но больше — угрожающий.

И в коммуне, когда я как потерянный слонялся по коридорам, квадратный человек вновь родился из скрипа половиц; он крался за мной, не отставая.

«Дело в том, что люди больше поддаются внушениям, чем лошади, и над каждым временем властвует мода, хотя большинство и в глаза не видело властвующего над ними тирана», — говорил Эйнштейн.

Мода... Призраки... Тиран... Своя особая тень над каждым временем, а иногда и над каждым человеком.

Казалось, что именно карла — человек без головы, — а вовсе не Фунт и не Келлер угрожает моему подзащитному.

Может быть, карла своим сердитым скрипением и заставил меня в конце концов опомниться.

Но поздно, наступал канун суда.

Утром этого дня мне, наконец, пришло в голову, что если я никогда и ни за что не решусь признаться во всем Ольге Спиридоновне, то остается другой выход — купить книгу.

За день, ночь и завтрашнее утро я успею ее прочесть и выпутаюсь из беды.

Но у меня не было денег — сорока или пятидесяти миллионов, а примерно столько стоила книга в те годы инфляции.

Все-таки я нашел в себе силы для последней отчаянной попытки спастись; я оделся и выбежал из коммуны.

День был морозный, небо ясное, чуть розоватое от не совсем погасшего восхода.

Я побежал мимо церкви Василия Кессарийского и белокаменного храма Христа Спасителя.

...На том месте, где был храм, теперь бассейн. Зимой над теплой водой, все застывая, клубится пар, едко пахнувший хлором. Стоя у метро «Кропоткинская», зрением воображения я вижу главный купол светлого золота; когда-то он был виден издали.

Я добежал до книжного магазина на Моховой и разглядел в витрине повесть Н.

Книга есть, но ее еще надо купить.

В Москве у меня было два взрослых родича: Леонид Александрович Круглов — Лак, как все его называли, — брат моей матери, ставший начальником важного военного учреждения, и брат отца, дядя Нат, в ту пору подголодаывающий студент МВТУ, обитавший на краю Москвы, в лефортовском студенческом общежитии.

Я побежал к Лаку, на Садовую.

Секретарша скоро, даже слишком скоро, ввела меня в кабинет с полками, уставленными книгами в одинаковых зеленых переплетах.

Я не был здесь с первого дня приезда моего в Москву.

Уже тогда, в тот первый день, я почувствовал, что основное свойство Лака — смотреть на людей, особенно на маленьких, как в микроскоп, и самому определять их судьбы.

То есть главным его свойством была вера в необходимость насилия и самого высокого давления для правильного формирования души.

Лак встал с кресла и плавным движением, как корабль огибает мол, вышел на простор середины кабинета.

Лак был рассеян и невесел.

— Ты все-таки удрал в эту школу-коммуну?! — сказал он, наклонив голову, с явной, хотя и небрежной укоризной в голосе.

— Да.

— Ты не сумел переломить себя, и это печально, — продолжал Лак.

Я отступил к книжным полкам, отдаваясь под их защиту.

— Ты не сумел переломить себя, — рассеянно повторил Лак, — глядя на меня, но, видимо, думая о другом. Голос его звучал не так властно, как прежде. — За безволие человек дорого расплачивается.

Я молчал.

— Что же тебе понадобилось теперь?

Я набрался мужества и попросил одолжить пятьдесят миллионов.

— Зачем? — спросил Лак, раскрывая портмоне.

— Купить книгу.

— Зачем? — повторил Лак, небрежно и безразлично отсчитывая деньги. — Какую книгу?.. В вашей коммуне ведь есть библиотека.

Он держал бумажки на ладони и скучающе смотрел в сторону, без всякого нетерпения ожидая ответа.

Я рассказал все, что со мной случилось.

Это была непоправимая ошибка.

И то, что это непоправимая ошибка, я понял, лишь только проговорил первое слово. Но остановиться не мог.

Лак спрятал деньги в портмоне, сунул его в карман галифе, и глаза его — серые, небольшие — пронзили меня.

— Ты не сумел переломить себя, убежал из той школы, куда я тебя устроил, в коммуны, школу второй ступени, для которой у тебя нет достаточной подготовки, — говорил Лак голосом однотонным и каким-то придавливающим.

Уходили и уходили одна за другой минуты, когда еще можно было что-то сделать. Бездна охватывала меня.

— Первая ошибка неизбежно повлекла за собою вторую, вторая — третья, — продолжал Лак. — Ты взялся за дело непосильное, затем солгал учительнице, обманул поверивший тебе коллектив и пытаешься трусливо уйти от ответственности...

Лак замолк и по той же плавной кривой проследовал к своему креслу.

А я, не помню как, очутился на улице.

...Это было правдой, все, что сказал Лак о моем слабоволии и цепи обманов,— должен я согласиться сейчас, через полвека, и все-таки я признаю свою ошибку не по долгу сердца, а против воли.

Зато по долгу сердца я должен сказать, что Лак был иным, чем представлялось мне в детстве и чем, может быть, представлялось — этого уже не узнаешь — ему самому.

С этим сокращением имени, отчества и фамилии в прозвище, похожее на название учреждения, что-то сократилось, исчезло и в нем самом.

До времени.

Это исчезнувшее было, может быть, самым важным в нем.

Самым важным? Ну, таким, без чего нельзя жить.

Он был профессиональным революционером, а потом, в гражданскую войну, крупным военным работником, а еще позднее — работником Коминтерна, большую часть времени проводившим за рубежом. Он всю жизнь организовывал революционное движение. Агитатор, он вместе со многими другими и вслед за многими другими искал самое простое и доходчивое, одинаковое выражение главной идеи, которая, осуществившись она, сделала бы, может быть, весь мир счастливым.

И повторяя, утверждая это самое простое выражение своей правды, верное, как ему казалось, для всего мира и всего существующего на свете, он привык искать только самое простое, одинаковое и при оценке каждого человека. А это не могло не приводить к несчастьям.

Держа непреклонный курс в мировых вопросах, единственно серьезно его занимавших, он привык прокладывать такой же твердый курс и при определении личных судеб. То, что правильно по отношению к неизмеримо сложному — к миру,— должно быть правильно и в применении к элементарно простому — к личности. Это все он, может быть, и не называл себе такими словами, но это было в его существе, было — или казалось — самим его существом.

Казалось.

Я пишу все это, не имеющее отношения к сюжету рассказа, даже противоречащее законам сюжета, потому, что сюжетный закон, как и другие законы, редко приносит пользу при бездумном применении. Главное ведь не сам закон, а правда, которая должна быть в нем выражена.

Некий литератор когда-то сказал, что если в произведении даже всего только десять процентов правды, то и тогда оно полезно и имеет право на существование. Философ и его ученики не учли, что в руде с десятью процентами золота остальные девяносто процентов — безвредный, инертный материал, а в произведении человеческой мысли, где только десять процентов правды, остальное не инертный материал, а ложь, только она одна. И если лжи даже не девяносто процентов, а, допустим, десять, то и тогда неизвестно, что оставит будущему время и развитие общества — девяносто процентов правды или одну эту десятипроцентную примесь лжи. В истории случалось по-всякому.

Сто процентов правды, во всяком случае сто процентов доступной тебе, известной тебе правды — вот, вероятно, единственное, с чем может примириться человек, когда речь идет об изложении событий общественной жизни и человеческих судеб. Правды, выраженной в какой угодно форме, но именно в той, в которую пишущий верит, несомненной для него. Тут никакие законы, в том числе и законы построения сюжета, не послужат оправданием.

И тут все равно, идет ли речь о большом или малом.

И даже все равно, как мне кажется, идет ли речь о персонаже, исторически существовавшем или вымышленном, потому что и вымыш-

ленный персонаж для пишущего рожден, как все живое, а потому имеет это высшее право на правдивое к себе отношение, раз он рожден.

...Я помню, как много позже описываемых здесь событий я носил Лаку — он лежал больной — из здания Коминтерна, помещавшегося напротив Манежа, письма в плотных конвертах, с заграничными марками, с шелковистой подложкой, шуршавшей под обложкой, если бережно потрогать конверт. Эти письма пахли странно и приятно, совсем по-своему. Запах конвертов вызывал в воображении сложную и секретную работу Лака — опасную работу; от них веяло как бы самой Революцией.

Дядя мой, лежа в постели, похудевший, небритый и, собственно, совсем не похожий на Лака, на нечто, что может сделать шаг и раздавить тебя — и не по злобе раздавить, а по логике, диктующей этот шаг, — дрожащими руками нервно разрывал конверт.

И глаза Лака, прежде казавшиеся мне буравящими, алмазно твердыми, становились тревожными.

Лак перечитывал письма несколько раз, забывая обо мне и продумывая, по моим догадкам, пути Мировой Революции; благоговейно затаив дыхание, я ждал, и Лак никогда не забывал оторвать для меня марки от сиреневого или розового конверта.

И в этом тоже чувствовалось нечто, раньше не бывшее в нем или не различимое.

А потом письма перестали приходить, но «оттуда», из-за границы, приехала Мэри — молодая женщина, новая жена Лака.

Оказалось, именно она, Мэри, посылала письма в конвертах с шелковистой подложкой. Я вначале огорчился, но ненадолго, тем более что она, как прежде Лак, дарила мне заграничные марки.

Потом я узнал, что Мэри имела прямое отношение и к Революции, была коммунисткой, подпольщицей.

Через год в семье Лака появился «бэби», как говорила Мэри, крошечное, сморщенное, красное существо — сын.

Я был допущен на «смотрины».

Младенец совсем меня не заинтересовал, но, случайно подняв голову, я увидел огромные глаза Мэри, устремленные вниз. И в каждом глазу, в зрачке, — что запомнилось, как чудо, — дрыгал ножками крошечный младенец. Там, в зрачках Мэри, младенцы казались потрясающе прекрасными.

А лет десять назад в Абакане, где я был в командировке, на берегу Енисея на пристани ко мне подошел Лак.

Это не описка.

Он был намного меньше меня ростом и никак не мог бы раздавить человека неосторожным шагом и вообще не походил на моего дядю — разве только нос у него тоже был большой, — но почему-то я сразу узнал в нем Лака, отражение Лака, давно погибшего, как и его жена, — след его в этом мире. Может быть, единственный реальный след.

Я ведь не видел этого нового Лака со времен его младенчества.

А теперь неожиданно встретил выросшим, твердо стоящим на ногах, имеющим уже, как оказалось, собственного ребенка.

Каждый человек оставляет след, но часто совсем не там, где он самоотверженно трудился всю жизнь. Семечко дерева прилипло к ботинку, осталось на твоём пути и укоренилось, выросло, разбросав вокруг зеленую крону.

Вот и все то отступление, которое мне показалось необходимым сделать, прежде чем продолжать не очень веселый рассказ о далеких событиях детства...

Итак, я выбежал из кабинета Лака и очутился на улице.

Оставалась слабая надежда добыть деньги у дяди Ната — человека доброго, щедрого, но безденежного, да еще и обитавшего, как я уже упоминал, на краю города, в лефортовском студенческом общежитии.

Я попробовал пристроиться на трамвайной колбасе, но меня согнал кондуктор.

Бороться с судьбой, если счастье отвернулось, — бессмысленно.

Темнело, когда я, наконец, очутился у Ната.

В комнатке, почти целиком занятой четырьмя койками, на полу, застланном газетами, вокруг печки-«буржуйки» сидели Нат и три студента, его соседи.

Накалившаяся труба «буржуйки» в сгущающихся сумерках горела черно-красным светом.

Нат жестом пригласил меня присоединиться к обществу.

Нат и его друзья «совершали таинство вечерней трапезы», как выражался мой дядя — ему было немногим больше двадцати лет, и он любил порой торжественный слог.

От печки струилось тепло.

Деревянной ложкой Нат доставал из кастрюли мелкие картофелины и по очереди протягивал их сотрапезникам.

— Это тебе! — говорил он. — Это тебе! Это тебе! А это тебе! — сказал Нат, когда очередь дошла до маленького круглого паренька, очевидно в чем-то провинившегося, и стукнул его пустой ложкой по лбу.

Мне не стало легче оттого, что в мире есть еще один обездоленный.

Нат сидел не на полу, как остальные, а на деревянном чурбачке, выпрямив спину, и хотя одет он был в рваные штаны и штопаную солдатскую гимнастерку, казалось, что с плеч моего дяди струится судейская мантия. Лицо его выражало сосредоточенность, но, несмотря на это, внушало не страх, а надежду на чудо.

Таково было его природное свойство — внушать окружающим веру в беспричинную и близкую счастливую перемену; сохранил ли он эту чудесную черту до последних дней, там, в лагере, где он провел последние дни?

— Пятьдесят миллионов? — деловито переспросил Нат, когда обед окончился. — Если бы завтра — завтра стипендия...

Нат вывернул карманы, и три студента, его товарища, вслед за ним вывернули пустые карманы.

Картофельный пар рассеялся; у потолка, почти не разгоняя окружающей тьмы, вспыхнула лампочка. Печка остывала, снова воцарялся ледяной холод.

— Раздобудем! — сказал Нат. Хлопнув дверью, он исчез из комнаты.

Он не подверг меня допросу, подобно Лаку, а бросился на помощь, как бабушка, всегда полная великим человеческим стремлением выручить попавшего в беду.

Так ведь он и был сыном моей бабушки — младшим и последним.

Он бросился в темноту коридора, как бросаются в реку, спасая утопающего.

Вернулся он часа через два, усталый, но с пятьюдесятью миллионами, добытыми, видимо, ценой немалых усилий.

...Когда я из Лефортова добрался до книжного магазина на Моховой, двери были уже заперты. Книга смутно виднелась сквозь заснеженную витрину.

С этого момента я бесцельно бродил по городу — по Тверской, сейчас именуемой улицей Горького, по Моховой, Арбату, по переулкам

между Пречистенкой и Остоженкой, переплетающимися, как старинные кружева, снова по Тверской. Бродил, ни о чем не думая.

Квадратный человек, не отставая ни на шаг, скрипел валенками по серому снегу. Так, вероятно, ходит охранник за арестованным. И я, как арестованный, чувствовал за спиной невидимый штык.

Я очутился в Камергерском переулке и зашел в подъезд Художественного театра; один раз я уже был здесь — на «Синей птице».

С тех пор чайка на фронтоне театра и на афишах всегда казалась мне синей птицей.

Кассирша строго взглянула, и я непроизвольно протянул в освещенное окошко миллионы, скомканные в кулаке; так трудно доставшиеся и теперь ненужные.

Потом я сидел в последнем ряду балкона, мало что видя из-за спины толстого лысого человека в черном костюме.

Я пишу эти рассказы о детстве, все время чувствуя то усиливающийся, то почти угасающий холод громадного расстояния от настоящего до прошедшего.

А на дворе июль.

Розовый куст под окном весь в огромных цветах, пахнущих сладко, пряно — сразу и летом, и прошедшей весной, которая для него, розового куста, своевременно вернется, — в этом его огромное преимущество перед человеком — и близящейся осенью, и неизбежной зимней смертью, которая будет кратковременна. Кусту необязательно хранить воспоминания — зачем?

А человеку без этого невозможно. Соловей не ведет летописи жизни куста, на котором гнездится, а просто поет, подчиняясь птичьему вдохновению. А человеку летопись необходима. Куст не жалеет о лепестках, ушедших под снег. Бог с ними! Будут новые!

Так ведь и люди каждую секунду появляются на свет — но другие, не те, что были.

...Разбираясь в путаных воспоминаниях, я понимаю — то, что я видел в Художественном театре, было не обычным спектаклем, а «капустником», праздником, устроенным артистами театра в честь какого-то юбилея.

Там, на почти невидимой для меня сцене, мелькавшей, как небо сквозь тучи, все было легко, но легко по-моцартовски и по-моцартовски талантливо.

На «капустнике» было мало посторонних, только артисты театра, студийцы и старые поклонники. Почти у всех в петлицах поблескивали значки с изображением чайки.

Показывались сценки очень короткие: четче других запомнилась одна — грациозная и озорная одновременно — оперно-музыкальная пародия «Бой с кабардинцами»; запомнилось не содержание, а как бы внутренняя мелодия сценки.

Я мало что видел, но театр был полон такого воодушевления, что вдруг и мне стало весело.

Что это не обычный спектакль, а праздник для своих, я понял не в зрительном зале, а когда вышел в фойе во время антракта.

Пол зала устилало сукно, и шаги множества людей, наполнявших фойе, были не слышны; казалось, что люди не ходят, а летают по воздуху, чуть-чуть поднимаясь над полом; должно быть, нечто подобное, только глубже и отчаяннее, переживала Наташа Ростова на своем первом балу. Люди могли бы подняться и выше, даже до потолка, но не взлетают, чтобы не обидеть тех немногих, которые, как я, например, летать не способны.

И было отчетливо ясно, что все это свои, близкие — так они радостно приветствовали друг друга, так невиданно изящно и нежно целовали руки женщинам в длинных вечерних платьях, так свободно, легко и громко переговаривались.

И так удивленно — не неприязненно, а именно удивленно — смотрели на чужих, в том числе на меня.

Люди медленно, как бы в некоем общем танце, двигались кругом по фойе, стены которого были увешаны портретами великих писателей и великих артистов.

Я шел вместе со всеми — но по-другому, не в этом таинственном ритме, и скоро неведомая сила почти вытеснила меня из праздничного потока, где все были связаны друг с другом общей судьбой, талантом, общим счастьем, волной смешанного запаха всех духов и всех цветов, существующих на свете, — а я не был связан ни с кем. За стенами оставалась промерзшая, голодная Москва, атомом которой был и я, а они были не только из будущего, каким оно представлялось глазам утопистов, а вместе с ними и моим сверстникам, — но из Праздника этого Будущего.

Бессознательно я все дальше пятился от людского потока, невидимая центрифуга сердито кружила меня — чужеродную частицу, — швырнув, наконец, в середину фойе.

Человек в униформе шагнул ко мне, чтобы — это выражала вся его фигура — вывести меня из театра, но в этот самый миг произошло нечто, заставившее всех замереть.

Людской поток прекратил движение, лица обратились в одну сторону, к одним широко распахнутым дверям.

Человек в униформе тоже застыл, как бы по велению сказочной феи; может быть, она и жила в этом доме? Где еще ей было жить в те годы?

Толпа раздвоилась, освобождая узкую, совершенно прямую дорожку; так бывает, когда по спелому полю, внезапно, клиновидным потоком промчится ветер, сгибающий колосья и расчищая себе путь.

Дорожка все расширялась, люди склоняли головы, как колосья. Я заметил высокого и красивого человека, седого, с густыми темными бровями, который неторопливо шел по этой волшебной образующейся тропе. Его окружали друзья, гораздо ниже его ростом; он среди них казался Гулливером.

Группка часто останавливалась: приветливо поговорив со знакомыми, Гулливер двигался дальше.

Я по-прежнему неподвижно стоял на середине фойе. Гулливер взглянул на меня, улыбнулся, и вдруг, изменив направление, медленным шагом он и группка, окружающая его, направились ко мне.

Но не для того, чтобы изгнать из театра — это я почувствовал, перехватив взгляд прищуренных в улыбке глаз.

Несомненно, я был здесь диковинкой — тощий мальчик в латаных штанах, заправленных в так же много раз латанные валенки, среди дам и мужчин в вечерних туалетах — испуганный, но еще больше восхищенный окружающим.

Чтобы увидеть и нарисовать Станиславского так, как это сделано в «Театральном романе» — со всеми его особенностями, артистическим гением и даже тиранческими странностями, — необходим великий, неповторимый булгаковский талант. Но почувствовать силу сердца Станиславского — не зная, кто это и какова роль этого человека, — такое было в силах обычного мальчишки.

Взгляд его увеличивал, как косою луч света увеличивает пылинки. Он шел ко мне, привлеченный не странностью моего здесь явления, а угаданной им моей слабостью и невооруженностью; в этом я убежден.

— Здравствуй, племя молодое, незнакомое! — громко и певуче продекламировал один из группки, человек с красивым сильным голосом.

Мне не было известно, что это строка гениального стихотворения, но человек обращался ко мне, и я тихо ответил:

— Здравствуйте.

Все засмеялись. Я не понял причины общего веселья, но уловил, что оно не обидное.

— Как ты сюда попал? Откуда ты? — спросил Гулливер.

— Из школы-коммуну! — Я закинул голову и протянул ему высоко вверх билет; я не боялся, что он выгонит меня из театра, просто не хотел, чтобы он подумал, будто бы я пробрался зайцем.

Все снова рассмеялись, и я рассмеялся без иных причин, кроме той, что чувствовал себя вполне счастливым...

— Знаете, как наказывают в аду грешников? — сказал мне четверть века спустя старый актер-эстражник из венского кабаре «Симплиссимус» на улице Вольцайле; кончилась война, и я был в Вене в составе оккупационных войск. — Сковородки и котлы с кипящей смолой — бездарная выдумка людей, лишенных фантазии. Все много проще. В аду перед грешником вертят и вертят бесконечную картину его жизни. Окончится фильм — и снова прокручивают все сначала. Потерянные секунды, минуты, дни, годы. Дни, когда ты, как слепой, проходил мимо счастья. Когда ты терял друзей и обижал любимую. И, занятый мелкими, злыми, пустыми мыслями, брел через Винервальд, не слыша соловья. Когда раздавил белый гриб, выросший для тебя, ландыш, расцветший для тебя. Чью-то жизнь, которая могла быть счастливой. Когда ты видел синее небо — серым. И не показал тому, кому мог это показать — ребенку, любимой, — какое оно бесконечно, бездонно, удивительно синее... Я понял все это в Освенциме, — продолжал старый артист. — Как это ни трудно представить, у нас там хватало времени тысячи раз пожалеть о потерянном в прежней жизни. Даже перед дверями душегубок и крематориев... Эту ленту будут крутить годы, столько лет, сколько ты прожил на земле. А потом за час, или за два, или за несколько минут покажут все счастливые мгновения: когда ты любил по-настоящему, когда защищал правду, создавал настоящее — словом, жил, как должно человеку... Этих цветных мгновений так мало.

Вероятно, он прав, старик, чудом выживший в Освенциме. Можно вообразить и такой ад — технически усовершенствованный и кинофицированный, более страшный, чем традиционный — с чертями, сковородками и кипящими котлами.

...Но в тот вечер текли — щедро, одно за другим — по-настоящему счастливые мгновения.

Меня повели в комнату, где стояли креслица с золотыми ножками, обитые желтым узорчатым шелком, и поставили на круглом столике горячий чай в серебряном подстаканнике и тарелку с бутербродами; чудесный вкус бутербродов я помню, как кажется, и сейчас.

Во втором отделении спектакля я снова сидел на приставном стуле, за спиной лысого толстяка, но это ничуть не уменьшало моего счастья; черная спина даже как бы сделалась прозрачной — на свете все возможно, только это редко вполне понимается человеком, — она пропускала все краски, и звуки, и чувства, которыми жил театр.

А потом...

Потом все кончилось, то есть все прекрасное, и наступил черед беспрсветно-черного — вечер суда.

Стол защитника стоял у двери, и когда Фунт заканчивал гневную речь требованием безусловного осуждения героя повести Н., я, ни на кого не глядя, вышел из комнаты, сбежал по лестнице и, миновав двор, скрылся в глубине Хамовнических переулков.

Надвигалась ночь, кругом было пусто; меня никто не преследовал, но на самом пороге жизни казалось, что жизнь окончена.

Все, что произошло в последующие двое суток, перепуталось и вспоминается мутными обрывками.

Я ночевал на вокзале.

Красноармейцы накормили меня горячим супом.

Потом я ночевал в подвале — цитадели беспризорников.

Долгий день кружил вокруг коммуны, не смея и подумать о том, чтобы вернуться в единственный свой дом.

Когда снова стемнело, я почти столкнулся в переулке с Ольгой Спиридоновной; отбежал на несколько шагов и прижался к оледенелому углу дома.

— Вернемся,— устало сказала она.— Тебя все ищут. Не бойся, ребята не станут тебя дразнить.

Я стоял молча. Еще можно было убежать.

— Я в тебя верю! — сказала Ольга Спиридоновна.

Я шагнул к ней. Мы шли молча рядом.

— Его осудили? — спросил я в конце пути.

— Да! — ответила она не сразу. Она не сказала: «Но ведь его не существовало на самом деле, чего волноваться?» Не сказала, да, вероятно, и не подумала этого.

— А если бы я...

— ...Может быть...— ответила она так же с трудом и не сразу.— Если бы ты объяснил... Хотя это трудно... Ведь он ее любил. Понимаешь?..

Ольга Спиридоновна взглянула на меня и отвела глаза.

Я молчал.

— Не бойся,— спокойно и уверенно повторила учительница.— Тебя не будут дразнить, этого не нужно бояться.

«Вот ты совершил еще одну ошибку»,— говорю я себе, разглядывая из нынешнего времени себя маленького.

Так выколосившееся растение, уже растерявшее положенные ему природой зерна, может быть, по-своему разглядывает растение, недавно выглянувшее из земли и согнутое не очень сильным ветром. Потом оно бы выстояло под таким ветром, но «потом» — всегда поздно. И потом над тобой, над твоим поколением, над всем миром промчатся бури посильнее.



МИКОЛА БАЖАН

★

ПОВЕСТИ О НАДЕЖДЕ

(Вариации на тему Р. М. Рильке)

С украинского

Впервые мне рассказал о Райнере Марии Рильке Лесь Курбас, выдающийся украинский режиссер. Он любил его стихи, умел их читать так, что даже маленькое стихотворение разливалось и поднималось, как многозвучная и многозначная симфония, звучало всем оркестром поэтической эвфонии, которой блистательно владел великий поэт.

Лесь Курбас читал мне и прозу поэта, обратив мое внимание на ту новеллу из «Историй про бога», в которой рассказано про украинскую степь и про песню старого кобзаря.

Рильке написал свою новеллу после двукратного путешествия по России в 1899 и 1900 годах. На Украине он побывал во время второй поездки, посетил Киев, Полтаву, Харьков. Для Рильке его поездки имели огромное значение. Сквозь всю жизнь он пронес влюбленность в русскую литературу, интерес и тягу к духовной жизни русского народа. Он знал историю Украины и про Украину говорил не только в «Историях про бога», но и, например, в динамичном и звучном стихотворении, где описано, как мчит украинскими степями познавший поражение Карл XII со своей свитой.

Лесь Курбас положил начало моему знакомству с этим неповторимым и противоречивым немецким поэтом, в творчестве которого ясность и точность рисунка, высочайшая человечность часто соседствуют с мистицизмом. Но подлинность поэзии была мощнее надуманных теологических построений и туманных эзотерических выражений, хотя именно в них видят наибольшую для себя ценность декадентские поклонники и последователи Рильке.

Советские писатели, принимая наследие поэта, уважают в нем иные ценности, отмеченные не холодом философских мистических откровений, а значимостью своего гуманистического, человековедческого, тончайшего и чуткого смысла, который в наше время воспринимается иначе, вопреки намерениям поэта. Там, где он пытался избавить земное бытие от конкретности и подлинности, мы различаем явленную светлыми поэтическими образами красоту реального, земного. Там, где он искал бога, мы находим человека-богоборца и глашатая не потусторонних, а живых, действенных, людских надежд, которые могут и должны быть реализованы, оправданы, достигнуты, которые должны стать подлинным выходом из тоски, одиночества и неверия.

Вот так толкуя для себя смысл наследия Рильке, я решил написать свои вариации на его тему поисков человеком животворной надежды. Эта тема — лейтмотив упомянутой выше новеллы про старого кобзаря. Мне захотелось устранить из нее те религиозные, богоискательские обертоны, которые придал ей поэт.

Взяв сюжет для первой вариации из новеллы Рильке, я вынужден был многое в ней изменить, и все же первая вариация наиболее близка повествованию Рильке. В остальных трех с творчеством Рильке связана лишь тема, трактованная мной так, как, по моему мнению, и должен трактовать подобную тему человек, который словом

своим хочет служить утверждению позиций социалистического гуманизма. Сюжет второй вариации — смерть народного художника в условиях буржуазно-феодальной Грузии 1918 года, в пору господства там меньшевистско-националистического правительства. Биография прославленного Нико Пирсманшвили стала основой этой вариации. Третья вариация — завершающие дни Великой Отечественной войны, когда советские войска добывали гитлеровскую армию уже на немецкой земле. Последняя — на материале сегодняшней Сицилии, юга Италии, где происходит напряженная и острая борьба между силами реакции, мракобесия и силами живыми, народными, коммунистическими.

Вот что я хотел сказать читателю «Нового мира» перед тем, как представить на его суд публикуемые ниже две вариации из «Повестей о надежде».

Автор.

Первая вариация

Поле чёрно, чёрны стрехи, чёрны тучи,
 Чёрны лица, чёрны ноги, чёрен брег.
 И так всегда, и так навек,
 Пока тело не упрячет в прах сыпучий
 В домовине черный человек.
 Разгулялся вихрь на косогоре,
 Раскружился ветер — прынул в дол.
 Не вздохнется — воздух так тяжел,
 Не глядится — черный мрак во зоре,
 Черный вихрь гуляет на просторе,
 Черный ветер по свету пошел.
 Черной пылью все вокруг покрыло —
 Перелески, хутора, бугры.
 И внезапный мрак бубнит уныло:
 Падай и умри. Пади. Пади. Умри.
 Плачут дети, просят дать водицы
 В черных хатах черного села.
 Пыль заполонила все криницы,
 Ключевые воды занесла.
 Замело межи, похоронило нивы,
 Шкуру с черных пашен содрало.
 И тоска над степью молчаливой
 Черным солнцем встала тяжело.
 Отгудело. Смолкло. Отшумело.
 Тишина — как крышка на гробу.
 Капли пота катятся по лбу,
 Пот стекает по худому телу.
 Пот — как смола, день — словно гроб, тьма — как
 чума.

Надежды нет. И тишина нема.
 Нема слеза, горька, как полугар,
 Ползет, оставив светлую бороздку.
 Ты выйдешь ли, надежда, на дорожку,
 Чтоб повстречал тебя плугарь?
 Не плачь, хозяин, наг и сир,
 Не веруй в чудо черных слез.
 Пропал твой двор. Пропал твой мир.
 Стань пылью, чтобы вихрь унес.

Мозоли жесткие грызи,
 Прах не стирая со щеки,
 Ищи в распаханной грязи
 Твоих хлебов проросших корешки.
 Пропал твой плод. Пропал твой род.
 И хлеб пропал, и только хрип
 Уродует засохший рот.
 Пыль затвердела, как кора,
 И грудью ты к земле прилип —
 Тебе, что корешку, пора
 Залечь, завянуть, умереть.
 А был хозяин добрый — любо посмотреть —
 Во всей округе не сыскать такого человека,
 Хоть и убогий — одноногий он калека,
 Без левой — ее отдал за царя.

Гниет она где-то в маньчжурской пустыне,
 На желтых мукденских песках и снегах,
 И стонет доньне, и воеет доньне,
 Припомнив сибирский безжалостный шлях.
 Ты мерил тот шлях, одноногий Степан,
 Когда, как лунатик, хромал по степям
 На тесаной, куцей ноге деревянной,
 Кружки оставляя в пыли окаянной.
 Убогие стены несчастной землянки,
 Клочочек земли у немого погоста.
 А рядом чернеют угрюмо и грозно
 Равнины Фальцфрейна, курганы Родзянки.
 И вдруг как задуло, пошло, закрутило
 Огромно, паляще, черно и багрово.
 Сквозь хмарь чернозема дневное светило
 Ползло, словно чудище, круглоголово.
 Коробило землю, сдувало покровы,
 Валило в овраги волной пропыленной,
 Ревуче, рычаще, черно и багрово
 Катился над степью котел раскаленный.
 Поля задавило. Сгубило посевы.
 Могильщиком черным прошло по степи.
 Смоленой метелью. Пылищею серой.
 Беда. Безнадежность. Кустов костяки.

— Где ты, боже? Где ты, боже? —
 Кличет баба в хате.—
 Почему унять не можешь
 Ветров злые рати?
 Ничего у нас нет боле,
 Хоть и было мало.
 Ты сойди-ка в чисто поле,
 Глянь-ка: все пропало.
 — Зря такое, зря такое
 Завела ты, баба.
 Ты б дала напиться детям,
 Хлеба им дала бы.
 А тогда, убога,
 И проси у бога! —
 А водица в ямке — не вода, а ил и муть,

Кроме грязной жижи, ничего не зачерпнуть.
Сквозь поры серого рядна
Кашицу процеди.
Детишкам дай испить до дна
Из глечика воды.
Куда же он глядит, наш бог,
И что мы для него?..
Ты тих, как прах. Как глина — ссох.
Ты вбился в землю, как клеймо.
С порога хаты смотришь ты
В задымленную злую даль,
В безмерность горя, черноты
И в бесконечность пустоты,
В смятенье пыли, в тьму и гарь.
Себя не жаль, труда не жаль —
Детишек малых жаль.
Надежды жаль, молитвы жаль.
Куда пойдем с тобой, печаль?
Нам некуда идти.
Как саваном, покрыло все дороги.
Не видно колеи. Ни следа тяжелых ног.
Один ты — одинокий, одноногий
Над раскрестком стершихся дорог.
И еще вздыхают пыль и мга,
Тополь лихорадит, как от боли.
Тишина загубленного поля
Заливает света берега.

Вдруг мужик вперед подался, глянул —
Что это? Не наважденье ль там?
Кто спустился с черного кургана
И к его подходит воротам?
В латаной рубахе дед, босой, убогий,
На дороге черной — белый, словно свет,
Возле мазанки, почти что на пороге,
Встал и не поздравствовался дед.
Посох, короб с кобзой, сума за плечом —
И куда плетется и поет о чем?
Лирники, калеки — все вам нипочем,
Нам беда и слезы — а вы тут при чем?
Очи — как вода стоячая в болотце,
Губы — как засохший ком земли,
Лоб — как взлобок, выцветший на солнце,
Волосы — седые ковыли.
Он заходит в хату. Он за стол садится.
Дети примолкают. Баба подает
В ковшике водицы. Он берет и пьет,
Долго пьет. Молчит. Голова клонится,
Словно прячет горе, что его гнетет.
Стон — не для напева. Плач — не для зачина.
Не касайся кобзы, струн не трогай, друг!
Пел надежду — нынче здесь одна кручина,
В черном горе мира погибает звук.
Вдруг в тишине, вдруг в тишине
Вспыхнул подструнок — и вот
Пальцы прошлись по горячей струне,

Песня, как птица, слетая ко мне,
Горло когтями рвет.
До глуби ран, до самого дна
Пронзает сердце и совесть.
Из недр беды встает она,
Надежды упорная повесть.
Пророкотала тучкою заплачка,
И окрик — гей! — пошел гулять в степи.
Приди же, песня, в горницу вступи,
Владычица души, а не батрачка.
Направь напев, освободи лады,
Буди басы — пусть загудят октавы.
И пусть дыхание полузабытой славы
Задует огнища разбойничьей орды.
Пусть умирает на Савур-могиле
Бессмертный, вечный в странствиях кобзарь.
Взгляни на шлях сквозь время — и ударь
В седые струны, чтоб как било били.
О Черный шлях! О черноморский яр!
Звенит ковыль — серебряные струны,
И в пламени захваченной галеры
Пронзенный умирает янычар.
Испей, кобзарь, воды соленой нашей,
Но жаждущим зато дай слово в дар.
Пускай наполнит кобзу, словно чашу,
И дум, и трав, и правды добрый взвар.
Гей, в степи нехоженой,
Гей, по полю голому
Грают злые вороны
Людам на беду.
Зря о туче просим мы,
Зря о славе молим мы —
Я пойду по займищам,
В жар и гарь пойду.
Небо мглой подернуто,
Поле перевернуто,
Шляхи позавеяны —
Следа не найдешь.
Проросло бы радости
И надежды зернышко.
Неужель покинутый
На земле умрешь?
Человек измученный,
Грабленный, обиженный,
Выжженный, униженный —
Бейся сам-один!
С родом породнившийся,
С братом побратавшийся,
Выдюжишь и выдержишь.
Сгинуть — не дадим!
Пусть же степь разметана,
Пусть могилы вырыты —
Не тебе валяться в них,
Истлевая в них:
Дай надежде вырасти,
Чтоб воспрянуть в сирости,

Чтобы с дружбой-верностью
Жить среди живых.

Струны — словно колен на дороге в думу,
Кобза пахнет песней, как чебрецом земля,
Как грозью озеро, вздыбленное с шумом.
Выплывай же, слово, статью корабля!
Проходи степями, просквозись ветрами,
Потрясись громами, бурей отрыдай,
И могучей стражей властно встань над нами,
И не дай замолкнуть, сгинуть нам не дай!

Звон струн упал, как медный луч, как птица,
И, очи осветив, угас, как каганец.
Да! Слово выживет, окрепнет и вонзится
В глухую глубь заброшенных сердец.
Кобзарь встает. Прощайте, люди. Всем удачи!
За спину — кобзу, торбу — за плечо.
В его глазах, застывших и незрячих,
Течет вечерний отсвет горячо.
Он двор покинул. Длинно тень легла,
Печально отпечаталась в пыли,
И в огненные дали потекла,
И расплылась в пылающей дали.
Все та же степь. Все те же жар и хмарь,
Нет ни конца, ни краю наважденью.
И заметает ветер по-над тенью
След ног босых, где уходил кобзарь.

И все ж в округе изменилось что-то,
Как будто ливень хлынул и прошел,
Хотя в степи такая же немота
И вид все так же сумрачен и гол.
Кобзарь шагал по опаленным нивам,
Шел по пустым пожарищам долин,
Весь белый, светлый, словно голубь сивый,
По черным косогорам шел один.

Мужик вернулся в хату. Затихая,
Детишки на печи ложились спать.
И только — мама! — вскрикнула старшая,
Едва опять заголосила мать:
— Где ты, боже, где ты, боже?
Где тебя нам встретить?
Что же, господи, почто же
Нам не мог ответить?
Иль не видишь, иль не знаешь,
Как живем-болеем?
Иль не ты нас заметаешь
Лихом-суховеем?
Где ты, боже, где ты, боже?
Нет, не отвечаешь!..

И не было ответа. И пустыня
Молчала дико. Тени залегли.
И лишь земля, угрюма, черно-синя,
Понуро простирается в пыли.

И в тишине, что быть не может тише,
 Наполненной, набрякшей и нависшей
 Несказанностью слов, бессчетностью тревог,
 Хозяин молвил: — К нам являлся бог.

Вторая вариация

Сквозь хлипкие стены каморки он слышит все шумы и шарки,
 Все споры, и смехи, и свары, все звуки парки и варки,
 Как мельтешатся лакеи, как громко судачат кухарки,
 Как шепчет шашлык на шампурах, лепечут жаркие шкварки.
 Как грохают об пол поленья с плеча — с одного, с другого,
 Как дворник кухонным бабам пускает крепкое слово.
 Хозяйка, как куль крупчатки, дебела, бела и здорова,
 Кричит на кухаря басом: когда уже будет готово!
 И вот секачи зазвенели, кромсая лук и морковку,
 И вот черпаки загремели, взятые наизготовку,
 Хозяйка в сердцах хватает скалку или мотовку
 И ляпает крепко и звонко по заду служанку-плутовку.
 С рассвета, когда розоватым светом мерцает оконница,
 До ночи, когда успокоиться уму не дает бессонница,
 Весь мир этот жрет и гогочет, хлопочет, ссорится, гонится,
 В дыму над плитой колдует, над жирной мискою клонится.
 Коптят, чадят, задыхаются, распаренные и ражие,
 Отмеривают и взвешивают, считают копейку каждую,
 Чтоб княжье чрево насытить едой поистине княжью —
 Винами, соками, зеленью, мяса и сала поклажею.
 Отборное жито Кахетии, яблоки Карталинии,
 Травы душистой Пшавии, гроздья — желтые, синие,
 Собранные осторожно, в сизо-сребристом инее,
 Сочные смоквы Грузии, плод роскошных долин ее.
 Задавленный чадом и смрадом, станами кривобокими,
 Подглядывавая сквозь щели досок, покрытых потеками,
 Мечтаю ночами дождливыми, безмолвными и безоками
 О сладких смоквах ее, что полны багрянными соками.
 Здесь, у ее подножья, искристо-светлый танец,
 Высыпанный на травы блеск золотых кружалец.
 Боже, свет отвори, чтоб очи мои разжались,
 Чтоб цвет красоты и славы я разглядел, скиталец.
 Что я умею? Краску накладывать на картонку,
 Чтоб лица, вещи и горы вдруг обретали контур, —
 Рядом с кармином — белила, рядом с синькой — зеленку,
 Черное рядом с желтым — так, чтоб ярко и звонко.
 Складывать краски мира просто и ясно, без мути,
 Так, как флейтист выводит дыхом единым звуки.
 В этом твое уменье, радость твоя и муки,
 Мастер голодноокий, художник жаднорукий!
 Блюдечко сажи, белила, оттенки соков и глин,
 Резкая зелень, веселый, как рот Маргариты, кармин,
 Цветные липучие смеси — и в этом запев и зачин
 Того, что звучит на картонах моих нехитрых картин.
 Чтоб заманить выпивоху, картину, как зазывалу,
 Вывескою цепляют к духану или подвалу.

Иль присобачат к стенке сырого, темного зала,
 И там она мокнет, и меркнет, и гибнет мало-помалу.
 Медведь в сиянии месяца, желтый олень удивленный,
 Вертел с багровым мясом, округлость бочки смоленой,
 Толстый бурдюк, как брюхо пьяницы, оголенный —
 Вот моя бедная живопись, цвет мой неутоленный!
 Тускнеет она и жухнет, коробится, гаснет рано,
 Гниет на полу кладовки, стареет в углу чулана.
 Разве что вдруг понравится она владельцу духана
 И будет повешена косо над изголовьем дивана.
 Поставлю перед собою в светлом углу каморки
 Сны свои недописанные, виденья свои, восторги —
 Зори царицы Тамары, орлов, что недреманно зорки,
 И взгляд прощальный солдата, и девушку на пригорке...
 Глаза. Чтобы влиться свету, две дырки во лбу прокручены.
 Два ясных луча, два пламени, что стали могучими, жгучими,
 Чтоб прокричать про надежду тем, кто безверьем измучены,
 В тьму одиночества ввергнуты, радости не научены.
 Но гибнет мой крик, в малеванный во взгляд людской и
 звериный,
 В сухой пылище базарной, в густой дымине трактирной,
 И я в кухонной конурке, как пес голодный и смиренный.
 Мое всевиденье гаснет, как уголь в золе каминной.
 Безудержна гибель красок, белила мертвы — хоть плакать!
 Безжизненна гладь клеенки — какая в ней скука и слабость!
 Что делать?

Неужто снова рвать, и марасть, и ляпать,
 Плевать в эту плоскую раму, в ее бесцветную сякоть?
 Стою перед ней. Здесь мой крах. И прах. И камень с погоста.
 Здесь — яма, провал. Ничто. Здесь даже нет с тенью сходства.
 Распяты здесь на кресте надежда и благородство,
 Присохли, как хилый плод, как гнойной язвы короста.
 Чем зренья свое уголю, которое неутолимо?
 Какую краску увижу, что прочим была незрима?
 Тот ярмарочный мир, как шут, под слоями грима,
 Потопчет мои холсты и протанцует мимо!
 Бесплодный, как желтый лист, и желтый, как ветвь на сломе,
 Беззвучно, беззвучно умру в углу на мокрой соломе.
 Лишь тихий вечерний луч, как ангел, промчится в доме,
 Но я не услышу его в своей последней истоме.
 И бог не сойдет ко мне по душу мою убогу,
 Никто не вспомнит меня, я значил для всех не много.
 Сойдется случайный люд, выпьют вина из рога,
 И мой неказистый гроб проводят в свою дорогу.
 И комя грузинской земли ударят о крышку гроба,
 Чтобы услышать я мог отзвук земного грома —
 Тук-тук, тук-тук... Кто стучит? Что это быть могло бы?
 — Ты жив еще, человек? Дверь приоткрой немного! —
 Под сдвинутыми бровями — взор угрюмый и вещий,
 Уставленный в смерть, в злосчастье, куда-то далече, далече,
 Шея втиснута в тело, грузно обвисли плечи,
 Видно, ему привычно толкаться в базарном вече.
 Трактирный дворник — хрипучий, никчемный, ненужный дед,
 Вырос в дверном пробое, в темный тулуп одет,
 И вносит поднос с едою — чего там только нет! —
 Куча отличной снеди — на поминах так и след.

Это — как холм священный, чьи запахи благовонны,
Стебли, цветы и листья его украшают склоны,
Яблоки рассыпные, дети цветущей кроны,
Сладостью полные гроздья, кислой прохладой — лимоны.
Солнце в кувшине пахнет зноем, медом и летом,
Терпкой миндальной горечью, вялым розовым цветом,
Плещет вино в кувшине — на расставанье со светом,
С этим чужим, неприятным, серым дождем одетым.
Трав весенних побеги, свежих листьев ладони,
Блики, цвета и запахи встали в пенье и звоне,
Растанцевались, вздыбились, словно живые кони,
На медном круглом подносе, в узорном ковчеге лоне.
Смоквы Грузии! Чувствую их дыхание из дали —
И чад кухонный сплывает, и словно стены упали,
И ветры садов тбилисских вдруг заблагоухали...
— Кто вас прислал ко мне так вовремя, генацвале?
Кто разложил на подносе эти цветы и злаки,
Кто обошелся без ханжества — не пожалел бедняги,
Но труда и понятия прислал мне добрые знаки,
Чтоб я не умер, брошенный в этом грязном бараке.
— Думаешь — вот жратва, чтобы пожрал перед смертью?
Думаешь, что спяна я проявил усердие?
Мясо, перец, шашлык, этот кувшин и вертел...
— Нет, это благая весть. Думаю — это бессмертье.
Эти плоды впитают красок моих игру,
Яблоки позолотой украсят свою кожуру.
Я служил не обжорству, а красоте и добру.
И не страшусь гибели, ибо весь не умру.
Нет, меня не обманешь ты, что стал у порога
И воплотился сейчас в дворника-кривонога,
Вещие очи твои на меня уставились строго.
Гляди на мое бессмертье, суровый посланец бога!

Перевел Д. Самойлов.



ВЯЧЕСЛАВ АДАМЧИК

★

КАРОЛЬ НЕБОЖА

Рассказ

Нынче на православного Петра (его редко празднуют в нашей стороне) младшие в деревне бабы справляли «великую горелку» — пировали целым звеном, благо кончили полоть лен.

После щедрого дождя ветер сушил кочки зеленого мха на крыше и вымытую днем доенку на изгороди. На вишне перед окном моталась сношенная, с вырванным плечом рубашка — пугало от сорок и скворцов.

У крыльца в пустом корыте нахохлились перед дракой бесхвостые петушки, и на пригуменье мычал привязанный веревкой за колок пестрый теленок.

Но в хате ничего не было слышно. Бабы поднимались с широкой лавки, отпихивали стол и выходили на середину хаты. Сойдясь в пары, шаркали твердыми босыми пятками по жесткому глиняному полу; над суховатыми икрами мотались черные ситцевые юбки. В окна вилась клубами пыль — горькая, от нее першило в горле.

Только одна, которой не нашлось пары, сидела в красном углу, нащелкивала языком польку и пристукивала по столу почерневшей деревянной ложкой: на край стола съезжали шербатые алюминиевые вилки, а в стакане колыхалась и, похоже было, дымилась седая, как туман, недопитая самогонка.

Умаявшись, бабы падали на кровать и там уже отдыхали, подтягивали на бедрах юбки, заправляли за пояс кофты и поправляли волосы. Щеки у них горели, словно бабы только что стояли перед большим, на хлеб, огнем в печи. Только та, чернявая, что сидела в углу и выщелкивала польку, была спокойна и, придвинувшись теперь к окну, глядела во двор: с улицы на подворье заворачивала повозка. Кто сидел на возу, из-за коня не было видно. Крупный гнедой конь с широкой, сытой грудью и толстыми, как у бельгийских, ногами внезапно дернулся и стал — видно, зацепился задней осью за изгородь.

— Это не старый ли Кароль приехал? — спросила чернявая, глядя на улицу.

— Где? — Бабы повскакивали с кровати и столпились у окна.

— Нос у него длинный, ей-богу, почуял горелку.

— И так уже набрался.

Конь потянулся к траве, снова затрещали гнилые, видно, столбики.

— Ей-богу, изгородь поломает, — встревожилась хозяйка и кинулась в сени, не закрыв за собой дверь.

За ней побежали остальные. Взявшись за удила, хозяйка заворачивала коня; воз круто наклонился набок, о грядку шаркало переднее колесо.

— Назад, назад трохи сдай! — кричали с порога бабы. — Не дай бог, вывалится человек. — Они побежали, чтобы взяться за дышло и подать воз назад.

— Ой, да он же мертвый! — крикнула одна и отскочила от воза.

Бабы разом умолкли. На возу, деревянно вытянув ноги, лежал с открытыми незрячими глазами сухой, побритый и уже окаменевший с лица Кароль Небожа. Шапка съехала — ветер перебирал короткие седые волосы.

Бабы молча сопели, уныло стоял конь, подогнув заднюю ногу, и было слышно, как шаркали, мотались о частокол крапива и куст крупного с белыми цветами донника.

Кароля в тот день видели в местечке: в двенадцатом часу он стоял с возом у переезда. Прошел пригородный поезд, но шлагбаум еще не подымали.

— Открывай, чего ж стоять! — крикнул с воза Кароль. Он сидел на тряпье, острый крючковатый нос торчал из-под накинутаго на голову рогожного куля — разыгрался дождь.

Будочник усмехнулся, сунул за голенище свернутый желтый флажок и пошел поднимать шлагбаум; на ранте его козырька дрожали дождевые капли.

Где-то на станции затихал шум поезда, а тут, на переезде, все еще лязгали и вздрагивали мокрые рельсы. За черной, просмоленной крышей длинного склада вставал плотный — хоть ты по нему катайся — белый дым. А тут брызгал, шуршал, словно бы чего искал, дождь.

Кароль думал, что вот мокнет тряпье, и, может, придется возвращаться домой, и что вот ломит — чуть только дождь — руку, а он с самой зимы никак не соберется к доктору.

— Эй, заснул, что ли! — Переездчик хлопнул дверью, скрываясь в будке.

Кароль дернул скользкие вожжи, конь вздрогнул мокрой спиной, натужился и пошел, тукнув подковами о рельсы на переезде.

Местечко было мокрое, сонное: по крышам, по темной сирени в палисадничках холодно, аж леденела спина, моросил дождь. Низкие корявые яблони на картофельных огородах за хатами скрывали в своей листве мелкие, с куриное яйцо, плоды. В стеклянной бутылке, стоявшей в одном из окон, порозовел от черники белый сверху сахар. За углом высокого забора резко трещал и внезапно глох мотоцикл: там была автобусная станция; конь повернул туда, он знал дорогу сам. Тут тихонько мок пустой, с открытой дверцей автобус, а бабы сидели под навесом, так и не сняв с голов больших шерстяных шалей, и ждали своего.

Колеса шаркали по песку, он прилипал к ободьям и сырым тестом отваливался в колею.

За проволочной изгородью, за картофелем, на голом, словно выкошенном, пустыре коченели под дождем козы.

Около ближней хаты стояла женщина.

— Куда тебя несет? — крикнула она, отделяясь от серой стены.

Кароль узнал дурковатую Бортникову дочку. Бортник внезапно помер в конце зимы. Кароль так и остался ему должен три рубля.

— Тпру! — Кароль остановился и стал ощупывать на груди кармашек — там должны были быть деньги.

«Надо отдать хоть ей. Чужим не разбогатеешь».

Остановилась и женщина. Она была в платье, надетом на голое тело. В белых, прямых, как прутья, волосах высоко, на самом темени торчал гребень.

— Как же тебя звать? — Кароль обеими руками снял с головы мешок. За шиворот посыпался холодный дождик.

— А ты, что ли, не знаешь?

— Знаю, потому и хочу отдать тебе гроши. Как-то занимал у бабки. — Кароль разглаживал скомканную бумажку.

Женщина глянула исподлобья.

— Надо бы ему и отдавать!

И пошла, ступая широко, по-мужски.

— Но-о, волк тебя ешь! — Кароль вертел над головой вожжами, приподымаясь и ища под собой кнут.

Конь прижимал уши, отворачивал голову от дождя. Кароль направился на изъезженную машинами улицу — она спадала в ложбинку, и конь побегал сам: напирала телега.

Дождь поредел, но не перестал. На чьей-то печной трубе до хрипоты каркала мокрая ворона. Кароль узнал крышу Красноцкого — заведующего базой утильсырья.

Кароль дернул правую вожжу — конь въехал на мосток из кругляков через канаву и стал, упершись мордой в высокие дощатые ворота. Во дворе гавкнула собака. Кароль сполз с воза, закрутил вожжи за веревку и, пригнувшись, исчез в узких воротах.

Посреди двора мок фикус — вынесли на дождь. В эмалированный таз у крыльца ручьем стекала вода с крыши — видно, собирали, чтобы мыть голову. Собака кинулась из будки, повисла на короткой цепи, царапая задними ногами землю, захрипела от злости — ошейник сдавил ей шею.

В окне кухни показалось простоволосое женское лицо и исчезло: Кароль узнал жену Красноцкого. Пошаркав сапогами по решетке, лежавшей перед крыльцом, Кароль кнутовищем обтер грязь с каблуков и умышленно громко затопал перед входом, чтоб услышали в доме.

— О, дядька Кароль приехал! — Женщина приоткрыла дверь, держась одной рукой за скобу, а другой придерживая собранные на затылке волосы — может быть, собралась их мыть.

Из дверей тянуло дымом — в сенях горел керогаз.

— Идите ж в хату. — Женщина сняла со скобы голую руку и посторонилась...

— Не... Я тут с конем. Привез добро. А где хозяин? — спросил Кароль, не заходя в сенцы.

— Спит. Улегся, и сколько уж времени...

— Э-э, не беда. Так, может, вы отопрете сарай? — спросил Кароль, так и не переступив порога.

Под ногами уже собралась лужица.

— Почему б не отпереть, только накину что-нибудь. — Женщина метнулась куда-то к вешалке.

Он пошел открывать ворота.

— Хотя нет, погодите — фикус тут.

Он обернулся на ее голос. Женщина спускалась с крыльца — в мужском пиджаке с завернутыми рукавами, в белом платке, завязанном где-то на затылке, под волосами.

— Погодите, разве вы сами подымете такую тяжесть, — сказал он, открывая ворота.

Она ждала его, подвязывая фикус. Платье ее подтянулось выше колен. Ему всегда казалось, что она была во всем, как та беженка, разве что немного пониже ростом. Беженка та была у него давно, во второе или третье лето после войны. Была она тогда одних лет с этой нынешней женщиной — подбиралась к сорока.

Он взялся за второе ушко цибарки с фикусом и отвернулся, чтоб не глядеть ей в глаза: стыдился, что подумалось старику про молодое.

Они молча понесли фикус к хате. Дождь перестал. За хлевом молодая высокая груша остро подымала в небо темную верхинку.

Таз возле крыльца был полон воды, вокруг него собралась лужа. На ней вспухали и лопались пузырьки, будто туда всыпали соды. Женщина обошла лужу и направилась к хлеву, оскальзываясь босыми ногами по раскисшей грязи. Собака высунулась из будки и вскочила лапами ей на ноги, она прикрикнула, отмахнулась,— на икрах у нее чернела полосами грязь.

В открытый сарай Кароль въехал с телегой. В сарае так пахло свежим навозом, что забивало ноздри: в загородке хрюкал белый длинный кабан и шаркал об стену — чесался.

— Небось добрая шкварка,— сказал Кароль, повесил торбу коню на шею и начал сгребать с воза тряпье.

— Летошний был что лось, а этот заматерел, не ест.— Женщина подняла с земли остатки нарезанной ботвы и бросила за загородку.

Кароль растряс мокрое тряпье на земле в свободной стороне сарая, где лежал оставленный им как-то старый кузов от телеги, и сказал:

— Завел бы и я, да кто выкармливать будет?

— Взяли б какую, мало ли?

— Не в мои уж годы.— Он подошел к возу и набрал охапку тряпок.— А присмотрел было одну.— Он снова подумал о беженке.

— А говорите — старый...

— Не теперь, а как беженцы ехали, лет пятнадцать уже будет,— сказал он, бросая у стены груды тряпок. Вернулся к возу и заговорил снова: — Молодая была, вот как вы теперь.— И кольнул взглядом.

Женщина покраснела и отступила за коня от его взгляда.

— И почему, дядька...

— Дети у нее остались там.

— Откуда она?

— Откуда-то из-под Воронежа, из села Ганны, говорила.

— И много детей?

— Трое, говорила.

— Вдова, что ли?

— Зачем же? Не... Инвалид только.

И ему вспомнилось, что муж, беженка сказала, пришел с войны без обеих рук. Она тогда плакала, рассказывая Каролю: он вез ее на вокзал, помнит, в сумерки, уже выпала роса, и в ложбине при огородах завязался туман. Возвращались в деревню бабы с ряднинками за спиной и говорили, что в такую пору растут огурцы. Скрежетал ворот на деревне — кто-то опускал в колодец ведро,— кричали дети на выгоне, голоса были отчетливые,— и беженка вспомнила своих и всплакнула: мал мала меньше и еще за ним ходи, как за дитем.

— Трудно ей пришлось,— сказал Кароль и пошел снимать с коня торбу. Завязал ее и бросил в кузов, чтоб мягче было сидеть на возу, и добавил: — Объездил полсвета, а насобираю во — гляньте — жменю.

Он показал на тряпье и взял коня за оброть возле мокрых, в зеленой пене удил. Потом осадил коня; задирая морду и спотыкаясь на пороге, чуть не приседая на воз, конь задом вышел из сарая.

Женщина заперла сарай и пошла впереди коня.

Кароль выехал со двора и остановился за мостком на улице закрыть ворота.

— Не затрудняйтесь, я сама,— сказала она, подходя к воротам.

— Ну, добро.— Кароль лег на грядку телеги, перевесился в кузов: конь двинулся сам.— Скажите своему, что я на днях приеду.

— Ну да, скажу.— Она стояла у раскрытых ворот. Под ногами у нее зеленела трава.

Кароль отъехал и оглянулся: она все еще не уходила в дом.

Старый Кароль думал о молодой жене Красноцкого и о том, что она похожа на ту беженку.

Во всех хатах сохли запотевшие окна. Из чьего-то палисадника потянуло запахом флоксов. На пустыре возились дети. Бортниковой дочки не было, и Каролю вспомнились те одолженные три рубля. Подумал, что не грех пропить, и поехал не пустырем, а улицей: так ближе было к столовой. Конь шлепал по лужам: вдоль улицы еще текла вода, в колдобинах, где ее насобиралось много, вертелась пена и плавала солома.

Кароль будто увидел перед собой Бортника, и ему стало жаль его, как жаль дерева, что росло при дороге, когда его спилят, и вдруг это место оголится — долго там не хватает того дерева.

Дальше стояли новые хаты. Кароль уже не знал чьи — люди строились, кто где мог. Хаты были из шлака, из нового и старого леса.

Хаты стояли уже и на том месте, где в польские времена был свиной рынок. Кароль помнит — по четвергам. А в войну тут обучались немецкие солдаты; на их ружьях блестели штыки.

У Кароля тогда оборвалось все в груди — он едва не наткнулся на такой штык. Перед ним стоял немец — молоденький, и зубы белые, ровные, как не свои: он хохотал, наставив на Кароля ружье, не в грудь, а под ложечку. Кароль шел тогда посмотреть Хонину хату: она стояла в конце свиного рынка.

Немец приказал идти назад, но Кароль не успел — штык впился ниже поясицы. Солдатня помирала со смеху. Рана заживала долго, будто укусила собака. Кароль прикладывал к ране коровяк — желтые цветы на толстом стебле и с широким, как у лопуха, листом.

В Хонину хату он тогда не перебрался, хотя своей не имел — сгорела, когда немцы палили деревню. Жил в местечке недалеко от железнодорожной станции — казенные дома пустовали.

Сюда к нему и пришел Хоня, отделившись от толпы, когда евреев гнали с работы в «гетту». Хоня и говорил тогда Каролю, чтобы переходил в его хату. «Жив буду — помиримся, помру — тебе останется».

Лицо у Хони было желтое и обрюзгшее — пух с голоду. Кароль насыпал ему тогда гречневой муки, кто его знает сколько — в тот карман на всю полу пиджака. Но от хаты отказался, боялся немцев.

Потом немцы жили в этой хате. Говорили, начальник полиции. Должно быть, после, как убили Хоню: их расстреляли там, за вокзалом, где теперь виден длинный холмик с каменным столбиком.

А крыльцо к Хониной хате пристроили немного позже, после войны, когда сделали тут клуб, вже свои. Еще и теперь в стене торчали гвозди. Их тут было видимо-невидимо — понабивали, вешая афиши.

«Кабы хоть повыдергали, портится ж стена», — думал Кароль, минуя дом. Он стоял еще крепкий, смолистый — бревно к бревну, — на две половины, с высокими, в три створки окнами, крытый железом. Около трубы уже завязывалась ржавчина — зимой тут нагревался и таял снег.

«Не своя, никого не заботит». Кароль зашевелился в кузове: мешал мешок и шекотала солома. Кароль стал на колени, перевернул мешок, сел на него и снова принялся думать о Хониной хате. Она была ему как своя, и было радостно, что Хоня не кому-нибудь, а ему отдал эту хату. Он даже увидел, как бы жил здесь с беженкой и как она бы твердо ступала босыми ногами по красному полу. И его мысли опять набрели на все стыдное и молодое.

Солнце донимало сквозь фуфайку, словно кто приложил к спине нагретый кирпич. И снова, как на дождь, затягивалось дымкой небо, желтой и ясной, — от нее кололо в глазах. Над желтовагим укропом, что рос меж свеклы, над тычками фасоли под чьим-то окном, над перевязанным кустом семенной редьки вился белый мотылек, ветер относил его к стене. Мельтешили и остро дзинькали мухи. Кароль свернул в узкий — двум возам не разминуться — проулок и выехал на шоссе. Конь пошел веселее. Тут уже был асфальт, еще мягковатый и жирный — недавно заливали. Возвращались домой бабы, неся завернутые в белую ряднину пустые бидоны за спиной, а в руках корзины, — они шли серединой шоссе, шлепая босыми ногами по жирной смоле. Ноги их были забрызганы до колен. Кароль поравнялся с ними и поздоровался. Ответила одна — старшая, остальные, помоложе, стали посмеиваться, прячась друг за дружку и сбиваясь в кучу, как овцы. Но Кароль уже обогнал их. Он смотрел теперь на длинный, приземистый, как барак, дом с двумя пристройками-сенцами.

На крыше, местами подсохшей, на самом коньке сидел верхом мужчина в железнодорожной шапке и латал крышу — она, как видно, протекала.

— Что, льет за шиворот? — крикнул с воза Кароль, поравнявшись с домом и осаживая коня.

— Как из сита, — не глядя вниз, отозвался человек в железнодорожной фуражке и достал из кармана молоток.

— Лет пятьдесят будет.

— Где там, недавно перекрывали, — сказал человек и взял в зубы гвоздь.

— Строению, говорю, лет пятьдесят будет, немцы еще в ту войну ставили, — сказал Кароль.

Человек кивнул головой — говорить он не мог.

Кароль хотел сказать, что в войну тут жил он сам, но человек в железнодорожной шапке прибавил толь и ответить не мог.

Капало с клена — листва еще была мокрая, и вся в дырочках — источенная хрущами.

«Не тот ли, что я сажал? Под окном. Вровень с крышей уже», — подумал Кароль и снова стал рассматривать крыльцо-пристройку и «свое» окно с занавеской. Было досадно, что тут живет кто-то другой, будто носит твою одежду.

Окно раскрылось, полная голая рука закинула на шнурок нижний край занавески. Из дома высунулась гладкая с лица молодуха, легла боком на подоконник и крикнула вверх:

— Миша, завтракать иди. Будет там греметь!

«Вот где кусок лодыря — среди дня завтракает», — подумал Кароль про молодуху и стал глядеть на другую сторону улицы, вдоль высокого забора, который был еще весь в темных потеках: за ним блестела просмоленная крыша. Там было Заготзерно.

За складом гудел, будто в пустую бутылку дул, мотовоз, лязгало железо — подавали вагоны, — и кто-то кричал, должно быть сцепщик.

Кароль миновал длинный забор и остановился по другую сторону улицы возле белого, с высоким цементным крыльцом дома. На ступеньке сидел человек в мятой шапке и босой и, задирая голову, пил из бутылки, разломанная пополам буханка ситного лежала на коленях. Человек вытер губы и поднялся со ступеньки. Отряхнул сзади штаны — видно, по привычке: сидел все больше на земле.

Кароль слез с воза, кинул под ноги коню сена, закрутил за частокोल вожжи и побежал к цементному крыльцу.

Дородная девица в белом, испачканном на животе фартуке сказала, держась за дверь:

— Обед, дядька.

— Во-во, паненочка, я ж на обед и пришел.

— Читайте, там написано,— сказала она и хлопнула дверью.

— Только писаным и кормишь...

Кароль хлестнул кнутом по высокой, спутанной у изгороди траве и перешел улицу, чтобы войти в магазин.

Двери магазина были раскрыты — оттуда несло духотой и селедками. Когда Кароль вошел, последние в очереди оглянулись. У прилавка прели одни бабы, и все, видно, за сахаром — поспели ягоды. Передние выворачивали и вытряхивали полотняные мешки.

Кароль обвел глазами полки, на нижней стояли одни темные бутылки.

— А святой водицы нема?

— Нынче и без нее не вытерпеть, варит, как в печи,— отозвалась какая-то из очереди.

— Только вино.

— И на помин души?

— Я же говорю — только вино! — крикнула из-за баб продавщица.

Кароль поднял глаза — на верхней полке, под самым потолком, над ходиками с зелеными шишками-гирями стояли кирзовые сапоги. Подумал, что на осень надо купить.

— Там, в орсовском, возле больницы, ее сколько хочешь, я сам взял.— Голос был вроде похож на Восипов.

Кароля передернуло, будто за пазуху бросили лягушку.

— Я только оттуда,— говорил Восип, но Кароль не обернулся.— Во, справку достал...

— И судиться будешь?

Кароль глянул через плечо. Восип уже был перебинтован, верхняя губа раздулась, будто укусила оса, на мочке уха шелушилась запекшаяся кровь — хорошенько не обмыли.

— Сказали, год-два получит.

Кароль прошел вдоль прилавка, все разглядывая полки, чтобы не смотреть на Восипа.

— Может, подвезешь? — спросил Восип.

— Я ж только из дому,— выходя на улицу, схитрил Кароль.

Конь перебирал сено, под возом гребли куры. Одна сидела уже на грядке телеги. Кароль снял с частокола вожжи — курица с криком отлетела к столовой,— взобрался на воз и направил коня на середину улицы.

За магазином кончался асфальт, пошла мошенная дорога — воз громыхал и трясся, у Кароля свербело в ушах и стучали зубы.

Тут заливали тротуар, вдоль забора был насыпан битый камень. Цыган, без рубахи, в рукавицах, стоял на коленях и разглаживал доской черную грудю. Другой, без шапки, русоволосый, с серьгой в ухе, сидел в теньке под забором, держал меж колен жбанок — полдничал.

Кароль вспомнил, как в войну стояли пустые хаты цыган — аккурат, где столовка. Кто-то повывсадил в окнах рамы, было видно, как с чердака свисала, зацепившись за гвоздь, старая одежда. Издали казалось, что кто-то повесился.

Цыганские хаты тут продавались, и даже сходно, и кто-то, верно, купил, но он, Кароль, хотел поставить свою, хоть из молодняка: еще стоял гектар леса — приданое жены. Сначала таскал на плечах, а после добыл коня: немцы бросили на болоте возле деревни бельгийскую кобылу, она хромала — в ноге сидел гвоздь. Тогда Кароль еще был

крепок, хотя какой там лес — жерди. Но халупу сколотил, лишь бы выбраться из местечка. Немцы выгоняли из казенных домов...

Сзади затрубил автобус. Кароль съехал в сторону и забыл, о чем думал.

Автобус дохнул сквозняком и, оседая забрызганным грязью задом, вырулил на остановку. Там зафыркал, выстрелил синим дымом и стих. Привез одних баб.

Кароль узнал только одну: в синей суконной юбке с белой оборкой, монашку, что была приятельницей жены. Вот — жива, а женка давно в земле. Померла где-то, чуть не в Лягнице, три года назад об эту пору — перед жатвой. Дочка дала «тилиграмму», но он так и не собрался: все думал — пока выправишь тот документ на выезд, пока доедешь... После было и стыдно и грешно... Один бог рассудит. Глупый был — за землей погнался, взял старше себя на двенадцать лет. А она все попрекала этой землей...

Вдруг услышал голос:

— Ну, куда ты едешь? Старый что малый.

Кароль поднял голову, конь шел у самого забора, сам выбрал дорогу помягче — не по нраву была мостовая.

Его окликнул человек с завернутой в тряпку косой. Кароль дернул левую вожжу, конь споткнулся, подвернул ногу и сбился с шага. Воз затрясся на мостовой. У Кароля что-то перевернулось в груди, ошпарило, будто из шайки, и не отпускало. «Надо показаться дохтуру». Кароль согнулся, прижал грудь руками — немного отлегло.

За переездом кончалась мощеная дорога. Воз перестало трясти, Каролю полегчало. Пахло мокрым песком и откуда-то дымом, крепким и горьким. Каролю захотелось курить. Видно, где-то за вокзалом между рельсами тлел уголь. И снова гудел мотовоз, как ветер в пустую бутылку, — негромко, издали.

Кароль был уже в конце местечка. Хаты стояли по одну сторону улицы.

Улица сузилась, будто ее чем перевязали. Местечко кончилось, только столбы побежали дальше меж овсов и низким желтым люпином, что цвел без запаха: желтый люпин пахнет только перед дождем.

Было видно хату — соломенный лоб стрехи, как крыли раньше и не делали щита. Там где-то скулила собака. Начинались Ятринские хутора, до деревни было еще с добрую версту. Кричал чибис — за хатой было болотце. Скрипели гужи на оглоблях, шаркала задняя ось по колodке, мягко ступал конь, но Кароль не слышал — ему снова вспомнился Восип. Вспомнилось то время, когда он, Кароль, был конюхом, а Восип бригадиром. Другие мужчины боялись лезть в эту шкуру, а тут он вернулся на деревню — «сократили» с железной дороги.

Кароль тогда был один на десять коней и справлялся не хуже, чем нынешние вдвоем — конюх с помощником. Тогда в Ятре и конюшни не было — кони стояли в Каролевом гумне.

Зима в тот год наступила рано — на покрсева. После рождества лютовал мороз, не отпускало почти до самого благовещения. Кони после ночи стояли заиндевевшие, словно осыпанные снегом. Один и пал, как раз молоденький: кашлял и чах давно. Кароль говорил Восипу, чтоб затребовал из района ветеринара — может, выходил бы. Но Восип напьется, его и не видишь.

А после привел председателя с участковым и говорит: «Этого не кормил. Смотрел только своего». И по правде, Кароль «своему» давал больше: жеребец от той бельгийской кобылы был что гора, разве ж ему дашь меньше. Но тут лукавый попутал: как держал Кароль обороть в руке, так и перетянул Восипа по голове — над бровью у того вскочил

гуз величиной с орех. Может, и судили бы, да забраковали по годам, сняли только с конюхов.

Восип не спустил: свел лес, говорил, нет разгону трактору. Ел поедом. А Красоцкому нужен был еще один старьевщик — благо и замолвил словцо Бортнику. А на конюха Восип привел своего шурина из Литоварцев, чтоб сподручней было воровать. Накрыли его, хотели забрать, да злыдень смекалистый: развелся с женой и хата осталась за пей; но с бригадиров все же прогнали. Теперь дерется с шурином — чего-то не поделили. Еще и в тюрьму упечет.

У Кароля снова потяжелело в груди, во рту сушило, разомлел весь, как от жары.

Показалась деревня — первые на пригорке хаты и темные против солнца деревья. Было видно жито, белое на возвышенности, выгоревшее перед деревней.

Над дорогой сновали ласточки, круто взлетали над Каролем вверх и, казалось, сжимались в комок от резкого писка.

Конь оскальзывался на раскисшей грязи, грязь тянулась за копытами, как вязкое тесто.

Ближе ко ржи было суше. Тут весной нанесло песку, на нем пробились редкая, сухая, как в картофельной яме, трава.

Рож цеплялась за тяжи, стебли рвались со звоном, колосья взлетали и осыпались на коня. Конь прижимал уши и косился. Рожь стояла стеной — высокая, на толстых, как тростники, стеблях, хоть борону ставь.

Кароль протянул руку, поймал соломину, в кулаке остался колос. Он пах лесным клопом. Кароль вылушил зернышко, кинул в рот и долго ловил там на зуб.

«Еще не налилось, недели две будет созревать. Еще не скоро жать», — подумал Кароль, вглядываясь в рожь. Ветер ходил перекатами, рожь шумела — поднималась и замирала. Шевелились только колосья. Рожь была, как вода в речке: не прислушиваешься — не слышно. Вблизи ржи делалось свежо на душе, как и вблизи воды.

На меже в выгоревшем сухом чернобыле лежал камень. Тихо, как вор, с него всплыл над полем коршун, лениво взмахнул крыльями. На камне цвел зеленый лишайник, а на самой макушке в птичьем помете блестели крылья черных жуков. Камень был таким же старым и много лет назад. А дальше за камнем, как идти в ложбинку, цвел шиповник — линияли и осыпались лепестки. Так же, как и тогда, когда ходил он сюда с беженкой. И тогда стояла редкая, почти желтая от румянки рожь и ветер ходил перекатами. На шиповнике линияли и осыпались лепестки — самая теплая пора лета и пора голода, когда цветет боб.

На Украине в тот год была засуха: беженцы ехали все сюда, на вокзале из-за них было не пробиться. Кароль и сам не помнит, зачем пришел сюда из местечка, стоял на перроне. Тогда к Каролю и подошла она, босая, рослая, держа на голой руке жакетку, в другой — клеенчатую сумку, местами уже облупившуюся. Платье на ней было чистое, не как у беженки. Только по разговору Кароль понял, что она не здешняя, а присмотревшись, увидел, что и лицом как будто не такая — круглее и рот малый. И в лице желтизна, в глазах угасал блеск. Говорила, что три дня ничего не ела. Кароль привел ее тогда к Бортнику, накормил; в деревню пришли они — солнце клонилось к вечеру. Ночевать, однако, не осталась.

Она ему тогда так глянулась, как никакая до того, а может, и за был уже о других.

И Каролю вновь припомнилось все стыдное и молодое. И та межа с

сухим чернобылом, и истомленная здоровая ясность, будто обновился свет после этого.

В сумерки он запряг коня, вскинул на воз мешок ржаной муки, торбу ячменя и поехал с ней в местечко — повез на станцию.

В ту ночь не спал: перед глазами стояла межа с чернобылом и шуршала высокая, как тростник, рожь. В хлеву топал конь, и Кароль вставал поглядеть на него. Он послушал, как низко шумел и громыхал, стихая за местечком, поезд, подумал, что где-то вот так едет она, вернулся в хату и под утро заснул.

А после, с год времени, каждая молодуха мерещилась беженкой, Кароль даже стал пугаться. Со временем испуг прошел. А беженка все помнилась, помнились рожь и межа в сухом чернобыле. Перед глазами шевелились колосья — вот так же — не от ветра, от тяжести, и шуршали, как шуршат мураши, когда тронешь их муравейник.

Воз трясло, как на мощеной дороге, у Кароля начало все дрожать внутри, лязгали зубы. Грудь стеснило и заняло дух. Кароль наклонился к грядке телеги. Перед глазами качалась, гнулась рожь, будто кто прижимал ее палкой. И вдруг Каролю показалось, что он едет рожью, своей рожью, что сеял некогда у болотца возле леса. Рожь была скудная, редкая, в колокольчиках вьюнков. Кароль глянул в сторону леса: кто-то косил Каролево жито. Кароль онемел. Хотел крикнуть, а голоса не было. Кароль искал глазами камень, но в горячке не нашел. Так и побежал с голыми руками — рожь путалась и хватала за ноги, хлестала колосьями по рукам.

«Опомнись, что ты делаешь?» — закричал было Кароль, но голос пересох в горле. Косец поднял косу, мокрую от травы, размахнулся и вогнал Каролю острие в грудь. Жаркий шум хлынул в голову. Кароль съехал в середину воза, вытянулся и застыл.

Конь вышел изо ржи, постоял на песчаной дороге, подумал, что тут нет травы, и пошел в деревню.

Кароля похоронили родичи на третий день, без дочки: она прислала телеграмму, что приедет через неделю. Хоронили в полдень. День выдался сухой и ветреный — был уже сенокос. За гробом шли бабы с граблями — как раз собирались ворошить сено. Никто не плакал, все спрашивали, имеет ли право Каролева дочка продать его хату, потому что он, говорят, оставил завещание, чтобы хату отдали какой-то женщине из-под Воронежа, из села Ганны.

Гроб вез колхозный конь. А Каролева коня Красноцкий отвел в местечко. В тот день он сторговывался с новым тряпичником — русоволосым молодым цыганом с серьгой в ухе. Они пили у Красноцкого, и жена ушла из дому и рвала на меже траву.

Вдруг заржал конь. Жена Красноцкого постояла на меже, прислушалась и, придерживая обеими руками фартук с травой, пошла в хлев.

Конь, задрал голову, стриг ушами. Ей вспомнился Кароль. Конь опустил голову. В загородке завозился кабан. Она насыпала ему зелени и вышла из хлева. Из будки, гремя цепью, высочила собака. На крыльце хозяйка остановилась, прислушалась, что делается в доме. В хлеву снова заржал конь, негромко, будто звал хозяина.

Перевел с белорусского Н. Кислик.



Д. САМОЙЛОВ

★

АЛЕКСАНДР БЛОК В 1917-м

В потемках старые дворцы
Хирели.
Красногвардейские костры
Горели.
Он вновь увидел на мосту
И ангела и высоту,
Он вновь услышал чистоту
Свирели.

Не музыка военных флейт,
Не звездный отблеск эполет,
Не падший ангел, в кабарет
Влетевший — сбросить перья!..
Он видел ангела, звезду,
Он слышал флейту, и на льду
Невы он видел полынью
Рождественской купелью.

Да, странным было для него
То ледяное рождество,
Когда солдатские костры
Всю ночь во тьме не гасли.
Он не хотел ни слов, ни встреч.
Немела речь. Не грела печь.
Студеный ветер продувал
Евангельские ясли.

Волхвы, забившись в закутки,
Сидели, кутаясь в платки,
Пережидали хаос
И взглядывали из-за штор,
Как полыхал ночной простор,
Как пламя колыхалось.

— Волхвы! Я понимаю вас!
Как трудно в этот грозный час
Хранить свои богатства,
Когда веселый бунтовщик
К вам в двери всовывает штык
Во имя власти и земли,
Республики и братства!

Дары искусства и наук,
Сибирских руд, сердечных мук,
Ума и совести недуг —
Мы этим всем владели...
Но это все не навсегда.
Есть только ангел и звезда,
Пустые ясли и напев
Той ледяной свирели.

Увы! Мы были хороши,
Когда свершался бунт души,
Росли богатства духа!
Сегодня нам отдать их жаль,
Когда возмездья просит сталь
И выстрел ветреную даль
Простегивает глухо.

Да, странным было для него
То ледяное рождество
Семнадцатого года.
Он шел и что-то вспоминал,
А ветер на мосту стенал,
И ангел в небе распевал:
«Да здравствует свобода!»

У моста грелись мужики,
Веселые бунтовщики.
Их тени были велики.
И уходили патрули
Вершить большое дело.
Звезда сияла. И во мгле
Вдали тревогу пел сигнал.
А тут «Интернационал»
Свирель тревожно пела.

Шагал патруль. Вот так же шли
В ту ночь седые пастухи
За ангелом и за звездой,
Твердя чужое имя.
Да, странным было для него
То ледяное рождество,
Когда солону ветер скреб
Над яслями пустыми.

Полз броневик. Потом солдат
Угрюмо спрашивал мандат.
Куда-то прошагал отряд.
В котле еда дымилась...
На город с юга шла метель.
Замолкли ангел и свирель.
Снег запорашивал купель.
Потом звезда затмилась...



ИГОРЬ ВОЛГИН

★

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Мне, городскому жителю, чудно
проснуться ночью в деревянном доме,
услышать ветер, шарящий в соломе,
рукой нащупать жесткое рядно,

узреть огонь, мерцающий в печи,
увидеть печь, белеющую сиром,
и, как речам совсем иного мира,
внимать тревожным шорохам в ночи.

Но что мне удивительней всего —
вдруг ощутить неясно меж собою
и этой незнакомою избою
забытое, шемящее родство.

Как будто бы какая-то беда
меня гнетет — и мнится виновато,
что я здесь жил и чувствовал когда-то,
запомнил только вот — когда...

* * *

Все думали, что с Гитлером война
продолжится не годы, а недели,
и, сев у затемненного окна,
с надеждой в репродукторы глядели.

Как будто возвестить мог Левитан,
что, накопив войска свои поодаль,
мы совершили яростный таран
и прорвались на Вислу и на Одер.

И что часы фашистов сочтены,
и в Руре пролетарии восстали...
...Но мы уже оставили Ромны
и к Харькову с боями отступали.

И мать моя, беременная мной,
не ожидая помощи Европы,
по выходным копала под Москвой
большие, полных профилей. окопы.



Е. ГЕРАСИМОВ

★

ПУТЕШЕСТВИЕ В СПАС НА ПЕСКАХ

Из записок старого журналиста

В былые времена из Москвы в Спас на Песках ездили по железной дороге, пересаживаясь в пути с широкой колеи на узкую. Так, по старой памяти, я и поехал прошлым летом, но оказалось, что движение по узкоколейке уже давно закрыто и из областного города в Спас на Песках теперь можно добраться только на автобусе или на такси.

Не повезло мне: такси не поймать было, а на последний автобус не сумел попасть, и пришлось провести ночь в душном павильоне автовокзала. А следующий день, на мое несчастье, был субботний, и касса, накануне распродавшая билеты на все рейсы, долго не открывалась. Часа два простоял я в очереди, пока не объявили дополнительный рейс, а потом, получив билет, еще полдня прождал автобус, сидя на чемодане в тени насквозь пропыленного тополя.

После всего этого каких-нибудь полтора часа езды пролетят так, что и не заметишь, тем более если за окном памятные тебе места, где ты не бывал тридцать... нет, ближе уже не к тридцати, а к сорока годам.

Бежала и бежала широкая лента асфальта, а я, глядя в окно, вспоминал крошечный паровозик-кукушку, который некогда, пыхтя и отдуваясь, ташил здесь игрушечные вагончики узкоколейки, проложенной среди заболоченных лесов и заросших камышами озер. Конечно, ехать по асфальту в автобусе куда приятнее, чем трястись в скрипучих вагончиках-клетушках, под которыми колыхнется болото, но все же мне было жаль эти отжившие свой век вагончики. Нельзя уже больше, как бывало, спрыгнув на ходу с подножки, вольно подышать на свежем воздухе, нарвать охапку желтых, лиловых и розовых цветов, а потом пробежаться вдогонку за поездом, медленно огибающим песчаную горку с голоногими соснами, высоко вознесшими над болотами и озерами свои тощие, обшарпанные метелки.

Дикими, малолюдными и нищенскими были эти места, где деревни кормились не столько от земли, сколько отхожим сезонным промыслом. Главным из них был плотничий, на который мужики разъезжались отсюда артелями по всей России, со своими артельными жожаками и кухарками. Толкотно, шумно и дымно становилось на станциях и в вагонах узкоколейки в весенний разъезд сезонников и в сенокосную пору, когда они возвращались домой на короткую побывку. Управятся с сенокосом, разъедутся, и снова тихо на узкоколейке — поезда до поздней осени идут полупустые, на остановках выходит на перрон один кондуктор со своей кожаной сумкой через плечо, вокруг живой души не видно: стан-

ционная будка с медным колоколом, а за ней лес стеной или бесконечная просека.

Леса и сейчас здесь глухие, с длинными просеками по магистральным каналам-водоприемникам и канавам осушительной сети, которая была построена еще в прошлом веке, но потом заплывла илом и заросла лесами, а теперь, как я узнал это из завязавшегося в автобусе разговора, восстанавливается и расширяется, но пока очень медленно, так как местная машинно-мелиоративная станция все еще слабовато вооружена техникой. Да, болот тут еще много, но из окон автобуса не узнаешь уже знакомые места. Больше двухсот километров проехал я проездом, прежде чем сесть на автобус, а кажется, что опять попал в Подмоскowie. Дома крашенные, разноцветные, с кружевными наличниками, застекленными террасами, палисадниками и садиками.

— Богато люди живут — вон сколько живности держат, — сказал кто-то, глядя на разомлевших от жары свиней, которые тут и там ворочались в песке у дороги.

— Раз ограничения сняли, так почему же не держать, — буркнула в ответ моя сердитая соседка, всю дорогу жевавшая бублики, отщипывая по маленькому кусочку.

Навстречу нам из леса с грохотом неслись по шоссе длинные алюминиевые автовагоны Межгортотранса. За ними мчались взгромодившиеся одна на другую цистерны. И только они проскочили мимо впритирку с нашим автобусом, ударив вихрем в его открытые окна, как откуда-то вынырнула узкоколейка, и шоссе мгновенно проглотило ее, словно удав. Однако вскоре узкоколейка снова появилась в просвете леса, с минуту пробежала рядом и опять скрылась в молодом сосняке.

Не давала мне покоя судьба этой старой, заброшенной дороги. Несколько раз мы пересекали ее; она бежала то справа от нас, то слева.

Промелькнуло еще несколько деревень, и я начал узнавать их. Стало похоже на дачи крашенных домиков — пошли обычные старые деревенские избы без всяких затей, голо стоявшие у асфальтированной дороги. Вместо шиферных и железных крыш появились драночные и тесовые, вместо штакетных заборчиков — плетни и частоколы.

И помню, как ходил я здесь из деревни в деревню по пескам и болотам в те давние годы, когда бывал тут в командировках. Сейчас я ехал в эти края, надеясь, что еще застану в живых кого-либо из своих старых знакомых. Много у меня было их и в районном городке, и в деревнях. Хотелось посмотреть, что стало с этими местами, поговорить с людьми, проверить, так ли все было, как это сейчас вспоминается, — времени-то ведь сколько прошло! На все уже смотришь иначе, вспомнишь что-нибудь и не веришь себе, что это так было и что сам ты был такой.

Впервые в Спас на Песках я попал зимой в начале тридцатого года: Городишко был крошечный: десяток каменных домов, деревянная церковь, пожарная каланча и несколько сельского облика улиц, одним краем упиравшихся в пески, а другим — в торфяное болото и озеро. Моя первая поездка в Спас на Песках рассматривалась в редакции нашей профсоюзной газеты как рекогносцировочная, с целью подыскания объекта для подшефной работы в деревне. Обширный план ее, предложенный нашим редактором, предусматривал создание в этом глухом отходническом районе образцово-показательного колхоза, который будет носить имя нашей газеты и поддерживать ее честь на фронте сплошной коллективизации.

После моей короткой рекогносцировки, протекавшей в бешеном темпе, так как приближалось время посевной кампании, а коллективизация только началась, в Спас на Песках двинулись из Моевки наши

главные шефы — ответственный редактор и его заместитель, молодая красивая женщина. Они должны были торжественно вручить выделенному нам в районе колхозу шефское знамя редакции. Я сопровождал их как человек, уже знакомый с дорогой и местными условиями.

В вагоне узкоколейки было пусто, и мое начальство переходило от одного окна к другому, обозревая местность, где нам предстояло начать свою шефскую деятельность.

Редактор, Александр Александрович, человек молодой, но успевший уже окончить Институт красной профессуры, придавал своей поездке в деревенскую глушь большое политическое значение. Он был очень увлечен той особой ролью, которую в условиях коллективизации должен будет сыграть наш профсоюз как пролетарский авангард отходнической деревни, и собирався выступить с докладом об этом на предстоящем съезде союза.

Дикие пейзажи сами по себе его мало трогали: ко всему, что касалось деревни, у него был чисто социальный подход. Глядя в окна на заснеженные леса, как на мертвое пространство, которое мы должны будем возродить к жизни, он покачивал головой и говорил:

— Вот она, воспетая поэтами деревенская глушь, беспросветная дичь!

Его заместитель, журналистка, только что начавшая работать в газете, питала к природе более живые чувства. Она то и дело вскрикивала:

— Смотрите, смотрите, какое волшебство! Заколдованное царство Берендея!

Александр Александрович снисходительно улыбался:

— Царство нищеты, тьмы и кулацкого засилья.

Поезд подолгу стоял на станциях и полустанках. Дежурный отдавал все три звонка один за другим, кондуктор, отчаянно надувая щеки, свистел и свистел изо всей мочи, а наш крошечный паровозик никак не мог набраться сил, чтобы после остановки снова сдвинуть с места пять жалких вагончиков.

— Ну что же, товарищи, поможем железнодорожной державе, — весело говорил редактор.

Мы выходили из вагона и втроем дружно налегали на задние буфера, а потом шли за поездом, продолжая подталкивать его плечами, руками и ногами.

Всю дорогу не покидало нас веселое настроение. Наш представительный редактор резвился, как мальчишка, и все мы чувствовали себя открывателями неведомых земель.

В Спас на Песках поезд притащился под вечер. Единственным пристанищем для командировочных были тут номера при чайной, где, по старым трактирным обычаям, в большом чайнике с оловянным носиком вместо кипятка вам могли подать разбавленную водой водку. О том, что она разбавлена, мы догадались, конечно, только потому, что мужики пили ее стаканами, однако не веселели, а, наоборот, становились все злее. Кончилось это тем, что, хотя мы сидели в стороне особняком, за занавеской, они стали так откровенно выражаться, что нам ничего не оставалось больше, как гордо подняться и уйти, не дождавшись, пока нам принесут поесть. Это сильно подпортило нам настроение. Прежде чем лечь спать на голодный желудок, Александр Александрович долго ходил по номеру из угла в угол и возбужденно ерошил свои стоящие ежиком волосы. Оборачиваясь попеременно то к своей заместительнице, то ко мне — его характерной чертой была исключительная вежливость в обращении ко всем сотрудникам, независимо от их рангов, — он говорил о резком обострении классово-борьбы в деревне, о кулаках, подку-

лачниках и кулацких подпевалах, которые, как это видно уже по обстановке в чайной, не намерены сдавать свои позиции, и, конечно, о правом уклоне как главной опасности на сегодняшний день. Ему часто приходилось выступать в лектории для профсоюзного актива, и на редакционных совещаниях он нередко, увлекшись, вставал, скидывал с себя пиджак на спинку кресла и, расхаживая перед своим большим столом, читал нам вдохновенные лекции на темы нашей текущей работы, а иногда и просто для расширения политического кругозора своих сотрудников. В таких случаях его заместительница забывалась и смотрела на него влюбленными глазами. Впрочем, все мы были влюблены в своего редактора и считали, что такая умница, как он, далеко пойдет, а вместе с ним и наша маленькая, но бойкая профсоюзная газета.

Утром, проснувшись от стука в дверь, я увидел Александра Александровича, спавшего уже не на кровати, а на столе. Стучалась к нам его заместительница, ночевавшая в соседнем номере.

— Живы?! — воскликнула она, когда я, поспешно одевшись, открыл дверь.

— Не знаю, как другие, а я едва жив остался, — простонал проснувшийся редактор, натягивая на ноги сползавшее со стола одеяло.

Как затем выяснилось, он заснул только под утро, когда догадался перебраться с кровати на стол, а его заместительница вовсе не сомкнула глаз. Оба они отказывались понять, как я остался жив, проспав всю ночь без просыпа на кровати, кишевшей какими-то особенно свирепыми спаснапесковскими клопами.

Пока они обменивались своими кошмарными ночными впечатлениями, постучалась дежурная по номерам и сообщила, что в чайной нас уже поджидают — по телеграмме, полученной из редакции, за нами приехала председательница Лысогорского сельсовета, тетя Варя — как все называли ее тут, и с ней заведующий избой-читальней Евстигней Игнатьевич по фамилии Король.

С тетей Варей я познакомился в кабинете секретаря райкома товарища Зайчикова во время своей короткой рекогносцировки в Спасе на Песках. Когда я прямо со станции узкоколейки зашел к нему в райком, Зайчиков — молодой бритоголовый и крутолобый человек в черной, военного покроя гимнастерке, туго подпоясанной командирским ремнем, — разговаривал по телефону с кем-то из окружкама, а может быть, и повыше, потому что разговор был продолжительный, но сам он произнес всего два слова: «слушаю» и «есть», а потом, немного подержав в руке трубку, сразу же начал куда-то звонить, кричать и стучать кулаком по столу, чтобы «кровь из носа», но к завтрашнему дню процент плана «подскочил».

Зайчиков видел, что я вошел в кабинет, и, крича в трубку, время от времени поглядывал на меня, но так, что я скоро почувствовал себя недоушевленным предметом, которому предназначено вечно стоять у дверей. И я стоял, пока сидевшая у секретарского стола пожилая женщина в черной поддевке и черном головном платке, откинута на спину, не показала мне глазами на второй стул у стола — чего, мол, топчетесь у двери, видите, что секретарю сейчас не до вас, садитесь и отдыхайте. У нее был такой вид, словно она сама пришла сюда, только чтобы отдохнуть. Решив, что эта женщина свой человек в райкоме, я набрался храбрости, сел напротив нее и стал вертеть в руках ремешок своей планшетки — я тогда таскал ее вместо портфеля, настраивая себя, соответственно обстановке обостренной классовой борьбы, на военный лад.

А Зайчиков все выбивал и выбивал по телефону проценты. Когда он наконец бросил трубку на рычаг и вытащил из кармана носовой пла-

ток, чтобы утереться, его бритая голова была в бисере крупного пота. Сунув платок в карман, он недовольно посмотрел на сидевшую у его стола женщину.

— Ну, чего еще тебе, тетя Варя? Кажется, все уже ясно. Поезжай!

— А я не на лошади, лошадку на корм поставила, чтобы в гело вошла к весновспашке, а то больно захудала за зиму,— запела она тихим и ласковым голосом.

— Ну, не на лошади, так пешком иди,— какая разница!

— Да нет, товариш Зайчиков, вы меня, пожалуйста, не гоните, у меня есть еще к вам вопросы. Отпустите товарища. Он, видать по всему, торопится, а я могу и подождать, мне не к спеху — к вечеру успею еще дотопать до Лысой Горки.

Зайчиков повернулся ко мне, и я стал торопливо излагать ему план нашей шефской работы, так как боялся, что он снова схватится за телефон. И действительно, с минуту послушав меня вполуха, должно быть только из уважения к органам печати, он снова потянулся было к трубке, взял ее, но вдруг опустил, посмотрел на меня ожившими глазами, словно только сейчас увидел, и воскликнул:

— Так в чем же дело?! Вот она перед вами — шефская работа; берите Лысую Горку на буксир и тащите, показывайте пример пролетарской помощи деревне. Отлично начали, радовались: ай да тетя Варя! До масленицы дала сорок пять процентов! А потом стоп, ни шагу дальше. Так до сих пор и сидит на сорока пяти, а мы на сегодняшний день по твердому графику сплошной коллективизации должны дать уже пятьдесят, а по нашему встречному — все сто. Соседи со всех сторон жмут — один с лошади на паровоз пересел, другой уже на самолете летит к финишу, а мы на волах тащимся, могут и на черепахе пересадить. Впрягайтесь, помогайте, большое спасибо скажем, если поможете вытащить нам эту лысогогорскую занозу.— Он мотнул головой на тетю Варю.— Всю картину нам портит... Ну, чего улыбаешься? Плакать тебе надо, а не улыбаться.

— А я, товариш Зайчиков, уже наплакалась со своими бабами. Ни единой слезинки в глазах не осталось,— сказала она.

И вот спустя несколько дней тетя Варя с избачом приехала в район за своими столичными шефами, и мы отправились в Лысую Горку. Евстигней Игнатьевич Король был настроен очень мрачно. Шагая за санями, переваливавшими с одного бугра на другой, он жаловался на безвыходность своего положения как единственной культурной силы в деревне, которая ни от кого не получает помощи.

— Что я могу сделать,— говорил этот важный усатый молодой мужик,— раз в районе мне не создали авторитета? Без авторитета я тут круглый ноль — керосина не дают, а брошюры, какие были, раскурили.

— Брошюрок мы вам подкинем,— подбадривал его наш редактор, с трудом тащившийся по глубокому снегу, поддерживая под руку свою заместительницу, которая после бессонной ночи клевала носом и спотыкалась на каждом шагу.

На санях мы ехали только в городе, а как выехали из него, тетя Варя, жалея лошадь, сразу сошла с саней. После этого и нам неудобно было ехать, хотя избач и не собирался слезать. Он слез уже глядя на нас. На санях осталось одно наше шефское знамя.

Тетя Варя шла впереди, подергивая вожжами, чтобы лошадь не останавливалась зря. А когда та останавливалась по нужде, то и все мы останавливались и ждали. Так мы шли сначала холмистым бором, потом гатью через болото и снова лесом. Редактор и его заместительница часто отставали от саней и, держась друг за друга, высыпали и высыпали снег — он из своих полуботинок, а она из фетровых ботинок. Я по-

смагивал на тетю Варю и все ожидал, когда она сжалится над моим начальством — мне-то что, я в сапогах — и снова сядет в сани, чтобы и другим не стыдно было сесть, но она до самой Лысой Горки, километров десять, прошла пешком рядом с лошадей, будто ей и невдомек было, что ее московские шефы — люди, непривычные к таким путешествиям и соответственно не обутые.

Лысая Горка была некогда волостной деревней, в ней насчитывалось больше ста дворов, вытянувшихся двумя порядками по пологому увалу, — большая для этих редконаселенных мест деревня. Посреди нее стояла какая-то каменная глыба с выщербленными краями, несколько напоминавшая сфинкса. Возле нее тетя Варя и остановила лошадь.

— Что за памятник? — заинтересовался Александр Александрович.

— Какому-то царю, а какому — не припомню уже, — сказала тетя Варя. — Старики говорят, тому, что повелел все казенные болота в нашем краю осушить и засеять травами.

— Чертов камень, — выругался Евстигней Игнатьевич. — Били его ломами — не поддается, проклятый. Никак скovyрнуть невозможно. Динамит нужен, а где его возьмешь? — И он опять стал жаловаться, что не только динамита, но и керосина не допросишься для избыточной.

— Ничего, ничего, — похлопал его по плечу Александр Александрович. — Все теперь будете получать в первую очередь — как колхозники, наравне с рабочим классом.

Тетя Варя провела нас в сельсовет и пододвинула к своему маленькому, закапанному чернилами председательскому столику тяжелую длинную лавку. Я поставил знамя в угол, и мы сели, чтобы заняться делами своего подшефного колхоза.

Увы! Оказалось, что никаких колхозных дел, да и самого колхоза в Лысой Горке фактически еще не существует. Есть только пачка заявлений о вступлении в колхоз, но и тех тетя Варя не могла показать нам, так как хранила их не в сельсовете, а у себя дома, за печкой, чтобы не выкрали.

— Да-а, вот так дела, — озадаченно помолчав, протянул редактор, посмотрел на меня и сокрушенно покачал головой.

«Нечего сказать — выбрали колхоз! Ну и шляпа же...» — прочел я в его взгляде. И заместительница грустно посмотрела на меня, а потом на наше стоявшее в углу знамя.

Я понял, что моя скоропалительная разведка провалилась, и сидел, уныло поникший.

— А вы не беспокойтесь, что бы там бабы ни кричали, а колхоз все равно будет, без этого не обойдется, — сказала тетя Варя своим тихим, певучим голосом и, надев очки, деловито защелкала на счетах. Сбросив счет, она подвела итог: — В общем, за масленицу съели около двадцати коров. И все наши отходники, отгуляв масленицу, уехали на заработки. А бабы теперь на них ссылаются, говорят, что они не против колхоза, но сами без хозяина неправомочны решать такой вопрос. И те, что до масленицы подали заявления, кричат, что теперь и они не согласные — несправедливо получается: одни скот свой зарезали, поели, а другие должны сдавать его в колхоз.

— Бабыя темнота, невежество, глупость, — забубнил Евстигней Игнатьевич.

— Да и массовая разъяснительная работа, вероятно, сильно хромает, — уколол его редактор.

— На обе ноги хромает, — охотно согласилась тетя Варя. — И куль-

турная сила есть,— она кивнула на избача,— а хромаем, хромаем. Из района нас с Евстигнеем Игнатьевичем день-деньской ругают по телефону.

— По телефону,— скорбно улынулся редактор, переглянувшись со своей заместительницей. Как было не переглянуться: наша газета, ставившая во главу угла массовую работу, неустанно боролась с бюрократическими методами руководства,— и вот мы опять столкнулись с этими порочными методами.

— Ну что же, засучим рукава и будем помогать вам. Для этого и приехали. Давайте созывать собрание,— сказал Александр Александрович.

— Да вон уже собираются.— Тетя Варя кивнула на окно.

Собрание, которое мы проводили в Лысой Горке, началось уже при свете керосиновой лампы. Сначала она стояла на столе, а потом была подвешена Евстигнеем Игнатьевичем на вбитый в потолок крюк. Он сделал это для того, чтобы были видны лица всех собравшихся, рассчитывая таким образом присмирить сразу же расшумевшихся баб. И действительно, когда десятилинейная лампа закачалась над их головами, бабы поутихли.

Мужиков было немного, и почти все старики. Они тихо стояли в потемках у дальней стены, и сколько тетя Варя ни приглашала их подойти поближе к свету, не двигались с места, а только переступали с ноги на ногу и подталкивали вперед друг дружку.

Александр Александрович начал свое выступление с того, что, выйдя из-за стола президиума, пошутил с бабами, сидевшими в первом ряду. И у себя в редакционном кабинете он обычно начинал с шутки — пошутит, пошутит, а потом вдруг вскинет голову и читает уже нам очередную лекцию о текущих задачах профсоюза, так что всегда нужно было быть настороже, чтобы уловить его переходы от шутки к делу и не улынуться невпопад.

Лысогорские бабы не уловили перехода. Редактор говорил уже о великом переломе в деревне, о массовом движении бедняков и середняков в колхозы, а бабы все еще игриво улыбались и шушукались, потом их внимание привлекла заместительница редактора, сидевшая за столом президиума в ярком джемпере, туго обтягивавшем ее красивую фигурку, и они стали подмигивать на нее одна другой, а когда она, заметив это, покраснела и от смущения энергично, точь-в-точь как сам редактор, вскинула свою подстриженную под мальчика голову, зафыркали и захихикали.

Увлеченный редактор ничего этого не замечал. Подойдя к двойной природе середняка, он говорил о его мучительных терзаниях и колебаниях, от которых тот никогда не избавится, если решительно не вступит на путь коллективизации и не задушит в себе мелкого собственника. Эта тема была теоретически разработана им в большой статье, которая печаталась с продолжением в нескольких номерах нашей газеты. В Лысой Горке он долго развивал ее применительно к местной обстановке, а затем, перейдя от теоретических вопросов к практическим, обратился к теснившимся у стены мужикам и стал упрекать их за то, что они все еще не преодолели колебания и позорно прячутся от коллективизации... Тут он, к сожалению, оговорился: хотел сказать, что они прячутся за юбки своих жен, а сказал под юбки, и бабам это так понравилось, что их уже невозможно было уговорить. Тетя Варя звонила и звонила в колокольчик, а они гоготали и гоготали, пока кто-то не стукнулся головой о подвешенную на крюк лампу.

Лампа раскачалась, из нее вылетело и вдребезги разбилось стекло, а потом в поднявшейся суматохе и вся лампа грохнулась на пол,— хорошо еще, что жестяная была, а не стеклянная.

Не зря Евстигней Игнатьевич, жалуясь на безвыходность своего положения, больше всего напирал на трудности с керосином: в темноте мужики сразу осмелели и начали выкрикивать редактору каверзные вопросы. А когда Евстигней Игнатьевич закричал, что за злостный срыв собрания он составит протокол на бузотеров,— забушевали и только что веселившиеся бабы.

— Товарищи! Товарищи! — зывал в темноте редактор.— Пожара же нет, ничего особенного не произошло. Я уверен, что лампу опрокинули нечаянно. Все мы видели, что она и раньше качалась. Поэтому никакого протокола составлять нет необходимости. Подождем спокойно, пока нам принесут другую лампу, и будем продолжать собрание. Я отвечаю на все ваши вопросы.

Однако отвечать на вопросы редактору не пришлось. Пока тетя Варя ходила за другой лампой, мужики потихоньку выбирались из избы-читальни. Бабы еще покричали, поперебранивались с Евстигнеем Игнатьевичем, а потом тоже стали выходить, и каждая, прежде чем уйти, громко, смачно сплевывала.

Когда тетя Варя принесла и зажгла лампу, в избе-читальне, кроме нас, осталось только несколько старушек, невозмутимо сидевших на одной лавке в ряд,— даже Евстигней Игнатьевич исчез куда-то.

— Маленько переждем, может, народ еще вернется,— сказала тетя Варя, подкручивая лампу, а потом поглядела на старушек и заулыбалась.— Вот мой самый надежный актив — солдатские вдовы. А в двадцатом году силком затаскивала их на ликбез.

Старушки тоже заулыбались. Посидели мы с ними, поговорили о ликбезе, и, когда немного ожили, тетя Варя сказала:

— Ну что ж, пойдём отдыхать, никто уже, видно, не придет.— И повела нас к себе домой.

В избе нас встретил розовый молочный поросенок, которого мы чуть было не затоптали у порога, и куча малых детей.

— Внучки мои,— говорила тетя Варя, глядя по голове девочку лет трех и другую, немного постарше.— А это племянница,— погладила она третью девочку, лет семи.— Сиротки все, воспитываем их с дочкой.

Дочка ее, лет шестнадцати, нянчила еще кого-то, хныкавшего у нее на руках.

— Внучек. Сын оставил — поехал на заработки вместе с женой,— пояснила тетя Варя.

Пока она управлялась у печи по хозяйству, мы знакомились с ее дочкой, внучками, племянницей, а потом с клушей, сидевшей на яйцах в круглой плетеной корзинке, и с поросенком, жадно хлебавшим молоко. Налитое в блюдечко. Поросенок нас, откровенно говоря, смутил — к лицу ли председательнице сельсовета и будущего колхоза выращивать личных поросят, да еще поить их молочком? Но от печи потянуло запахом жареного, и этот запах отвлек наши мысли от поросенка. На столе появилась большая сковородка с рассыпчатой гречневой кашей, поджаренной на сале, с сочными шкварками, и почти одновременно с этим в избу очень кстати вдруг вошел Евстигней Игнатьевич с бутылкой, заткнутой бумагой. Редактору волей-неволей пришлось провозгласить тост за хозяйку, которая, как он сказал, надо надеяться, так же быстро управится в колхозе с весенней посевной кампанией, как она управляет-ся дома у печи.

— Времени-то до сева уже не так много осталось, а семфонд еще не начали засыпать,— сказала тетя Варя.

— А что думаете сеять? — спросил редактор.

— Гречи хорошо бы побольше посеять для детишек да проса,—

ответила тетя Варя, и начался разговор, который я впоследствии часто вспоминал.

— Гречневая каша, конечно, дело хорошее, но и о пшенице нельзя забывать,— заметил редактор.— На первом плане сейчас стоит у нас зерновая проблема.

— Это я понимаю,— сказала тетя Варя,— сами белого хлеба не видели. Да только пшеница не по нашим бедным землям. Мы рожь сеем.

— А в решении зерновой проблемы главное звено не рожь, а пшеница,— напомнил редактор.

— Конечно, пшеница,— согласилась тетя Варя,— но что поделаешь, когда она у нас не удаётся.

— Внедряйте, культивируйте, пробуйте,— настаивал редактор.

— Пробовали уже,— сказала тетя Варя.

— Пробовали! А когда пробовали-то? — рассердился вдруг Евстигней Игнатьевич.— Долдонишь свое без политического понимания вопроса. Тебе же говорят, что культивировать надо. Все зависит от культуры.

— Правильно! — поддержал его редактор.— Получите трактора, машины, удобрения — и все у вас будет родиться.

— Хорошо бы, но я так думаю, что какая у нас была земля, такой и останется, другой не будет,— стояла на своем тетя Варя.— Шестнадцать лет уже, как проводила мужа на германскую, сама пашу и сею, и, слава богу, на одной картошке дети не сидели. Муж с войны не вернулся, но каша в доме всегда была,— доказывала она свою правоту и приговаривала: — Кушайте, кушайте да ложитесь отдыхать.

Заместительнице редактора тетя Варя постелила на кровати, а нам с редактором на полу. Расстроенный разговором об агрономии, Александр Александрович долго не мог уснуть — все беспокойно ворочался, а когда я заснул, разбудил меня.

— Послушайте,— сказал он,— а что, если вам посидеть здесь месяца два и основательно заняться разъяснительной и организационной работой? Дадим вам кого-нибудь в помощь из нашего рабкоровского актива и будете нашей выездной редакцией в Спаснапесковском районе. Как вам улыбается эта идея?

Хоть и не сразу спросонья, но я понял, с чего вдруг эта идея осенила голову редактора. Конечно, мой неудачный выбор подшефного колхоза поставил редакцию в трудное положение, и надо было как-то выходить из него — зная-то наше так и осталось в углу сельсовета.

— Что ж, могу и посидеть,— ответил я без особого энтузиазма.

— Ну и прекрасно. Значит, договорились,— сказал редактор.— Завтра ночью будем в Москве, а послезавтра захватите чемоданчик с бельишком, поедете обратно и засядете здесь до конца посевной. Будете выпускать в районе нашу дочернюю газету.

Вот как рождались тогда идеи! Старому газетчику приятно вспомнить это. А вспомнишь — и потянет на дорогие твоей памяти места.

Автобус, на котором я нынешним летом ехал в Спас на Песках по новому асфальтированному шоссе, не раз пересекавшему мертвое полотно узкоколейки, второй час уже безостановочно мчался, равнодушно оставляя позади людей, стоявших на дороге с поднятой рукой. На всем пути ему не было положено ни одной остановки. Правда, в городе, отъехав от вокзала за угол, он остановился на минутку, но это было уже частным делом шофера. Надо сказать, что ныне на междугородные рейсы автовокзальные кассы продают только нумерованные места и при посадке билеты проверяют сами начальники вокзалов. Но у шоферов не железные сердца, и они не выдерживают, когда безбилетные пассажиры бегут за автобусом, волоча за собой детей, корзины и чемоданы. По-

этому и наш безостановочно мчавшийся автобус был набит до отказа, и стоящих пассажиров в нем было не меньше, чем сидящих, или «обилеченных», как говорят автотранспортники.

До Спаса на Песках было уже недалеко, когда водитель вдруг развил такую бешеную скорость, что я невольно стал поглядывать по сторонам. Тревожно закрутили головами и плотно стоявшие в проходе пассажиры. Однако на лицах тех, кто занимал нумерованные места, не заметно было никакого беспокойства.

В глухом, беспросветном лесу шофер резко затормозил и остановил машину.

— Не удалось проскочить,— вздохнул кто-то.

Раздвинулись дверки, и я услышал с дороги начальственный голос женщины, требовавшей, чтобы пассажиры потеснились назад и предъявили билеты. Стоявшие в проходе стали тесниться, но не назад, а вперед, и дверь оказалась закупоренной наглухо. С минуту контролерша билась в дверях как рыба об лед, а потом, должно быть убедившись в тщетности своих усилий, прыгнула с подножки.

— Повадилась дура встречать автобус в лесу,— громко сказал кто-то в тишине, и стоявшие в проходе облегченно зашевелились. Больше никто ничего не сказал.

Ну и дружный же народ нынче в Спасе на Песках, подумал я.

Автобус поехал дальше медленнее. Стоячие пассажиры расплачивались с водителем, передавая деньги один через другого, и сдачи никто не требовал.

О подъезде к районному центру свидетельствовал щит-плакат, оповещавший приезжих, что труженики сельского хозяйства Спаснапесковского района борются в нынешнем году за сколько-то тысяч тонн сена. Обычно, подъезжая к районному центру по шоссейной дороге, сначала встречаешь щит с обязательствами по зерну, а потом уже по молоку, мясу, яйцам, силосу, шерсти и другим сельскохозяйственным продуктам. Сено чаще всего стояло последним в длинном ряду растянувшихся вдоль дороги обязательств района. А тут вот выскочило на первое место. «Что бы это значило?» — подумал я.

Автобус въехал на мост — новый, широкий, бетонный, построенный рядом с мостом узкоколейки, и я опять пожалел эту бедняжку. Деревянный мост узкоколейки по соседству с шоссейным выглядел жалкой и шаткой кладочкой, какие ставят в деревнях на речках летом, после спада большой воды, а зимой снимают, чтобы весной не срезал лед.

Я не помнил в Спасе на Песках какой-либо реки или речки — помнил только грязные, затянутые тинной канавы осушительной сети, которые попадались мне на пути из одной деревни в другую. А под мостом текла чистая, стеклянно-прозрачная, хотя и с темным торфяным налетом на дне, река.

Куда бы я сейчас ни приехал, меня сразу же тянет на речку, посидеть на берегу — без нее ни город, ни деревня немилы уже. Так как же это случилось, что многое мне памятно в Спасе на Песках, а реки вот совершенно не помню? Забыл, а может быть, просто не заметил? Могло ли так быть? Могло, могло, подумал я, вспомнив, как метался тут бурной весной тридцатого года со своей планшеткой, бившей меня по ляжкам и по бокам.

Было уже под вечер, и спаснапесковцы накануне выходного дня прогуливались по мосту парочками, как на бульваре. А старики, облокотившись на перила, глядели на реку. Тут, у моста, под городом, она течет несколькими руслами, образуя большие и малые песчаные острова, и на этих островах, отмелях, среди свай старого моста, спиленных на дрова чуть выше уровня воды, стояло много удильщиков в засучен-

ных по колено штанах. Подальше от моста река своим высоким берегом с песчаным пляжем огибает сосновый бор, а затем теряется в обширной пойме. И где-то там, на дальнем краю поймы, проходит по песчаной гряде бугров дорога, по которой мы с редактором тащились за санями в Лысую Горку, везя туда свое шефское знамя.

Заглядевшись на эти далекие бугры, я вдруг заметил, что наш автобус уже не идет, а стоит на мосту.

— Что там случилось? — спросил я у своей сердитой соседки.

— Пьяный поперек моста ездит на велосипеде, — ответила она, дожевывая последний бублик.

— Дядя Костя, известный наш поперечник, — сказал кто-то позади.

Поперечник! Чем-то давним и забытым дохнуло на меня от этого некогда ходкого словечка.

Высунувшись из окна, я увидел маленького старичка велосипедиста с козлиной бородкой и дыбом стоящими на голове волосами. Он колесил из стороны в сторону — то вывертывался из-за автобуса, то скрывался за ним и, сделав петлю, опять появлялся на том же самом месте, ни на шаг не продвинувшись вперед по мосту. Ему кричали:

— Верти влево, дядя Костя! — А он крутил руль вправо.

— Крути вправо, дядя Костя! — А он вертел влево.

Наконец съехал с моста, но не на дорогу, а под крутой спуск с нее к оврагу. Когда и мы съехали с моста, я увидел его, лежавшего в овраге вниз головой поодаль от своего скатившегося дальше велосипеда. На дороге было пусто, по ту сторону оврага, у крайнего от моста домика за садовым столиком, живописно стоявшим над обрывом к реке, сидела какая-то компания, но она была не способна оказать помощь потерпевшему крушение, потому что забивала «козла».

— Ничего ему не делается, — успокоили меня пассажиры. — Каждый раз, когда хватит лишнего, скатывается с велосипеда под откос на этом самом месте.

Я хотел спросить, что за человек этот дядя Костя и почему его прозвали поперечником, но не успел — автобус остановился, все двинулись к выходу.

Сойдя с автобуса, я вертел головой и ничего не узнавал — все вокруг было чужое, незнакомое, если не считать двух белоснежных физкультурниц-близнецов, стоявших по бокам павильончика автостанции в тех каменных позах, в каких они стоят нынче повсеместно: в парках, на бульварах, стадионах и дворовых сквериках. У меня было такое чувство, словно я попал совсем не туда, куда ехал. Там, где был базар, сейчас раскинулся тенистый сквер, заставленный множеством белых фигур преимущественно женского пола. И вдруг, перейдя площадь, я увидел на углу узенького проулочка дом, который прежде всего вставал у меня перед глазами, когда я вспоминал Спас на Песках. То же крылечко с резными карнизами, те же кружевные наличники, только дом будто поменьше стал, поскромнее, будто усох от старости с того времени, когда в нем помещался райком партии. Простенькие цветы в окнах и старомодные занавесочки говорили, что этот дом снова превратился в заурядный частный домик, каким он, несомненно, и был в свои молодые, дореволюционные годы.

И в проулке за углом тоже все было знакомо: те же старые складские сараи, за ними — крыши железнодорожных пакгаузов, в тупике — низкое деревянное здание вокзала узкоколейки, издали точно такое же, каким я его помнил. Надо было скорее идти искать пристанище на ночь, но я не удержался и пошел посмотреть на вокзал поближе.

Подойдя к вокзалу, я увидел развешанное на веревках белье и разную хозяйственную утварь, какую можно обнаружить в провинции на

дворе жилого дома. На центральных дверях вокзала со стороны города висел большой замок.

— Вам кого? — спросила женщина, появившаяся с помойным ведром из боковых дверей.

Трудно было объяснить, что меня привело на чужой двор, и я спросил первое, что пришло в голову: не живет ли здесь кто-нибудь из бывших железнодорожников?

— Бывших у нас никого нет. Живут только работающие на станции, — сказала она и ушла, заставив меня подумать наедине, может ли так быть: вокзал на замке, поезда давно не ходят, а железнодорожники на станции работают?

Обогнув вокзал, я вышел на перрон. Здесь все было на своих местах: почтовый ящик, колокол на крюке, скамейки для полжидущих поезда пассажиров, напротив, за путями, длинный деревянный пакгауз на кирпичном фундаменте. Все было в порядке, и предупреждение висело на стене: «Берегись поезда», но все три выходящие с вокзала на перрон двери были заперты засовами, и на них висели тяжелые замки, пакгауз был забит досками, на путях зеленела трава, а выщербленное кирпичное крылечко, из щелей которого пробивался высокий бурьян, было похоже на могильную плиту. И тишина стояла вокруг гробовая, слышно было только, как стрижи носятся над ржавой крышей пакгауза. На путях никого не видно было. Один горшочек цветущей за окном герани напоминал, что за стеной живут какие-то странные железнодорожники-невидимки.

Я поставил свой чемоданчик на скамейку возле грязно-зеленого, будто сухой плесенью обросшего станционного колокола и прошелся по перрону. Обернувшись, я увидел пожилого человека, одетого по-домашнему, в тапочках на босую ногу. Стоя у вокзального колокола, он глядел на мой оставленный тут на скамейке чемоданчик. вероятно, недоумевая, кто это притащился с багажом на давно закрытый вокзал.

Когда я взял свой чемоданчик, он внимательно посмотрел на меня и спросил:

— Кого ищите?

— А кто тут начальник? — спросил я.

— Начальник станции я, — ответил он.

Я невольно воскликнул:

— Ах вот как! Значит, еще работаете. И на вокзал можно зайти?

— Пожалуйста, пожалуйста, я сейчас, только вот ключ возьму.

Он ушел, вернулся с ключом, отодвинул засов и почтительно пропустил меня вперед.

В полутемном пассажирском зале, с порога которого дохнуло могильным холодом, тоже все было на своем месте — старые дубовые скамейки с высокими резными спинками, зарешеченное окошечко кассы, массивная буфетная стойка.

— В музей придется сдавать? — пошутил я.

— Это уже как прикажете, — сказал начальник станции, открывая дверь своего маленького, похожего на кладовку кабинетика.

Я понял, что он принял меня за какое-то начальство, и стал смущенно объяснять, кто я такой и почему заинтересовался вокзалом.

— А я подумал, что управление дороги наконец-то вспомнило о нас, — сказал он.

Я посочувствовал ему:

— Походил, посмотрел, и грустно стало.

— И не говорите, — вздохнул он. — Бывало, сколько народа соберется к поезду, молодежь по перрону толпами гуляет, с гармошкой. А сейчас гулянье на шоссе-мосту — туда вся жизнь перешла от нас.

— А как вас закрыли -- совсем или временно? — спросил я.

— Это еще спорный вопрос, — сказал он. — Движение фактически закрыто, торфяники только раз в день торф возят, а как с дорогой быть, начальство еще не решило. Разные есть точки зрения. Одни говорят, что дорога не нужна. Надо ее окончательно закрыть — пусть торфяники берут, а другие говорят, что совсем закрыть нельзя: придет время — и понадобится.

— А сейчас, значит, вовсе не нужна?

— Нет смысла эксплуатировать. Пассажиров очень мало стало. Последнее время случалось, что одни проводники ездили.

— А грузы?

— Какие у нас в Спасе на Песках грузы? Молоко в область на автоцистернах возят, а больше ничего не вывозим. Вот сейчас нефть в нашем районе ищут — если найдут, тогда грузы будут. О курорте тоже разговоры идут, есть для них все основания, так что надежду не теряем. Может быть, и на широкую колею выедем, на электрическую тягу перейдем, — размечтался он.

В его кабинетике вдруг появилась маленькая девочка, живо вскарабкалась к нему на колени, уселась и плутовато посматривала на меня.

— Привыкла вот бегать по перрону и путям, — пожаловался он. — Если поезда пойдут — беда будет с ней, не отучишь.

Мы еще немного поговорили — человек был рад, что к нему зашли, есть с кем душу отвести, — но уже темнело, пора было искать гостиницу, и я заторопился. Мы вместе вышли с ним на перрон. Он снова задвинул засов, закрыл вокзал на замок и на прощание сказал:

— Заходите как-нибудь вечером, посидим на скамеечке.

Потом я часто заходил на станцию отдохнуть и подумать в тишине, потому что в городе всюду было слышно гремящее на площади радио, а на станции черный конус репродуктора, висевший под крышей забитого досками пакгауза, всегда безмолвствовал. И не раз бывало, что начальник в своих тапочках неслышно подходил ко мне и садился рядом на скамейке у заскорузлого колокола.

— Ну, что нового слышно у вас? — спрашивал я.

— Да пока еще ничего, — говорил он. — Ждем, что начальство скажет.

Я жил в Доме колхозника, в том же самом доме, где раньше была чайная с номерами для приезжих, — те же номера, только без чайной и без клопов, чистенькие, уютные, с белыми накрахмаленными занавесочками, ковриками, тумбочками и графинами на стеклянных подносах.

В первую ночь мне долго не спалось. За стеной кто-то заливался по радио, бесконечно повторяя: «Потому что круглая земля... потому что круглая земля», а я лежал и под этот убаюкивающий припев думал: да, круглая, круглая. Вот и меня снова занесло в Спас на Песках, в тот же самый дом, может быть даже в тот же гостиничный номер, где я тридцать шесть лет назад сваливался с ног, обежав за день несколько деревень, чтобы собрать материал для газеты.

В ту первую колхозную весну часто бывало так: не раздеваясь, свалишься на койку как мертвый, никакие клопы тебя не разбудят, а среди ночи вскочишь и строчишь передовую. И Ваня, кудрявый паренек с прыщавым лицом, из нашего рабкоровского актива, присланный редакцией мне в помощь, тоже часто сидел по ночам на койке и грыз карандаш, сочиняя свои стихотворные фельетоны, в которых он беспощадно громил подкулачников и церковников.

Ваня приехал вслед за мной в первых числах марта. Снег таял еще только на солнечном пригреве, но мне помнится, что Ваня явился с вок-

зала в одной синей трикотажной сорочке с красным помпоном, болтавшимся на шнурке, и, кроме плаща, у него ничего с собой не было.

— Пролетарский поэт-сатирик Иван Колючий,— представился он, распахнув дверь в мой номер, кинул плащ на койку, сел, вытащил из кармана штанов, заправленных в сапоги, две вяленых воблы и одну сунул мне: — Погрызи и давай скорее задание в какую-нибудь деревню поближе и побогаче. Жрать до смерти охота, а командировочные все проел уже в дороге.

На мой вопрос, что он может делать в газете, Ваня ответил, что вообще-то он каменщик, подносил кирпичи на леса, но сейчас перешел на профсоюзную культработу и успешно пробует свои силы в стихотворных фельетонных баснях и раешнике.

— В прозе, скажу прямо, я не слишком силен пока — грамоты еще не хватает,— откровенно сознался он, но тут же заметил между прочим, что грамота — дело наживное и если его возьмут на постоянную работу в газету, то он и грамоту одолеет.

Был у меня еще один помощник, которого надо было обучить газетному делу, чтобы потом, когда я, выполнив свою шефскую миссию, уеду, он мог взяться за это дело самостоятельно в качестве редактора районной газеты.

Мой будущий преемник товарищ Чеусов, ведавший в райкоме партии агитацией и пропагандой, был тихий, скромный, но очень подвижный человек. Помню, как он быстро собирал бумаги у себя на столе в райкоме и рассовывал их по ящикам, когда ему надо было куда-нибудь бежать. Помню, как он постоянно шевелил губами, будто что-то жевал или сам с собой беззвучно разговаривал. Помню его быструю и в то же время осторожную, какую-то крадущуюся походку. Роста он был небольшого, однако ходил пригнувшись и поэтому казался совсем маленьким. Когда он куда-нибудь торопился — а торопился он всегда,— руки у него непрерывно были в движении, словно нитки сучил на ходу. В кабинете Зайчикова, когда нам случалось заходить вместе. Чеусов нетерпеливо сновал из угла в угол, и мне все время казалось, что он порывается выйти, но не может на это решиться. И удивительно было, что Зайчиков спокойно сносил это, вместо того чтобы цыкнуть на него: «Да сядь ты, не мельтеши перед глазами».

Под гремевший за стеной радиоконцерт я ворочался в постели с боку на бок, думал: встречу ли я завтра в Спасе на Песках кого-либо из своих старых знакомых? Мелькало много разных лиц — мелькнут и исчезнут. А Чеусов долго неотступно стоял в глазах и все шевелил губами, будто хотел что-то сказать и не мог. Я тряс головой, чтобы отогнать его от себя, но Чеусов не отходил — его маленькое личико только чуть-чуть отодвинется и снова придвинется. Жалостно, растерянно смотрел на меня Чеусов из дали времен.

Помню, как было однажды в этой самой гостинице. Я разрезал гранки первого номера нашей дочерней газеты и расклеивал их на макете. Это занятие мне было еще в новинку, и, увлеченный им, я не услышал, как Чеусов вошел в комнату.— увидел его уже сидевшим на койке возле моего стола, в надвинутой на нос кепке. Его растерянное лицо встревожило меня.

— Что стряслось? — спросил я.

— Наверное, какая-то провокация, а может быть...— Он покрутил у себя перед носом руками и развел их, так и не сказав, что «может быть», и опять развел руками в полном отчаянии.— Ничего не понимаю. Я сейчас к вам с почты. Товарищ Зайчиков велел задержаться... «Правду».— едва слышно произнес он,— чтобы не распространяли пока, но часть экземпляров уже пошла по городу.

Провокациями меня не удивить было — сам изо дня в день писал о злостных кулацких провокациях, — но чтобы у кого-либо, хотя бы даже у самого Зайчикова, хватило смелости задержать на почте «Правду», этого я не мог себе представить — неслыханное дело!

— Да вы с ума сошли! Как же это можно? — Я схватился за голову.

— Ссс... — засипел он и с трудом выговорил: — Статья...

— Какая?

— Ссс... Сталиным подписано.

Что уже тут было говорить — яснее ясного, что человек рехнулся, если он мог задержать на почте статью Сталина, и я молча, потихоньку попятился от него вместе со стулом.

Вспоминая об этом, я думал, как же тогда все обошлось — «Правда» со статьей Сталина «Головокружение от успехов» пролежала на почте больше суток, и, однако, никто не пострадал за это, все ограничилось паническим страхом одного Чеусова. Да и он паниковал недолго. На другой день, когда я принес к нему в райком из типографии первый номер нашей газеты, на его бесцветном личике уже не было заметно никаких следов пережитого страха. Он снова деловито суетился за своим столом, перебирал какие-то бумаги, а увидев только что родившуюся в своем районе газету, довольно заулыбался, повертел ее в руках и скрылся с ней в кабинете секретаря.

Вскоре он появился в дверях и поманил меня пальцем, одновременно тыча оттопыренным пальцем другой руки себе за спину. Я впервые тогда увидел этот получивший вскоре широкое распространение двойной знак, означавший, что начальство приглашает к себе в кабинет.

На этот раз Зайчиков не кричал в телефон, не хватался за трубку. Он сидел за столом боком, откинув руку на спинку стула, в вольной позе человека, который долго работал, как вол, ни минуты не зная покоя, день и ночь трепал свои нервы, а сейчас вот гора свалилась с его плеч и он может позволить себе немного отдохнуть, осмотреться, поразмыслить, чтобы снова впрячься в работу и потянуть воз со свежими силами. Все это было выразительно написано на его утомленном, но не потерявшем своей значительности лице с крутым бугристым лбом.

Наискосок от него, в углу, на появившемся тут мягком кресле — раньше этот угол был пустой — сидел крупнофигурный бородач с пышно расчесанной шапкой курчавых волос. В противоположность строгому, военизированной обличью Зайчикова бородач имел вид человека, до мозга костей штатского и к тому же больше склонного к теории, чем к практике. Он был в грубых мужицких сапогах и кожаной куртке, но все в нем выдавало старого интеллигента. Он читал принесенную мною из типографии газету, держа ее в развороте.

Зайчиков, не меняя позы, выкинул руку в его сторону и сказал мне:

— Познакомьтесь. Уполномоченный обкома по коллективизации товарищ Волошин.

Умел Зайчиков держаться с начальством, ни в каких случаях не ронял перед ним своего достоинства — об этом я уже наслышался в районе.

— Очень приятно, — сказал уполномоченный обкома, здороваясь со мной, и потянул меня за руку, приглашая присесть рядом с ним. — Прочел вашу передовую. В общем, хорошо, хорошо, правильно ставите вопросы и, главное, без излишнего крика. Поменьше его надо, поменьше.

У меня отлегло от сердца — передовая ведь была написана до появления статьи Сталина «Головокружение от успехов», по тем установкам, которые Зайчиков получал из области и округа и с криком спускал вниз.

— Только под конец перегнули, — с мягкой улыбкой продолжал

Волошин.— Требовать завершения коллективизации в нашей области уже нынешней весной — это, конечно, уже от головокружения. И насчет обобществления скота надо бы поосторожнее. Но я понимаю, понимаю,— поспешил он смягчить свой упрек, дружески похлопав меня по колену.— К сожалению, в эту ошибку у нас в области многие впали, горячку стали пороть... Ошибки, ошибки! — проговорил он задумчиво, потом потянулся в кресле, грузно поднялся, прошелся для разминки по кабинету и сказал: — С левацкими заскоками будем кончать, но нельзя забывать, что правая опасность остается главной опасностью и что принцип добровольности коллективизации не дает нам права полагаться на самотек.

Помню, как Зайчиков во время этого разговора бесстрастно блуждал пустым взглядом по потолку — он-то на самотек никогда не полагался,— а сидевший у дверей на краешке стула Чеусов возбужденно вертел головой, словно порывался вскочить и бежать, чтобы исправлять ошибки и не допускать самотека.

Вспоминалась мне в связи с этим и тетя Варя — как она сидела у себя в сельсовете в грустном одиночестве перед большим глиняным горшком, который стоял на ее председательском столе.

Это было спустя несколько дней после того, как в районе началось исправление левацких перегибов.

— Что это вы тут, кашу собрались варить? — спросил я.

— Наварили вот, а теперь расхлебывай,— ответила она и подвинула ко мне горшок.

В нем был ворох каких-то бумажек. Я вынул одну, другую, третью и бросил обратно.

— Прихожу в сельсовет,— рассказывала тетя Варя,— вижу горшок на столе и ума не приложу, что это мне в нем притащили. Оказывается, вон что придумали! Тайком собрали, принесли и оставили у меня на столе в горшке, чтобы ни с кого в отдельности спросу не было. Хитрые, черти!

Евстигней Игнатьевича в тот день не было в Лысой Горке.

— В район побег слагать свои полномочия,— пошутила тетя Варя.

— Что же теперь делать?

— К посевной готовиться будем,— сказала она.

— Да с кем же, когда все повыписались?

— Двенадцать баб осталось. Эти не выпишутся, твердо стоят за колхоз, солдатские вдовы, старые мои подружки, с германской войны в одной супряге пахали, сеяли, косили.

Радио за стенами не переставало греметь, а я все вспоминал и думал. Засыпая, уже в полусне, я думал о своей давней неудавшейся повести. В середине тридцатых годов я долго мучился над повестью о тете Варе. Начинал, бросал и снова начинал. Обязательно хотел написать о ней и чего только не придумывал, но на бумаге все оставалось мертвым. В конце концов я решил, что мучаюсь зря: неподходящая фигура тетя Варя для повести о колхозной деревне — ничего особенного, героического в ней нет, самая обыкновенная баба. Решил так, успокоился и забыл о ней. А сейчас вот снова думаешь и мучаешься.

Суматошным, бестолковым был у меня первый день в Спасе на Песках. Нетерпелось поговорить с людьми, выяснить, кого тут еще можно найти из моих старых знакомых, но день был воскресный, все учреждения закрыты. Оставалось только походить по городу — авось кого-нибудь случайно встречу на улице.

Выйдя из Дома колхозника, я увидел на площади длинный голубой автобус с густо запыленным задом кузова, с окнами, пслузадернутыми

шторами, с откинутыми назад высокими спинками зачехленных кресел — словом, спальный автобус какого-то очень дальнего сообщения, похоже даже, что международно, — так он превосходил своей солидностью и комфортабельностью тот, на котором я вчера приехал в Спас на Песках.

Стоявшие на тротуаре пешеходы смотрели, как водитель выгружал из расположенного под кузовом багажника одну за другой громоздкие вещи, а пассажиры — их было два, мужчина и женщина, оба пожилые — торопливо оттащивали их в сторону.

На автобусе висела табличка, говорившая, что он идет из Москвы. Вот как бывает! — подосадовал я. Тащился с пересадкой двое суток, а мог приехать часов за шесть прямым сообщением. Своей досадой я поделился с одним из стоявших на тротуаре зевак, и он меня утешил, сказав, что это экспресс и он берет пассажиров в Спас на Песках только за минуту до отправления, если есть свободные места, а это случается раз в году.

«Так вот почему люди толпами останавливаются и глядят на него с таким уважением», — подумал я. Через минуту голубой экспресс исчез, как чудесное видение, а приехавшие на нем счастливыцы остались посреди площади с громоздившейся у их ног грудой чемоданов, рюкзаков и тех огромных мешков, в которых туристы таскают на себе, как слоны, свои слоновьи выюки — палатки, байдарки и прочий спортивный инвентарь, включая газовые плитки с баллонами.

Стоявшая на тротуаре толпа подавала приехавшим советы через улицу. Одни кричали, что надо тащить весь груз к ресторану — туда подъезжают машины и может случиться, что сегодня будет попутная на турбазу. А другие кричали, что попутной машины им век не дожидаться, так что лучше тащить вещи в Дом колхозника, а оттуда понемногу перетаскивать на турбазу — за неделю все переташат. Но старые спортсмены оказались людьми самостоятельными, не нуждающимися в каких-либо советах. По очереди, один, а потом другой, для проверки пересчитав багаж — число мест (не забыли ли что), — они потихоньку поволокли к скверу свой самый большой мешок, поставили его у белой фигуры физкультурницы с мячом, вернулись к оставшимся вещам, понесли чемоданы и так, перевалком, перебрались с площади на скверик со всей поклажей. Там чуточку передохнули и двинулись дальше тем же испытанным с незапамятных времен способом.

А сочувствующие им люди не расходились — стояли на улице и глядели на них, оживленно толкуя, сумеют ли эти счастливыцы, примчавшиеся из Москвы на экспрессе, дотащиться пешком до турбазы или протянут ноги, еще не дойдя до места.

Потом кто-то закричал:

— Утки!

Они появились вдруг большой, далеко растянувшейся стаей над новым, похожим по своей яркой желто-зеленой расцветке на попугая рестораном, одиноко стоявшим среди песчаного пустыря.

Люди выходили из калиток, из магазина, из парикмахерской, останавливались и глядели на уток, летевших так низко, словно они не над городом летели, а над своим родным болотом. По случаю выходного дня все были расположены постоять на тротуаре, посидеть на скамеечке у ворот, поговорить с соседями и знакомыми. Утки пролетели, приезжие туристы скрылись со своими мешками за углом — начался разговор о приближавшемся сезоне охоты.

Тишь, гладь да божья благодать, подумал я, стоя на тротуаре и прислушиваясь к мирно протекавшим на улице разговорам.

— Вот вы, товарищ начальник, скажите мне, правильно это или нет? — прицепился ко мне вдруг соскочивший с велосипеда старичок —

не кто иной, как тот самый дядя Костя, который вчера вечером, катаясь поперек моста, преградил дорогу нашему автобусу. Я сразу узнал его по седым, стоящим дыбом волосам и козлиной бородке. Он уже снова успел крепко заправиться, пошатывался и требовал, чтобы я ответил ему, правильно ли это, что милиция отобрала у него ружье.

— Правильно, дядя Костя,— сказал кто-то позади, но он, дернув рукой назад, отмахнулся, как отмахиваются люди от пустого бреха, и продолжал напирать на меня велосипедом.

— Нет, нет, товарищ начальник. Вы скажите, почему это, если я живу в Спасе на Песках, так мне и утки нельзя убить, а приедут товарищи из Москвы или из области, так, пожалуйста, милости просим, стреляйте на всех озерах и болотах, егеря вас куда хотите проводят. Ну разве это справедливо?

Нашлись сочувствующие и дяде Косте, стали ему поддакивать, и завязавшийся на улице разговор о московских охотниках и рыбаках принял такой характер, что ввязываться в него мне показалось делом опасным. Броская вывеска ресторана напомнила мне, что надо позавтракать, и я воспользовался этим, чтобы улизнуть от дяди Кости. Так началось мое знакомство с нынешней жизнью в Спасе на Песках.

После завтрака в разноцветном ресторане я пошел пройтись по городу. И случилось так, что ноги сами меня привели к маленькому белому домику в два окна, выходящих на улицу слева и справа от крыльца, на котором висела хорошо знакомая мне вывеска спаснапесковской типографии. Вывеска осталась та же, что в тридцатом году, и дом с тех пор мало постарел, но тополя, который рос перед ним, уже не было.

Это было самое большое дерево в городе. Ветви тополя лежали на крыше и так закрывали дом, что с улицы его не разглядишь — видна была только вывеска типографии над крыльцом, похожим на вход в пещеру.

Я топтался на асфальтовой дорожке, ведущей с тротуара к крыльцу, искал пень, который должен был остаться от этого исчезнувшего гиганта, но и пня не нашел. А тополь стоял перед глазами как живой, и казалось, что с его оледеневших и оттаивающих на мартовском солнце ветвей падает мне за шиворот капель — это было до того живое воспоминание, что я даже поежился.

Не раз в ту весну, выходя из типографии на крыльцо, я не знал, куда кинуться, у кого просить помощи.

В типографии работало всего два человека: заведующий, он же наборщик, и печатник. Печатник был всю весну болен, а с заведующим, который сам и набирал газету, и управлял ее в машину, мне было горе. Он часто запивал и в буйстве, поднимая над головой набранную полосу, кричал:

— Ставь, редактор, пол-литра, а то сейчас расшибу набор о твою башку!

Жаловаться на него было бесполезно — единственный наборщик в городе. Зайчиков разводил руками.

— Посадить его недолго,— говорил он,— но кто будет вам газету набирать?

И все мои горестные размышления на крыльце типографии обычно кончались тем, что я кидался в магазин и, вернувшись с бутылкой, слезно умолял моего тирана, чтобы опустошил ее не всю за один раз.

— Кого ищите? — спросила женщина, появившаяся на столь памятном мне крыльце.

— Помнится, что здесь был большой тополь, а сейчас даже пня от него не вижу,— сказал я.

— Был, был,— подтвердила она.— Такой большой, что корни его дом стали поднимать — пришлось спилить, а то в воздух бы поднял типографию.

— И пень выкорчевали? — спросил я.

— Побегу стал давать. Теперь вон во дворе валяется,— показала она, проведя меня за угол дома.

Во дворе среди наваленных кучей дров и брикетов торфа высился на обрубленных корнях-раскоряках огромный комель, похожий на обглоданную кость какого-то ископаемого чудовища. Я постоял перед ним, как перед поверженным памятником былых лет.

— А вас чего интересует это дерево? — спросила женщина.

— Да так, просто вспомнил его,— сказал я.

— Сами-то вы откуда? — поинтересовалась женщина.

Я сказал, что из Москвы, но в тридцатом году выпускал газету в Спасе на Песках.

— В тридцатом году! — воскликнула женщина, посмотрев на меня так, что я сам почувствовал себя глубоким стариком.

Во дворе между тем стали собираться жильцы большого соседнего дома, уже и со второго этажа его спустились по скрипучей лестнице — общительный народ в Спасе на Песках.

— А вы кого ищите? — в свою очередь спросил меня серьезный мужчина, не забывший, выходя во двор, надеть шляпу.

— У кого бы мне узнать адрес редактора районной газеты? — спросил я его в ответ.

— Утром видел его в окно — Илья Ильич пошел на рыбалку,— сказал он. А другой, выскочивший из дому в одной майке, добавил:

— Теперь не иначе, как до вечера просидит на речке.

Ну и прекрасно, обрадовался я. Чем таскаться по городу, пойду-ка и я лучше на речку разыскивать редактора — на рыбалке проще будет познакомиться и разговориться.

— Если срочно нужен, идите в деревню Макрушино, а оттуда берегом реки, там и ищите,— растолковали мне.

Деревню Макрушино я помнил — она была первой на пути из города в Лысую Горку, тоже стояла на бугре, и злые соседи в отличие от Лысой Горки называли ее Вшивой.

Перейдя по кладке заросшую болотной травой канаву, я вышел на пойму и зашагал по ней тропкой, сопровождаемый шумными стайками чибисов, суматошно метавшихся и кувыркавшихся в воздухе над моей головой с таким пискливо-жалобным и возмущенным криком, словно я был первым человеком, который осмелился вторгнуться в пределы их зольного птичьего царства.

Город с торчавшей над крышами пожарной вышкой остался позади, а впереди до самой деревни Макрушино, притулившейся на своих песчаных буграх у далекого соснового бора, кроме чибисов, не видно было никого ни на земле, ни в небе. Всю дорогу не оставляли они меня в покое. Тропка местами исчезала в мочажинах, а когда я, обходя их, делал загогулины по лугу, чибисы кидались за мной, кружились и чуть не под ноги бросались с негодующим криком, так что я уже начал раздраженно отмахиваться от них плащом, который нес на руке.

Макрушино все время маячило у меня на виду. Эта деревня помнилась мне голыми песчаными лысынами на пологих скатах своих бугров, старыми, кривобокими, расщепленными и опаленными грозой ветлами в овраге, который делил ее неприятную, без ворот и заборов улицу на два конца. Особенно памятна была мне одинокая избушка, стоявшая на отшибе от деревни, под бугром, в устье оврага, спускавшегося в пойму.

Проходя как-то со своим помощником Васей в наш подшефный колхоз через Макрушино, я услышал истошный, душу раздирающий бабий крик и страшный рев коровы, доносившиеся из оврага. Мы свернули в него с улицы посмотреть, что там происходит. От одинокой избушки под бугром поднимался тропинкой рослый парень в буденновском шлеме, тянувший за собой в гору на веревке, перекинутой через плечо, корову. А баба, повисшая на хвосте коровы, тянула ее назад, под гору.

Баба кричала, что не отдаст она свою кормилицу на общественный двор, хоть убей, не отдаст. Парень тянул корову за рога, хозяйка тянула ее за хвост, корова ревела, и дети, бежавшие за матерью, ревели, а хозяин молча стоял под горой у своего двора — его хата с краю, он хоть и записался в колхоз, но вербовщик, приехавший из города, уже завербовал его на ударную стройку пятилетки — в кармане и аванс и договор. А за бабу свою он не ответчик. Ну что с ней поделаешь? Известно — темнота, несознательность, дурость одна деревенская.

Когда в своих странствиях газетчика по деревням я пытался на собраниях или в невзначай завязавшемся на улице разговоре растолковать бабам, какие выгоды сулит крестьянству коллективное ведение хозяйства, при котором только и возможно будет применение недоступных единоличнику машин, весь разговор здесь обычно сводился к корове. «Так-то это так, — соглашались они, — но без коровы с детишками у нас не проживешь».

Мой помощник в такие разговоры с бабами не вступал.

— У кого на дворе есть скотина, тот и сам живо превращается в скотину, а скотина, как известно, признает только палку или кнут, — говорил он мне.

Вася признавал в деревне за людей одну голь перекатную, не имевшую ни двора, ни кола. Однако, когда нам с ним приходилось вместе заночевать в деревне, он всегда выбирал двор, где и скот был и птица, и как только не обхаживал хозяйку, чтобы она не поскупилась на яйца и кувшин с молоком поставила на стол побольше, — при своем аппетите Вася всегда был зверски голоден.

Вспоминая под жалобный крик метавшихся надо мной чибисов все эти давние разговоры о корове, я вдруг оказался возле одиноко стоявшего на краю поймы домика — у той самой избушки под песчаным бугром. Отсюда мне нужно было свернуть к опушке молодого сосняка — там уже сверкало на крутой излучине зеркало реки, на которой где-то сидел с удочкой нынешний редактор спаснапесковской газеты, но я не мог пройти мимо знакомой избушки, не посмотрев, живет ли там еще кто-нибудь. Вокруг никого не было видно, кроме привязанной неподалеку комолой коровы.

Избушка казалась заброшенной, но, подойдя к ней поближе, я увидел цветущие в палисаднике мальвы и свежие тесины, которыми была обита высокая, под самые окна, завалинка избы.

Глянув через палисадничек в окно, я увидел прильнувшую к стеклу старушку — она тоже глядела на меня. Прошел два шага и снова встретился с ней взглядом — она смотрела уже из второго окна. Завернул за угол, чуть покосился на третье окно и краешком глаза опять увидел ее, уткнувшуюся носом в стекло. Ну, раз хозяйка заметила меня и мечется от одного окна к другому, то надо зайти — воды попить попросить, что ли. А то долго будет беспокоиться, чего это чужой человек похаживал вокруг ее избы, но не зашел, подумал я, и только хотел войти в калитку, как хозяйка сама высунулась из нее, и мы столкнулись с ней нос к носу.

Бабка оказалась шустрой, разбитной.

— Гляжу в окно — идет человек из города, а куда — не смекну, — первой заговорила она. — Шел тропкой, а потом влево стал забирать, прямо по лугу, к болоту по кочкам прыгать, плащом кому-то машет, а никого на лугу не видеть.

— Сбился с тропинки, на избушку вашу загляделся, — сказал я.

— А чего на нее глядеть-то? Экая невидаль!

— А мне вот запомнилась.

Так, слово за слово, и минуты не прошло, как мы добрались до тридцатого года, и она заахала:

— Ах ты батюшки! Ах! Ах! Ну как же мне не помнить! Все наскрозь помню. В тот день, когда корову у нас свели со двора, мужичок мой лататы задал, одну оставил с двумя малолетками на руках. Ах, что было!

Ахает, руками всплескивает, головой машет — все, все помнит, а глаза смеются. И я посмеялся над тем, что было и сплыло, а потом посмотрел на ее старенькую, похилившуюся избушку и спросил, что же это она все еще живет тут, у оврага, возле болот — пора бы наверх перебраться, поближе к людям.

— А нам и здесь неплохо, — сказала она. — Сколько годов одна прожила. Сын с войны не вернулся, дочка замуж вышла, в Москву уехала, а муж как убёг в тридцатом году, так с того самого времени никаких вестей о себе не подавал. Раз только один наш макрушинский плотник встретил его где-то аж в Азии, так он прислал с ним кулек конфеток. Это еще в тридцать третьем году было. А после того и слуха о нем не было. Думала, давно уже в живых нет, и все гадала: на войне погиб или же в заключении. А он позапрошлым летом заявился домой живой и здоровый. В город ходила за хлебом, вернулась, гляжу — на крылечке кто-то поджидает меня. Голову вот так положил набок, подпер ее рукой и смотрит на меня. Остановилась я в калитке, гляжу — будто и знакомый, но не узнаю. А он не поднимается, сидит себе на крылечке, посмотрит на меня, опустит глаза и снова посмотрит, ровно сомневается, хозяйка это вернулась или кто посторонний заглянул. Боялся, что не приму его, палкой погоню со двора. Тридцать пять лет шатался по свету, куда его только нелегкая не носила, двух жен сменил, а все-таки вернулся к своей старой, деревенской. Теперь у нас в Макрушине смеются, говорят: бабка Маня и дедка Филя как молодые живут, словно только повенчались. Вон он, блудило мой старый, идет! — (Краем поймы, растянувшись цепочкой, шли бабы и мужики с косами на плечах.) — На обед с сенокоса идут, — сказала бабка Маня и поделилась со мной еще одной радостью: — Ныне у нас с сенокосом-то как хорошо порешили на правлении! Каждому по делянке выделили — половину себе коси, половину — колхозу. Слава богу, додумались наконец! — сказала и спохватилась: — Да что же это я с вами заговорила, а корова еще не доенная...

Идя к реке, я разминулся на тропке с возвращавшимися с покоса косарями. Шли совсем еще молодые парни и девушки, а мужик в пожилых годах встретился мне только один — значит, этот самый Филя. Посмотрел я вслед ему, но думал не о нем, а о бабке, которую он осчастливил своим неожиданно-негаданным возвращением в деревню.

Сколько таких бобылок, брошенных своими мужиками еще в начале тридцатых годов, встречал я уже в деревнях. С кучей полуосиротевших детей тянули они на своем горбу колхозы, и одну только заповедь внушали мы им — прежде всего расплатись с государством, и они расплачивались и по поставкам, и по госзаймам, и по налогам.

Как же это случилось, что бабка Маня дождалась своего мужика, что его на старости лет потянуло в давно забытую деревню?

Задумавшись, я шел берегом реки Дры, разыскивал сидевшего где-то с удочкой редактора.

Когда идешь берегом реки, которая течет в лугах, и все время — то справа или слева от тебя, то впереди или позади, соответственно капризным извивам реки,— видишь городскую пожарную вышку, разве придет в голову, что тут можно заблудиться? Но пойма Дры с ее бесчисленными старицами и заглохшими в болоте протоками коварна, и заблудиться в ней так же легко, как в глухом лесу.

Только что рядом текла полноводная, чистая, переливающаяся на солнце серебристой рябью река, и вдруг она исчезла, точно под землю ушла, и я стою на берегу заросшей осокой, затянутой ряской и тиной канавы. Впереди — кладка: два скрепленных скобами бревна. Перехожу по ней на другую сторону канавы, гляжу вокруг — ищу исчезнувшую у меня из-под носа реку, но вижу только одни копешки и стога сена на выкошенном лугу. А ведь речка где-то рядом — свернула на излучине, которую я не заметил, задумавшись, сделала петлю и сейчас вернется назад, решил я и зашагал тропинкой, вившейся от кладки куда-то дальше лугом. Шел и снова думал об этой истории с коровой.

К действительности меня вернуло зачавкавшее и захлюпавшее под ногами болото. Пока я выбирался из него, туча закрыла солнце, и сразу же пошел дождь, будто крупной дробью ударило по земле.

Пожарная вышка, служившая мне маяком,— единственный ориентир, по которому я мог определить свое местонахождение,— исчезла в дождевой мгле. Насквозь промокший, я долго блуждал в лабиринте непроточных стариц и заболоченных луговин. Перебирался по скользким бревенчатым кладкам с одного берега на другой и снова выходил к бревну, с которого только что чуть было не свалился в воду.

Когда дождь прошел и солнце снова вышло из-за туч на сразу же расчистившееся до горизонта небо, я увидел высокие сосны на песчаном бугре, под ними — крутую излучину реки и на излучине, у воды, что-то белевшее и трепетавшее, как парус.

Минут через десять я вышел к туристской палатке, только что поставленной на другом берегу, под старой ивой.

Туристов было двое, оба мокрые, словно только что вылезли из воды. Мужчина в трусиках, сидя на корточках, натягивал полотнище палатки на колышки, а женщина в оранжевом купальнике и резиновой шапке затаскивала в палатку рюкзаки и чемоданы.

Ну, конечно же, это та самая пара, что сегодня утром примчалась из Москвы на автоэкспрессе,— я узнал их по рюкзакам и чемоданам. А вон на песке, у самого берега, и тот длинный мешок, несомненно с разборной байдаркой, который они поволокли по площади, сойдя с автобуса. И как это они дотащились сюда со всем своим спортивным скарбом? А местечко облюбовали на диво славное: узкий песчаный мыс на крутой излучине реки, позади густой лозняк и старая ива, прикрывающая палатку со стороны луга, а впереди, за рекой, сосновый бор на горе. Видно, знали, куда ехали, бывалые туристы.

Искать редактора у меня уже пропала охота. Да и надо было прежде всего просушить одежду. Оставшись в одних трусах, я развесил все остальное по кустикам, а потом хотел закурить, но спички отсырели. Сколько ни чиркал, ни одна не зажглась: вспыхнут, задымят и мгновенно погаснут.

— Ловите! — услышал я вдруг голос с другого берега, и под ноги мне шлепнулся коробок спичек с подсыпанным в него для тяжести песком.

На том берегу с удочками в руках стояли туристы. Мужчина, бро-

сивший мне спички, разматывал удочку, а женщина уже насаживала на крючок наживу.

Я поблагодарил их за спички и спросил:

— На турбазу приехали?

— Ехали, да не доехали,— ответила женщина, намекая, видимо, на то, что от города пришлось тащиться пешком.

А мужчина сказал:

— У нас тут своя собственная турбаза.

Закинув удочки, они устались на поплавки.

Я пошутил:

— Говорят, что рыба давно уже ушла из рек в Атлантический океан и нынче там ее только ловят.

— Нет, язь здесь пока еще хорошо берет,— сказал мужчина.

— Уже бывали в этих местах? — спросил я.

— Живем в Москве, но туристы, можно сказать, местные, макрушинские. Вокруг своей деревни путешествуем уже не первый год.

Поплавок его нырнул, он подсек и выбросил на берег хорошего подъязка. Поклевка следовала за поклевкой, и каждый раз если не на берег, то в воду шлепался подъязок граммов на сто, а то и побольше. Давно уже не видел я такой добычливой рыбалки, но все же меня интересовала не столько рыбалка, сколько рыболовы — почему же это они, приезжая из Москвы в свою родную деревню, селятся не в ней, а в палатке на реке, и когда клев затих, я спросил их:

— Вокруг своей деревни путешествуете, а в деревню не заглядываете?

— А чего мы там не видели! — сказала женщина.

— Ну и все-таки родные места,— сказал я.

— Ох уж мне эти места! — вздохнула она, взяла ведро с рыбой и пошла уху варить — как и следовало ожидать, на портативной газовой плитке с баллончиком.

Муж ее остался на берегу — воткнул удилище в песок и в ожидании поклевки сел, закурил. Я тоже закурил, и мы с ним, разделенные рекой, которая здесь, под горой, течет узким глубоким руслом, понемногу разговорились.

Начали с Москвы — оказалось, что там мы чуть ли не соседи,— а потом разговор сам собой привел нас к тридцатому году.

— С того самого времени семнадцать лет с женой и детьми врозь жил,— пожаловался он мне.— У всех тогда семейная жизнь пошла кувырком. Ну куда возьмешь семью, когда на стройплощадке одни котлованы, а вокруг дикая тайга? Потом можно было взять, обещали мне на Кузнецкстрое комнату в семейном бараке, но к тому времени в колхозе жизнь стала налаживаться, жена снова корову купила. А меня почетной грамотой наградили и путевку дали в Москву на курсы десятников — ну как отказаться? Проучился год в Москве и там же остался на работе. Приезжаю в деревню, зову жену: «В столице будем жить, комнату дают». — «А с хозяйством как?» — спрашивает. «Да плюнь ты на него, говорю, какое у тебя хозяйство — одна корова». — «А изба?» — «Все продам». — «Нет, говорит, знаю, как в городе люди живут. Тут картошка своя, молоко свое, а там же все за деньги». Так до войны и не уговорил. Только война помогла да первые послевоенные годы, когда тут в колхозе разорение началось. А теперь все наоборот повернулось,— сказал он.— Скоро мне на пенсию выходить. Вот я и думаю: чего нам детей стеснять в московской квартире? Купить бы избу в Макрушине или в Лысой Горке, но жена...

Он не договорил. Жена, услышав наш разговор, вышла на берег и вызывающе подбоченилась.

— Ну что вы скажете? — с негодованием обратилась она ко мне. — Сдурел человек на старости лет — больше ничего не скажешь. Вы подумайте только — московскую прописку хочет потерять! — вскрикнула она вдруг, зло плюнула в реку, повернулась и ушла совсем так, как в тринадцатом году здешние бабы уходили с собрания, расплевавшись.

— Видите, как в Москве перевоспиталась? — усмехнулся ее муж, бывший макрушинский плотник. — В палатке согласна жить, а в избе никак.

И он стал хвалить здешние места — реку, озера, леса, а больше всего то, что тихо, народу мало, летом только дачники наезжают из Москвы, охотники и рыболовы.

На обратном пути, выйдя к макрушинским буграм, я увидел бабку Маню и дедку Филю, сидевших на скамеечке возле своей избушки с высокой, обшитой свежим тесом завалинкой. Бабка, оживленно размахивая руками, о чем-то толковала дедке, а тот слушал и задумчиво похлопывал ее по коленке, будто поддакивал: так, мол, верно, верно говоришь.

После встречи с московскими туристами, путешествующими вокруг своей родной деревни, но не заглядывающими в нее, приятно было посмотреть на этих заново начинающих здесь жить стариков. Приятно было и то, что возле их избы — теперь уже по другую сторону ст нее — паслась на длинной привязи корова.

С дедкой я и словом не перекинулся, но мне казалось, что я все, все знаю и о нем, и о его бабке.

Помню, как однажды мы с Васей, походив по деревням и набравшись свежего материала, засели за работу в своем клоповнике над чайной, в которой все еще помещалась наша выездная редакция.

Впрочем, нельзя сказать, что Вася засел, — не засел он, а завалился на койку. Задрал ноги на ее спинку, он грыз карандаш в тяжелых муках стихотворства и, так как вдохновение его уже покидало, между делом охотился на клопов. А я строчил передовую о левацких перегибах, допущенных на местах, в том числе и в Спаснапесковском районе. Пришлось мне коснуться в ней и вопроса об индивидуальной корове — можно ли ее обобществлять, если корова эта единственная в крестьянском хозяйстве.

Из статьи Сталина я понял, что обобществление всего молочного скота — головотяпство. Да и уполномоченный обкома Волошин хотя и не так определенно, но все же предупредил меня, что с обобществлением молочного скота надо быть поосторожнее, а то можно впасть в опасные заскоки. Вот я, поразмыслив, и решил, что теперь в этот вопрос внесена полная ясность — если у крестьянина одна корова, то сводить ее со двора нельзя. Так категорически и написал.

— Шалей-валяй, исправляй ошибки, — пробурчал Вася, когда я прочел ему свою передовицу.

У Васи по этому вопросу было особое мнение. Он предпочитал пропускать мимо ушей все, что говорилось тогда о левацких перегибах. Объясняя это исключительно его стихийностью и слабой политической подкованностью, я посоветовал Васе еще раз повнимательнее прочесть статью Сталина. На это он ответил:

— Прочесть — дело простое, но чтобы понять, где собака зарыта, нужно иметь пролетарский нюх, — явно намекая на то, что, поскольку он человек пролетарского происхождения, у него этого нюха побольше, чем у меня.

— Ну, а где же, по-твоему, собака зарыта? — спрашивал я.

— В навозе, — отвечал он. — Пока у бабы на дворе есть корова, ее

ни за какие коврижки не уговоришь работать в колхозе,— твердо стоял он на своей позиции.

Я решил на всякий случай посоветоваться в райкоме. Неудобно было обойти Чеусова, и я принес передовую ему.

— Ну как? — спросил я.

Чеусов ничего не сказал. Прочитав передовую, он помчался с ней в кабинет секретаря, но тотчас выскочил назад — вероятно, Зайчиков, будучи очень занят, турнул его — и снова стал читать, потирать лоб, почесывать за ухом, а потом вдруг, заметавшись глазами по столу, схватил какую-то бумагу и скрылся в другой комнате. Вернувшись, он опять принялся было читать, но тут же, заерзав на стуле и хлопнув себя по лбу, стал шарить в ящиках своего стола. В конце концов он повертел пальцем у себя под носом и жалобно развел руками, показывая тем, что сегодня так замотался, что ничего уже не соображает, а затем выскочил из-за стола, схватил пальто, кепку и улетучился из райкома, прежде чем я успел раскрыть рот. Ну, раз так замотался, так и бес с ним — прочтет завтра в гранках, легкомысленно подумал я, но Чеусов, всегда забегавший за гранками, на этот раз не забежал.

Выпустив газету, я опять отправился в поход по деревням за материалом к следующему номеру, а заодно и забросить свежий номер в попутные сельсоветы. На другой день, когда я вернулся в город, мне встретился на улице только что спустившийся с райкомовского крыльца уполномоченный обкома.

— А вот и вы, голубчик! — радушно распахнув руки, остановил меня Волошин. — Зайчиков вас разыскивает. Пойдем вместе поговорим, — сказал и, повернувшись назад, взял меня под руку, отчего я сразу почувствовал, что разговор с Зайчиковым не сулит ничего хорошего и уполномоченный обкома хочет меня приободрить. В райкоме, оставив меня у дверей секретарского кабинета, он сказал:

— Идите, я сейчас, только Чеусова позову.

Зайчиков сидел в кабинете один и что-то быстро писал своим косым почерком — со стороны казалось, что не пишет, а сердито зачеркивает, вернее заштриховывает, чтобы разобрать нельзя было что-то уже написанное на бумаге. Обычно, кто бы к нему ни вошел, он не стрывался от дела, пока не закончит его, — даже кивком головы не всегда покажет на стул. Но на этот раз, подняв голову и увидев меня, он сразу же швырнул ручку на стол, и так, что она покатилась, измарав бумагу чернилами.

— Ну-ну, — сказал он, откинувшись на спинку стула и убийственно глядя на меня такими же круглыми, как его бритая голова, глазами. — Интересно, каким это местом вы думали, когда писали свою статейку? Этим или этим? — Он сначала постучал себя по лбу, а потом, подскочив, по заду.

Услышав, что в кабинет вошел Волошин, я обернулся к нему, ожидая, что, может быть, он объяснит, в чем дело, но Волошин, устало развалившись в кресле, смотрел на свою зажатую в кулак бороду, словно погрузился вдруг в какие-то размышления и ничего уже не видит и не слышит.

Зайчиков сокрушенно вздохнул.

— Нет, я вижу, вы ничего, ничего не понимаете.

— Да, — сказал я, — ничего не понимаю. Если речь идет о корове, то товарищ Сталин пишет, что корова...

— Вы слышите?! — прервал меня Зайчиков, обернувшись к Волошину. — А что я говорил? Вот как изволят у нас понимать товарища Сталина!

— Да-а! — протянул Волошин с грустью в голосе. — Выпустив из кулака и разгладив бороду, он сказал мне: — Садитесь, потолкуем, —

и стал терпеливо втолковывать мне, что вопрос о корове чрезвычайно сложный и тонкий, тем более в таких районах, как Спаснапесковский, и решать его надо не в общем и целом, а исходя из местных условий и не забывая законов диалектики.

— Диалектика, товарищ редактор, диалектика прежде всего — без нее шага ступить нельзя. Вот вы ссылаетесь на статьи товарища Сталина, и то, что вы ссылаетесь, правильно, конечно, — но обратили ли вы внимание на то, как товарищ Сталин диалектично ставит вопрос о разных условиях в разных районах? Конечно, вы человек грамотный — внимание, может быть, и обратили, но выводов с учетом всех особенностей Спаснапесковского района, его отсталого, нищенского сельского хозяйства не сделали. Искусственное раздувание процентов, погоня за дутыми цифрами — все это у вас верно, и хотя товарищ Сталин нас уже поправил и ошибки эти больше не повторяются, но писать о них можно. А с коровой вы немного напутали.

— Не немного, а так, что я и не знаю, как мы распутаем, — зло бросил покривившийся от досады Зайчиков.

— Я понял товарища Сталина так.. — начал было оправдываться я, но Зайчиков возмущенно прервал меня.

— Ну вот! — воскликнул он с отчаянием, выкинув в мою сторону обе руки: полюбуйтесь, мол, на него — ему толкуют, толкуют, а он ничего не может понять, и как таких людей присылают к нам в порядке шефской помощи!

Чего только не сказал мне его полный уничтожающего презрения взгляд!

— Напутали, напутали, — печально повторял Волошин, а потом тяжело поднялся и снисходительно похлопал меня по плечу. — Ничего, ничего, с кем это не бывает! Увы, ошибки всегда возможны, и это не страшно, надо только своевременно исправлять их. Конечно, жаль, что бухнули в печать, не посоветовавшись ни с кем. Зашли бы ко мне или к товарищу Зайчикову, с Чеусовым поговорили бы..

Чеусов, сидевший у дверей тихо, как притаившаяся мышь, — я не заметил даже, как он вошел и сел на краешек стула, — вскочил и завертелся.

— Помните, как я был тогда занят? Вы пришли, а я на части разрывался — и туда надо бежать, и сюда надо бежать.

— Ладно! — прервал его Зайчиков. — Беги вот сейчас и объясняй всем, кому газета попала в руки, что редактор напутал.

— Бегу, бегу! — заспешил Чеусов.

— Хорошо еще, что газета попала только в два сельсовета, — сказал Зайчиков, берясь уже за ручку, которую он так яростно отшвырнул от себя, когда я вошел.

«Два сельсовета — это те, куда я сам отнес, а где же остальной тираж?» — подумал я и, выйдя из райкома вместе с Волошиным, спросил его об этом.

— Зайчиков успел задержать на почте, — сказал он с чуть заметной улыбкой.

— Так же как и «Правду» со статьей Сталина! — невольно вырвалось у меня.

— Давайте не будем вспоминать об этом — дело уже прошлое, — сказал Волошин и взял меня под руку. — Пойдемте, проветримся немножко. — А потом, потянув носом воздух, спросил: — Чувствуете запах весны?.. Я вот забыл уже этот запах, не чувствую. А помню, бывало, еще в феврале, чуть закапает на солнышке — как пьяный уже ходишь. Стареть, стареть стал конь ретивый.

Я шел берегом реки, свободно вливающей в просторе поймы, куда ей вздумается, и, вспоминая, как прогуливался в тот весенний день с Волошиным, явственно видел самого себя тогдашнего — шагающего с ним под руку посреди улицы, шлепая по снежному крошеву и мутным лужам в оледенелых по крайним выбоинах.

Оба мы были в русских сапогах, но он в своей короткой кожаной куртке шагал, не глядя под ноги, твердой поступью большого, грузного человека, а у меня в ногах путались намокшие полы нового, неудачно купленного, не по росту длинного пальто, и на льду я скользил, теряя шаг. Мне неудобно было идти с ним под руку — все время боялся, что поскользнусь и повисну на его руке.

С чего вдруг он пожаловался мне тогда на старость? По возрасту он был старше меня всего лет на пять-шесть, а я два года назад сидел еще на студенческой скамье. Его старила только борода и тяжелая шевелюра под Маркса, которая в те годы была для меня первым признаком искушенного в теории партийца.

В город я вернулся вечером, когда идти к редактору на квартиру было поздно, и пошел к нему на другой день утром на работу.

Уже поднявшись на крыльцо редакции, недавно переехавшей в многооконный бревенчатый дом, я увидел в палисаднике молоденькую девушку — она поливала из детской лейки клумбу с цветами перед домом.

— Редактор у себя? — спросил я.

— Илья Ильич ушел в райком, — ответила она.

Скоро ли он вернется, она не могла сказать, и я решил не теряя времени пойти разыскать его в райкоме и на всякий случай — вдруг попадется по дороге — спросил у девушки, по какой примете можно узнать редактора.

— Илью Ильича сразу узнаете по большим очкам, — сказала она.

Идя в райком, я улыбался про себя: вот увижу сейчас человека в больших очках, подойду к нему, скажу: «Здравствуйте, познакомимся, — тридцать шесть лет тому назад я выпускал первые номера газеты, которую вы сейчас редактируете». Вот, думал я, потрясен-то будет встречей на улице со своим столь давним предшественником.

Но на улице я не встретился с ним и в райкоме его не застал.

— Только что был и ушел, — сказали мне.

Я вернулся назад. Та же девушка из редакции, что поливала цветы, теперь вывешивала на застекленной витрине у палисадника свежий номер районной газеты. На мой вопрос, вернулся ли редактор, она ответила:

— Илья Ильич заглянул и ушел в типографию.

Меня не оставляла очень улыбающаяся мне мысль поймать редактора на ходу и сказать: «Здравствуйте» и так далее. Но — увы — и в типографии я услышал то же самое, что и в редакции:

— Был и ушел.

Опять вернувшись в редакцию, я сунулся в первую попавшуюся комнату и увидел пожилого человека, который сидел за столом в одиночестве и водил указательным пальцем левой руки по какой-то длинной бумажке, а правой рукой перекидывал костяшки на счетах. Посмотрев на меня отрешенным взглядом, он ткнул пальцем в угол и снова застучал костяшками. Так как в углу, кроме стула, больше ничего не было, я понял его жест как предложение присесть и обождать, пока он сможет оторваться от своих подсчетов.

Я сидел и, поглядывая на его круглую лысину в венчике уже сильно поседевших волосиков, гадал, что это у него такое не ладится. Добежав пальцами до конца бумажки, он отбрасывал счета, сдвигал очки на лоб,

протирали утомленные глаза, с минутку сосредоточенно смотрел в окно, а потом снова начинал яростно кидать костяшки.

Комната была маленькая — в ней умещались только два вплотную придвинутых один к другому стола со стульями и мой отдельно стоявший стул в углу, — однако мне никак не удавалось попасть в поле его зрения, чтобы напомнить о себе. Улучив минуту, когда он, подняв голову, переводил взгляд с бумажки и счетов на окно, я подсел ко второму, свободному столу и таким образом оказался прямо напротив него, но и это не помогло — взгляд его скользнул обратно к бумажке, не остановившись на мне.

И обижаться было нельзя — так озабоченно морщил он лоб и почесывал загривок. К нему заходили молодые люди из соседней большой комнаты, заговаривали с ним, но он не поднимал головы, а только тряс ею в знак того, что ему сейчас не до разговоров. Ожидание показалось мне безнадежным, и я уже поднялся было, чтобы обратиться к кому-нибудь в соседней комнате, но в этот миг громко стукнула входная дверь в коридоре и в редакцию не вошел, а вбежал маленький человек в больших очках, с румянцем, сияющим на щеках, как яблочки.

Поскользнувшись на свежевыкрашенном и, вероятно, натертом воском полу, он схватился за косяк двери и, быстро, с мальчишеской верткостью повернувшись, оказался в той же комнате, что и я.

— Ну как? — спросил он у шелкавшего на счетах лысого товарища.

— Да вот никак концы с концами не сходятся, — заговорил тот, устало опуская руки.

Из дальнейшего разговора я понял, что речь идет о какой-то ошибке, вкравшейся в сводку о ходе сеноуборки. Понял я также, что передо мной сам редактор, Илья Ильич, заглянувший мимоходом к секретарю редакции, и что, при широте присущего ему, видимо, размаха, он совсем не склонен предаваться терзаниям по поводу такой мелочи, как ошибка в сеноуборочной сводке. И я приготовил уже на лице улыбку, с которой собирался представиться редактору: «Здравствуйте, тридцать шесть лет тому назад» и т. д., но опоздал: он уже исчез в дверях. Я устремился за ним и в растерянности остановился на пороге большой комнаты, где сотрудники редакции успели уже окружить его плотным кольцом.

Ожидая, пока они решат с ним все свои срочные дела, я вспоминал, как и мы в свое время мигом окружали нашего любимого редактора, когда в дни съездов, конференций и пленумов он забегал в редакцию на полчаса, чтобы проинформировать нас о новых веяниях в руководящих кругах нашего профсоюза и дать новые задания, с которыми мы должны будем тотчас куда-нибудь бежать или ехать. Вспоминал, и, конечно, мне было грустно, что я здесь, в редакции нашей некогда дочерней газеты, чужой человек: стою на пороге и не осмеливаюсь зайти в комнату, слушаю и не могу понять, о чем у них там идет горячий разговор, кто такие Галкин и Сливкин, которые скоро должны будут нагреть и которых, как говорит редактор, нужно лучше принять, чтобы не уехали, разбившись на своих соседей.

— Разрешите на минуточку, — сказал я, когда редактор наконец, блеснув на меня своими большими светлыми очками, шагнул в свой кабинет.

— Прошу. — Илья Ильич пропустил меня вперед, сел за свой стол, налег на него грудью и вытянулся над столом поближе ко мне, выражая готовность терпеливо выслушать своего очередного посетителя — точно-точно как наш бывший редактор, о котором я только что растроганно вспоминал.

Побоявшись, что сейчас еще кто-нибудь войдет и помешает, я поспешил предъявить свое командировочное удостоверение, чего не соби-

рался и чего совсем не нужно было делать по задуманному мною плану разговора, который я хотел с места в карьер начать с тридцатого года, когда, можно сказать, сидел на его сегодняшнем месте.

Все получилось совсем не так, как я ожидал. Мельком глянув в мое удостоверение, Илья Ильич заулыбался и заговорил о Москве — сам тоже недавно из Москвы, учился и работал там в газете до прошлого года, — и с московских писателях, которых тянет в Спас на Песках охота и рыбалка.

— Главное, — сказал он, — тут непочатый край живой работы, огромные, не использованные еще возможности развития местной инициативы.

Мы поговорили об этих открывающихся сейчас возможностях и о уже начавшейся кое у кого тяге к родным, давно забытым местам, и я все-таки ввернул как бы между прочим о своей былой деятельности в Спаснапесковском районе. Но мой собеседник и принял это как сказанное к слову, не выразив особого интереса к тому, что было тут в тридцатом году.

— Из старых газетчиков у нас здесь только один секретарь редакции, — сказал он.

Вернувшись к разговору о развитии местной инициативы, он поделился своими обширными планами в этом направлении, а затем сообщил:

— Вот Галкин и Сливкин сегодня приезжают к нам в гости. Знакомы вам эти имена?

Я сказал, что слышал, будто Паустовский в этих местах часто ловит рыбу, а о Галкине и Сливкине пока еще не приходилось слышать.

— Услышите. Способные и подающие надежды ребята. Участники областного литературного семинара, — отрекомендовал их Илья Ильич. — Приезжают к нам в порядке межрайонного обмена литературных сил. Готовим посвященную их творчеству литстраничку и встречу с нашими местными силами. — Он посмотрел на часы. — Вот-вот должны подъехать с автобусом. А у вас какие планы?

Я сказал, что хотелось бы встретиться с организаторами первых колхозов в районе, но не знаю, найду ли уже кого-нибудь.

— Сейчас все узнаете, — пообещал он, вышел из кабинета и вернулся с секретарем редакции, который, видимо, еще не совсем свел концы с концами в сенуоборочной сводке, потому что долго не мог понять, кому и зачем могли понадобиться председатели чуть ли не сорокалетней давности, — только плечами пожимал.

— Да их после столько сменилось, что разве запомнишь, кто когда был?

— Ну хоть кого-нибудь вспомни из самых старых начинателей, — подтолкнул Илья Ильич.

— Самый старый был ежовский председатель, — вспомнил секретарь.

В ежовском колхозе я не раз бывал, коллективизация там проходила с большими перегибами, но дружно — не то что в Лысой Горке, а под баян, гремевший день и ночь в церкви, переоборудованной в комсомольский клуб, и председателем там был лихой парень лет восемнадцати с глубоким шрамом во всю щеку.

— А где он сейчас? — спросил я про ежовского председателя.

Илья Ильич покрутил головой и, несколько удивленно посмотрев на меня, спросил:

— Простите, а с какой стороны вас интересуют наши начинатели?

— Кое-что написать думаю, — сказал я.

— Это хорошо,— сказал он.— Одна беда — уж очень, знаете ли, не типичный наш район, пески, болота... На юге области в колхозах картина уже совсем иная... Ну так как, Тимофей Павлович,— Илья Ильич обернулся к секретарю редакции,— неужели у нас больше ни одного из начинающих не осталось?

Секретарь стал смотреть в окно — думать, вспоминать.

— А тетя Варя? — напомнил я.

— Какая тетя Варя?

— Из Лысой Горки.

— А-а, Варвара Дударь?

— Да, да! — Я вспомнил ее фамилию.

— Так она же не председателем была, а звеньевой, и гораздо позже — о ней уже в конце войны заговорили, когда она взяла обязательство вспахать и засеять на своей корове гектар проса.

В комнату кто-то заглянул, он вскочил и замахал руками:

— Заходите, товарищ Галкин, заходите. А товарищ Сливкин где?

Зашел Галкин, а за ним и Сливкин. Оба молодых, подающих надежды, вошли, как мне показалось, уже с обиженным видом. Редактор занялся ими, и я, чтобы не мешать приему прибывших из соседнего района гостей, потянул секретаря редакции из кабинета.

Мы продолжили разговор в его комнате. Машинально шелкая на счетах, он рассказывал мне, как Варвара Дударь прославилась за войну, вырастив вместе с двумя своими внучками небывалый в районе урожай проса, сколько на корове своей перепахала и вывезла в поле навоза. Когда я потом спросил его: «Ну, а сейчас где она, что с ней?» — он задумчиво посмотрел в окно и, ничего не ответив, вышел куда-то, принес комплект районной газеты за сорок шестой год, полистал его, нашел и показал мне несколько заметок, посвященных тете Варе, — все о том же просе, которое она своим семейным звеном сеяла несколько лет, — и портрет, на котором я едва узнал ее.

— Ну, а сейчас? — напомнил я.

— А сейчас, — сказал он, потер рукой щеку, лоб, повторил: — А сейчас... право, ничего не скажу вам.

— Но жива еще?

— Представьте себе, даже этого не могу сказать. Пошумели мы тогда и как-то совсем забыли о ней. Знаете, как это у нас иногда бывает? Сейчас позвоним в Лысую Горку.

Он позвонил, спросил:

— Варвара Дударь жива еще? — И, положив трубку, сказал мне: — В прошлом году померла в возрасте восьмидесяти трех лет, а сын ее, пенсионер, недавно в деревню вернулся из Ташкента.

Эту поездку в Спас на Песках я задумал еще лет десять назад, когда пришло время поглядеться вокруг, поразмыслить о пережитом и вернуться к кое-чему, давно уже забытому. Задумал и из года в год все откладывал, и не столько по недосугу, сколько потому, что все казалось — чего-то еще не хватает мне для такого путешествия, чего-то надо еще обождать, что-то еще должно проясниться. А минувшим летом как-то вдруг решил, что откладывать больше нечего, пора уже — жизнь-то ведь не вечная!

Теперь мне было очень жаль, что я медлил с этой давно задуманной поездкой.

Я шагал в Лысую Горку по той же дороге, по какой шел туда первый раз зимой тридцатого года вместе со своим редактором и его заместительницей следом за санями, на которых тетя Варя везла наше красное знамя.

Я шел лесом — то мелким, недавней посадки сосняком с большими, прожаренными солнцем песчаными полянами, голыми, как речной пляж, или чуть поросшими сухим лишайником, то старым бором, изрезанным оврагами и буграми, похожими на древние могильники.

Послымешься на бугор, что повыше, и в просвете леса между высоких сосен увидишь далекую, тускло-свинцовую водную гладь — какое-то большое озеро. Другой бугор — и опять из-за гряды леса блестит свинцовая вода. То ли это озеро или другое — не поймешь: всюду озера. Красивые, суровые, безлюдные места.

Последний раз я был в Лысой Горке в день выхода нашего подшефного колхоза на весновспашку. По этому случаю из Москвы приехал в Спас на Песках фоторепортер, который впоследствии под именем «Сеня ах ты Сеня» стал известен всему газетному миру как непревзойденный арапских дел мастер. Тогда звезда его еще не взошла, но обещания были большие.

— Пешком? — спросил Сеня, осоловело заморгав, когда я чуть свет разбудил его в гостиничном номере, чтобы идти в Лысую Горку. — Да что мы, мальчики? Ой-ой! Ай-яяй! — простонал он в изнеможении. А потом молча одевшись, спросил: — Где тут телефон? Для чего тут телефон?

— Безнадежное дело, тем более в такую рань, — предупредил я.

— Посмотрим, — сказал он.

Мы пошли к телефону вместе. Сеня вызвал квартиру секретаря райкома.

— Товарищ Зайчиков? Ах, спит еще! А нельзя ли разбудить? Я приехал из Москвы по специальному заданию Центрального комитета.

— Да ты что, спятил? — Я стал вырывать у него из рук трубку.

Сеня оттолкнул меня, вынул из кармана кожаную с золотым тиснением книжечку нашего редакционного удостоверения, раскрыл ее и сунул мне под нос.

— Читай первую строчку сверху. Чей мы орган?

Первая строчка сверху, напечатанная крупным шрифтом, гласила: «Центральный комитет», а ниже шрифтом поскромнее следовало: «профессионального союза».

Зная Зайчикова, я был уверен, что с ним у Сени ах ты Сени этот номер не пройдет, и, чтобы не краснеть за него, ушел подальше от телефона. А через полчаса к чайной подкатил райисполкомовский тарантас в парной упряжке, и Сеня ах ты Сеня сказал мне:

— Садись и держи выше свою редакционную марку.

Неловко мне было перед тетей Варей. Она ходила в город пешком, чтобы лошади к весновспашке набрали сил, а шефы прикатили к ней на паре.

У несокрушимой каменной глыбы царского памятника, стоявшего напротив сельсовета, уже собирался народ — подходили бабы, старики, ребятишки, вытягивались в ряд посреди широкой улицы, чтобы всем было видно, как колхоз будет торжественно выходить на полевые работы.

А в колхозе было всего полтора десятка солдатских вдов, стоявших кучкой во главе с тетей Варей, да Евстигней Игнатьевич, прятавшийся позади них. После того как большинство подавших заявления в колхоз выписалось из него и за это никого не раскулачили, он махнул на все рукой и даже избы-читальни больше не открывал — сказал, что будет работать в колхозе плотником, строить скотный двор, но для этого надо сначала создать строительную бригаду, а как ее создать, если все мужики уехали на заработки. Сомневался, очень сомневался Евстигней Игнатьевич, что коллективизацию можно провести в добровольном

порядке, и, по всей видимости, ожидал, так же как и мой Вася Колючий, к чему приведут все эти разговоры о левацких заскоках и перегибах. Поэтому и прятался за спины колхозниц. А они выталкивали его вперед — надо же было показать единоличникам, что хоть и дурной, но все же есть у них в колхозе мужик.

— А где трактор? — поглядев вокруг, испуганно спросил Сеня, как только мы слезли с тарантаса.

Тетя Варя показала на стоявших в ряд лошадей, запряженных в телеги, на которых лежали плуги.

— Вот все наше имущество тут.

— Ладно, — решил он, почесав затылок. — Трактор мы вам уже как-нибудь монтируем. Давайте сюда знамя!

Тетя Варя пошла в сельсовет за нашим шефским знаменем, почти два месяца простоявшим в углу в ожидании этого торжественного дня, а Сеня ах ты Сеня не теряя времени начал расставлять людей на улице для фотографирования: пятился, присаживался на корточки, ложился на живот, примеривался объективом и махал рукой направо и налево, показывал, куда кому передвинуться.

— Обожди... — спохватился я, — тут же не одни колхозницы. Перепутаешь их с единоличницами — какую же подпись дадим?

— Нашел о чем думать! — отмахнулся он. — Что, у них на лбу написано, кто они такие? Мне кадр нужен, а не подпись.

Он перетасовал всех, как колоду карт, но, когда тетя Варя вышла из сельсовета со знаменем, колхозницы снова сбились в кучку вокруг своей председательницы.

— Нет, это несерьезно получается, — сказал Сеня, отведя меня в сторону, — нельзя же, чтобы в кадре одни старухи были. Да ты посмотри на них — все с ног до головы в черном, как вороны. Кому это нужно? Что я снимаю: праздник первой колхозной борозды или похороны?

Я посмотрел: действительно, все колхозницы, как одна, во всем черном — пожилые уже. Как я раньше не подумал об этом? Опять подвела нас тетя Варя.

Нельзя было не признать, что Сеня прав. Но что же делать? Желающих сняться было много, и ничего не оставалось другого, как воспользоваться этим. Но когда Сеня снова начал энергично перетасовывать старых с молодыми, тетя Варя решительно запротестовала:

— Нет, так мы не согласны. Кто не записался в колхоз или кто записался, а потом выписался, с теми мы сниматься не желаем. Снимайте их отдельно, если хотите.

И все ее старые активистки, ликбезовки, как их называли в деревне, дружно поддержали свою председательницу:

— Не согласны. Не желаем. Пусть отдельно фотографируются.

А тут и единоличницы надвинулись и зашумели.

— Ах, какие барыни стали, как в колхоз вступили! К ним из города на тарантасе приезжают, на карточку их снимают — к ним близко не подходи теперь! — разъярились они и по здешнему обычаю стали громко плевать.

— Идем! — скомандовала вдруг тетя Варя. Подняла на плечо знамя и понесла его.

Колхозницы двинулись за ней плотной кучкой.

Заскрипели телеги — наши подшефные пошли на весновспашку, оставив нас посреди улицы в растерянности: то ли бежать за ними, то ли сидеть на райисполкомовский тарантас.

— Вот она, темнота-то бабья, — забубнил у меня под ухом Евстигней Игнатьевич. — Попробуй сладить с этим сословием по-доброму. Ни сознательности, ни уважения к людям нет никакого.

На пахоту с колхозом он не пошел: гордость не позволяла ему пойти с бабами на одну работу. Не один он, а большинство здешних мужиков в своем деревенском хозяйстве признавало только сенокос — ходить за плугом считали ниже своего достоинства.

Пока Евстигней Игнатьевич жаловался мне на женское сословие, Сеня куда-то пропал. Я увидел его, когда он, уже обогнав шествовавших под знаменем колхозниц, пятился перед ними и нацеливался на них «лейкой», стремглав бежал вперед и, повернувшись, снова припадал на колено. Потом он снимал их еще с хлипкой, гнувшейся под ним рябины.

Часа три шел я не торопясь, вспоминая наш бывший подшефный колхоз и эту старую, много раз исхоженную мною дорогу, которая казалась мне совсем незнакомой, потому что леса здесь уже не те — где были старые, сейчас молодые — и потому что река Дра, давно уже изменившая свое русло, местами подходит к самой дороге, а раньше ее отсюда не видно было.

Но Лысую Горку я сразу узнал, когда вышел из соснового бора на прямую, широкую и длинную деревенскую улицу с каменной глыбой посередине. Так и не справились лысогорцы с этой глыбой. Подолбили, подолбили да бросили, а теперь и забыли, откуда она взялась.

Лысая Горка сейчас — центр крупного колхоза, и по сравнению с глухими деревушками, через которые я проходил, это многолюдное село с молодыми фруктовыми садами, штакетными палисадниками и тремя новыми, большими, четырехквартирными домами.

Сына тети Вари, Савелия Федотовича Дударя, я застал на огороде, подвязывавшего к палкам кусты помидоров. Ему уже за шестьдесят. Как и большинство местных уроженцев, человек он низкорослый, шупленький, но держится степенно, с тем особым чувством собственного достоинства, какое и раньше, за редким исключением, отличало в спаснапесковских отходнических деревнях мужской род от женского.

Поздоровавшись с Савелием Федотовичем через плетень, я сказал, что мне нужно с ним поговорить. Он не спросил, по какому делу я пришел, сказал только:

— Одну минуточку, сейчас выйду к воротам.

Я присел на скамейку у ворот. Скоро выйдя из калитки в одной майке, он молча сел рядом и закурил.

Мимо пустырем прошла к реке какая-то компания мужчин в шелковых пижамах и женщин под цветными зонтиками. Странно было увидеть их здесь, пройдя десять километров почти безлюдной лесной дорогой.

— Что это у вас, дом отдыха или санаторий где-то поблизости? — спросил я.

— Какая тут санатория, — сказал он.

— А что это за отдыхающие?

— Москвичи, к родным в отпуск понаехали. И я вот поджидаю из Москвы сына с женой. Сегодня должны прибыть, если, конечно, машину не поломают в дороге. Только что купили. Старенький «Запорожец», но все же тысячу отдали. Деньги не маленькие... А вы сами откуда? — наконец позволил он себе поинтересоваться.

— Из Москвы, хотел вашу матушку повидать, но оказывается, она уже умерла, — сказал я.

— Второй год как померла. Я и сам не застал ее, приехал — уже похоронили. А вам чего ее надо было?

— Да просто поговорить хотел, знал ее, когда она председательницей колхоза была.

— Звеньевой, — поправил он.

— Да нет, председательницей, — сказал я.

— Когда же это?

— В тридцатом году бывал у нее.

— А, тогда еще! Я и позабыл об этом. Меня здесь с двадцать девятого не было. В Ташкенте уже на фабрике работал... Слыхали, какой у нас на днях новый толчок был?

— Где у вас? — не понял я.

— В Ташкенте, — ответил он. — Вовремя мы с супругой уехали. — И заговорил о землетрясениях, ураганах и наводнениях, которыми так обилён был минувший год. — И что это природа вытворяет? С чего взбесилась? Не от атома ли все пошло? А может быть, от солнечных пятен?

Чтобы отвлечь Савелия Федотовича от этого научного разговора, я спросил его:

— А вы почему из Ташкента уехали? На родину потянуло?

— Да мне и в Ташкенте неплохо было, оклад получал приличный, но поскольку на пенсию вышел, чего мне в городе проживаться, когда в деревне есть своя наследственная изба? Поработал на государство, теперь могу и отдохнуть. Да и к сыну поближе.

Я посмотрел на наследственную избу Савелия Федотовича — та ли это, в какой я бывал у тети Вари, — и спросил его:

— От матери унаследовали?

— Младшая покойная сестра оставила. Перед войной построилась с мужем, а муж на войне погиб.

— А где изба, в которой мать жила?

— Матушка свою избу старшей внучке отдала на своз в город. А себе клетушку оставила — пристройка у нее была маленькая. И ее уже нет — в прошлом году снесли, когда большие дома строили для механизаторов.

Вспомнив кучу детей, которых воспитывала тетя Варя, я спросил, где они все — ее внучки, внуки, племянница.

— Знаете, как сейчас: образование в деревне получают и в город едут работать, — сказал Савелий Федотович. — Что молодым людям в деревне делать? Матушка моя давно уже одна жила... — добавил он. — На огороде цветочки разводила. Последние годы, говорят, очень прирастилась к ним. Нарвет букетик, в кино пойдет и какой-нибудь девочке преподнесет. — Савелий Федотович заулыбался, но очень сдержанно, снисходя к этим слабостям покойной матери, а потом, постучав пальцем по лбу, сказал:

— Наверное, тут уже не совсем в порядке было. Склероз. Голова у нее, говорят, сильно дергалась.

— Да-а, — вздохнул я. — Возраст-то какой уже был.

Савелий Федотович тоже вздохнул и пожаловался на колхоз:

— Без музыки похоронили матушку. Одни старушки шли за гробом. — Внимательно посмотрел на меня и спросил: — А вы случайно не корреспондент будете?

— Вроде того, — сказал я. — А что?

— Написали бы, как руководители здесь невнимательны еще к людям. Без музыки похоронили и памятника никакого не поставили. Куда это годится? Вот вы сами же говорите, что была первой председателем колхоза, а раньше в сельсовете сколько лет председательствовала? Разве это не считается? По-моему, заслужила, чтобы ей на могилке хоть какой-нибудь памятник поставили, — сказал Савелий Федотович и поднялся со скамейки. — Может быть, зайдете ко мне закупить? Помянем мою матушку.

Я не отказался, спросил только, где сельпо. Савелий Федотович вышел на середину улицы, показал магазин и велел мне, кроме водки, ничего больше не брать и в очереди не стоять, а если хлеб привезли и

бабы будут шуметь, не обращать на них внимания — на то и бабы, чтобы шуметь.

Сельпо было закрыто. На большом крыльце сидело вплотную друг к другу много женщин с сумками. У заднего входа стоял хлебный фургон.

— Сейчас продавец откроет, только хлеб примет, — предупредительно сказала мне одна старая бабка и полюбопытствовала: — К Савелию Федотовичу приехали погостить или по какому-нибудь делу?

Приметила, к кому я заходил!

Если в деревне хочешь поговорить с незнакомыми людьми, нет лучшего места для этого, чем очередь у магазина, — все, что тебе надо, сразу узнаешь. Я, конечно, не преминул воспользоваться случаем: сказал бабке, что привело меня к Савелию Федотовичу, а затем спросил, не знала ли она первую председательницу своего колхоза.

— Варвару Дударь? — воскликнула бабка. — Да как же нам ее не знать? Чего только мы с ней вместе не хлебнули! Вспомнишь — и смех и слезы берут.

Отозвалась и другая старушка:

— Это нынешние наши губошлепы ничего не знают и знать не хотят. Скажешь про Варвару: «Вот это председательница была», — рукой машут.

— Рожи в городе понаедали, лопаются уже, оттого и машут, — пробурчала третья.

— А вам что о покойнице надо?

— Все, что вспомните, — сказал я.

— Может быть, надо, как она на своей корове землю пахала и навоз возила колхозу? Так про то в газетке сколько уже писали.

— Это когда тетя Варя взяла обязательство по просу? — спросил я.

— По просу. А потом ее на кукурузу перебросили. Тут Варвара возмущилась — пошла в райком нашим умникам доказывать, что кукурузы на песках не вырастить. Доказывала и доказывала, пока в больницу не попала.

— Припадок с ней на этой почве случился. С того времени голова у нее стала дергаться.

— Точно, с того самого времени. А первый припадок с Варварой случился, когда она еще председательницей была. Она тогда тоже все чего-то доказывала в районе.

— Про пшеницу доказывала, что неурожайная она по нашим местам, что рожь, просо да гречу надо сеять. За это и сняли ее, несознательной признали.

— Да чего говорить? Против начальства пошла, за это и сняли. Чтобы характер свой не показывала.

— Она и при царе не больно-то боялась начальства. Спросите Савелия Федотовича — он расскажет, как Варвара самому уряднику насолила...

— Тихая была, но с характером. А последние годы вроде как блаженная стала. «Пойду, говорит, в город помощь просить колхозу». Соберется, выйдет из деревни и сядет в лесу на пенек. Посидит и вернется... «Не дошла, говорит, в голове закружилось». Завтра пойдет и опять же — вернется, немного пройдя. А в кино ни одной картины не пропустила. Придет раньше всех в клуб, сядет в первом ряду вместе с детшками, разговаривает с ними, ждет, пока механик запустит картину. Посмотрит и повеселеет: «Вот и мы, говорит, скоро будем жить, как на картинах показывают». Надеялась очень, что жизнь скоро повернется к

лучшему. И верно, ведь жить стало полегче, только Варвара не дождалась этого.

— Чего это о Варваре заговорили? — спросила подошедшая к сель-по старая женщина и зорко глянула на меня.

— Да вот думал, что, может быть, встречу с тетей Варей. Бывал у вас в тридцатом году, — сказал я.

— Я и гляжу — будто знакомый человек, а признать не могу.

Я напомнил ей кое-что, и, узнав меня, она засмеялась:

— Так это вы были — шустренький такой, с сумочкой на боку бега-ли? Бабы еще говорили: «Шеф наш, как заяц, бегаёт: заскочит в деревню и прысь — нет его уже, ускакал».

Вспомнила она и нашего редактора.

— Видный был мужчина. И дамочка с ним приезжала интересная. Помните, бабы?

Нет, кроме нее, ни одна из сидевших на крыльце старух не помнила уже своих бывших шефов.

— Мало ли к нам приезжало из города красавцев!

Савелий Федотович поджидал меня у ворот, уже приодевшись в добротный пиджак, при галстукке, в желтых туфлях.

— Что же это задержались? Неужели в очередь встали?

— С бабами заговорился.

— Они заговорят! — усмехнулся он с таким сознанием своего муж-ского превосходства, что я невольно вспомнил бывшего лысогорского избача Евстигнея Игнатъевича, и поинтересовался, что с ним сейчас.

— Никаких известий об этой личности не имею, — сказал Савелий Федотович, вертя шеей, туго затянутой галстукком.

В доме у Савелия Федотовича только печь оказалась деревенской, все остальное — городское, фабричное. И его хорошо сохранившаяся на шестом десятке лет супруга, которую он увез в Ташкент из Лысой Горки, не похожа уже на деревенскую — полная, дородная, величаво-медлит-ельная в движении женщина.

Молча поздоровавшись и молча застелив стол скатертью, поставив стопки, тарелки с нарезанным салом и огурцами, она так же безмолвно и удалилась.

— Ну что же, помянем мою матушку, — сказал Савелий Федотович. Оporожнив стопку, он поморщился: — Не уважаю это зелье, предпочитаю чисто виноградное, да разве достанешь тут хорошее вино! — Вспомнил Ташкент и опять забеспокоился, как там люди живут после землетрясения.

Часа два просидели мы за столом, ведя чинный разговор. Я рас-спрашивал Савелия Федотовича о его матери, но он мало что мог рас-сказать о ней. Ему еще не было шестнадцати, когда он ушел в город работать на трикотажную фабрику, домой приходил только на празд-ники и в сенокос, а вскоре после того, как женился и обзавелся ребен-ком, оставил его у матери и уехал с женой в Ташкент и с тех пор видел мать всего один раз, уже перед войной — за сыном приезжал, чтобы взять его к себе.

— Раньше не могли, маленький еще был, а жена тоже на фабрике работала и квартирные условия не позволяли, — объяснил он.

— Матери, наверное, трудно приходилось — у нее же не один ваш сын был на воспитании? — сказал я.

— Так мы же посылали ей деньги на сына, — ответил он. — Аккурат-но посылали, матушка на нас не могла обижаться. А внуки от стар-шей сестры, конечно, у нее на шее были — сестра от чахотки померла,

муж ее бросил. И племянница, сирота, тоже была на шее у матушки, пока ходила в школу.

— А потом?

— В Москву уехала, сейчас там на партийной должности. И внучки обе партийные. Мамаша их правильно воспитала.

Не вязался у меня разговор с ним. Он только отвечал на мои вопросы: подумает, ответит и ждет следующего. Напрасно я подливал Савелию Федотовичу в стопку — водка не развязывала ему язык, скорее наоборот, сдерживала, словно он боялся, что выпивши скажет не то, что надо.

Единственное, о чем он живо и с удовольствием рассказал, это была давнишняя война его матери с урядником, о которой я мельком слышал в очереди у сельпо. Когда я спросил его об этой истории, он сказал:

— Да, да, были у матушки заслуги,— и стал подробно рассказывать, как однажды кто-то постучал зимним вечером в замерзшее окно и матушка опрометью кинулась открывать дверь.— Думала, не отец ли приехал домой на пobyвку — он в ту зиму в госпитале лежал раненый, но вышло, что не отец, а какая-то незнакомая женщина с маленьким мальчиком. Плачут оба, просят, чтобы пустили их заночевать. Что за люди? — думаем. Оказывается, законная жена нашего урядника с сыном. Вот же какой гад был! В деревне у нас с полюбовницей жил, жену в каком-то городе бросил, а когда она все же разыскала его и пришла к нему с сыном, он со своей полюбовницей вытолкнули их на мороз. И никто в деревне не осмеливался приютить их, боялись этого гада. А матушка моя не побоялась, оставила их. «Поживите, говорит, у меня, может быть, ему, ироду, совестно станет». Наша изба стояла как раз напротив его избы. Вот как та сейчас.

Савелий Федотович показал в окно на другую сторону улицы и вдруг кликнул супругу, которая сидела одна на кухне:

— Помнишь, как моя матушка с урядником схватилась? — А когда та сказала: «Чего я могу помнить? Под столом еще ходила при уряднике», — махнул рукой: — Ладно, давай нам яичницу,— и принялся рассказывать, как в ту зиму, пока царя не скинули, матушка его все воевала с урядником, ходила в город жаловаться на него самому становому приставу, и тот грозил ей Сибирью за непослушание царским властям.

— Если бы не революция, быть бы нам с матушкой в Сибири. Не иначе как быть. Обязательно были бы,— не раз повторял он.

Конечно, Савелию Федотовичу хотелось бы побольше рассказать о своей матери такого вот героического, но, так и не вспомнив ничего больше, он опять внимательно посмотрел на меня и спросил:

— А как вы к нам добирались из города?

— Пешком,— ответил я.

Он помолчал, а затем, должно быть усомнившись, достаточно ли я серьезный корреспондент, если хожу пешком, поинтересовался:

— Извините, а вы не скажете, что у вас есть напечатанного?

Я назвал кое-что, он записал на бумажке и сказал:

— Надо будет познакомиться, почитать.

Разговаривать уже не о чем было, и я поднялся из-за стола, но в это время у ворот остановился запыленный в дороге «Запорожец».

— А вот и сын приехал из Москвы,— сказал Савелий Федотович и крикнул супруге на кухню: — Встречай гостей!

Сам он не пошел встречать. Заложив руки в карманы, стоял у окна и смотрел, как сын с женой и подбежавшей матерью выгружают из машины багаж, как ребяташки сбегаются к воротам и бабы из соседних дворов выходят на улицу полюбопытствовать.

Смотри, как выдерживает характер, подумал я и невольно залюбовался Савелием Федотовичем, с воистину княжеским достоинством наблюдавшим за всей этой суетой.

Он молча стоял у окна до тех пор, пока его сын, тоже немолодой уже и солидный городской человек, войдя в избу, не поздоровался с ним:

— Здравствуйте, папаня!

Только тогда Савелий Федотович неторопливо обернулся. Расцеловавшись с сыном, он сказал:

— С корреспондентом вот разговариваю. Из Москвы тоже приехал. Бабушкой твоей интересуется. Сведения о ней собирает для газеты.

Поспешив проститься с Савелием Федотовичем, я сразу же, как только вышел на улицу, пошел разыскивать деревенское кладбище, будто само собой разумелось, что теперь мне только и осталось, что побывать на могиле тети Вари.

Когда пускаешься в такого рода путешествие, надо заранее быть готовым, что оно приведет тебя на кладбище.

В Лысой Горке кладбище ютится чуть поодаль от деревни, на бугре с крутым обрывом к пойме Дры, которая своим новым чистым руслом обгибает этот песчаный бугор и недалеко от него исчезает в глубине черных лесов. Хотя кладбище и не огорожено, но в негоходишь, как под глубокую арку,— два коренастых вяза сомкнули здесь свои непроницаемые темные кроны.

Врата рая, подумал я, когда вышел из-под зеленой арки и меня ослепил зеркальный блеск реки, сияние солнца. В этом ослепительном сиянии на синем пологне неба резко очерчивались контуры кривых, изогнутых в разные стороны сосен — сборище каких-то уродливых калек, с которых бури ободрали все, что только можно было ободрать. И голов уже на некоторых нет, вместо них торчат, как указующие на небо персты, обломанные голые сучья. А под искалеченными соснами — могилы, могилы, могилы...

Я ходил от могилы к могиле, которые отличались лишь тем, что в изголовье одних стояли деревянные кресты, а на других их не было — осыпавшийся холмик песка, совсем голый или прикрытый жестяным поблекшим венком и выцветшими, свернувшимися в трубочку лентами. Ни оградки, ни скамеечки, ни кустика, ни цветка, ни травинки. Только на не совсем еще обесцвеченных временах лентях венков и можно было прочесть если не имя усопшего, то обращенные к его памяти слова.

Развертывая на безымянных могилах эти траурные ленты, я читал сохранившиеся надписи — думал, не удастся ли так найти могилу тети Вари, но все надписи на лентах были схожи. «Любимой бабушке от внучек», — прочел я на одном венке. Прошел к следующей могиле и опять прочел то же самое: «Бабушке от внучек».

Почти все сохранившиеся венки были от внучек бабушкам. Дедушкиных могил в Лысой Горке я не нашел. Да много ли дедушек померло в своей родной деревне?

Обойдя кладбище, я долго стоял над обрывом.

Вот она вся передо мной — вытянувшаяся по длинному увалу над поймой, от опушки леса до кладбищенского бугра, на котором я стою под корявыми, ободранными бурями соснами,— наша бывшая подшефная Лысая Горка. Сколько писали мы о ней в своей газете, сколько говорили на редакционных совещаниях!

Помню, кажется, это было в тридцать первом, а может быть, в тридцать втором году. Непосредственного отношения к шефской работе в деревне я тогда уже не имел, так как вскоре после возвращения из

Спаса на Песках меня перебросили в сектор ударныхстроек, а в деревенский назначили моего бывшего нештатного помощника Васю Колючего, зачисленного в штат в порядке выдвижения пролетарских кадров.

Совещание началось без меня. Я попал на него прямо с поезда, вернувшись из командировки.

В общих комнатах редакции было пусто, одни столы стояли без стульев.

— Все у самого,— сказала старушка уборщица, показав на дверь в кабинет редактора.— Какая-то деревенская бабка приехала,— добавила она.

— Что за бабка?

— Да бог ее ведает. Строгая такая, на монашку похожа, но не должно быть, чтобы монашка. Сам выбежал встречать, в кабинет к себе провел и всех сейчас же велел звать со стульями.

Еще не раздевшись, я заглянул в кабинет редактора. Там была в сборе вся редакция, включая машинисток. Все сидели полукругом, обращенные лицом не к редактору, а к кому-то, кого не видно было в чуть приоткрытую дверь. И сам редактор, сидя за своим столом боком и упираясь рукой в подбородок, смотрел туда же, куда и все, с очень озабоченным видом. Заметив мою высунувшуюся в дверь голову, он нетерпеливо дернулся и махнул мне рукой, давая знать, что у него в кабинете проходит нечто чрезвычайной важности и что раз я вернулся из командировки, то непременно должен присутствовать при этом.

Я вошел в кабинет и увидел тетю Варю, сидевшую у стены возле стола редактора. В той же черной расстегнутой поддевке, в какой я видел ее не раз, в том же черном, скинутом на спину головном платке, она действительно показалась мне сейчас похожей на монахиню. Что-то древнее, игуменское почудилось мне в суровом, не женском, а скорее мужском взгляде ее ярко светящихся глаз, который так не вязался с ее тихим, певучим и ласковым голосом.

Тетя Варя рассказывала, как она, прослышав, что в Козлове можно достать саженцы яблонь, поехала осенью со своими бабами и привезла три сотни, посадили сад, труда сколько вложили, а за зиму саженцы все погибли, и не от мороза, а от зайцев.

— И раньше бегали в лесу вокруг нас зайчишки, но в деревню не забегали — охотники постреливали, а нынче охотников не стало, разъехались, зайцев и развелось тьма-тьмушая, стаями бегают, голодные, как волки. Надо бы огородить сад, да руки до этого не дошли. Так что похвалиться нам нечем. А уже как ругают нас в районе, об этом говорить не буду. С садом, конечно, промашку дали, но очень уже хотелось детишек побаловать яблочками. У нас ведь дети отроду не видели их — картошка да картошка.

Редактор, напряженно слушавший тетю Варю, на моих глазах сразу как-то обмяк, погрузнел, откинулся назад и, протянув ноги во всю их длину, так что они вылезли из-под стола, выразительно посмотрел на меня и опустил голову. Я отлично понимал его — ну, как можно сейчас, когда строим сразу пятьсот восемнадцать гигантов индустрии и одновременно решаем зерновую проблему, говорить о каких-то яблочках, хотя бы и для детишек?

Было отчего загрустить редактору, и он, конечно, не мог не вспомнить мою осужденную Спаснапесковским райкомом статейку о единоличной корове, без которой будто бы нельзя обойтись в крестьянском хозяйстве,— не эта ли статейка и породила в нашем подшефном колхозе такие вредные потребительские настроения?

Я давно уже признал допущенную мною ошибку и был глубоко благодарен нашему редактору за то, что он по своей интеллигентной мяг-

кости ограничился тем, что перебрал меня из деревенского сектора в индустриальный. Все, все понял я, и мне было очень жаль нашего любимого редактора: он ждал, что тетя Варя порадует нас решением зерновой проблемы, а она так жестоко огорчила всю редакцию.

После этого я не видел больше тетю Варю и никто уже, кажется, больше не ездил от нас в Лысую Горку: наша шефская работа постепенно заглохла.

Спустившись с кладбищенского откоса, я пошел задами деревни, выходящей своими проулками на песчаный берег реки — чудеснейший пляж, на котором купались, загорали и удили рыбу небольшие, видимо семейные, компании, державшиеся особняком, далеко одна от другой, как держатся обычно в деревне приезжающие на отдых горожане.

Вот, думал я, поглядывая на эти рассыпавшиеся по пляжу компании, сколько нынешним летом понаехало к лысогорским старухам долгожданных гостей — сыновей и внуков с женами и детьми, потомков тех мужиков-отходников, которые разъехались отсюда по стройкам и за были дорогу назад.

Приятно было поглядеть вокруг: песчаный пляж, ярко расцвеченный купальниками женщин и пижамами мужчин, медленно текущая в извилистых берегах река, окаймленная лесами поймы, сады и ягодники, которыми кудрявились на спуске к реке зады деревни. Да, радоваться бы только да радоваться, что и такие далекие от города деревни, как Лысая Горка, стали похожи на дачные подмосковные поселки, но мысли мои возвращались к тридцатому году, когда мы со своим редактором призывали лысогорских оставшихся без мужей баб отказаться от потребительских настроений и смело решать в своих местных условиях зерновую проблему, — и я думал: где они, эти пшеничные нивы, которые должны были заколоситься на лысогорских песках?

По-прежнему главное богатство здесь — сенокосные и лесные угодья да залежи торфа.

Погода тем летом благоприятствовала моим пешим странствиям. Днем иногда выпадали дождики, но большей частью короткие, из какой-нибудь вдруг залетевшей в безоблачное небо тучки. Постоишь под густой елью или сосной, если и промокнешь немного, не страшно — солнце быстро обсушит. А какой бы дождик ни был, после него и шагать легче, и дышится вольнее. И я, вспоминая былые годы, шагал и шагал.

Доберешься до деревушки и тут только увидишь людей, и на тебя посмотрят из окон и калиток: что за человек? Откуда взялся? Все сразу узнают, что не здешний, пришлый человек, и долго провожают тебя взглядом.

— Куда эта тропинка ведет? — спросил я в одной глухой деревне, возвращаясь в Спас на Песках из Лысой Горки.

— На озеро Дальнее, — ответили мне.

Я захотел поглядеть на это незнакомое озеро и, свернув на тропинку, зашагал заросшим кустарником лугом. Вокруг кустов лежала скошенная сырая трава. Вскоре тропинка исчезла под ней, захлюпала болотная жижа. Я остановился было, но, увидев за кустами нескольких женщин, по колено в воде косивших болотную траву, смело пошел дальше и вскоре снова выбрался на тропинку.

Кончился луг. Началось глухое чернолесье, и тропинка пошла просекой по краю канавы с черной стоячей водой, в которой плавало и ныряло много утиных выводков. Дикие они или домашние, этого тут не разберешь, пока не начнется охотничий сезон, — по канавам осушительной

сети и домашние заплывают туда, где гнездятся дикие. Говорят, что это случается и в сезон и что есть охотники, которые пользуются этим.

Кроме женщин, косивших на болоте траву, я больше никого не встретил на всем пути до озера Дальнего. Тропинка все время шла по заросшей осиновым и березовым мелколесьем просеке, вдоль канавы, укрытой, как речка, густым ольховником, сквозь который местами приходилось с трудом пробираться.

Наслышавшись в Спасе на Песках от подвыпивших в столовой егжей о рысях и их коварных повадках, я в таких глухих местах с опаской поглядывал вокруг. Что меня успокаивало, так это часто встречавшиеся на пути объявления охотничьего хозяйства со всякого рода строгими запретами, внушавшими мне мысль, что места эти не столь уж безлюдные, как это кажется.

И на озере Дальнем первое, что я увидел, была доска с объявлением, что рыбная ловля здесь категорически воспрещается. И действительно, оглядев водную пустыню озера — одного из самых больших озер, цепь которых опутывает весь Спаснапесковский район, образуя бесконечный лабиринт островов, заливов, протоков и мысов, — я не нашел на нем ни одной лодки, ни одного челна.

Озеро лежало в низких, окаймленных камышами и осокой берегах, и его мглистое, несмотря на солнечный день, со свинцовым блеском зеркало простиралось от края до края на несколько километров. И одна только деревня стояла на пригорке далекого берега.

Давно уже мечтал я забраться в такие дикие места, а сейчас вот повеяло на меня седой древностью, и холодно, неуютно стало на душе от безлюдной и мертвой тишины, в которой слышно было только, как накачивавшиеся волны оплескивают берег, погруженный в сонное забытие.

Низкий берег, не имевший сухих подходов к воде, вскоре стал повышаться, и я вышел на песчаный бугор с можжевельниковыми кустами. Под бугром, у небольшого заливчика, лежала вверх дном большая черная разошедшаяся, видимо давно не спускавшаяся на воду, лодка.

Я присел на эту брошенную лодку, чтобы поостыть, а потом искупаться. Жаркий день и чистый песчаный берег располагали к этому, но когда я разделся и вошел по колено в воду, купаться расхотелось. Прозрачная у прибрежной кромки вода дальше, в космах водорослей, становилась угрожающе темной и казалась бездонной пучиной. Пугала и огромность свинцовой массы воды, дышавшей холодом Севера. Не хватало только скал, чтобы почувствовать себя в Скандинавии.

Но если скал не хватало, то обломков их в виде валунов, занесенных сюда древними ледниками, было достаточно. И когда я, выйдя из воды, лег на плоское днище лодки, мысли мои невольно остановились на варягах.

Разомлев на солнце, я задремал, а проснувшись, увидел двух голых рослых молодцов, тащивших к озеру бредень. Третий, волосатый, стоял на берегу с дубиной в руке.

Вот они, варяги! — подумал я.

Сначала все происходило так, как это могло быть и при варягах. Рыбаки заходили с бреднем в воду поглубже, пока не теряли под ногами дно, фыркали, барахтались, кое-как становились на ноги, после чего один оглушительно бил по воде дубиной, а другие двое торопливо выбирали бредень, а потом все трое подхватывали мотню, тащили на берег и, плюхнувшись на животы, прижимали и подбирали под себя ускользавшую из мотни рыбу. А затем... Затем видение древности исчезло: затрещал мотор, и, выйдя из-за кустов, я увидел мотоцикл с коляской. Быстро перекидав в нее рыбу и свалив бредень, современные варяги умчались —

один на переднем сиденье мотоцикла, другой на заднем, а третий в коляске.

Затих треск мотора, и вокруг снова легла такая безжизненная тишина, что, выбравшись из этой лесной глухомани на шоссе и услышав шум приближающихся машин, я почувствовал себя, как воскресший из мертвых. И даже радио, гремевшее в городе на площади, а потом в Доме колхозника за стеною, в тот вечер уже не раздражало меня.

Постепенно разматывавшийся клубок далеких и подчас уже смутных воспоминаний снова привел меня в районную газету, к ее ответственному секретарю Тимофею Павловичу — единственному человеку в молодой по своему составу редакции, у которого я мог попытаться прояснить кое-что забытое и, может быть, напасть на чей-нибудь потертый след.

— Ну, как путешествуете? — спросил он, сняв очки и подняв от гранок утомленные чтением глаза.

На этот раз Тимофей Павлович смотрел на меня с любопытством и располагающей к разговору улыбкой. И я, войдя в его маленькую солнечную комнату, оклеенную светлыми обоями, блестящую чисто вымытыми стеклами, свежеевыкрашенными рамами и подоконниками, сразу же уселся за по-прежнему пустовавший напротив него стол, будто это было специально для меня предназначенное в редакции место, и стал делиться с ним своими впечатлениями от Лысой Горки — что там было в тридцатом году и что увидел сейчас.

Слушая, Тимофей Павлович задумчиво смотрел в окно. Я видел только одно его ухо, но это меня не смущало, так как я уже знал его привычку думать, глядя в окно, а то, что я говорил, мне казалось, должно было заставить его задуматься.

На мои воспоминания он не отозвался, а о сегодняшнем сказал:

— Нет, людей в деревне стало все-таки прибывать, особенно на летнее время, а рабочих рук вот не прибывает. Пока возвращаются только старики, выслужившие в городе пенсию, и отпускники, приезжающие к родным на дачу. Проблема для нас эти дачники: фондов на них не отпускают, а кормить надо.— Потом, хитро глянув вдруг на меня, спросил: — И на кладбище уже побывали?

— Откуда вы это знаете? — удивился я.

Он показал на телефон.

— Председатель из Лысой Горки звонил, спрашивал, что это за корреспондент был. Со старухами в сельпо поговорил, на кладбище сходил, а в правление колхоза и не заглянул.

— И что же вы сказали?

— Сказал, что разыскиваете самых первых начинателей колхозного движения. Ну, он и успокоился — какое ему дело до начинателей, которые уже на кладбище лежат,— посмеялся Тимофей Павлович, довольно поглаживая свою лысую макушку.

Наш разговор был прерван появившимся в дверях редактором.

— Ну, как успехи? — спросил он у меня.— На рыбалке побывали?

Услышав, что на рыбалке я не был и удочек с собой не захватил из Москвы, Илья Ильич забеспокоился:

— Ах, как неудачно у нас получилось! Но ничего—рыбалку мы вам еще организуем. Вот только немного освобожусь и заберемся на речку... Нет, нет, ну как же можно приехать в Спас на Песках и не побывать на рыбалке? Это нам просто неудобно будет.— И он заторопился: — Извините, но сегодня у нас межрайонный поэтический слет. Галкин и Сливкин выступают. Может, заглянете в Дом культуры? — Кивнул мне и исчез так же внезапно, как появился.

Что-то туманно забрезжило у меня в памяти и вдруг всплыло: боже мой — Чеусов! Чеусов! Неуловимый, как дым, Чеусов. Появится — и нет его: сунул впопыхах папку под мышку и пропал.

Только подумал о нем, как Тимофей Павлович, снова уткнувшийся в гранки и, казалось, совсем забывший о моем присутствии, поднял голову и показал глазами на несколько старых, пожелтевших от времени газет, которые лежали передо мной на столе.

— Полистайте пока. Нашел у себя, случайно как-то сохранились.

Это были номера спаснапесковской районной газеты от тридцатого года, выпущенные уже без меня и сплошь заполненные официальными материалами, докладами и статьями районного начальства. Полистав их, я вздохнул: вот он, весь тут — товарищ Чеусов.

Придет, бывало, в мой гостиничный номер, присядет на койку у моего заваленного рукописями и гранками стола и, смущенно пряча глаза, все заранее уже зная, начнет вынимать из папки бумажку за бумажкой.

— Вот постановление райисполкома... А это инструкция райзо... А вот еще обращение райпотребсоюза к пайщикам, тоже обязательно просят напечатать. По-моему, все довольно ценный материал.

И еще и еще — постановления, обращения, инструкции, отчеты, извещения и объявления.

Руками разведешь:

— Да зачем это нам? Кто это будет читать?

— Ну как же откажешься? — жалобно улыбается он. — Все-таки авторитетные организации, нельзя с ними не считаться.

Ну как его убедишь, что газета не сборник циркуляров и инструкций, когда с его маленького, в кулачок сжатого личика не сходит жалостно просящая улыбка. Ничего уже не говорит, а губами все шевелит, будто хочет что-то сказать, но духа не хватает. Сидит, шевелит губами и вдруг вскочит.

— Ну, я побегу! — И его уже нет, а груда притащенных им бумаг лежит передо мной на столе.

Попробуй заставить его взять их обратно.

— Нет, нет, — я вам передал, а дальше дело ваше.

Сначала со всеми этими циркулярами и инструкциями я расправлялся просто — сваливал их во дворе гостиницы в мусорный ящик, но ненадолго хватило у меня решительности. После моей злосчастной поездки Зайчиков взял нашу выездную редакцию под свой контроль, и решением бюро райкома ответственность за газету была возложена на Чеусова. Правда, фактически почти все осталось так, как было, с той только разницей, что у Чеусова, когда он заглядывал ко мне, глаза стали бегать из стороны в сторону быстрее, чем раньше, и теперь, забрав гранки, он долго не показывался, а иногда вдруг куда-то пропадал с ними, так что мне приходилось разыскивать его по всему городу. Но сколько бы он ни держал у себя гранки, куда бы с ними ни бегал, никаких поползновений к правке я потом не обнаруживал. Все терзания и сомнения Чеусова по-прежнему можно было прочесть только по мучительному шевелению его губ — возвращая прочитанные гранки или сверстанную полосу, он издавал только нечленораздельные звуки, похожие на всхлипы или стоны.

Тяжело человек нес бремя ответственности, и в моем пошатнувшемся положении уже нельзя было не считаться с этим. Одного я никак не мог понять: почему Зайчиково вздумалось взвалить на Чеусова столь непосильное для него бремя?

Листая старые, пожелтевшие номера газеты, которую после меня выпускал Чеусов, я с нетерпением ждал, когда Тимофей Павлович начнет читать гранки, чтобы поговорить с ним о своем преемнике.

— Чеусов? — переспросил он, сняв очки, и тихо повторил про себя: — Чеусов... Чеусов. — Потом сказал: — Фамилия знакомая. — И, собрав со стола гранки, вышел с ними в большую комнату. Вернувшись, сел за стол, посмотрел в окно и опять повторил: — Чеусов... Чеусов... Да кто же это такой?

Я пододвинул к нему один из старых номеров газеты, которые он сам дал мне, и ткнул пальцем в фамилию редактора.

Тимофей Павлович повертел в руках газету и помотал головой.

— Вот ведь как! Я тогда уже работал в редакции, но, кроме фамилии его, ничего не могу вспомнить.

Я показал ему, как Чеусов, не зная, что сказать, беззвучно шевелил губами.

— Да, да, точно, точно, — вспомнил он наконец, но когда я спросил его, что стало потом с Чеусовым, он пожал плечами. — Был, а куда делся, где сейчас, не скажу, как-то совсем из памяти выпало.

Придвинув к себе счета, он начал перекидывать на них костяшки, перечислял всех редакторов, сменившихся в районе за время его работы, насчитал их больше десятка и сказал:

— Наверное кого-нибудь еще забыл. Всех не упомнишь.

Несмотря на возникшую у нас друг к другу симпатию, разговора о том дальнем прошлом, которое привело меня к нему, не получалось — слишком молод для этого оказался самый старый в районе газетчик.

— Вам бы с нашими персональными пенсионерами поговорить. А я что знаю! — сказал он. — Мне тогда всего восемнадцать лет было, только что школу окончил, в деревне еще жил, летом на работу в редакцию ходил босиком, а ботинки до пожарной каланчи носил на палке за спиной. В деревне крик, рев — коров сводят на общий двор, — а мне наплевать на это: иду в город поймой и песни распеваю. Ужасно рад был, что стал литсотрудником газеты. Думаю, скорее бы только избу перевезти в город и жениться. Сразу не очень-то удобно было комсомольцу — коллективизация идет! — пришлось повременить с переездом, — посмеялся он над собой.

Поразмыслив, к кому бы из пенсионеров направить меня, Тимофей Павлович посоветовал зайти к Ивану Степановичу Колчугину.

— У него все узнаете. Старейший наш кадр. Был председателем вол-исполкома и райисполкома, а последнее время работал заместителем председателя облисполкома. Недавно только сыну с дочерью отдал квартиру в новом доме и вернулся к нам на отдых. Сам он не очень разговорчивый, но не смущайтесь — жена его поможет.

Тимофей Павлович проводил меня до крыльца, показал, как пройти проулком к Колчугину, и на прощание пообещал:

— Может быть, еще какого-нибудь старичка найду вам. Заходите.

С Иваном Степановичем Колчугиным я встретился возле его дома, когда, собравшись на рыбалку, он застрял в калитке вместе со своими удочками и подсаком. Габариты полуразвалившейся калитки с обломанными штакетинами явно не соответствовали его внушительной комплекции, так же как не соответствовала объему его головы туго нагянутая на нее полотняная детская панамка. Чертыхаясь и пытая, он тяжело, как опутанный сетями сом, ворочался в калитке.

— Стой! Стой! Не рвись, а то подсак поломаешь, поперек встал, — услышал я веселый женский голос за его спиной. — Ну, теперь все, иди! Нет, нет, обожди — удочка зацепилась. Вечно у тебя крючки болтаются.

Вывавшись из калитки, Иван Степанович обернулся и зло пнул ее ногой.

— Хоть бы совсем уже обвалилась!

— А новую кто тебе поставит? Кому ты теперь нужен? — задорно спросила маленькая смешливая старушка, появившаяся на улице в такой же, как на нем, старомодной кургузой панамке.

Увидев ее, я ахнул и всплеснул руками — обознался, приняв за одну старую знакомую из далекого отсюда городка.

— Антонина Ивановна! Какими судьбами?

Удивительные бывают сходства: впервые увидишь человека, а кажется, что встретился с давним знакомым. Не раз уже это случалось со мной, наверное потому, что часто бываю в поездках — непрерывные встречи, знакомства!

— А вот вовсе и не Антонина Ивановна, а Ольга Никаноровна, — сказала она так, словно очень обрадовалась тому, что я спутал ее с кем-то, и, выкатив на меня большие круглые глаза, спросила: — А вы кто такой? Первый раз вижу.

Я стал смущенно извиняться и объяснять свою ошибку.

— Да пожалуйста, — сказала она. — Бывает так, ничего особенного нет. Я тоже подумала: кто это идет, не к нам ли? А вы кого ищите?

— Товарища Колчугина.

— Ну вот, значит, все-таки к нам, как я подумала сразу! — воскликнула Ольга Никаноровна и обернулась к Ивану Степановичу, возившемуся со своими разъехавшимися в разные стороны удочками. — Ваня, к тебе!

— Что такое? — спросил Иван Степанович, недовольный, что ему помешали привести в порядок свои снасти.

А когда я сказал, что мне надо поговорить о спаснапесковском прошлом и в редакции посоветовали обратиться к нему, заворчал:

— Конечно, как о прошлом, так к Колчугину, больше не к кому.

Это дало мне повод пожаловаться на свои неудачные поиски людей, работавших здесь в тридцатом году.

— Да, — живо подхватила Ольга Никаноровна, — мало уже осталось в нашем районе старых партийных кадров. Куда ни заглянешь — ни одного знакомого лица, всюду сидит молодежь.

— А вам кого именно надо? — перебил супругу Иван Степанович.

Я стал перечислять и первым назвал Зайчикова.

— Это какого же Зайчикова — того, что еще до Волошина был?

— А вы о каком Волошине говорите — о том, что при Зайчикове был уполномоченным по коллективизации? — спросил я.

— Один Волошин был — секретарь райкома, никакого другого не знаю, — сказал Иван Степанович.

— И я только одного знаю, но не секретаря, а уполномоченного. Борода у него была вот такая, — показал я.

— Правильно! — воскликнула Ольга Никаноровна. — Как у Маркса! Нам ли не знать Волошина? Мы с Ваней чуть было не вылетели из-за него в трубу.

Иван Степанович осуждающе посмотрел на свою говорливую супругу — не к месту, видимо, счел это ее выражение — и спросил меня:

— А что вас интересует в прошлом?

— Коллективизация... История колхозного строительства, — сказал я.

Он хмыкнул:

— Нашли где интересоваться колхозным строительством!

— А что? Спас на Песках в этом смысле не типичен? — улыбнулся я, вспомнив разговор с местным редактором.

— Абсолютно не показателен, — ответил он и сказал: — Ну что же, раз уже пришли, заходите, не на улице же будем разговаривать.

Вслед за хозяевами я вошел через калитку-развалюху в запущенный,

густо заросший вишневым порослью и одичавшей малиной сад, в глубине которого стоял обшитый тесом деревянный дом под железной крышей — такой же необхожденный, запущенный, как и сад. Все тут являло вид стародавней, заброшенной мещанской усадьбы. Но дворик на задах ее оказался чистенький, посыпанный светлым песком, и его приятно оживляли два ярко-красных баллона, стоявших в жесткой раме у стены как свидетельство того, что и здесь люди пользуются газом.

— Вот она, обитель наша,— сказала Ольга Никаноровна, распахнув руки.— Тут мы начали, когда Ваню взяли из волости в район, тут и кончать будем. В порядок только дом надо привести — Ванина покойная сестра последние годы одна жила, ведро с колонки не могла уже притащить, с бидончиком ходила по воду. С садом нам не управиться, бог с ним, а дом подновить необходимо, да хозяйва мы никудышные: Ваня гвоздь возьмется прибить — и поотбивает себе пальцы. Руки как кувалды, а делать ими ничего не умеет — всю жизнь, с семнадцати лет, как пошел на советскую работу, только и делал, что бумага подписывал.

— Ладно, ладно, не обо мне сейчас речь,— оборвал супругу Иван Степанович и, осведомившись, курю ли я, сказал: — Раз курите, то поговорим на воздухе. Два инфаркта уже имею, с меня хватит, помирать еще подожду.

Ольга Никаноровна вынесла во двор стулья, два поставила в тени у крыльца, а третий, для себя,— напротив, чтобы удобнее было вести разговор втроем, и мы сели.

Иван Степанович долго не мог понять, как это у него выпало из памяти, что Волошин, прежде чем стать секретарем Спаснапесковского райкома, был тут уполномоченным по коллективизации.

— Мы же с ним в одной упряжке тянули район с тридцать первого по тридцать седьмой год: я был председателем райисполкома, а он секретарем райкома. А в тридцатом году секретарем был Зайчиков.

С помощью Ольги Никаноровны, осведомленной в делах района не хуже своего мужа — в тридцатых годах она долго работала в секторе учета райкома,— мы наконец разобрались, в чем дело.

— Так в тридцатом году ты ведь был еще не председателем, а заместителем,— вспомнила она.— В состав бюро не входил, а велика ли птица в районе, если она не входит в бюро райкома?

Я засмеялся, и Ольга Никаноровна, посмотрев на меня, тоже рассмеелась, и совсем не по-старушечьи, а по-детски — заливиисто, довольно.

— А разве неправда? Возьмите нашего редактора. Около года проработал — и не слышно его было, а недавно утвердили членом бюро, и сразу все заговорили: Илья Ильич! Илья Ильич! Другим человеком стал.

Иван Степанович, задумчиво глядевший себе под ноги, пропустил это мимо ушей.

— При Зайчикове мне редко приходилось заходить в райком, не было у меня с ним контакта,— сказал он потом.

— А с Волошиным у Вани сразу установился контакт,— подхватила Ольга Никаноровна.— Он по соседству с нами жил. Придет, бывало, сунет Ване горсть семечек, сядут они на крыльцо и грызут их с полчасика, слова не промолвив. А то в «дурачка» возьмутся играть, и один другого шелкает по носу.

— Глупости говоришь. К чему это? — сказал Иван Степанович.

— Скажешь — не было?

— Понимать надо, в какое время это было.

— А я, думаю, не понимаю.

— А понимаешь, так помолчи.

Чтобы отвлечь их от этого неприятного, видимо, для Ивана Степановича разговора, я спросил о Волошине — жив ли он еще?

— Волошин?! — воскликнула Ольга Никаноровна. — А вы разве не слышали?.. — Она хлопнула себя по плечам ладонями, скрестив руки на груди, и посмотрела на меня, как на свалившегося с неба.

— Встречал только в тридцатом году, после ничего не слышал о нем, — сказал я.

— Застрелился в тридцать седьмом во время пленума райкома. Пошел перед выступлением к себе в кабинет и выстрелил в рот. — Закрыв глаза, она помотала головой. — Ужас, что было. Слышим — выстрел, прибегаем в кабинет, и представьте себе — лежит ничком, уткнувшись бородой в лужу крови.

— Что его привело к этому, так до сих пор и не знаю, — сказал Иван Степанович. — А ведь больше шести лет проработали бок о бок, друзьями были.

Мы поговорили о том тяжелом годе, который, как сказала Ольга Никаноровна, мало кого обошел, разговор опять коснулся Зайчикова, и я спросил о его судьбе.

Ольга Никаноровна и тут опередила медленно ворочавшего языком мужа:

— В обкоме портрет его висит. Во время войны о нем много писали. Дивизионом «катюш» командовал, в окружении огонь вызвал на себя, посмертно получил Героя.

Иван Степанович в дополнение сказал только:

— Волевой был человек. От нас его взяли в окружком, из окружкома — в обком, заведовал сельхозотделом.

Спросил я и о Чеусове.

— Какой Чеусов? — Ольга Никаноровна была очень озадачена. — Да не было у нас такого! — решительно сказала она.

— Постой! Постой! — досадливо поморщился Иван Степанович. — Был Чеусов, недолго, но был у нас редактором, и не так давно я видел его где-то в области. Где же это? Вероятно, на каком-то совещании. Помню, заглянул в дверь, повертел головой и скрылся. Я еще подумал: откуда это он вынырнул?

Я рассказал, как Чеусов перепугался, когда Зайчиков велел ему задержаться на почте «Правду» со статьей Сталина.

Ольга Никаноровна выкатила остановившиеся от удивления глаза.

— Как же это можно было?

— Кажется, заподозрил, что тут что-то неладно, — сказал я.

— Да что вы говорите! И как же это ему прошло?.. Ты смотри, Ваня, а мы с тобой ничего не знали.

— Первый раз слышу, — сказал Иван Степанович. — В голове не укладывается что-то.

— А Волошин знал и посоветовал мне забыть эту историю, — сказал я.

— Ну если он знал, то я тогда совсем ничего не пойму.

— А что тут понимать? Волошин спасал Зайчикова, — решила Ольга Никаноровна.

— Нет, тут что-то не то. — Иван Степанович не хотел поверить, чтобы Волошин мог утаить что-нибудь от партии. Он долго думал и снова повторил: — Нет, тут что-то не то. — А потом сказал: — Да, храбрый человек был Зайчиков, этого никак не отнимешь от него.

Разговорившись, мы стали вспоминать о других общих знакомых того времени, и Иван Степанович, забыв уже, что собирался как рыбалку, попросил супругу похлопотать о чае. Ольга Никаноровна ушла и вскоре позвала нас на террасу. Поставив на стол вазочку с клубничным вареньем, она сказала:

— Попробуйте, что у меня получилось. Первый раз в жизни варила.

Помирать скоро пора, а только сейчас, как вышла на пенсию, стала приучаться к хозяйству. Думаю даже курочек завести,— засмеялась она,— да вот Ваня жирком оброс, а сельским хозяйством обрастать боится. Знаете, как раньше боролись с этим?

И разговор перекинулся с давно минувших лет на недавно минувшие, когда личный скот колхозников снова шел под нож. История эта общеизвестная, и она уже забывается, но чуть коснешься прошлых лет, обязательно всплывет и потянет за собой разговор о сене.

— Задним умом все мы крепки,— буркнул Иван Степанович. Не склонен он, как по всему видно, предаваться этим неприятным и свежим еще воспоминаниям, но все же хоть и неопределенно, но заметил: — Запрещали даже в лесу и на болотах косить для себя, а сейчас у нас и колхозники и городские исполу косят.

Я сказал, что слышал об этом в Лысой Горке, и Ольга Никаноровна, вздохнув, обернулась к мужу.

— Надо бы нам тетю Дашу навестить.— И пояснила мне: — Ваня — лысогорский, полсела у него там родных было, а сейчас одна тетка осталась, глубокая уже старуха. К себе зовем ее — не хочет: говорит, где родилась, там и помру.

— Есть еще у нас такие — не вытянешь их из деревни,— заворчал Иван Степанович.— Девятый десяток пошел, а все огород копает, козу пасет, по ягоды ходит, в горд таскает на базар.

— Ну и что из того, если старушке захочется белой булки? — вступилась за мужнину тетку Ольга Никаноровна.

— Да кто ей запрещает? Пусть таскается, раз не хочет в городе жить,— отмахнулся он.

Разговор напомнил мне о Варваре Дударь, и я спросил Ивана Степановича, знал ли он ее.

— Как не знать,— сказал он,— когда в восемнадцатом году сам привел ей на двор лошадь — председателем комбеда был тогда. Пала у нее коняшка в войну. Муж не вернулся с фронта, а детей куча. Только с нашей помощью и подняла свое хозяйство. Невидная из себя, а мужик-баба была. Поглядишь, как плуг ворочает, и почешешь голову. Уполномоченной была сельского общества по земельным делам... и артисткой одно время фигурировала,— засмеялся он, покрутив головой.

— Ах вот о ком вы говорите! — сказала Ольга Никаноровна.— Помню, помню ее. Мы же с Ваней и познакомились на спектакле, когда она играла красноармейку. Я тогда в укоме комсомола работала. Пришла в Лысую Горку, и Ваня там окрутил меня. Бабы слезами обливаются, оплакивают красноармейку, отдавшую свою жизнь за светлое будущее, а он ко мне все крепче прижимается — губит мою комсомольскую жизнь.

Завладев разговором, Ольга Никаноровна увела его далеко от тети Вари. Пошли воспоминания о комсомольских годах. Чем ближе мы к старости, тем ярче встают они в памяти, и все перед ними меркнет — хорошее и плохое.

Был уже поздний вечер, когда супруги Колчугины, растроганные и взволнованные воспоминаниями, проводили меня до своей развалившейся калитки, помогли из нее выбраться и наказали обязательно прийти как-нибудь на реку рыбу половить — тогда еще поговорим.

Если вы на старости лет ищите тихое пристанище вблизи реки и леса, но чтобы магазины были, газ и базар, как читаешь иной раз в объявлениях об обмене жилплощади, так поезжайте в Спас на Песках. Здесь, живя в самом центре города, рядом с рестораном, универмагом, автобусной станцией и пожарной каланчой, нужно перейти только новый

бетонный мост, спуститься с него крутой деревянной лестницей под дуплистые ивы старого, поросшего травой шоссе — и город исчезнет с глаз: начинается стрекозье царство над затянутой ряской и затененной ивами канавой.

Канавы эта идет вдоль старой дороги и кончается у асфальта нового шоссе, в том месте, где Дра, описав большую дугу, подходит со стороны города к гриве соснового бора. Тут, сворачивая к реке, я встретил Ольгу Никаноровну, стоявшую по колено в грязной канаве. Одной рукой она держала поднятый подол своего пестренького платья, а другой водила в воде марлевым сачком и вытряхивала из него что-то на берег. Подойдя к ней, я увидел кучу ряски и тины, из которой она выбирала и кидала в стеклянную банку стрекозьи личинки.

— Буканов ловлю Ване на насадку, — объяснила Ольга Никанорова и показала банку. — Поглядите, что за пакость, в руки не взяла бы, но Ване с его инфарктами опасно лазить по канаве — приходится мне... Давайте только сегодня без всяких воспоминаний, — предупредила она потом, — а то Ваня прошлый раз так разволновался, что ему ночью плохо стало.

Иван Степанович уже рыбачил, сидя на складном стульчике под песчаным обрывом речного берега, в тени, которую бросала на него сверху высокая сосна с комлем и свисавшими с него сухими корнями, обнаженными обвалом.

Дра в этом месте широкая, но мелкая — купающиеся переходили ее где по колено, где по пояс, поплавать можно было только в яме под высоким лесным мысом, и тут, возле закинутых Иваном Степановичем удочек, шумно взбивала воду куча мальчишек. На расходящихся от них кругах поплавки непрерывно колыхались.

— Что же это вы на таком толчке устроились? — спросил я.

— Тени на реке больше нигде нет, — ответила Ольга Никанорова. — Всюду солнце, а Ване нельзя перегреваться — это для него может плохо кончиться.

— От своего конца не уйдешь, — проронил Иван Степанович и рывком выхватил из воды удочку на себя.

— Конечно, если будешь так отчаянно дергать, — заволновалась Ольга Никанорова. — Тебе же сказано, что резких движений делать нельзя.

Иван Степанович ловил рыбу на три удочки, и так как мелочь непрерывно склевывала насадку, работы хватало на двоих. Ольга Никанорова вынимала из банки буканов, подавала их мужу, чтобы ему самому не наклоняться — это тоже опасно для него, — а он выдергивал удочки одну за другой, сменял насадки и снова закидывал.

Трудно рыболову удержаться от излишних резких движений, хотя бы рыба и не клевала, а только слегка поклевывала. А Иван Степанович был еще совсем зеленый рыболов, о рыбьих повадках не имел представления, суетился, дергал удочки без толку, и Ольга Никанорова непрестанно волновалась:

— Ну чего ты торопишься? Пусть рыба крепче схватится за крючок, и ты тогда потихоньку вытащишь ее — никуда она от тебя не уйдет.

Иван Степанович сердился, нервничал, и крючок у него цеплялся за крючок, грузило за грузило, лески путались. Все это навевало грустные мысли. А настроение у меня и без того было невеселое. Я думал: с чем же я приеду в Москву? Пора было уже возвращаться, а мне все еще чего-то не хватало, что-то оставалось неясным, в чем-то не мог разобраться. В голове мелькало то одно, то другое, и все, за что я пытался хвататься, ускользало от меня, и в отчаянии я думал, что моя поездка оказалась напрасной, потому что слишком долго откладывал ее.

Иван Степанович мучался со своими удочками, Ольга Никаноровна волновалась за него, а я тщетно лозил что-то ускользавшее от меня, пока к берегу не подкатил на велосипеде вездесущий спаснапесковский поперечник дядя Костя со своей козлиной бородкой и дыбом стоящими на голове волосами — вылитый черт.

Я уже не раз встречал его: то в магазине или около магазина с торчавшей из кармана бутылкой, то в ресторане, когда там бывало пиво, то у киоска фруктовых вод, когда пива не бывало, а опохмелиться надо было, и всегда если не пьяного в стельку, то сильно подвыпившего и в хмелю громко возмущавшегося чем-либо, но большей частью милицией, которую он бесстрашно честил на чем свет стоит и которая почему-то относилась к нему удивительно либерально.

И теперь, свалившись с велосипеда на самом краю обрыва, он сполз вниз на собственном заду, очумело огляделся вокруг, прокричал:

— Доброго здоровьица, товарищи начальники! — И сразу же цепился к нам: — Чего не здоровкаетесь? За человека не считаете? А между прочим, научные сотрудники музея вот что пишут о дяде Косте. — Он вытащил из кармана измятый номер областной газеты и стал громко читать статью под названием «Мастера деревянных кружев».

Авторы ее, сотрудники краеведческого музея, писали, что некогда в области процветало искусство резьбы по дереву, были мастера, умевшие пустить по наличнику такое тонкое кружево, что заглядишься, и что сейчас еще в Спасе на Песках живет один из последних могикан этого художественного промысла.

— Это я! — крикнул дядя Костя, выпятив тощую грудь и стукнув по ней кулаком. — Последний как есть могикан! Понимать это надо! А почему последний? Сколько у нас в столярной артели было мастеров, выполнявших заказы по кружевной резьбе наличников? — Он стал перечислять: — Дядя Федя, дядя Митя... Где они? Куда подевались эти могикане?

Занятый своими запутавшимися удочками, Иван Степанович только угрюмо глянул на него через плечо и отвернулся, а Ольга Никаноровна испуганно пересела подальше и, приложив палец к губам, тихонько потрясла головой, давая мне знак, что вступать с ним в разговор нельзя — худо будет.

А дядя Костя, сунув газету в карман, стал все громче и громче вопрошать, почему это он должен работать ночным сторожем на дровяном складе, раз может такое кружево из дерева плести, что о нем в газете пишут, и кому это понадобилось прикрыть промкооперацию, а кустарей-одиночек зачислить в тунеядцы и так далее, пока наконец не добрался до рыбалки — почему нынче ею балуются только малые мальчишки да большие начальники, а настоящие рыбаки в Спасе на Песках давно уже перевелись, хотя рыбы на озерах пропасть?

Мы помалкивали, дожидаясь, когда он утихомирится и оставит нас в покое, другие же, купавшиеся в реке, повылезали из воды, слушали и посмеивались — может быть, над разглагольствованиями дяди Кости, а может быть, и над нами.

Покричав, дядя Костя махнул рукой.

— Эх вы, начальнички, и слушать человека не хотите. — И полез в воду, не раздеваясь.

С того берега еще долго доносился его голос — сам с собой уже разговаривал.

— Безобразия! — возмущалась Ольга Никаноровна. — До того распустили хулиганов, что и на речке прохода не дают.

Иван Степанович молчал. И вдруг я увидел, как его рука, потянувшаяся к удочке, как-то странно поникла на весу и медленно опустилась.

— Оля, дай-ка мне валидол, — тихо попросил он.

Ольга Никаноровна схватилась за свою сумочку, засуетилась. Пока Иван Степанович сосал валидол, она не отходила от него, потом сказала: «Домой, домой!» — помогла мужу подняться со стульчика и стала собирать удочки.

Обратно удочки пришлось нести мне. Мы шли медленно, как на похоронах, поднимаясь по лестнице к мосту, останавливались и долго стояли на каждой ступеньке.

— Ничего, Ванечка, ничего, не пугайся, — успокаивала мужа Ольга Никаноровна. — Все из-за этого проклятого пьянчуги, — сказала она мне. — Нельзя с ним вступать в разговор.

Как много значит иной раз один день — один-единственный день!

Обстоятельства сложились так, что мне пришлось уезжать из Спаса на Песках раньше, чем рассчитывал. Я уже сдал дежурной Дома колхозника свой номер, оставалось только сесть на автобус, но мне опять не повезло с ним: приехал сюда в субботний день, а этот, как назло, оказался воскресным, и когда началась посадка на автобус, я был мгновенно отброшен от него, как футбольный мяч.

А когда я вернулся в Дом колхозника, там мне сказали, что все свободные номера уже забронированы за какой-то министерской комиссией, так что теперь я могу рассчитывать разве что на раскладушку в коридоре. Повздыхав, я оставил чемодан у дежурной, вышел на улицу и присел у ворот на скамейку поразмыслить, чем бы заняться до ночи, чтобы не пропал вечер.

Был у меня адрес еще одного пенсионера, но идти к нему не было охоты, вернее, она пропала, после того как Тимофей Павлович сказал, что хотя старичок этот и древний, много чего мог бы порассказать, но в памяти у него все уже перепуталось и, главное, разговаривать с ним очень трудно — совершенно глухой. Да, откровенно говоря, и боялся я, как бы своими расспросами не довести старого человека до сердечного припадка, — Иван Степанович вот уже слег в постель, и Ольга Никаноровна больше не подпускает меня к нему.

Пока я размышлял, куда бы пойти, на скамейку подседа соседка по моему бывшему номеру, жена зубного техника, приехавшая с ним из города Донецка и не дававшая в номерах никому покоя громогласными жалобами на свою злосчастную судьбу.

— Нет, вы только подумайте, — из Донецка попасть в такую кошмарную дыру, как этот проклятый Спас на Песках, чтоб ему провалиться в болото! — поднимала она крик на кухне, как только постояльцы начинали собираться сюда к умывальникам, стоявшим длинным рядом вдоль стены. — В Донецке только птичьего молока не достанешь, а здесь — посмотрите вот, чем приходится питаться! Это же не мясо, а сплошной ужас!.. И все из-за моего дурака, — объясняла она тем, кто этого еще не знал. — Загорелось ему поскорее жениться на мне, и вырвал из паспорта листок со старым брачным штампом, а взамен вставил чистый. Год просидел в заключении, а теперь, вот извольте, еще два года проторчать в этой дыре. Ничего не поделаешь, приходится страдать — не за что-нибудь, а за одну любовь ко мне срок получил, дурак!

И сейчас, подсев на скамейку, она стала сетовать на свою судьбу и поносить Спаса на Песках, клянясь богом, что хуже него не сыщешь города на всем свете.

Печально было слышать это о близком моему сердцу городе. И вдруг я услышал бодрый голос другого соседа, тоже вышедшего из номеров посидеть на улице:

— Обождите, комиссия вот едет, может быть, Спас на Песках еще

на большую колею выведут, тогда из этой дыры за каких-нибудь три часа доберетесь до Москвы. А там и птичье молоко достанете.

А вдруг и действительно судьба еще улыбнется Спасу на Песках, подумал я и пошел к начальнику станции узнать, не та ли это комиссия едет, которую он ждет не дождется.

Выйдя на перрон, я не увидел никаких признаков жизни, кроме трясогузок, бегавших по ржавой крыше забитого досками пакгауза, но мне показалось, что сегодня они бегают суетливее, чем обычно, и этот обнадеживающий знак подал мне веселую мысль дернуть за язычок вокзального колокола. Я дернул чуточку, только чтобы попробовать, звенит ли еще позеленевший от времени колокол или уже навеки онемел, но в глухой тишине удар прозвучал так неожиданно резко, что я испугался, как бы на станции не поднялся переполох.

Переполоха не произошло, но на перрон выскочила девочка, внучка начальника станции, а за ней и сам он вышел, как всегда в тапочках на босую ногу.

— Ну как, дождались?—спросил я.—Говорят, что комиссия уже едет.

— Ничего еще пока не слышал об этом,— ответил он.

Мы с ним посидели на скамеечке у колокола, поговорили, что бы это мог означать приезд министерской комиссии — то ли открытие большой нефти, то ли строительство курорта,— и решили, что в том и другом случае без железной дороги уже не обойтись и колея, конечно, будет широкой.

Как это удачно получилось, что мне сегодня не удалось попасть на автобус, подумал я, повеселев.

— Сейчас последние известия будут передавать из области. Давайте послушаем,— сказал начальник станции, посмотрев на часы.

Он поднялся, протянул руку к вокзальной стене, и тотчас же из черной трансляционной тарелки, криво висевшей по ту сторону путей узкоколейки, под крышей пакгауза, загремел голос диктора. Впервые я услышал его на этом мертвом вокзале, и меня взяла оторопь, словно этот голос был вызван из небытия каким-то непостижимым волшебством. И я подумал, что ничего удивительного не будет, если сейчас мы услышим по радио, что в Спасе на Песках обнаружены богатейшие россыпи алмазов или что-либо подобное.

Но нет, и на этот раз последние известия обошли Спас на Песках далеко, далеко стороной.

— Обождем,— сказал не терявший надежды начальник станции.

И ночью, засыпая в душном, темном коридоре Дома колхозника, на жесткой раскладушке, я все думал и думал: что-то услышу завтра в редакции районной газеты и как это было бы глупо, если бы я уехал сегодня, не подозревая о тех переменах, которые сулит Спасу на Песках приезд министерской комиссии.

— А вы еще тут? — сказал на другой день утром Тимофей Павлович.

Час был ранний, и, кроме него, всегда, когда бы я ни зашел, сидевшего на своем месте, у окна, больше никого в редакции не было.

— Не попал на автобус, и, кажется, к счастью,— сказал я.

— А что случилось?

— Комиссия, говорят, приезжает.

— Ждем. В райкоме все уже собрались. И Илья Ильич там. А вам-то что?

— Как так что?! — воскликнул я.— Ведь решается вопрос, быть Спасу на Песках или не быть.

— Будет, не беспокойтесь, никуда не денется,— засмеялся Тимофей Павлович.

Оказалось, что министерская комиссия едет решать судьбу не столько Спаса на Песках, сколько одного большого подмосковного завода, которому стало тесно на его площади,— куда его перевести: может быть, в Спас на Песках, а может быть, в какой-нибудь другой город того же географического пояса, где тоже достаточно пустыющей земли.

— Так что перспективы у нас действительно есть и даже колоссальные,— сказал Тимофей Павлович и, задумчиво уставившись в окно, добавил: — Если завод дадут нам, то численность населения в районе сразу увеличится по крайней мере вдвое, но...

Я сидел напротив него и ждал, пока он скажет, что «но».

Такой человек Тимофей Павлович — замолчит на полуслове и, когда кажется, что он уже забыл, о чем говорил, думает о другом, вдруг продолжит. И паузы эти у него получаются естественно, как-то сами собою, без всякого умысла.

— Конкурентов у нас слишком много,— сказал он наконец.— У богатого хозяина и выбор богатый.

Придвинув к себе счеты, Тимофей Павлович защелкал на них, перечисляя всех, кто жаждет заполучить большой, богатый завод,— такие же маленькие, как Спас на Песках, старые русские городки, оставшиеся в стороне от главных дорог.

— Вот видите, какая конкуренция! — сказал он и, посмотрев на меня не без лукавства, спросил: — А чего это вы вдруг с допотопных времен переключились сразу на завтрашний день?

Пришлось признаться, что сердце газетчика не выдержало.

Я хотел обождать Илью Ильича, чтобы узнать, что там комиссия решит, но Тимофей Павлович заверил меня, что комиссия ничего не решит.

— Это еще только разведка. Решать будет Москва. Так что, раз торопитесь, поезжайте,— сказал он.

В Москву я возвращался на случайно подвернувшемся московском такси, и шофер, впервые заехавший в эти края — он отвозил кого-то в Макрушино погостить у родных в деревне,— по дороге восхищался местностью:

— Красота! Какие луга, леса, озера!

А я смотрел на эти дикие красоты и думал: что же здесь будет — завод, курорт или еще что-нибудь?.. Сибирскую целину подняли, пустыни оросили, среди среднеазиатских песков сады зацвели, а тут вот в самом центре России, неподалеку от Москвы, есть еще такие районы, где земля пустует. Думал и всю дорогу мысленно вел разговор со своим бывшим редактором, с которым уже много лет собираюсь встретиться и поговорить, но все никак не удается. Встретаться-то мы встречаемся изредка, но только в официальной обстановке, на каких-нибудь больших, торжественных собраниях, где не успеешь слово сказать, как его уже окружили, а тебя отеснили; как мы и думали, далеко пошел редактор нашей маленькой профсоюзной газетки. Недавно как-то собрались мы, несколько старейших сотрудников его, и только разговоров было, что об Александре Александровиче.

Одно время и у него, говорят, были неприятности на работе, но он все такой же живой, энергичный, быстрый — несмотря на седину в по-прежнему густо стоящих ежиком волосах, выглядит для своих лет удивительно молодо. Да, обязательно надо будет встретиться с ним, поговорить.



О ЧИ Е Р К И Н А Ш И Х Д Н Е Й

Ю. БУРЛАКОВ

★

ОДНИМ ТАБОРОМ

1

Аэропорт Нижне-Ангарска — зеленый луг, обнесенный жердевой оградой. Есть, однако, метеостанция, касса, диспетчерская, буфет.

У ограды пасутся телок и коза. От старости козы копыта завернулись кверху, как стоптанные чирики. На коленках вытерлась шерсть и сереют пятки жесткой кожи. Через взлетную полосу колонной по одному протопали гуси.

Сижу в диспетчерской, жду летчика специальной авиации, хочу договориться, чтобы завтра меня забросили в геологический поселок Чая на вертолете. По предложению Главного управления геодезии и картографии я командирован как альпинист в топографический отряд в район Северо-Байкальского нагорья.

Около диспетчера стоят два замасленных технаря — Юрка и Василь. Стоят и канючат. Очень уж им не хочется, чтобы вечером прилетал рейсовый самолет: его надо будет осматривать, проверять, заправлять и рано утром готовить к полету. У обоих лица страдальческие.

Самолет вылетел из Улан-Удэ и находился где-то в районе Усть-Баргузина.

— Туман ползет, погода портится, — сказал Василь.

— Самолет придется направить в Байкальское на допполосу, пусть там ночует, — вторил ему Юрка.

Диспетчер будто не слышал этих слов.

— Корова переходит посадочную. — Василь пустил в ход последний козырь.

Юрка презрительно на него посмотрел: ниже-ангарские коровы и козы, как только слышат гул самолета, сразу отбегают с посадочной полосы к изгороди.

Двукрылый «АН-2» пролетел над крышами поселка и пошел на посадку. И уже зашагали к нему, хлопая замасленными штанинами и не обращая никакого внимания на прилетевших пассажиров, деловые и серьезные Василь и Юрка. Кончился треп, началась служба.

«МИ-1» — вертолет-малютка, он обычно берет двух пассажиров и немного груза. У меня с собой куча снаряжения — напроновые веревки, ледоруб, крючья, скальные молотки, карабины, палатка. С трудом укладываю весь этот альпинистский скарб в багажном отсеке, а сам усаживаюсь за спиной летчика на заднем сиденье. Летчика зовут Геннадий. Смуглый, чернявый, кудластый. Как цыган. По аэропорту он ходил с большим кожаным, туго набитым портфелем.

Вертолетом управлял лихо. Вначале поднял его метра на два, затем наклонил вперед и, словно бодая невидимого противника, круто понесся по параболе вверх. Замелькали деревянные строения поселка, растянувшегося узкой полосой километров на шесть вдоль байкальского берега. И земли вроде много, а поселку тесно: с одной стороны он прижат гольцами, с другой — заболоченным берегом. Оттого и вытянуло так. У причалов стояли рядками рыбацкие матадоры. напоминающие детские игрушки; приозерный лес рябил розовыми пятнами — цвет багульник.

Земля то поднималась вверх и пронеслась совсем рядом под ногами, так что можно было различить отдельные камни и жилки ягеля — это были гребни, — то стремительно удалялась в глубину — это были ущелья. И всюду, до самого горизонта — тайга.

Вертолет сел в долине реки Чая у небольшого поселка на приготовленной геологами площадке.

Выгружаю, благодарю летчика за доставку.

Из поселка бежит человек и что-то кричит.

— Наверное, вам, — сказал я Геннадию.

— Ничего, покричит — перестанет, — ответил он спокойно и взмыл вверх.

— Сто-о-ой! — орал человек.

Вот он подошел, запыхавшийся, потный.

— Все-таки улетел, падлюка.

Достал платок, вытер шею. Молча посмотрел в небо. Рослый, с густой черной бородой, в телогрейке, в кирзовых сапогах.

— Полохов, главный геолог партии, — представился он. — Теперь скажите, как этих анархистов заставить брать попутный груз. Десятый день не можем пробы отправить в лабораторию, а он пустой улетел.

От Полохова я узнал, что бригада Овсянникова ушла на контроль к начальнику партии. Но куда, он точно не знал. То ли на Огиенду, то ли на Нюсидек, то ли в низовья Чаи. Сулились быть дней через семь обратно.

— Вы пока устранивайтесь в порту. — Он указал на несколько срубов, стоящих на левом берегу Чаи. Основной поселок прилепился под сопкой с полверсты отсюда.

Я направился в порт.

Постучал в один из срубов. Никто не ответил. Вошел. На полу на расстеленном брезенте спали двое мужчин — один здоровый, рыжий, другой щуплый, с пиратской повязкой через правый глаз. Оба в зеленых энцефалитных костюмах. Храпят на совесть.

Я не стал их будить и вышел.

— Эй! — окликнул меня смуглый парень в белой майке. — Работать приехал?

— Ага.

Лицо у парня скуластое, чуть побито оспой. Взгляд разгульный.

— Буровик?

— Нет.

— Горняк?

— Альпинист.

— Про таких не слышал. Из блчей, что ли?

И, не спрашивая больше ни о чем, потащил меня в свой дом.

— Заходи, места хватит. Жена в поселке ночует. У подруги. Размолвка у нас вышла. Клади вещи, все будет цело. На меня, друг, можешь положиться. Я буровой мастер Михаил Кузин, меня все знают. Тебя как величают?

Я назвался.

Расположение дома простое. Большая комната разделена дощатой переборкой и узкой двухконфорной печью. Стены не оштукатурены и белены прямо по бревнам. Мебельная утварь, кроме двух железных кроватей, сколочена тут же, в тайге: стол, две длинные лавки, два табурета, полка для посуды, завешенная бумагой, туалетный столик из ящичков, покрытый белой узорчатой накидкой. На столике — зеркало, одеколон, помада, пудра, ножницы. Над печью висят носки, трусы, портянки, лифчик, детская рубашка. На полу — стопка дров и топор.

Узнав, что я приехал в бригаду Овсянникова, Кузин сказал:

— Вот досада, всего на три часа разминулся со своими. Они только что ушли на контроль. Теперь несделю придется ждать.

— Может, догоню?

— Вряд ли. Они и так засиделись. В охотку пойдут, без остановки. Однако попробовать можно. Дуй по следам: десять оленьих и пять людских. Если не догонишь, на ночь возвращайся в поселок.

Я сунул в карман кусок хлеба и пошел к броду.

— Спички-то захвати!— крикнул Кузин.

Отмахал километров пятнадцать, но так и не догнал бригаду. Следы затерялись в заболоченном лесу, смешались со старыми вмятинами, и невозможно было толком разобрать, куда идти.

Усталый и огорченный, я возвратился назад в Чаю.

2

Местный охотник Егор Кулямин сказал, что видел табор Овсянникова в двадцати километрах от Чаи, у слияния Огиенды и Нюсидека. Ждали на контроль начальника партии Протасова, который должен подойти от озера Соли.

Я решил идти к ним: какой смысл сидеть здесь без дела?

— Куда? — окликнул меня Полохов, когда я выходил уже из поселка. — Без проводника и ружья этой тропкой не ходите.

Проводить меня вызвался тот же Егор. Он посмотрел на мои альпинистские ботинки и сказал:

— Обутка не та, в такой по тайге не ходят.

Распадок, ведущий в долину Огиенды, сплошь разрыт тягачами. Глубокие следы исчертили вдоль и поперек лиственничный лес.

— Тягач что танка,— сказал Егор.

Дважды мы перебредали мелкие речки с ледяной водой и скользкими камнями, пока наконец не вышли на левый берег Огиенды — широкую протяженную марь. Тропа торная. Идем ходко. Запах дыма возвестил о близости табора. На большой поляне у ручья стояли полуюрта и две зеленые палатки. Навстречу с лаем выскочила черная собака, еще щенок, и, вздыбив загромок, смело обнюхала наши ноги. Гладить не далась.

У костра сидела бригада — трое русских, двое эвенков.

Знакомлюсь. Пожимаю руки, стараюсь сразу запомнить имена: инженер-топограф Алексей Овсянников, рабочие Владимир Данчин и Тимофей Тюрин, каюры Килгол и его сестра Гарпала. Черного пса зовут Бельмешем. Из живых существ в бригаде еще есть десять оленей и два олененка. Стадо пасется на ягеле на другой стороне реки.

Раздаю письма и телеграммы, которые прихватил для бригады из Чаи. Егор попрощался и ушел.

У Овсянникова бледное узкое лицо. Нос с горбинкой. Густая короткая поросль покрывает шею, щеки и поднимается под самые глаза. На нем розовый спортивный костюм и резиновые сапоги. На левом боку — набитая картами полевая сумка, на правом — наган. Наган в тайге — пшконство. Опытный таежник в тайгу берет карабин, с ним безопаснее и сытнее. Овсянников ходит в тайге третий сезон.

— Слушай, Данчин,— сказал он рабочему.— Начинай стряпать лесшки, что ты все крутишь телеграмму.

— Успею.

Данчин — рослый мужчина с лицом пасечника.

— Меня зовут Володей,— представился он, когда мы с ним познакомились.

Я ощутил в руке большую шершавую ладонь, однако надлежащего пожатия не почувствовал. Его пальцы быстро выскользнули, Володя широко улыбнулся и отвел глаза в сторону, как девица-красавица. Вскоре я убедился, что Володя — зачарованная душа. С каким-то удивлением рассматривал он лес, облака, замшелые пни, муравьев. На нем все ладно — спецовка хоть и штопаная, но чистая, со всеми пуговками, на локтях и коленях овальные патки. Прошлогоднюю донашивает, новую бережет. Подбородок усердно выбрит, под носом чапаевские

усы, с закруткой. По тем просьбам, с которыми к нему обращались («Володя, дай иголку, дай спички; где ножик, где свечка? Дай бинт»), было видно, что Данчин — хозяйственный мужик: все-то у него на месте, все-то у него в мешочках да коробочках.

— Нравится таежная жизнь? — спросил я.

— Одно нравится, другое не нравится. Нравится лес, охота, рыбалка. А не нравится то, что ходим в мокром, спим в холоде, часто голодаем. А это все — уничтожение здоровья.

Второй рабочий — Тюрин, такой же рослый, но моложе Данчина. Лет ему, наверно, не более двадцати двух. Большие уши, утиный нос, тонкие губы и совсем маленький подбородок делали его лицо усеченным книзу.

— Рад познакомиться, — сказал он, подавая руку. А чуть позже добавил: — Мне вас очень недоставало. Хочется иной раз поговорить с городским человеком на интеллектные темы.

На Килгола я смотрел и не мог понять, сколько ему лет: сорок пять или шестьдесят пять. Лицо круглое, темно-коричневое, все в морщинках, а на голове — ежик черных густых волос без единой седины. Килгол приметный, не потеется: левый глаз с бельмом. Сложив калачиком ноги, он сидит в своей полуюрте, которую ставит вместо полной для лучшего обзора («Зверь бежит — мало-мало вижу, медведь нападай — сразу стрелить буду»), и толчет в деревянной ступе нюхательный табак. Временами вытаскивает вырезанный из березовой чурки пестик, зачерпывает из ступки крохотной алюминиевой лопаткой табак и подносит к носу. На нем тарбаганья дошка, хлопчатобумажные брюки, первоначальный цвет которых трудно определить, на ногах мелкие резиновые чирюки, привязанные сыромятными ремешками.

Тридцатилетняя Гарпала каюрит с братом не первый год. Она миловидна, загорелые бугорки щек подпирают глазницы. Она все время смеется и прикрывает рукой рот. Гарпала копается в маленькой берестяной шкатулке, обшитой цветным бисером. Там у нее все — нитки, иголки, таблетки, рыболовные крючки, булавки, наперсток и прочая дорожная мелочь.

Я разулся, подставил теплому ветру мокрые ноги и стал наблюдать, как Бельмеш и двое оленят играли в догонялки.

Овсянников объяснил мне, чем будет заниматься бригада.

— Наша задача — дать исходные данные для составления карты крупного масштаба. Предстоит сделать двадцать четыре трапеции. Надеюсь, вы имеете представление, что это такое?

— Ни малейшего.

— Как бы вам объяснить, — продолжал он снисходительно. — Представьте себе серию снимков, сделанных с самолета. На этих снимках запроектированы точки, обычно выбираются вершины, их надо привязать к геодезическим пунктам, то есть сделать плано-высотную привязку.

Овсянников долго мне рассказывал, что трапеция — это часть земной поверхности, ограниченная двумя параллелями и двумя меридианами, что дешифровка — это разгадка фототонов на снимках, уточнение растительности, русел рек, троп и прочих деталей, что в каждую трапецию в среднем входит две точки.

— Ваши функции как альпиниста...

— Мои функции мне известны.

Получить письмо в тайге — большая радость. И Овсянников и Тюрин по третьему разу перечитывают письма.

А Данчин все ходит с телеграммой и нудит.

В телеграмме говорится, что заболела мать и что он должен срочно вернуться домой. Подписана Тосей.

— Подружка моя, — пояснил Данчин, — баба славная, но брехливая.

Он рассуждает так: если бы действительно опасно заболела мать, то об этом написала бы сестра. Значит, телеграмма ложная, Тося хочет, чтобы он бросил тайгу и скорее вернулся к ней.

- Ты ее любишь? — спросил Овсянников.
- Шут ее знает. Вроде нет. Она меня спрашивала: «Будем мы с тобой жить?» А я ей говорю: «Нет, однако, не будем».
- Ну и что?
- Я ее не гоню, и она не уходит.

Володя достает сигареты, протягивает по штуке каждому, как бы располагая к себе аудиторию. Аудитория курит и молчит. Чтобы каждому был понятен предмет разговора, Данчин сызнова рассказывает всю историю.

Жил один. Снимал у хозяев однокомнатную пристройку. «В холодно» работал шофером, «в тепло» уходил в тайгу. Жил тихо и скромно («Много ли мне надо — лучше свое потеряю, чем чужое возьму»).

Однажды говорит ему знакомая: «Володя, парень ты красивый. С тобой хочет познакомиться одна особа — молодая, свежая. Приходи завтра ко мне со своим другом».

— Приходим. Смотрю, сидит старая такая, под глазами запеканки. «Очень рад знать тетю Тосю», — говорю. Так ей прямо — «тетю Тосю». Потом Тося приходила в гости. А весной принесла свой узелок с вещами и осталась. «Без женского внимания ты пропадешь», — сказала она. Жили, не расписываясь. О прежнем друг друга не расспрашивали. Вначале было все хорошо: суетились, стряпала, брюки гладила. Вечерами ходили в кино. Как-то присылает мне матушка с востока посылку. Сало хорошее, домашнее. Душистое. С кожицей. И мне как раз в эту пору уезжать на месяц в тайгу, лабазы закладывать. Ворочаюсь, лезу за салом, а сала нету. Были у меня консервы с экспедиций, картошки мешок — ничего нету, все начисто съела. Ни с чем не встретила. Это меня сразу обидело. Нормальная жена должна уметь мужа встретить с дороги: радоваться, крутиться юлой, чтобы лучший кусок ему, лучший пряник. А она супа горохового невпроворот наварила, чугунок грязный, баланда по краям засохла, чугунок накрыла сковородкой, сажа внутрь нападала. Всюду мусор, кровать не убрана, чашки не мыты. «Сервиз, говорит, на шестерых персон купим». А я думаю: если ты этим двум чашкам ладу не дашь, то что ты сделаешь, ежели больше-то будет. Господи, тридцать шесть лет, а такая непутевая. В эти годы уже крепко на ногах стоят. А у нее приданое — одна юбчишка, одно платьице, пальтишко-плюшевка на все времена года. Она у меня спрашивает: «Так будем мы с тобой жить?» А я ей говорю: «Нет, однако, не будем». Хотела отравить: я эссенцией. Раздумала. Грозилась повеситься — не повесилась. Ничего. Опять живем. Теперь мне в лес, а она в рев: «Что тебе дороже, лес или жена?» Говорю: «Точно, лес». Перед самым отъездом говорит: «Володенька, а я беременная». Ну, думаю, капитально зацепился. Я в тайгу, а она — на восток, к моей матери. Ну, конечно, там представилась — Володина жена, мол, беременная, принимайте. Теперь скажите: любовь это или нет?

— Самая настоящая любовь, — сказал Овсянников, — тебя, тридцатипятилетнего, иначе и не женишь.

— Баламутная она какая-то, — сказал Тимофей, — все сало съела.

Насколько я мог понять, Данчин не был удовлетворен такими ответами и подсел ближе к Овсянникову.

Под вечер пришел Протасов с адъютантом, каюром и пятью оленями. Всего в партии было три бригады: две — Овсянникова и Шатохина — делали высотноплановую привязку с дешифровкой, одна — Лихачевой — гнала чистую дешифровку.

Протасов ходит, как повелитель. Лицо с румянцем. Широкий нос в крупных порках. Одет в оранжевую ковбойку и энцефалитные брюки, на голове — зеленый берет. Сапоги с мушкетерскими отворотами, на боку длинный нож в кожаных ножнах, а за плечами, как легкая палка, боевой карабин. Рукава засучены, из расстегнутого ворота выглядывает волосатая грудь. По всему видно — настоящий таежник.

Протасов с ходу распек Овсянникова за ржавчину на ружье, потом опросил всех по технике безопасности, о чем заставил расписаться в особом журнале.

Пока Протасов занимался своими делами, его адъютант Иван Найденов стряпал ужин: крупил на мясорубке оленье мясо и жарил пышные котлеты.

— Противоэнцефалитные уколы делали? — спросил меня Протасов.

— Разумеется, — соврал я не моргнув глазом.

Меня предупредили: если узнают, что я не делал этих самых уколов, сразу выведут из тайги.

— С энцефалитом шутки плохи. У геологов уже два случая в этом сезоне зарегистрировано.

Говорили, что клещ злой до июля. Может, проскочу.

Протасов и Овсянников разложили карту, уточняли маршрут бригады.

Все бригады будут собираться на озере Соли, на базе партии. Там мы станемся с каюрами и вылетим из тайги на вертолетах. Остатки вещей в Чае Протасов обещал перебросить на Соли.

— Скажи, Килгол, опасны ли горы? — спросил я каюра.

— Шибко рисковать зачем. Пойти смерть искать никто не хочет. Без ума ходи — пропадать можно.

Старый каюр был прав.

Жилплощадь в бригаде распределялась так: в одной палатке устроились Овсянников и Данчин, в другой — Тюрин и я, в полуюрте — Килгол и Гарпала. Протасов со своими разбил отдельную юрту.

Я засыпал с хорошим настроением: наконец-то попал в бригаду.

Много раз я пользовался подробными картами и никогда не задумывался над тем, как они делаются, кто нанес на них тропы, зимники, болота, броды и сотни других важных значков. Теперь это буду делать сам.

За палаткой слышны тяжелые шаги Протасова. Он остановился у жилища каюров.

— И ночь строгая, и звезды мерцают, — пробасил он. — Вот и угадай: какая будет завтра погода? Что думают на этот счет национальные кадры?

Национальные кадры спали.

3

Горный кряж обрывался стеной у наших палаток. Прямо как на Кавказе. Сегодня мы уходим в четырехдневный заход по гольцам северной стороны нашей рамки.

Пойдем без оленей. Им не пройти.

Килгол и Гарпала перекочуют с оленями по долине на север и будут ждать нас у слияния Овгола с Олокимом.

— Нагружайтесь по совести, — сказал Овсянников.

На земле лежала куча груза, который надо нести на себе.

...Идем заболоченным лесом. Резиновые сапоги по колено увязают в густом дерне. Кое-где под водой скользит лед. Июнь, а он еще не растаял. Под ногами один звук: чвак, чвак, чвак.

С чистых мочагин срываются утки и, задев крыльями ветви деревьев, уносятся вверх.

Начался склон. Пока не круто. Впереди Овсянников, как главный специалист, за ним Данчин, Тюрин. Замыкаю я. Овсянников все время трет глаза: ему первому придется рвать лицом липкую паутину. Пересекаем множество ручьев.

Высокоствольный лес постепенно перешел в кедровый стланик. Начались непролазные дебри. Жесткие стволы толщиной в руку, покрытые сочной, пахнущей помидорами хвоей, расходились веерами в разные стороны. Подлезть под них с рюкзаком невозможно. Приходилось взбираться на стволы, баланспровать, проваливаться куда-то вниз и снова взбираться. Пошел в ход топор. Двигались медленно, почти вслепую.

Неожиданно впереди затрещал стланик, словно по нему перекатили пивную бочку. Мы остановились, прислушались. Нарушитель спокойствия замер.

— Это медведь, — сказал Данчин.

Переглядываемся. Медведь — хозяин тайги. С ним надо поприветливей.

Первым оценил обстановку Тимофей.

— Вы как хотите, а я буду примечать, куда бежать.

— Никто никуда не уйдет. Действовать будем вместе.

Овсянников выдернул из кобуры наган и взвел курок. Володя переломил ружье и заложил в оба ствола жаканы. Тимофей полез в рюкзак, достал котелок и ну в него брякать.

— Тихо ты, — шикнул Данчин. — Сейчас соберешь их целую свадьбу. В медвежий гон все наоборот: зверь сам идет на стук. Вывалил их пять молодых, что будем делать?

Возможно, медведь притаился в засаде. Может, затих из любопытства. Попробуй узнай. Лучше обойти это место. Берем влево.

— Вон он. — Данчин показал рукой.

Черный лохматый шар катился по зеленому стланику вниз. Вот для кого стланик не препятствие — ломится, только треск стоит.

На высоте полутора тысяч метров стланик кончился и началась крутая сланцевая осыпь.

Идем странным образом. Овсянников с рабочими то перегоняют меня, то отстают. На подъеме они идут быстро. Через пятнадцать минут валяются на камни и закуривают. Пока они сидят, я их обгоняю и ухожу выше. Затем они снова перегоняют меня и снова валяются в мыле.

— В горах так не ходят, — говорю Овсянникову.

— А мы так ходим. Есть силы — идем, кончились — отдыхаем.

— В горах ходят медленно, а отдыхают мало.

— Только не учить. У меня профессия — ходить по гольцам.

Данчин дипломатично помалкивает. Овсянников для него — начальство.

Моя теория пришлась по душе только Тюрину.

-- Конечно, — говорит он, — зачем идти через силу. Ишаки, что ли?

Делаем привал. У Володи рюкзак самый тяжелый. Это сразу видно. Зато у Тимофея совсем легкий. Нагрузились по совести! Совесть, выходит, дело хорошее, да у каждого она разная. Справедливость все-таки лучше.

Пока грелся чай, я выпростал рюкзаки и собрал в одно место общественный груз. Здесь были две палатки, ружье, патронташ с патронами, два топора, теодолит, штатив, две веревки, скальные крючья, молоток, восемнадцать килограммов продуктов — консервов, вермишели, сахара.

Овсянникова, как исполнителя, предложил ограничить такой ношей: теодолит, полевая сумка, наган. С него хватит. Он согласился. Остальной груз разделил на три равные по весу кучи. Выбирай любую. Что касается личных вещей — спальных мешков, телогреек, носков и прочего — пусть каждый берет по силам. Хоть диван-кровать на горбу тащи. Но общественную долю носи равную. Здесь дураков нет.

К обеду мы выбрались на голец, нашу первую проектную точку.

Сильный холодный ветер заставил нас прятаться за выступы скал. Зябко, зато комарье не грызет.

Навалившись на ветер, как на подпорку, ходит по вершине Овсянников, пытается опознаться. Наконец делает иголкой еле заметный накол на фотоснимке.

Ставим теодолит.

Заносу в журнал первые цифры.

Перед каждым замером Овсянников сплевывает и потирает руки. Привычка. На измерения тратим целый час.

— Долговато, но для начала сойдет, — сказал инженер.

— Работа сдельная, чем быстрее — тем лучше, — включился в разговор Данчин.

— В нашем деле главное — процент, — добавил Тюрин. — Выше процент — больше заработок.

— Это ты крепко усвоил.

Складываем высокий каменный тур. Данчин так пригнал камень к камню, что тур получился как монолитный.

— Теперь хоть медведь бок чеши!

Данчин был доволен.

Рабочих отправляем в боковое ущелье устраивать бивак, а мы с Овсянниковым уходим на вторую точку.

...Зеленая ракета, пущенная Данчиным, помогает нам в темноте выбраться к палаткам.

Еле держимся на ногах. Едим лежа. Ничего, втянемся. Главное, сделан первый задел.

За пятнадцать дней одолели семь трапеций. Почти месячную норму. Сделали б больше, если бы не дожди.

На вершины часто выбирались мокрые и, если поблизости были сушины, разводили костер, обступали его и следили, когда откроются ближайшие пункты.

Важно перевалить за половину плана, потом пойдет легче: меньше и меньше будет оставаться.

...После утомительных дней сегодня мы решили поспать подольше. Тем более что нам предстоял легкий переход с оленями из долины Олокита в долину Холодной.

Слышно, как потрескивал костер и глухо скреблась по котлу ложка: Данчин стряпал завтрак. Хорошо, когда дежурит этот человек. И продукты не переvedет, и сделает все как надо. Не то что Тюрин.

Данчин раскладывал костер в удобных местах. Чтобы был рядом ручей (воду брать, посуду мыть, огонь гасить), чтобы стоял широкий камень-плита (будет столом), чтобы лежала рядом толстая упавшая лесина (удобно сидеть). Таганковые рогатки и перекладина у него добротные. Рядом с костром втыкал жердочку с торчащими сучками. На сучки вешал вымытые кружки, в ручки их продевал ложки (чтобы на земле не валялись, собака не лизала).

По тайге Данчин ходит лет восемь. В отряде, я слышал, каждый исполнитель старается пригласить его в свою бригаду. Но начальство обычно прикрепляет его к молодым: пусть натаскивает, с ним будет покойнее.

Солнце нагрело скат палатки, внутри стало жарко и душно.

Данчин будит нас ласково:

— Ну, вставайте, вставайте, исть пора, позавтракаете, потом опять лягите.

Мы прекрасно понимаем, что после завтрака нам снова лечь не придется, но слышать это приятно.

Я высунул голову из палатки — день обещал быть погожим.

Данчин ополоснулся по пояс в ручье, обтерся и теперь стоял под деревом, слушал птиц. Он понимал птичьи разговоры.

«Витьку видел?» — спрашивает один голос. «Витьку-то видел», — вторит ему другой. «Ви-дел, ви-дел», — отвечает птаха с крайнего дерева. «Витька жив?» — снова беспокоится первый. «Жив, жив!»

— Ну и слава богу, — встрял в разговор Данчин.

— С кем ты там говоришь? — спросил Овсянников.

— С птицами. Витька у них терялся, а теперь нашелся. Хулиган, наверно, — серьезно ответил Данчин.

— Какой Витька? — не попял Овсянников.

— Да тот, что с вечера еще кричал: «Пропью, прокучу все к сдрене матери».

— Ты чего несешь?

Вообще Данчин любил говорить не только с птицами, но и с собаками, оленями.

— Встали чуть свет — солнце в обед, — смеялся он, глядя, как мы лениво выползаем из палаток.

На завтрак лапша с уткой.

— Вся тушу завалил в котел,— сказал Данчин.

Это кирпич в меня: вчера я убил одного худого селезня, в котором было полфунта веса.

Голодный Бельмеш не в состоянии спокойно ждать остатков еды и боязливо сует морду в наши кружки, набиваясь в компанию. Ему удастся подобрать кусок пышки у зазевавшегося Тимофея.

— Ах ты гад! — закричал Тимофей и так поддел его ногой, что бедный пес перевернулся через голову, заскулил и, перекидываясь через сумы, потники и седелки, побежал прочь.

— Ты зачем бьешь собаку? — закричал на Тюрина Володя. — Тварь исполнительная, бессловесная, она не виновата. Скотина никогда не виновата. Как приучили, так и ведет себя... Во изувер!

Тимофей молчал. Он не ожидал такого поворота.

Пьем чай, густой, пахучий. Мы так привыкли к нему, что не можем ни завтракать, ни обедать, ни ужинать без двух кружек чая.

...Наш караван вытянулся в длинную цепочку: впереди Овсянников, за ним каюры с оленями и остальные.

— Мооду, мооду! — покрикивали на оленей Килгол и Гарпала.

Олени хорошо понимали каюров. «Мооду» — значит иди осторожно. не задевай сумой деревьев. Когда груз сползет на холку или сбивается на сторону, каюры останавливают их криком «илитка!», а когда снова трогаются в путь, то говорят: «шуруват».

Если олени не слушаются и путают повод, Килгол и Гарпала матерят их по-русски.

Мы распарились от ходьбы. Хорошо еще, часто попадаются родники. Вола в них чистая, холодная, настоящая на мхах, листьях, шишках, кореньях и прелых ветках. Припадешь к ней, окунешь лицо,хватишь вздох три глотка, задохнешься от жадности, переведешь дух и снова... до ломоты зубовой. Лучший напиток земли.

На пути начали встречаться старые буровые, и вскоре на берегу озера показался большой геологический поселок Дуварен. Крепкие дома, проторенные улицы, причалы у воды. Есть баня, клуб, магазин, столовая. За поселком два сарая — аммонитовый склад.

Геологи закончили свое дело и ушли на новые места. А поселок остался. Сколько их по тайге, этих брошенных поселков, пугающих зверей детскими пропеллерными вертушками на крышах и скрипом разошедшихся открытых дверей.

От поселка Дуварен повернули на восток и вышли на перевальную точку. Внизу зеленела новая долина. Слабым, безжизненным ручейком, который можно было перегородить сапогом, начиналась бурная Тыя. Она сочилась из небольшого перевального озерка, но с каждым километром, принимая в себя боковые ключи, река становилась шире и шумней.

Пройдя по Тые километров десять, мы свернули на северо-восток и пошли по новой тропе. Сочные зеленые листья будана четко отбивали тропу с двух сторон.

— Тихо! — сказала Гарпала и подала знак, чтобы все остановились.

В лесу слышался треск, кто-то ломился наперерез каравану. На тропу выскочил крупный олень. Он тяжело дышал. Овсянников сунул в кобуру наган, выхватил у меня ружье, приложился.

— В стволах мелкая дробь,— успел сказать я.

— А, черт! — Овсянников переломил ружье, ища жаканы. Зверь не убежал.

— Бей,— завизжал Тюрин,— скорее, уйдет!

— Олень, олень! — кричали каюры.

— Знаю, что олень,— сказал Овсянников и вновь прицелился.

— Стой,— заорал Данчин,— это домашний, тесемка на шее!

Действительно, на оленьей шее краснела матерчатая тесьма — Кричу: олень пошто стреляй; кричу: сокжой — тогда стреляй, — объяснял Килгол. Он сразу увидел, что олень ездовой.

Старик достал сумочку с солью и начал тихо подходить к оленю:

— Илитка, илитка.

Олень охотно слизал подношение и спокойно пошел за каюром.

— Этот бик знаем, убежал весной, каюра Арпиулова, — сказала Гарпала.

Побродил, наверное, беглец по тайге, а в тайге волки, медведи, и решил: воля хороша, а с человеком лучше. Услышал знакомый перезвон каравана и побежал навстречу.

Тимофей недоволен.

— Надо было стрелять, — сказал он отставшему Овсянникову. — Черт с ним. что домашний. Мясо было бы.

— Неудобно, каюры.

— Олень ничейный. Раз сбежал — значит, списали. И сейчас можно убить.

— Сдурел, что ли? Случайно убить — еще понятно. А теперь как?

— Я поговорю с каюрами.

— Не надо. Данчин не даст.

...Устало брел по тайге караван. Скорей бы стоянка. Даже шустрый Бельмеш вяло плелся в общем ряду с оленями и сонно тыкался мордой в задние копыта.

4

По таежной конвенции чайки несли сторожевую службу. Стоило им заметить человека, как они начинали кружить в воздухе и истошно кричать. Все приозерье знало: идут люди. Срывались с плесов или уплывали подальше от берега утиные пары, перелетали на дальние песчаные косы перепуганные кулики.

Мы шли в шестидневный заход по гольцам, что южнее реки Холодной. Каюры с оленями будут ждать нас на берегу Вирамин — неширокой, но быстрой речушки.

Первые два дня нас банил дождь, и мы больше сушилились, чем двигались. Утро третьего дня выдалось солнечным. Дул восточный ветер. Деревья отряхивались, как собаки после купания.

Над макушками сосен виднелись гольцы. Они были выше прежних.

Много сил отнимали подходы.

Наткнулись на зимовье. Низкий сруб с одной дверью и одним маленьким оконцем. Внутри зимовья сыро и волгло, как в погребе. Пахло кислой огуречной плесенью. Вдоль глухой стены — нары из жердей. У окна стол и деревянная лавка с врытыми в землю ножками. В центре — железная печь на песчаной подсыпке. На узкой полке нужные вещи: нитки, оселок, отсыревшие спички, керосиновая лампа без стекла, соль в развалившейся упаковке, табак, папиросы «байкал», алюминиевая кастрюля, рукавица, медная гильза, сковородка с отломанной ручкой, шило.

Под потолком висело завернутое в оленью шкуру какое-то барахло. На стене возле нар — целый арсенал: старый охотничий карабин без затвора (поискать — и затвор найдется), связка мелких капканов — на соболя, и три больших — на медведя и волка.

Данчин с любопытством брал каждую вещь, рассматривал.

В углу валялось мятое ведро, на столе — полкниги рассказов о животных Спангенберга, лист ученической тетради. На листе пацарапано чернилами: «Жилин распрощался с Костылиным и пошел. Идет Жилин, на зарево поглядывает».

Вокруг зимовья стояли мертвые деревья. Их много. Строители ободрали с каждого дерева по метру коры на уровне груди. Корой крыли избушку. Лень им было спилить пять деревьев и ошкурить по всему стволу. Кору хватило бы.

А теперь стоят с белыми поясами десятка четыре высоченных лиственниц, умерших голодной смертью.

Донимают комары. Они жадно впиваются в лица, наливаясь розовой каплей. Умываемся кровью.

К обеду вышли к Холодной. Прозрачные струи воды скрывали глубину. Река казалась мелкой, по пояс. Пробую перебрести с шестом. Неудачно. Сразу у берега сбило течением, и я попятился назад.

— Будем валить дерево,— сказал Овсянников.

Выбираем высокую сушину. Подрубаем ступенькой. Валим. Деревя хватило на всю реку, только на середине ее ствол чуть заливают водой. Переходим на другую сторону.

Целый день шли горями. Одни были старые, другие свежие, прошлогодние. Черные полосы с километр по фронту и несколько километров в длину.

...Два дня сидели на дальней точке и не могли «отнаблюдать» свои пункты: серая вуаль дрожала над горизонтом. Это дым. Где-то снова горела тайга.

Палатки стояли на гребне под вершинной башней. Чтобы быстро взбираться на башню, мы окрюковали скалы и навесили веревку.

Ночи наверху морозные. Выбираем по камню и греем в костре. Горячие камни кладем в спальные мешки под ноги. Так придумал Данчин.

— Калить до кондиции,— пояснил он.— Ежели плевков отскакивает — перекал, надо остудить.

Камень полночи держит тепло. С камнем легко засыпать.

...Из долины Кичера-Маскит мы поднялись по западному распадку выше верхней кромки стланика, под самые скалы, и разбили бивак. В тот вечер мы не знали, что ночью полетит ненастье и перечеркнет наши планы.

За четыре дождливых дня все промокло насквозь.

— Еще сутки — и я не выдержу,— бурчал Тюрин,— в гробу я видел такую жизнь.

На пятый день выглянуло солнце. Мы выбрались из своих конур. Разбросали по камням мокрую одежду и млели на солнцегреве.

Нам нужно подняться на шесть вершин. Вот они рядом, островерхие, умытые. На это уйдет дня три. Но вот беда — продукты почти кончились. Осталась банка тушенки и кило вермишели. Уходить за продуктами на Намаму — значит потерять четыре дня.

— Попробуем занять у геологов,— сказал Овсянников.— Их табор стоит в низовьях Кичера-Маскит.

В делегацию к геологам вошли Тюрин и я.

Тихие ключи, по которым мы недавно поднимались, разбухли от дождя и гремели водопадами. С трудом находим брод.

Топографы родня геологам: и тех и других интересует земля — одних по форме, других по содержанию.

В геологическом таборе шесть человек. Начальник партии Сафонов, двое молодых рабочих, они же конюхи и проводники, две студентки-практикантки из Воронежского университета, таборщица. Идут расспросы.

О целях нашего визита я пока дипломатично умалчиваю: не хочется как-то сразу побираться.

— Прощу с нами отобедать.— Сафонов делает широкий жест.

На первое борщ. Что за борщ! Свежая капуста, помидоры, большие глыбы картофеля. Затем овсяная каша с маслом — ешь от пуза. На третье компот. А пышки?! Мягкие, горячие. Что значит стряпают женские руки.

На лице Сафонова строгость и заботливость. К нему обращаются только по имени и отчеству.

Основная база партии располагалась на Кичерском озере в полуста километрах отсюда. Туда прилетали вертолеты.

Перед отбоем я задал Сафонову главный вопрос:

— Не разживемся ли мы у вас немного провизией?

— Смотря чем.

«Сейчас он хитро выкрутится», — думаю я.

— Тушенкой, например?

— Можно.

— Крупой, сгущенкой?

— Крупу дадим, сгущенку нет, самим не хватает, дадим сахар.

— Только у нас денег с собой нет.

— Ничего, в Нижне-Ангарске занесете. Валя, — обратился к таборщице, — отмерь товарищам, что они просят.

— Спасибо вам, выручили!

— Закон — тайга.

Получилось так просто, даже удивительно. Раз, два — и порядок.

В десять часов вечера Сафонов отправил всех на отдых. Посидеть с нами у костра разрешил одному Леониду, шестнадцатилетнему пареньку. Разговариваем вполголоса, чтобы другим не мешать.

Леонид оказался охотником. Он знает все способы охоты на любую дичь, даром что мал.

— Рябчика хорошо брать весной на свисток. Сидишь за кустом, легонько пошвыстываешь — он сам придет. Бывало, притаится и сидит с тобой рядом. А еще потешней ловить на петлю. На голом сучке укрепляешь две рябиновые ветки с ягодами, а между ними — петлю из жилки. Рябчик обьет одну ветку и по сучку пойдет ко второй, да и в петлю головой. — Леонид смеется. — Как ловить белых куропаток в лунках — знаете? Делаешь в снегу лунку с узким горлышком, вроде кувшина. Снег быстро смерзается и лунка получается крепкой. Бросаешь на снег две горсти рябины и по несколько ягод внутрь лунки. На ягоды слетаются куропатки. Влезают в лунки, а назад не могут выбраться. Утром их за хвосты вытаскиваешь.

Лицо у Леонида красное, голова черная, кудластая. Настоящий Маугли. Живет в Нижне-Ангарске, учится в восьмом классе, третий сезон работает в тайге проводником.

5

Весь полевой сезон Данчин вел дневник, занося в него свои впечатления. Этих занятий он не стеснялся, а наоборот, каждый вечер шумно устраивался и, шевеля губами, начинал писать.

Иногда он говорил: «Сегодня не пишется», сразу же откладывал тетрадь, нисколько не огорчаясь отсутствием вдохновения. Свой дневник Володя охотно давал всем читать. Я привожу некоторые его записи, зная заранее, что он не обидится.

«17 мая. Вылетели из Улан-Удэ. Что будем встречать по ходу дела, для памяти запишу.

21 мая. Спали, читали журналы, играли в карты, ходили в Чаю в кино. Так и проходит хорошее, дорогое, золотое время жизни.

31 мая. Вышли на три дня на разведку. Рюкзаки — вес подходящий, для похода в гольцах тяжеловаты. Ползли на четырех костях. Очень устали. Встретили своих каюров с 10 оленями из Холодной. Воротились назад. Сготовили обед, пообедали. Пришло время ужина, поужинали, пришло время спать — легли спать.

1 июня. Первый летний день. Встали в 11, позавтракали. Опять спали. Пообедали, снова легли. Вечером шел мелкий дождь. Дом арендуем за счет отряда за десять рублей в месяц. Ждем, когда растает снег, хотя бы на полгоры. Растопил печь железную и кипячу чай.

Немного о себе: даже не знаю, что и писать. Что колет, о том и напишу. Год за годом время идет так быстро, что даже я не успел познакомиться с путевой девчонкой. Да многие и не поверят, что у меня еще даже и не было настоящей любви, а годы и время не ждут. Но пока все в отличном порядке. Крутится-вертится шар голубой, нужно нам встретиться, счастье, с тобой.

2 июня. Шел дождь. Спали. Раза два ходили по ветру. Лишь и всего.

3 июня. А годы все в одиночестве летят и летят. Сами подумайте, как тяжело быть далеко от своей любимой в день весеннего и летнего цветущего времени. Заварить, что ли, браги? Заварил одно ведро. Дня через два будем помаленьку цедить.

5 июня. Веселый вечер. Можно много описать, но, я думаю, потом.

6 июня. Воскресенье. Опростили ведро браги. Как это в книге: «И она улыбнулась. Нос ее от этого как-то очень мило сморщился». Могут же писать так красиво. Еще знаю стихи:

С разгона вскочить на коня,
Оставить жену, домочадцев
И мчаться, и мчаться, и мчаться
Неведомо-знамо куда.

Тосе напишу письмо. Начну так:

«Не обижайся, ведь само письмо на родину не пишется. Я б написал тебе письмо, да снова в маршрут идти».

Это меня конюх из геофизической научил.

8 июня. Вертолет был, а писем нет.

9 июня. Пошли на охоту с каюром. Я убил трех тарбаганов. Каюр ничего. Он на меня обиделся. Надо, говорит, по очереди стрелять.

Да, конечно. Я замечаю быстро и стреляю точно, а у каюра глаз с бельмом.

Стал обдирать тарбагана. Каюрша говорит: «Не мучай зверенка». У них не вешают за ноги, а обдирают на подстилке. Каюр обдирал, я учился. За выучку отдал тарбагана. Остальных завалили в котел. Ужин получился очень мясной.

Каюрша говорит: «С 5 августа тарбаганы будут жирные». Интересно. Четвертого еще худые, а пятого уже жирные? Послал домой и хозяевам письма.

12 июня. Прилетел альпинист. Теперь уходим в далекий поход. А пока сяду у костра и буду шить сумочки под харчи».

...Кривой стол, наскоро сбитый из ящиков и покрытый сорванными со стены зелеными обоями, имел пестрый вид: корки хлеба, початые банки консервов, ломти жареного мяса, бочковый омуль крутого посола, бутылки, стаканы, кружки.

Взрывник Санька Матюхин давал отвальную.

Наша бригада вернулась вчера в чайский поселок на второй контроль. Сделана половина работы. Хотелось расслабиться, стряхнуть усталость.

Протасова в Чае не было. Радист сказал, что, по слухам, он в Нижне-Ангарске. Дали ему радиogramму о том, что прибыли, ждем.

За столом восседало человек семь — наша бригада, Матюхин и Михаил Кузин. Было шумно и бестолково. Опьянев от первой порции водки, или, как точнее определил Кузин, забалдев наглухо, бросился в пляс инженер Овсянников.

Он поднял вверх кулаки, топал ногами и выкрикивал:

— Опа-на, опа-на, закололи кабана...

Почти трезвый Данчин озадаченно смотрел на Овсянникова: господи, что делает водка с человеком. Вот он только что сидел рядом такой разумный, а теперь какой. Непостижимо.

Все галдели вразнобой о чем попало.

— Я пошел в поселок к Вотякову, — рассказывал Санька. — Говорю: «Я извиняюсь, дайте талоны на водку». А Вотяков мне говорит: «Ты больно охоч до водки. Тебе талоны не дам. Талоны, говорит, даю только хорошим производственникам. Воп из кабинета». А мне плевать. Я обменом: четыре банки тушенки, ага, на поллитру. Желающих много.

Пьяный Килгол наклонил голову и говорил:

— Чилеек работай — чилеек хороший. Много работай — много веселись. Помирать буду — плакать буду.

Ну кто мог с этим не согласиться?

Зашла в дом Гарпала и, не ожидая приглашения, села за стол.

— Брат, когда пьяный, всегда меня ругает. Грозит отрубить голову за то, что не замужем, а родила сына. Пусть ругает, не я одна такая. В девках надо было ругать.

Водку выпила с охотой, рассмеялась, стыдливо закрывая ладошкой рот. Быстро опьянела, стала подмигивать Тимофею.

Говорят, любовь такая,
Любовь очень вредная.
Я от этой от любви
Совершенно бледная.

На частушку каюрши Санька решил откликнуться своей, благо глотка здоровая:

Ты пошто ко мне не ходишь,
Я пошто к тебе хожу?
Ты пошто меня не любишь,
Я пошто тебя люблю?

В такт частушке он громко шлепал руками по своим худым ляжкам.

Санька стал рассказывать:

— Вотяков говорит: поработай у меня здесь взрывником, взрывников не хватает. Были у него два взрывника. Посчитал экономику — все умные стали, все считают — и получилось у него, что двух взрывников для партии вроде много. Приказывает: одного разогнать, одного оставить. Теперь один совсем запарился, не в силах горняков обслужить. Разброс большой: и здесь и на Огиенде. Он меня и просит в Чае остаться. Костыреву, мол, другого пришлют. А начальник экспедиции дает эрдэ — пусть Матюхин вылетает в свою партию, как назначили. — Санька сладко потянулся. — След зудится, бежать надо. Завтра полечу к Костыреву. Хватит жировать...

— А продукты, что в порту, куда денешь? — спросил Кузин.

— Не мое дело. Что начальники партий просили, я им отгружал, а это остатки.

— Надо их сдать на склад Вотякову, — советует Данчин.

— Пусть Евсиков прилетает и сам сдает. Я за них не расписывался.

Миша сдернул со стены гитару и кинул Тимофею:

— Топнем цыганочку.

Встал, пригладил волосы, замер. Миша и не Миша. Изваяние. Звякнули струны. Миша в ритм хлопает в ладони и притопывает ногой.

— Дайте мне перья, и я полечу. Эх, пошла. — Миша отплясывал и кричал: — Раз живем! Зачем эти деньги? Тридцать тысяч все равно мало. Эх, дело прошлое, давай, родной, наяривай!

Тихо, задумчиво пела Гарпала:

Чтоб жил человек, маленько надо:
Надо соль и хлеб, мясо тоже надо.
В большой реке таймень чтоб был,
Пошел в тайгу и зверя добыл.
Чтоб в очаге огонь горел
И солнышко тоже маленько грело.
Весна придет, любовь придет.
Любовь придет — значит, дети будут.
Дети будут — снова живи,
Всем на земле этой места хватит.
Чтоб жил человек, маленько надо.

В хату зашел нюрундуканский горняк — коренастый парень лет двадцати восьми. Звать Степаном. Поздоровался. Выпить отказался. Подсел к Саньке.

— Ты мне баян возверни, а? Вот твои деньги. Все.

— Э, нет. Такого уговора не было. — Взрывник закачал головой. — Ты продавал, я покупал.

— Это конечно, — согласился горняк. — Я так спросил — может, уговорю обратно.

Он поднялся и молча пошел к выходу.

— погоди, — сказал Кузин. Он внимательно слушал этот разговор и не смаргивал с горняка ни на секунду. Я заметил: Кузин брал под свою опеку каждого вновь прибывшего сюда человека.

— Ты сколько ему дал? — спросил он Матюхина.

— Двадцать рублей.

— Баян стоит больше.

— Двадцать рублей ему красная цена. Для меня никакого наvara, один убыток.

— Ты только не дури. Я знаю, сколько стоит такой баян. Дело прошлое, верни по-хорошему.

Санька пухнул в сторону папиросу.

— Я как вружу, сразу побежишь доски воровать на гроб! — рывнул он, вдруг обозясь.

Миша смотрел на него ненавидящими глазами. Всем стало ясно: что-то будет. Ленок и хариус в одной яме не уживутся.

— В рабочую робу прячешься, сука, а кровь сосешь, как мелкий гнус.

Санька решил кончать диалог. Он сильно двинул пяткой в Мишкин живот, а когда тот повалился на спину, ловко подскочил и ударил его в лицо.

Мишка встал, пошатываясь. Левый глаз его оплыл.

— Дело прошлое, — сказал он тихо, — считай, что ты доживаешь последние минуты. Буду бить, пока слепая кишка не прозреет.

Кузин не знал приемов драки. Раза три он промахивался, но четвертый удар пришелся Саньке в нос, взрывник повалился на стену, машинально схватился за висевшие телогрейки и осел. Сорванные вещи закрыли его с головой, он запутался в них и заорал:

— Караул, издеются!

Миша схватил его за ногу и потащил из хаты.

Санька уже не нападал, он только отбивался, а Миша бил его.

— Это тебе за ворованные продукты! Это тебе за Степку-горняка! И это за него! А это за тайгу!

Санька не вынес перечня и бросился бежать. Разбрасывая в стороны острые коленки и вобрав голову, Санька несся к поселку: там оборонят, там дружинники...

Он слышал сзади горячее дыхание буровика и надал еще. У поселка он оглянулся: Кузин отстал.

Устало брел к дому Миша Кузин.

— Герой, так драпал, что плетенки растерял. Ни один подлец не выдержит честного боя. Правда всегда сильнее.

Миша пошел мыться в озерко.

...Утром на поляне собралось несколько человек: ждали вертолет.

В сторонке на своих пожитках сидел Санька. Лицо его было перевязано.

— Жалкий он какой-то, — сказал Полохов, кивая на Матюхина, — может, оставим его у себя, договоримся с начальником экспедиции?

— Пусть улетает. Это не кадр, — сказал Вотяков.

— Он же старый таежник. Брось его на голое место — у костра ночевать будет. Такие работают — на часы не поглядывают.

— Потом запьет на неделю и сорвет всем дело. Он за водку отца родного с моста пихнет. На таких работягах сейчас не выедешь. В тайге нужны надежные люди.

Послышался отдаленный рокот мотора. Над долиной показался «МИ-4». Вертолет без захода пошел на посадку.

Прибыла свежая почта — посылки, журналы, газеты; какие-то экспедиционные документы, две бочки соленого омуля, свежий лук, редис.

Экипаж и чайские аборигены стояли кругом, о чем-то спорили, ругались, смеялись. И никто не обратил внимания, как Санька Матюхин втаскивал в вертолет свои вещи.

6

Протасов прилетел не один. С ним был студент томского техникума Евгений Данилкип, худой, стриженный под машинку паренек в новой, пахнущей складом амуниции. Вначале мы думали, что начальник партии сменил адъютанта. Но потом выяснилось, что Иван Найденов был оставлен временно в Нижне-Ангарске, на период контроля. Хоть немного отдохнет от тайги.

— Слышал я, Овсянников, — с распевом говорил Протасов, — ты на днях один вертолет за два принял. Вышел на поле и командуешь — этот пусть вырубает сюда, а этот пусть остается на месте. Было такое?

Наверное, Протасов уже прослышал, что в бригаде выпивали.

— Ничего такого не было.

Овсянников не понял тона, растерялся, не знал, признаваться или нет. Мы молчали.

— Учтите, Овсянников, — в голосе начальника появилась сухость, — я такие вещи не поощряю. Выйдем из тайги, тогда можно и отметить. Организованно, по-людски.

Было ясно: теперь держись, контроль будет строгий. Протасов снял сапоги, надел домашние шлепанцы, подсел к столу.

— Вначале проверим стереоскопическое зрение, — сказал он и достал два аэрофотоснимка какого-то незнакомого гребня. — Найди-ка на этом гребне высшую точку.

Гребень был трудный. Изломанные тени расходились во все стороны и скрадывали вершину. Протасов знал, что подсунуть. Он бросил в чай три грудки сахара, помешивал ложкой и наблюдал, как мучается Овсянников. Полчаса возился тот со снимками: он их сводил и разводил, приближал к лицу и удалял, глаза его то расходились, то сходились у переносицы и, как мне казалось, стали косить.

— Вот здесь, — сказал наконец Овсянников.

— А ну. — С профессиональной легкостью Протасов свел снимки вместе, сощурился. — Типичное не то. Плохи твои дела, инженер. Ты, оказывается, не имеешь стереоскопического зрения, а это первое требование к топографу. Не понимаю, чему вас только учат пять лет в институте.

Протасов говорил с ясным подтекстом: умному человеку институты — они ни к чему.

— Как же ты опознавался? — Он продолжал мучить Овсянникова. — Я-то думал, у тебя взгляд стереоскопический.

Овсянников про себя, видно, подумал: «Сам ты стервоскопический», а вслух сказал:

— Ошибся, бывает.

Тюрин спокойно лежал на раскладушке. Данчин бродил по комнате и заглядывал на стол через спины сидящих. Он переживал. Ему было жаль Овсянникова. Чтобы сбить Протасова, он вдруг задал ему прямо в лоб:

— Вы нас будете объедать или столоваться в поселке?

— А тебе что, чая для начальника жалко?

— Я просто спросил. Были и такие — весь контроль сидят на шее у бригады. А чтобы яблоко или бутылку вина прихватить в тайгу, этого не догадаются.

Но Протасова особенно не проймешь.

— А что скажет студент? — обратился он к Данилкину.

Женя долго рассматривал снимки.

— Вот эта точка. — Он ткнул иглой.

— Не то. Здесь высшая точка — вся эта большая скальная плита. Вершина-стол, слышали о такой? Она и есть. Эх вы, художники земли! Разбираться надо, дорогие товарищи, настоящие и будущие дипломированные специалисты Разбираться!

После такого пролога начальник начал проверять журнал наблюдений.

— Это что за пятно?

— Комар раздавлен. Нечаянно.

— А может, подчистка? — Протасов взял карандаш и стал что-то считать. — Неувязка. Пункт не решается. Матушку-землю маленько сплюснули. Придется отнаблюдать заново.

— Я за каждую цифру головой отвечаю, — божился топограф-исполнитель.

— Знаю я эти штуки. Все это в палатке дорисовано.

До самого вечера шла жаркая баталия. Начальник придирался к каждой помарке, грозился забраковать всю работу. Обиженный топограф обещал радировать главному инженеру отряда: пусть высылают для проверки третье лицо.

Употевшие от споров обе стороны выходили наружу покурить. Одна сторона ходила по одной дорожке, другая — по другой. В конце концов работа была признана и наступило перемирие.

...Вечером, как вполне местный житель, я показывал Данилкину поселок. Были на электростанции, поднимались на буровые, отправились в клуб.

От нечего делать толкуем с соседями по лавке.

Кадровые рабочие связаны с геологоразведкой по пятнадцать — двадцать лет.

— Скучать по городу? Не думаю. В больших городах стало тесно. Зарботки там меньше, а расходы больше. Квартиры нет — будешь прозябать. Тайга не глубинка. Час лета до Нижне-Ангарска, от него четыре до Улан-Удэ, а там девять до Москвы. Что у нас в Союзе нынче далеко?

На сцену вышел конферансье. Бывший массовик дома отдыха «Аршан» (он здесь завклубом). Быстрый, сияющий, но уже изрядно заморенный своей профессией.

— Добрый вечер! Если вы заметили, этими словами открываются все концерты, и я позволю себе начать сегодняшней концерт, сохраняя старую традицию. Добрый вечер!

— Здорово, — отозвалось с левого угла.

Не услышал. Нет, услышал. Чуть повел бровью. Сияния не снял. Будто и не слышал...

...Мы пробывали в поселке пять дней и снова ушли в гольцы. Провожавший нас Протасов вновь уверил, что перебросит вертолетом остатки наших вещей на озеро Соли, чтобы нам не заходить больше в Чаю.

В верховьях Чайской долины караван разбился на две группы. Овсянников, Тюрин, Данилкин и я отправились в семидневный заход по вершинам юго-восточного угла. Данчин, Килгол и Гарпала вместе с оленями пошли дальше по ущелью к перевальным озерам, где ждать будут нашего возвращения.

7

— Эге-ге-гей!

Никакого ответа. Только далекое эхо трижды повторило крик. Вокруг темная ночь. Но и в такую ночь можно кое-что различить: внизу чуть сереет вода Кичерского озера, вверху проступают ровные стволы сосен. Справа слышен глухой рокот переката. Озеро проточное.

— Может, здесь никого и нет?

Днем с вершины мы заметили в теодолите перевернутые палатки. Они стояли на дальнем берегу Кичерского озера. Сомнений не было — это основная база поисково-съемочной партии Сафонова. Решили во что бы то ни стало спуститься на ночевку к людям.

Пять тяжелых дней измотали силы. Попались на редкость трудные гольцы. Горные цирки огораживались крутыми стенами. На пути — огромные глыбовые завалы, готовые рухнуть и раздавить под собой все живое; мы штурмовали скалы, отступали и вновь штурмовали. Выручило альпинистское снаряжение — стальные крючья и капроновые веревки.

Засветло спуститься к озеру не удалось. Два часа продирались в темноте. Спотыкались, проваливались в высохшие ложа ключей, падали через колдобины.

— Эге-ге-гей! — снова закричал Овсянников.

— Может, спят?

— Давайте ночевать здесь.

Шарим под деревьями, ищем сухую площадку. Светятся гнилушки, ползают светляки.

«Фю-и» — свистнуло с середины озера.

Продираемся сквозь гущу прибрежных кустов к самой кромке воды. Затихаем. Слышны мерные весельные шлепки. Кто-то плывет в лодке.

— Сюда! Сюда!

— Слышу, — отозвался спокойный голос.

Мягко прошуршало по камням резиновое брюхо лодки. Из нее вылез гном и басом:

— Выперли че сюда, ниже улова надо-то, или в потемках заплутались?

Молчим.

— Или вы не сафонские?

— Мы топографы, карту делаем.

— Ёшь твою, а я думал, наши.

Это был Кольшкин, кладовщик базы Сафонова.

Переполненная лодка притоплена до краев.

— Сидеть, не шевелясь: вентиль в лодке выскакивает, — предупредил Кольшкин, отпихиваясь от берега.

— А глубина большая?

— На триста метров опускали трос, дна не достали — трос кончился.

Рука невольно расстегивает стеганку — в случае беды придется сбрасывать ее с себя, я уже ученый. Сидим, не дышим.

На другом берегу ждал радист с фонарем. Выгрузились, зашли в теплую шатровую палатку, освещенную керосиновой лампой, уселись по лавкам и почувствовали, как нас обволакивает уют обжитого места. Угостили чаем и хлебом. Хлеб я запомнил: мягкий, теплый, пахучий. Настоящий пшеничный. А у меня к пшеничному хлебу еще с войны ноздри чуткие.

Мы решили отдохнуть на озере несколько дней.

«Все-таки геологи побогаче топографов», — думал я, рассматривая утром сафоновскую базу.

В центре табора стояла большая многоместная палатка, набитая книгами, пробирками, карточками, полевыми журналами, — место геологических бдений: очаг под крышей — вари в любую погоду; высокие палатки для жилья, стеллаж с образцами пород, большой продуктовый склад, обитый толем.

...Сегодня по-спокойному можно рассмотреть и хозяев табора. Радисту лет тридцать с хвостиком. Лицо на редкость безразличное. Безвылазно лежит в палатке, где стоит рация, и читает журналы. Ему, видно, все равно, где служить — в тайге, в пещере, в городе, в деревне.

Кольшкин совсем другой. Каждой порой чувствует тайгу. Поминутно всматривается во что-то, вслушивается, иногда говорит:

— Медведь балует, камневал устроил.

Или:

— Сохатый чесался, шкуру свалил.

Лет ему, надо думать, под семьдесят, усов и бороды не носит. На лице выделяются красиво очерченные губы. Быстр и точен в движениях.

— Вы спиннингом умеете ловить рыбу? — спросил я между прочим.

— В тайге я, паря, свой человек. Значит, все умею: охотничать, рыбалить, золото мыть, лес валить, гриб-ягоду собирать, ореху бить (именно: «ореху»). Не обижайся, что парей назвал. У таежников паря — напарник, вполне хороший человек.

Кольшкин был словоохотливым таежным мудрецом, и я ходил за ним, как «булавкой прищипленный».

Чтобы заслужить у Кольшкина уважение, я решил наловить насадку для перемета. Ловить нетрудно. Взял стеклянную банку, набросал в нее хлебных крошек, закрыл горловину сосновой корой. В коре проковырял дырку. Опустил банку в прибрежную воду и через десять минут вытащил ее, полную мальков.

Подошел старик. Посмотрел на мое занятие и сказал:

— Ты че делаешь?

— Насадку ловлю.

Взял банку и, тыкая негнушимся пальцем в стекло, начал перечислять:

— Мальки с полоской — это ленки, серебристые — хариусы, а эти темненькие — таймешки. Неужто такую рыбу на насадку губить?

— Эту молодь сами рыбы сотнями поедают, — сказал я, оправдываясь.

— Точно, поедают. На то природное дело. Хищнику попадает все большое да хилое, а здоровый малек выживает. На насадку нужен гальян, соровая рыба.

Старик сказал, что знает лесное озерко, где водится гальян. Предложил сходить туда после обеда.

В условленное время мы положили в лодку чайник для насадки и отчалили от берега. Через минуту я вспомнил о спиннинге и вернулся.

— Надо загодя готовить, теперь дороги не будет, — сказал старик.

На середине озера я неловко двинул ногой и выбил вентиль. Лодка с шумом вздохнула.

— Ёшь твсю, тонем! — закричал Кольшкин. — Спасай чайник!

Я схватил чайник и хотел уже выпрыгнуть из сморщенной лодки, чтобы вплавь добираться до берега, но старик поймал меня за ворот.

— Стой, паря, пол-лодки держит!

Лодка имела два отсека. Один вытравил воздух, другой, к счастью, был перекрыт замком. Кое-как добираемся до берега и начинаем выжимать мокрые штаны. Мой спутник костерит меня на чем свет стоит.

— Я говорил? Примета верная. Вот первое несчастье.

Пошли густым хвойным лесом. Кольшкин ступал неслышно, разговаривал вполголоса.

— Зеленая голубица кислоту в желудке наводит, всю зиму хорошо варит. — Он покатал на ладони голубичные ягоды и ссыпал себе в рот.

Вверху на скалах свистели тарбаганы.

— Свистите, пока живы, — грозит им старик. — По осени я вас тут пособираю.

Иногда старик делал мне знаки рукой, чтобы не хрустел ветками, показывал мятины: «Изюбрь прошел, кабарожка отдыхала».

У гальяньего озерка Кольшкин остановился, расстегнул кобуру револьвера, зашептал:

— Вишь, паря, след медвежий, с минуту прошел: помет дымится. Как его несет-то с голубицы, господи, пресвятая.

Немного постояли, послушали звуки. Вроде тихо.

— Свежий надгрыз. — Кольшкин показал на кедр с выхваченной корой на уровне выше человеческого роста. — Медведь участок отбивает. У каждого медведя своя территория. Вроде как государство. Придет другой медведь к границам участка, примерится к надгрызу, если не дотянется, значит, хозяин рослый, лучше не заходить к нему. Одолеет.

Старик любил рассказывать про медведей. Он говорил, что медведи — мирные животные. Опасны лишь шатуны. Это больные или подранки, которые не набрали жира и не легли зимой в берлогу. Когда упадет снег, они ходят голод-

ные и могут напасть на человека. Гибнут шатуны от бескормицы в течение трех недель после снегопада. В прошлую осень один шатун подкараулил охотника с займки. Охотник стрелял в него из карабина, а ему хоть бы что. Мощи тощие, ворса длинная, вся во льду: стоит, как бронированный. Пять выстрелов сделал охотник в шатуна, но зверь смял его.

Еще медведи любят муравьиную кислоту. Разроет муравейник, поставит в него лапу, а потом слизывает с нее муравьев. От этого пьянеет и начинает баловаться: сталкивает с круч камни и смотрит, как они грохочут.

Мясо и рыбу медведь любит с душком. Если свежее, накроет хворостом, пока не протухнет, а потом ест. Обожает кедровые орехи. На орехах и набирает на зиму жир.

Колышкин рассказывал, что за неделю до нашего прихода медведь забрался на склад взрывчатки и утащил ящик с аммонитом. Спутал, видно, со сгущенкой.

...Гальянов в озерке ловили на проглотушки. Непуганые рыбки набрасывались на хлебную приманку и повисали на крючках.

Вдруг за нашими спинами треснул сушняк. Оглядываемся: из кустов лещины высунулась медвежья голова (легок на помине). Колышкин выхватил револьвер и, неистово улыбаясь и причитая: «Мишенька, мишенька, голубчик мой, ёшь твою, мишенька», стал пятиться назад, пока не упал в воду. Медведь развернулся и исчез в чаще.

— Вот тебе второе несчастье, — говорил старик, выливая из сапог воду. — Есю дорогу мокнем.

— Не ушиблись?

— Задом не лбом.

— Надо было стрелять.

— Чем? Этой игрушкой? Когда зверя не видишь, думаешь — оружие, а когда вывернет такая морда, всего — детский пугач. Медведь — скотина мирная, лучше его не трогать.

На обратном пути я потерял крышку от чайника.

— Это третья неудача, — считал Колышкин.

И то, что нам пришлось насаживать наживку в темноте, старик объяснил действием все той же приметы.

В тот день мы сидели долго у костра. Глаза слезились от дыма. Лоб и уши горели от комариных укусов. Странное насекомое: садится на тело, чтобы укусить и умереть под ударом.

— Вы их крепче материте, на сердце легче, — посоветовал Колышкин.

Старик рассказывал о своей жизни, о том, как в молодости добывал золото.

— Промышляли по Витиму, Олекме, Нерче. По семьсот грамм намывали за лето. Бывало и поболее. Как нападешь. Крупный самородок, верно, редкость. А так — с блоху, с вошь, с клопа.

— Вы аммонита нам не дадите? — спросил Тюрин.

— Зачем тебе, паря, снадобилась такая гадость?

— Буду в улове рыбу глушить.

С лица Колышкина слетело добродушие.

— Откуда вы только беретесь такие грамотные! Хоть маленько обдумай. Ты сделаешь взрыв. Десять рыб всплывет, а сотня на дне останется. От взрыва вода отравленная будет, сколько малька передохнет заря.

— Другие рвут, а чем я хуже?

— Господи, не люди пошли, а какие-то...

...На другой день старик взял меня ловить хариусов. Мы пошли вниз по реке Кичере. Маленький Колышкин шагал впереди и в своей соломенной широкополой шляпе напоминал гриб-боровик.

— Смотри, — сказал он.

Под чистыми всплывами воды стояли у дна темноспинные кичерские хариусы. Я быстро наладил мушку, сделал несколько забросов. Мушка не привлекла рыб.

— Хариус сытый,— говорит Колышкин,— ему теперь разве что пряник. А какой? В этом загадка.

Старик цепко следил за рыбами. Временами он ловил и бросал в воду выше по течению то зеленую муху, то черную бабочку, то желтого паука, то белую бабочку. Вырвал из шарфа клочок шерсти, тоже бросил.

— Есть такая брехня: на исходе луны рыбу не лови.

Хариусы не обращали внимания на проплывающую приманку, и мне казалось, что мы не разгадаем тайных желаний этих рыб. Неожиданно Колышкин расхохотался.

— У, че захотели. Наблюдай, что с ними делается, когда стрекозы над водой пролетают.

Смотрю. Летит над водой стрекоза, и косяк хариусов голов в пятьдесят делает под нее разворот: может, шлепнется в воду? Очень хочется им стрекозу слопать. Это и есть медовый пряник.

Я сломал сухую ветку лиственницы и сбил на пролете несколько стрекоз. Начался великий лов. Не успеет нанизанная на крючок наживка проплыть по воде и метра, как из глубины стремительно всплывает крупная рыба, заглатывает стрекозу и ныряет вниз. И тут начинается. ореховое удилице гнется дугой, леса звенит, как гитарная струна: чтобы уйти на волю, хариус выпрыгивает на метр из воды и с брызгами ллепается в реку. Сердце блаженно стучит. Наконец ты перехватываешь леску в руку, выбираешь ее, попуская, и одним ходом выбрасываешь на песок узорчатого хариуса.

— Рыбу всегда можно взять. Нужно только примениться,— сказал довольный старик.

За один час мы поймали два десятка хариусов.

— Хватит,— сказал Колышкин.— Пожадничаеть, только рыбу стушишь.

Глаза не могли оторваться от воды, руки чесались, хотелось забрасывать еще и еще. Еще и еще. Я готов был разругаться с вредным стариком, но он стоял на своем:

— Не будь забористым, паря.

8

С трудом провели оленей через нехоженный перевал, из долины Чаи в верховья реки Кичеры. Часто перевьючивали сумы и поднимали упавших животных.

На бивак стали в густом хвойном лесу у широкого ключа. Ночью не спали: чесалось все тело.

В середине ночи я не выдержал и вылез из палатки.

Воздух был сырой и теплый. Однотонно шумела река. Костер почти погас, едва тлел комель сухого дерева. Подбросил в костер поленьев. Килгол и Гарпала тоже не спали. Тоже чесались.

— Беда,— сказал каюр,— мокрец шибко злой, кусай больно.

Вот она, причина зуда.

В свете костра мелькали еле заметные зеленые точки. Точки впивались в тело. Когда бьешь и растираешь мокреца, его не чувствуешь под ладонью — так он мал — и не испытываешь утешения от возмездия.

Пробуем спастись от мокреца таким способом: берем из костра дымящуюся головешку, засовываем ее в палатку. Выкурив, как нам казалось, из палатки вредную мошку, мы выбрасываем головешку наружу и быстро задраиваемся. Затем мажемся по пояс репудином и забираемся с головой в спальные мешки. Зуд ослаб, но не прекратился. На рассвете удается немного заснуть.

Утром добавилась другая напасть — ушли олени. В таборе остались две матки с оленятами, верховой олень и бык-пришелец. Мы гадали, что произошло. Или дымок был слабым — мокрец заел, или волки пугнули, или оттого, что не было здесь оленьего корма — ягеля.

Три дня искали беглецов, да все напрасно. Видно, далеко забрели.

Продуктов осталось мало, а работы много. Решаем так: каюры и Тюрин с оставшимися оленями пойдут на Левую Маму, к лабазу. А мы четверкой — Овсянников, Данчин, Данилкин и я — отправимся по гольцам восточной стороны.

Всматриваюсь в фотоснимки — скалы отвесные, рваные. Переход будет тяжелым, но душа спокойна — в группе собрались надежные люди. Студент оказался терпеливым и выносливым ходоком.

...За три месяца таежной жизни мы уже приноровились: чтобы выбраться из долины в высокогорье, поднимаемся руслами рек, так легче.

...Очень трудной была пятая точка. Черные скалы с замшелыми террасами круто обрывались в нашу сторону и казались неприступными. Шли попарно, связанные веревками. Страховались через уступы и крючья.

- Выдай веревку.
- Выбирай.
- Бью крюк.
- Не спеши.
- Сопливое место.
- Осторожней.
- Камень!
- Закрепи.

Вершину прошли траверсом и начали спускаться по крутому узкому кулуару. Впереди связка Овсянников и я, сзади — Данчин и Данилкин. Шли на распорах.

— А-а! Плита-а, — застонал Данилкин.

В страхе прижимаемся к стенкам кулуара, оглядываемся: в невероятной, скрюченной позе, упершись плечом в отслоившийся камень, стоял студент. Если этот «чемодан» рухнет вниз, нам в кулуаре будет плохо.

— Уходите из желоба! — натужно крикнул Данилкин.

Как перепуганные обезьяны, шарахаемся на боковые скалы.

Молодец парень, задержал глыбу.

— Бросай!

Отскочить от плиты студент не мог — она сильно навалилась на него; тогда он прижался к скале и перекатил плиту через себя. Треснули срезанные лямки рюкзака. Глыба ахнула о скалы и раскололась на несколько осколков величиной с футбольные мячи. Осколки прыгали и неслись вниз по кулуару, оставляя за собой грохот, пыль и жженный запах запекшихся каменных ударов. Вдгонку летел разорванный рюкзак. Из него вываливались вещи: свитер, спальник, мешок, фотоаппарат...

На уступе, как подбитый цыпленок, сидел Данилкин: на левом плече взмокела от крови рубаха. Карбаемся к нему. Помогаем раздеться. От плеча до середины спины широкая красная ссадина с завернувшейся кожей. Ключица цела.

Перевязываем бедолагу. Побледнел, улыбается.

— Вот невезение. То одно, то другое.

— Все живы — значит, повезло.

Медленно спускаемся в нижний цирк. Данилкина страхуем за пояс. Когда выбрались на простое место, он сел на камень.

— Больше не могу, отдохнем.

Ясно, что дальше сегодня идти не придется. Нужна передышка для студента. Разбиваем бивак на осыпи.

Из упавшего рюкзака удалось найти спальник и свитер. Остальное — фотоаппарат, гороховые брикеты, сахар — провалилось в щели между глыбами или рассыпалось по скалам.

Продуктов почти не осталось: банка сгущенки, банка тушенки, кило вермишели, две пышки.

Данилкин лежал на спальнике и молча смотрел, как Данчин разжигал костер.

Овсянников уткнулся в карту. Оставшиеся две точки находились с правой стороны ущелья Огдында — Маскит. Обе вершины были видны отсюда. Одна в восьми километрах по прямой, другая в четырнадцати. Неужели ради них придется вторично тащиться в такую даль? Вероятно, да. Если студенту будет плохо, придется сразу отваливать на лабаз. Впрочем, утро вечера мудренее. Женю уложили отдельно, чтобы никто не толкал. Отдали ему свои стеганки. Втроем забрались в другую палатку. Во сне студент разговаривал, а утром спорил, что никаких снов не видел. Рана затянулась корочкой. В городе непременно загноилась бы, а в горах все стерильно.

На вершины брать студента не будем, пусть отсиживается внизу.

К обеду выбираемся к распадку, по которому можно подняться на шестую точку. Уходим на нее двойкой — Овсянников и я. Возвращаемся поздно вечером. От усталости не хочется даже разговаривать. Лежим и молча отхлебываем вареную вермишель. Чувствуется упадок сил. В мешки забираемся с тяжелой мыслью, что от седьмой точки придется отказаться.

Почти весь следующий день пробираемся сквозь густые заросли березняка. Справа появился склон, ведущий на последнюю вершину. Делаем остановку. Варим остатки вермишели. Мы знаем — это варево ненадолго утолит голод, через час-другой он вновь навалится на нас.

— У кого сухарик, у того и праздничек.

Данчин достал из рюкзака черный затертый сухарь с ладонь. Делит на четыре части. Делит честно (студент отворачивается, а Данчин: «Это кому?»). Хорошо, что никто не ноет.

Плотные облака закрыли юго-запад и не предвещали ничего утешительного. Овсянников смотрел впалыми глазами на невзятый голец.

— Слушай, может, попробуем?

Разные чувства питал я к Овсянникову. Он был заносчив, никогда не признавался в своих промахах, заставлял Данчина стирать свои личные штотки, ни разу сам не сварил никакой еды, но он мог работать, как вол, подниматься по любым трудным скалам, часами стоять на шквальном ветре, терпеливо делать измерения, когда десятки комаров впивались ему в лоб и уши. В нем сидело завидное упрямство, унаследованное, видно, от отца, известного по Сибири геолога.

— Давай попробуем, — ответил я.

И мы пошли.

Чтобы открутить все приемы засветло, нужно было выйти на вершину не позже семи часов вечера. Сейчас пять. Сможем ли мы преодолеть по скалам перепад в семьсот метров за два часа?

На первых шагах пришлось снять с себя все лишнее и бросить на осыпи. С собой захватили только штатив и головку теодолита, даже оружия никакого не взяли. Ни ножа, ни ружья, ни нагана.

Карабкаемся по скалам молча. Кружится голова, временами глаза заволакивает темень, легкая тошнота все время дежурит у горла.

Вот наконец и вершина. Мне казалось, будь она на двадцать метров выше, я бы на нее не поднялся. Светлого времени в обрез. Быстро ставим теодолит. Судя по треугольникам на карте, вокруг нас должно быть много триангуляционных пунктов: Колдас, Дарминов, Огней, Дашевского, Аскет.

По острым силуэтам гольцов двигались облака.

— Ничего не вижу, — пожаловался Овсянников.

— Ищи лучше, бери угломер, дай мне направления

Хотя бы зацепиться за три пункта.

Надвигаются сумерки.

— Вижу Дарминов.

— Бери отсчет, — умоляю я, — потом будем искать остальные.

Записываю в журнал градусы, минуты, секунды. Никогда я их не писал так красиво.

Стоим сгорбленные, в мокрых, рваных рубашках с белыми размывами соли и щелкаем зубами: холодный вершинный ветер вызвал озноб. Но ни холод, ни простуда нас сейчас не волнуют — нам нужны пункты.

— Открылся Огней!

— Диктуй, записываю.

— Вижу Колдас.

— Засакай.

— Еще бы один пункт!

До полного счастья не хватает одного пункта.

— Слева открылась вершина!

— Вижу барабан.

— Что за пункт, не пойму. Ладно, назовем ОП-1, потом разберемся.

Откручиваем все круги, все приемы. Сгустились сумерки.

Успели.

С вершины возвращались в темноте. Спускались медленно, осторожно. В теле почти не осталось ловкости.

— Как?— спросил внизу Данчин.

— Порядок.

Ночью начал накрапывать дождь. Утром он не прекратился.

Данчин записал в свой дневник:

«Шесть дней шли на подсосе. А теперь еды и вовсе нет. Сумочки чистые, все пустые. Даже соль кончилась. Моросит дождь. Ждать погоды — значит голодать. Решили пробиваться к лабазу».

Выпили по кружке кипятка и вышли. В дождь.

У меня сильно разболелось горло: ангина.

Вода всюду: сверху, с боков, снизу. Все до нитки мокро. Перестает греть последний сухой пяточок на спине под рюкзаком.

Самое тяжелое — перевалить через водораздельный хребет. А там пойдем вниз, будет легче.

С синеватых тяжелых туч срыгается снег. Его крупные хлопья уже закрыли траву. Вверху он почти не тает.

Мы увидели перевал: заснеженная осыпь вела в проем в хребте.

— Этот, — сказал Овсянников.

Поползли по крупным валунам. Камни скользкие, зацепок не видно. Данчин все время помогал Жене Данилкину.

Шаркали задубевшие роботы, чвякала в сапогах жижа. Быстро терялось тепло. Порыв ветра так нас заморозил, что мы сели за большой камень в затишек. Сидим, как нахохлившиеся воробьи.

Дров здесь нет, лес остался далеко позади. Огня разжечь негде. Данчин достал сигарету. Я некурящий, но с радостью сделал две глубокие затяжки. Нос потеплел от табачного жара. Хотелось сидеть и не двигаться.

— Ну, олешки, тронулись, — сказал Володя.

Сделали отчаянный бросок на перевал. Какое разочарование — перевал ложный. Всего лишь вход в верхний цирк. А настоящий перевал выше.

Закурила поземка. Мелкий сухой снег сечет лицо. Мороз выжал последнее тепло. Обворачиваем вокруг себя спальники, на руки натягиваем рваные носки. Но это не спасло от холода.

— Друг друга не упускать из вида, в одиночку с пургой не справиться! — Я это хотел сказать спокойно, но голос вибрирует.

Неплохо бы связаться веревкой. Но вряд ли мы сможем это сделать: окоченевшие пальцы не повинуются. Какое нелепое стечение обстоятельств: изголодаться, предельно устать, промокнуть до костей и попасть в пургу без пищи и топлива. Я еще не попадал в такие передраги.

Назад пути нет — там снег и голод, впереди — мороз и ветер. Но там, за хребтом, лабаз. Надо идти туда.

Забитые изморозью скалы обжигают холодом.

Как сильно растянулись. Ведь договорились идти вместе. Впереди лезет Овсянников (он знает, где перевал), за ним я, за мной Данчин. Сзади Данилкин, но его не видно.

— Подожди, не отрывайся!— крикнул я первому.

Понял он меня или нет, но остановился. Посмотрел назад и снова пошел. Из пелены показался студент. Данчин замахал ему рукой. Немного успокаиваюсь: все-таки следим друг за другом. Заметно, что каждый боится отстать от переднего.

Ветер бросил в лицо жменью снега, и вновь никого не видно. Если разбредемся — замерзнем. Такое уже бывало. Надо собираться в кучу. Догоняю Овсянникова. Он весь белый: борода запорошена снегом, на усах сосульки.

— Данилкин отстает, надо подождать.

— Будем ставить палатку. Ничего не видно, можем запоротиться.

Он прав: в пурге не заметишь обрыва и скатишься.

У гребня резанула молния.

Выдернули из рюкзака смерзшуюся палатку. Поставили кое-как, конек натянули между валуном и штативом.

— Сюда, сюда!

Это Данчин со студентом сбились с наших следов и уже проходили мимо.

Забрались вчетвером в одну двухместную палатку. Долго устраивались, ругались друг с другом. Холод леденит все тело. Особенно ноги. Начался колотун. Это когда все тело вздрагивает, а челюсти сами клацают. Прижались спинами. До пояса натянули спальные мешки. Теплее не стало.

Я чувствовал себя неважно. Тяжкая неделя, особенно три последних голодных дня измотали. А тут еще ангина. Хочется ни о чем не думать, забыться, задремать. Но дремать не удастся. Мешает свист ветра, шелест снега (мягкий, бархатный — падающего; дробный — сметенного), грохот лавин, шмелиное жужжание падающих камней. Не слышно привычного шума реки. Она осталась глубоко в ущелье.

Ничто так не изматывает человека, как собственные мрачные мысли. Продлись этот буран несколько суток — и нам будет плохо. Околеть можно запросто. В горах каждый год гибнут.

Я толкнул Данчина.

— Ты чего?

— Расскажи что-нибудь.

— Рассказать, как цыган мед покупал? Взял буханку, выбрал мякиш и говорит: «Лей сюда». Ему налили, а он недоволен: «Мед несладкий, забирай обратно». И вылил мед назад. А буханку-то забрал.

Никто не смеялся.

Наутро пурга немного стихла.

Надо двигаться. За день появятся разрывы, осмотримся. Только в движении можно спастись.

Данчин срезал с наших сапог резиновые ушки, разжег в затишке огонь, натопил из снега воды. Благодетель наш и кормилец.

...На гребень взбираемся по колену в снегу. Снова растягиваемся на сотню шагов. На перевале собираемся вместе.

Внизу в разрывах облаков виднелась долина Лево́й Ма́мы. Там был лабаз.

9

Табор на Лево́й Ма́ме был людным. Сюда случайно сошлись две бригады: наша и геодезиста Каретникова.

В широкой голубичной пойме стояло две юрты и пять палаток. Дымились костры, играли собаки, лежали у дымокуров олени. Возле оленей крутились эвенки: срезали окровавленные, в лохмотьях рога, оставляя короткие отростки для защиты и боя.

Бельмеш подружился с новыми знакомыми — с вертлявой Веткой, тоже черной, как и он сам, и с большим пегим Мариканом.

Когда зовешь Бельмеша и Ветку, они несутся по кустам голубицы, как черные шары, и сразу — лапами на тебя. С Мариканом иначе. Если позовешь просто: «Марикан, Марикан», пес не обратит никакого внимания. Его надо просить: «Марикан, поди сюда, поди же, ну поди». Марикан неторопливо повернет голову, посмотрит на тебя умными глазами (серьезно ли приглашение или так, пустое), затем подойдет спокойным шагом и ткнет мордой в колено: прибыл, можете гладить.

Бельмеш и Ветка неумоимы в играх и весь день проводят вместе. Но вечером ни одна из собак, невзирая на взаимные симпатии, не подпустит другую к юрте своих каюров. Дружба дружбой, а служба службой.

Табор был разбит рядом со старой стоянкой геологоразведочной партии. Легко угадать, где что было. Вот стопка батарей БАС-80. Палатка радиста. Битые пробирки, сколы пород — лаборатория. Размокшие пакеты с ампулами камфарного масла, таблетки, бинты — медпункт. Сарай, обитый толем, в нем моток вьючных веревок, пустая омулевая бочка. Это склад. Есть пекарня, кузня со стойлом для ковки лошадей, столовая под навесом. Есть и баня: срубик два на два метра. Попарились и мы.

Всюду разбросаны разные вещи. Многие бы еще послужили, да перевоз — золото: ящик стекла, железные печи, заряды к огнетушителям, хлебные формы, мешок гвоздей, куча зубил из шестигранника, пять пар еще крепких лыж уссурийского лесозавода, недоношенные сапоги.

Три дня в горах бушевала непогода. Снег покрыл гольцы, но в долину не спустился.

Последние четыре дня были тихие, солнечные. Густая испарина поднималась со взмокшей земли. Было трудно дышать теплым густым воздухом.

За неделю наша бригада отъелась и отдохнула: на лабазе было вдоволь продуктов. Особенно хорошо шли черные сухари. Зажило плечо Данилкина. Прошла и моя ангина.

Каретниковские каюры Роман и Николай угостили нас свежим оленьим мясом. Два дня назад они ходили на охоту и убили четырех оленей. Я не поверил, что можно сразу убить четырех (молодые парни любят похвастать), и напросился пойти вместе с ними за мясом.

Поднялись вверх полевой Маме, а потом свернули на запад, в боковой распадок. Эвенки шли быстро, я еле успевал за ними. Роман и Николай — ровесники и очень похожи друг на друга: оба небольшого роста, черноголовые, широколицые. И шагают одинаково — вперевалку, выбрасывая колени в стороны. У каждого на спине поняга — узкая доска с плечевыми лямками и крепежными кожаными шнурками. Эвенкинский рюкзак. К поняге можно привязать много груза.

Я иду последним и чувствую себя очень неудобно. Дело в том, что эвенки носят ружья горизонтально, так меньше цепляют стволы за ветки деревьев. Ружье висит на плечевом ремне, приклад взят в руку, а ствол направлен назад — в грудь или в живот идущего сзади. Мне все хочется спросить у Романа, не загнал ли он случайно патрон в патронник. Но спрашивать стыдно, назовет еще трусом. Я иду и морщусь. Когда на тебя все время смотрит черная дырка малокалиберной винтовки, тебе кажется, что сейчас грянет выстрел. Говорят же, что раз в году ружье стреляет само.

На развилке ключей каюры достали бинокли и начали осматривать склоны.
— Убьем оленя здесь, на озеро не пойдем, то мясо бросим. Зачем шибко далеко ходить.

Роман и Николай переговариваются по-своему. Объясняют мне:

— Охота сегодня плохая, дух идет вверх — олень зачует. Придется, однако, ходить на озеро.

Мы повернули в левый распадок и шли километров шесть по ключу. Попадались старые волчьи следы. Не думал, что волки так высоко забираются в горы.

— Волк проворный, — говорит Роман. — Всюду ходит. Всех зверей берет; оленя берет, сохатого берет. Медведя боится.

Оба эвенка — азартные охотники. Они почти бегом карабкались на перевал, соперничая друг с другом в скорости; каждому хотелось первому сделать выстрел.

Но олени не попадались.

— Олень дух хватил, ушел, — говорил Николай.

— Если мясо в озере лежит, зачем охотиться? — спросил я.

Каюры смеются.

— Уман кушай — здоровье крепче.

Уман — мозг из крупных оленьих костей — из голени, бедра, — но пробовать его мне не приходилось. Едят его сырым с солью и хлебом. Еще теплым. Говорят, очень вкусно. Но с одного оленя больше ста граммов умана не набьешь.

С перевала страверсировали в скальный амфитеатр, где два дня назад охотились Роман и Николай.

Это был карман, образованный крутыми скальными гребнями. Вход в него перегораживало озеро. Выйти из амфитеатра можно двумя узкими коридорами между водой и скалами.

Спускаемся к озеру. На снегу лежит оленья голова с рогами на три отростка. Здесь же шкура, внутренности. В воде у камней притоплено мясо. За двое суток оно обескровилось и стало белесым.

— Там, где песок, еще один.

Николай показал на ручей, вытекающий из озера.

Второй олень был неразделан. Большие белые глаза навывкате.

— Там дальше еще два.

Николай махнул рукой за склон. Я пошел посмотреть. На крупной осыпи в ста метрах друг от друга лежали серый олень и белощурая ланка с набухшим выменем. Тоже неразделанные.

— В засаду можно садиться, — говорит Николай, — олененок мать будет искать, сюда вернется. Шкура мягкая, хороша на дошку.

Роман рассказал, как шла охота. Обшаривая в бинокль склоны, они заметили в цирке за озером стадо оленей в десять голов. Олени лежали на снегу. Охотники сделали обход и подкрались снизу к двум коридорам между водой и скалами. В правом коридоре за камнями залег Роман, а по левому пополз Николай. У обоих в руках малокалиберные винтовки, обычные, безобидные с виду тозовки.

Подкравшись к оленям на сто шагов, Николай сделал первый выстрел. Олени не поняли, откуда щелкнуло, и бросились в сторону Николая. Тот сделал еще два выстрела в набегающих. Один олень упал. Стадо развернулось и бросилось в другой проход. Сзади, отстав от взрослых, бежал олененок. Николай стрелял в угон. Не видя засады, животные мчались по правому коридору. Они пробегали в двадцати метрах от Романа, а он, сидя за камнем, заряжал и стрелял. Он успел сделать пять выстрелов. У истоков ручья упал еще один олень. Остальные олени скрылись за перегибом склона. Через некоторое время каюры видели, как три или четыре оленя уходили вверх по противоположному склону. Маленькой точкой катился за ними отставший олененок.

Эвенки достали мясо из озера и привязывали его к понягам. Роман решил прихватить и шкуру. Николай смеялся, глядя, как его товарищ скользил по снегу с тяжелой поклажей.

Однако вечером было не до смеха. В таборе их ждал Симарчин, высокий белолицый эвенк. Он закончил работу со своим геодезистом и шел с оленями в Холодную. На нашу стоянку набрел случайно.

— На тарбаганов охотились? — спросил он, когда мы подошли к табору.

Каретниковские каюры разом сникли. Старший каюр колхоза Симарчин был общественным охотинспектором.

— Оленя убили, — после некоторой паузы сказал Николай.

— Не ври, я все знаю, — отрезал Симарчин. — Завтра покажете, будем составлять акт.

— Мясо хотели, весь сезон на тушенке, — объяснял Роман.

— В одном олене девяносто килограмм мяса, зачем, — Симарчин выбросил вперед четыре пальца, — зачем четырех убили?!

Каюры сняли поняги, сели, стали молча закуривать.

— Теперь будете отвечать за это. А тебе, Николай, я и капканы припомню, штрафом не отделаешься.

— Что за капканы? — спросил Данчин.

— В прошлую зиму с полсотни капканов не снял, в тайге оставил. Капкан нынче стоит копейки, а ходить разряжать их дело хлопотное. Сколько соболя погибло за так. Особенно весной: привада с запахом, издали манит, в капканы попадают окотные самки.

— Тайга богата, зверя много, — оправдывался Николай.

— На юге Байкала говорят по-другому: леса нет — одни гари, зверя нет — один медведь.

10

Это был последний переход с нашими каюрами. Широким залесенным распадком мы вышли к озеру Соли, расположенному на перевальной точке между долинамилевой Мамы и Майгунды. Озеро вытянулось зеленым плесом с запада на восток и имело множество заливов и глухих заводей. Оно напоминало Кичерское, только там шумела вытекающая река, а здесь было тихо.

На западном берегу стояли две большие шатровые палатки. База партии. Здесь, на озере, мы должны расстаться с каюрами. Они уйдут с оленями в свою Холодную, а мы будем ждать вертолета, который перебросит нас из тайги к берегу Байкала.

На базе трое: сам Протасов, его адъютант Иван Найденов, радист Сафьянов. Табор основательно обжит: пробитые тропки, горы пустых консервных банок у палаток, обилие щучьих голов и окуневых хвостов в воде у причала. До головокращения пахло пшеничными пышками. Мы стояли и наблюдали, как Иван Найденов переворачивал их на сковородке с кипящим маслом и кидал в миску.

Сидящий рядом Протасов, однако, не понял нас: не предложил отведать. Мы не обиделись: продукты стоят денег, и так у всех «заборы» большие. И все-таки пару пышек можно было бы пустить в расход по случаю нашего прихода. Протасов сидел у печи и варил в эмалированном ведре варенье из голубицы. Пока мы развьючивали оленей, он так и не оторвался от своего занятия. Он усиленно мешал свое варево выструганной березовой палкой, поднимал мешалку, смотрел, как стекает с нее темно-красная горячая жидкость.

— По-моему, хорош, гуще не бывает.

Наконец, он снял с печки ведро, отлил полкружки пены и поставил перед нами.

-- Пробуйте.

И стал торопливо зачехлять ведро клеенкой.

— Лучше сразу увязать и забыть, а то никаких припасов не сделаешь.

Иван Найденов был внешне похож на Протасова -- крепкий, краснощекый, рослый. Лицо у Ивана открытое, приветливое. На голове рыжеют выжженные солнцем волосы. Иван перешел в десятый класс и на работу подрядился только на каникулярное время.

Радист Сафьянов рассказал, что неделю назад у нового зимовья волки напали на оленей бригады геодезистов. Одного оленя задрали, остальных угнали неизвестно куда. Оставшись без транспортных животных, геодезисты вынуж-

дены были бросить на Солях снаряжение и уйти пешком в заимку. На площадке у табора мы видели грузы, накрытые брезентом.

Рассказ Сафьянова встревожил наших каюров.

— Наша юрту ставить не будем. Пойдем мало-мало, — сказал Килгол.

Прощаемся. И странное дело. Этот несговорчивый, злой и бурчливый Килгол стал мне дорогим человеком, и кажется невероятным, что сейчас мы расстанемся с ним и, возможно, никогда больше не увидимся. Гарпала печально смеется, закрывая рот ладошкой.

Караван ушел в густой березовый стланик. Впереди кривой на один глаз Килгол, за ним четыре (с приبلудным) оленя, пара подростших оленят, Бельмеш и Гарпала. Худая, уставшая.

Расставание произошло так быстро и обыденно, что у меня защемило под сердцем.

Я тоже устал от почти ежедневных восхождений. Хотелось хотя бы неделю спокойно пожить, порыбачить на озере, поохотиться на рябчиков, расслабиться и отоспаться. Потом можно спокойно выходить из тайги.

Отбил домой телеграмму о том, что все в порядке, скоро буду. Сафьянов передал ее в Улан-Удэ для дальнейшей отправки. На следующий день приняли эрда от главного инженера отряда Виданова: «Запрещаю передавать какие-либо радиogramмы, не касающиеся производства». Тоже мне великий законовед. Знает все параграфы.

— Дней пять поживем и будем ликвидироваться, — сказал Протасов. — Я дал запрос на вертолет.

Бригады Шатохина и Лихачевой выведены уже из тайги.

На второй день нашей жизни на базе Протасов пошел ставить сеть в устье Соли. Пошел и я.

Ранняя осень в тайге — великолепная пора. Комары не донимают, только иногда в середине дня, когда припечет солнце и нет ветра, с отчаянной злостью наваливаются последние мошки.

Мы шли тропой между ягелевыми плешинами. По деревьям, кустам, воде и скалам разливались мягкие краски. В тихой протоке проплывали пурпурные, с черными точками на боках ленки, недвижимыми поленьями стояли в тени крупные щуки, из прибрежной травы с криком срывались перепуганные молодые утки. В воздухе блестела паутина. Повсюду росли никем не тронутые грибы подберезовики, подосиновики, моховики, маслята. Одни состарились и наклонили раскисшие шляпки, другие только поднимались. Вдоль протоки, по берегам, кустилась ясная голубица, а дальше, к деревьям, стелился брусничный ковер с красными бусинами ягод. То и дело из голубицы вылетали рябчиковые выводки. Непуганые птицы с тихим попискиванием усаживались на деревьях и подпускали на десять шагов.

Ширина протоки у слияния с Майгундой метров двадцать; добрая половина протасовской сети лежит на песке неиспользованной.

— Ничего, и этого хватит. Если пойдет из реки ленок, за три дня две бочки будут полные, — сказал Протасов.

Он, вероятно, решил заняться солидными заготовками. На следующее утро сеть утопили семь запутавшихся ленков.

— Это не рыба, — сетовал Протасов.

Однако снасть оставил на том же месте, а пойманную рыбу распластал и засалил на почин.

Поначалу у меня сложилось о Протасове хорошее впечатление: деятельный, строгий, хоть иногда не совсем тактичный. Я его еще не знал. У Протасова был свой, соответствующий его здоровью распорядок. На угреннюю семичасовую радиосвязь он, конечно, не просыпался и по привычке почивал до девяти. Иногда радист забегал в палатку, боязливо грогал спящего начальшика за плечо и шелотом говорил:

— Геннадий Саввич, извините за беспокойство.

— Чего тебе?

— Малыгин говорит, что вертолет все время летает на геодезический, а на нас не хотят. Может, деньги не перечислили?

— Передай в Улан-Удэ, что безобразие, неделю ждем вертолета, а вертолета нет. — И, сопя, поворачивался на другой бок.

Радист убежал на связь в свою палатку и больше не решался будить начальство.

Иван Найденов хорошо изучил шефа. Он поднимался на час раньше и начинал готовить завтрак. Если Иван просыпал, что, впрочем, случалось очень редко, Протасов подходил к спящему адъютанту, дергал его за нос, приговаривая:

— Ты чего дрыхнешь, как пищуга? Работать надо.

Иван Найденов, которому достаточно было сказать одно слово, голым выскакивал из спальника и начинал разводить огонь.

Завтракал Протасов обычно тремя большими черными котлетами из сухого оленьего мяса, пропитанного сливочным маслом.

После завтрака он уходил к Майгунде трусить сеть и охотиться на уток и рябчиков. Перед уходом бросал свою обычную фразу:

— Лодку не трогать, ушки можете оторвать. И так чиненые-перечиненые. Рвать вас много, а чинить некому.

На пнях и моховидках у тропы, по которой он ходил к Майгунде, лежал мертвый зоопарк: убитые бурундуки, дятлы-желна, кедровки, вороны, пищуги. Протасов вырабатывал снаровку в быстрой стрельбе. Возвращался назад часа через три. Раскрасневшийся, размявшийся. Заходил в палатку и, если заставал Овсянникова с книгой на раскладушке, говорил:

— Не знал, не знал, что ты такой ленивый парень. Любишь полежать.

После обеда Протасов два часа спал. Затем давал Ивану указание о вечернем меню, брал спиннинг, малокалиберку, ружье, садился один в отрядную надувную лодку, на которую, как он полагал, имел особые права, и отправлялся в путешествие по озеру. Уплывал далеко, за острова, заходил в заливы, ловил щук и окуней на спиннинг, стрелял из лодки по выходящим на берег медведям. Приплывал в сумерках и с чувством говорил:

— Господи, ну скажите, где еще найдется такой курорт?

С ним не спорили.

На ужин Протасов предпочитал оленьим котлетам птичье мясо. С одной вареной уткой или тремя рябчиками он легко управлялся один. А после ужина — это вошло в традицию — Протасов предлагал сыграть в кинга. Во время игры он ставил перед собой зеркало с откидной дужкой и косил в него глазами. Похоже было, что он себе нравился. Глядя в зеркало, он мог свести грозно брови и сказать:

— Ералаш так ералаш, черт побери.

После четырех партий кинга Протасов откладывал карты, выключал приемник и усталый ложился спать.

...Уже десять дней сидим на Соли. Никак не можем свыкнуться с бездельем. Пустое ожидание хуже тяжелой работы.

— Волноваться не будем, — твердил Протасов. — Нет вертолета, ну и хрен с ним. Будем есть, спать, морду наедать.

А тут еще пошли дожди, обложные, монотонные. До предела угнетала примелькавшаяся утварь палатки... По углам стояли разбитые раскладушки. К стенке против двери притулился окованный железом тяжелый сундук с топографической документацией и патронами для карабина. В центре стоял деревянный стол с ножками, сбитыми буквой Х. На столе — стеклянные банки, кусок пышки, зеркало, пожницы, керосиновая лампа, затрепанные, пухлые карты. У раскладушки начальника висел транзисторный приемник «Сокол», полотенце. Там же в углу стояло оружие: карабин, тозовка, двустволка. Протасов считал, что в тайге необходим такой набор. Карабин — для охраны и охоты на круп-

ного зверя: медведя, оленя; тозовка хороша на рябчика, а также на щук и тайменей, когда они поймаются на спиннинг; дробовое ружье — для стрельбы уток и гусей влет. У двери — железная печь. На ней три больших камня-валуна, чтобы дольше держалось тепло. Над печью сушатся портянки, носки, рубахи. На полу стоят сапоги. Вот Володины — стоят рядышком, сморщенные, латаные, терпеливые, а вот протасовские — один валяется на боку, у другого пятка вкось сбита.

Утром на одиннадцатый день Сафьянов сказал, что слышал разговор радиста ниже-ангарского лесхоза Малыгина и геодезиста Каретникова, с которым мы встречались налевой Маме. Каретников сообщал, что закончил работы на пункте Колдас, и просил своего начальника партии выслать вертолет для вывозки бригады. Ему обещали вертолет во второй половине дня.

Мы оживились. Вертолет к Каретникову должен пролетать мимо нас. Будем пробовать его посадить. Тем более что здесь, на Соли, лежит двести килограммов груза этого геодезического отряда.

Как только услышали отдаленный гул мотора, сразу выбежали в порт на расчищенную площадку. Машем руками, крутим над головой белыми засаленными вкладышами, но вертолет прошел над нами и скрылся за контрфорсом.

— Ничего, на обратном пути посадим, — авторитетно заявил Протасов и пошел за красными ракетами.

Через два часа вновь застрекотал мотор.

«МИ-4» летел низко, в двухстах метрах над нами. Три сигнальные ракеты вычертили в небе дымные дуги. Вертолет спокойно пролетел на запад и скрылся за гольцами.

Ругались хором. Ругались смачно. Так, как никогда до этого не ругались.

Я час сидел у Сафьянова в его радиопалатке. Если его внимательно слушать, он мог весь день рассказывать про свою дуплексную и симплексную связь.

— У каждого радиста свой стиль, — говорил он, — послушай: Малыгин работает на вибраторе, как мелодию тянет. Такой почерк не каждому дается. Великий радист... А теперь послушай, как работает на ключе Галка, радистка четвертой партии из Айяна. Не поймешь, где точка, где тире.

Из наушников вылетала каша спотыкающихся звуков. Галка работала первый год и еще не набила руку.

Сафьянову было лет пятьдесят, характер у него нервный, неуравновешенный.

Когда Протасов с адъютантом уходили на контроль, он, бывало, по полмесяца оставался на озере один. Чувствовал себя тревожно и одиноко. К концу сезона нервы его стали пошаливать.

Однажды в ветреную ночь Сафьянов поднял крик и выстрелил дуплетом из ружья. Мы прибежали к нему, чтобы узнать, в чем дело. Ему показалось, что к палатке подошел медведь, и он разрядил два патрона в качающийся куст кедрового стланника.

Прошло полмесяца, как мы сидим на Солях. Идет обмен многозначительными радиограммами, а вертолета все нет.

Протасов дал такую радиограмму в отряд: «Ожидаем со дня на день похолодания. Прошу вашего распоряжения о выходе из тайги по снегу». Получил ответ: «Одеть людей в соответствии с сезоном. Продолжайте давать заявки на вертолет. Виданов».

— Виданов хитрый, его на крючок не подцепишь, — засмеялся Протасов. — Знает прекрасно, что в тайге теплых вещей не купить, а радиограмму такую дает. Так, на всякий случай. Дал радиограмму и спит спокойно.

Овсянников на базе совершенно обленился и днями валялся на койке. Рыбачить и охотиться он не умел, да и не хотел. Преданный Данчин опекал его, как пушкинский Савельич Гринева.

— Вольдсмар, — подражая Протасову, обращался Овсянников к Данчину. —

Прими заказ на завтрак. Значит, меню такое: сладкая рисовая каша, затем блинчики, голубица со сгущенкой, чай.

Данчин строго выполнял заявку. За голубицей ходил на болото и набивал полную литровую банку. Ягоду ссыпал в эмалированную миску и обливал сгущенным молоком.

— Лучше этого блюда ничего не знаю, — облизывая ложку, признавался Овсянников.

Голубица пьянила и вызывала дрему. Глаза у Овсянникова слипались, и он снова заваливался спать. Рядом у койки сидел Данчин и клевал носом.

Однажды Протасов организовал бригаду из Найденова, Данчина и Тюрина и заставил собирать бруснику для своих заготовок.

— Работать надо, — говорил он. — Вам деньги идут: оклады, северные, полевые.

Ягоду принимал придирчиво, ссыпал ее в фанерные бочки. Иногда говорил:

— Эта не годится, обрухела совсем, откатить надо.

Протасов заготовил к отправке домой две бочки соленых ленков, три фанерных кадушки брусники, три ведра голубичного варенья.

За время отсидки на Солях сдружились Данчин и Найденов. Данчин научил Ивана многому: как печь пышки в песке и золе, как ловить петлей бурундука («Загони на дерево и стучи по стволу, бурундук осады не выдерживает, начинает спускаться на прорыв, тут ему петлю из жилки под нос, сам голову просунет»), как собирать вилкой бруснику.

Иван не остался в долгу. Он научил Данчина, как сдирать с рябчика шкуру вместе с перьями, в каком месте утиного брюха делать надрез для потрошения («По центру не режь, середковая кость, а бери в подмышку — нож сам проваливается»), как вязать мушку на хариуса («Оберни птичье перо вокруг крючка, чтоб торчали усики, и желтой ниткой обмотай»), как сшить мышь на ленка и тайменя, как сделать блесну из медной гильзы.

...Двадцатые сутки ждем вертолета.

Все сильнее заедает хандра.

Терпение у всех было на пределе.

К каждому звуку мы чутко прислушивались. Нам все время казалось, что где-то гудит мотор. Выходили из палатки, смотрели на небо. Иногда гул мотора становился явственным, и мы провожали глазами далекую точку над горизонтом: опять в Сыныр, к геологам.

В последние дни с нами происходили странные вещи. В десять часов вечера транзистор присылал нам женщину. И каждый из нас молча разговаривал с ней. По душам. Она знала о нас все до последней тайны. Она говорила тихо, почти шепотом. То умоляла, то убеждала страстно, до стенания. То умолкала совсем. Но и тогда мы ее слышали — ее дыхание.

Женщина говорила по-японски. Мы не знали по-японски ни слова.

...На двадцать третьи сутки прилетел вертолет.

11

Сидим в вертолете и смотрим в иллюминаторы. Майгунда, Асиктамура, Иняптук, долина Олокита. Жалко покидать места, в которых пролито столько пота.

В отсек свешиваются ноги техника вертолета. Дергаем его за штанину. Спускается к нам в «саюн».

— Почему дояго не прилетали?

— А?

— На. Садись ближе.

Чтобы перекрыть шум мотора, приходится орать.

— Мы вас ждали больше двадцати суток.

— Заявок много, а вертолет один на два отряда. И на топографов и на геодезистов.

- Один «МИ-4» на тридцать бригад? Не верим.
- Все время так.
- Сколько еще бригад в тайге?
- Десять.
- На нас и геодезистов надо держать два или три вертолета.
- Будут простои машин.
- Пусть лучше вы постоите, чем дело.
- Нерентабельно.
- Для кого?
- Для вертолетчиков.
- А для нас?

Из-за нехваток вертолетов многие бригады попали в тайгу с большим опозданием. Бригада Любушкина, нашего соседа по участку, месяц ждала вертолета в Куморе и поэтому поздно начала работу. Из тридцати шести плановых трапещей до снега сделала только двадцать четыре.

Геодезист Каретников из-за опоздания с вылетом на полтора месяца чуть не разминул со своими каюрами. Каюры согласно договоренности пришли с оленями из Холодной в условленное место налевой Маме. С середины мая по конец июня ждали своего геодезиста с рабочими. Кончилась мука, чай, табак и терпение. Каюры повернули назад в Холодную. Каретников с трудом догнал их на Майгунде.

В конце сезона люди сидят в тайге и десятки дней ждут вертолета. Государству это обходится в копейчку. Легко подсчитать, во что, например, обошлась наша отсидка. Если средний оклад человека 80 рублей, с районным коэффициентом (1,4) и полевым довольствием (50%) он поднимется до 150 рублей в месяц. Дневная зарплата составит $150:26=5,7$ рубля. Восемь человек просидели двадцать рабочих дней. Потеряно 160 человеко-дней. Умножаем эту цифру на 5 рублей 70 копеек и получаем убыток около 1000 рублей. А сколько таких бригад по Союзу!

Использование вертолетов в тайге должно удешевить и ускорить работу. А получается наоборот. Если бы мы с оленями выходили из тайги пешком, было бы дешевле, да и быстрее.

И еще. Потерян какой-то важный принцип хозяйственности. От нечего делать перечисляем должностных лиц, которые бы чувствовали потерю государственных денег так же, как своих собственных. И не находим таких лиц. Начальники отрядов? Главные инженеры? Начальники партий? Исполнители?

Конечно, внешне они будут возмущаться. Какое безобразие, как нас подводят! А по существу? Перерасход по фонду заработной платы? Добьются, чтобы его увеличили. Перерасход по транспорту? Заложат на следующий год в смету больше транспортных денег. Не выполнили план? Будут кричать, что им его завысили. Получат следующий поменьше. Никто не боится обанкротиться. Оклады идут, полевые и районные набегают.

Говорят: хороший работник ответственности не боится.

А чего ее бояться, если она не страшная.

— Вам еще повезло, — сказал техник, когда мы подлетали к Нижне-Ангарску. — На этой неделе нашу машину ставят на прикол.

— Что случилось?

— Ресурс по втулкам вышел. Надо восьмьсот часов, а мы на своих тысячу двести отмахали.

— Заменяли бы раньше.

— Втулок нет. Казанский завод задерживает поставки.

Знают ли там, на заводе, во что обойдется государству задержка комплекта втулок, если десять полевых бригад будут сидеть в тайге и ждать вертолета? Наверно, не знают. Если бы знали, ночь не спали, а сделали.

12

В день нашего прилета в Нижне-Ангарск Иван Найденов пригласил всех попариться в домашней бане.

— Приходите к вечеру, я натоплю.

Но поселковая жизнь сразу закружила всех. Встретились знакомые, пошли разговоры, народ поразбредся. Ивановым приглашением воспользовались только Данчин и я.

Мы ходили по улице и искали, где живет Иван. Найти его дом помог местный дед, стоявший у самодельного тарантаса сбочь дороги.

— Я бы вас проводил, да мне торопно. Глядеть-ко сюда. Вона домина с крылечком и красной крышей.

— Видим.

— Это, однако, не Найденова дом. А за ним новый, с поленницей у забора — евошный.

— Тот, что с флигелем во дворе? — уточнил Данчин.

— С фигелем, с фигелем.

Двухколесный тарантас был запряжен тремя послушными лохматыми кобелями — коренником в оглобельках и двумя пристяжными.

Когда старик разогнал по дороге свою тройку, звон и лай наполнили весь поселок. Здоровенные дворовые псы вываливали из подворотен и мчались рядом с упряжкой, норовя ухватить за ляжку ездовых. Дед улюлюкал и порол кнутом набегающие своры. Запряженные собаки яро клацали зубами и мчались еще быстрее. Лихо пер седой.

Иван познакомил нас с семьей: мамашей Екатериной Ильиничной, с братом-восьмиклассником Сергеем, с десятилетней Светкой. Отец был в отъезде. Два старших брата-рыбака обзавелись семьями и жили собственными домами.

Баня располагалась во флигеле.

Горячая вода, березовые веники да едучее хозяйственное мыло содрали с нас черные наслоения. Вышли посветлевшие, полегчавшие.

— Теперь прошу к столу, — сказала хозяйка. — Только вы нас не судите — у нас еда простая: ни сыра, ни колбаски, ни шпротов, ни яблочка.

На столе действительно была простая еда: миска горячей вареной картошки, миска очищенного круглого лука, миска малосольного пластованного омуля, миска с красной омулевой икрой, жареная утка, соленые огурцы, маринованные грибы с клюквой.

Я никогда не думал, что смогу столько съесть. Жирный омуль сам таял во рту, деревянная ложка поминутно загружалась омулевой икрой, на вилку ловко натыкались белые грузди и рассыпчатый картофель. Теплое утиное мясо легко отслаивалось от костей. Все это как-то смачно и просто проглатывалось и запивалось.

— Вы инженер? — спросил меня Серега.

— Да.

— В таком случае, извините, я хотел бы вас спросить...

— Да не мешай ты людям, — строго одернула Ильинична. — Люди из тайги пришли, замученные, голодные, а ты со своими вопросами. Не обращайтесь на него внимания, он всем надоедает.

— Отчего же, пусть спрашивает, — заступился я.

— Извините, — сконфузился Серега. — Я лучше потом.

— Ничего, давай сейчас, чего тянуть. И вообще ты со мной проще, без всяких этих «извините». Спрашивай что угодно.

— Я вот о чем, — сказал Серега. — Если исходить из положения, что дифференциал функции равен произведению производной функции на дифференциал независимого переменного, то, — он подал мне лист бумаги с какими-то потешными значками, — то почему же у меня получается результат, противоречащий теоремам Ролля и Логранжа о конечных приращениях?

Если бы сейчас ко мне обратился непалец на языке шерпов с испорченным тибетским произношением, я бы его быстрее понял.

За свою инженерную практику мне ни разу не приходилось дифференцировать и интегрировать. Сделав несколько технических проектов, я, как правило, обходился простыми математическими действиями. А институтский курс высшей математики я, признаться, основательно забыл. Я вертел в руках листок, не зная, как с ним поступить. Серега смотрел на меня и ждал. Он был уверен, что я смогу рассеять его сомнения. Обстановочка, доложу я вам!

— Значит, не вычисляется? — начал я как можно задумчивее.

— Вычисляется, но противоречит известным теоремам.

— Это бывает, Сережа, — сказал я, — если взглянуть на вещи с точки зрения теории относительности.

К этой теории, в которой я, кстати, совсем не разбирался, пацан питал особые чувства. Видя во мне внимательного слушателя, он с удовольствием говорил об общих вопросах теории относительности, потом перешел к классической теории эффекта Допплера и закончил рассуждения тем, что предложил свой вариант написания старой формулы Эйнштейна.

— Да не слушайте его, он заговорит ного угодно, — прервала его Ильинична.

— Математика, фпзпка — это хорошее увлечение, — вновь заступился я за Серегу, радуясь, что мне удалось отвертеться от первого вопроса.

— Ты лучше возьми баян да сыграй. Он хорошо играет, — сказала Ильинична.

— Сыграй, сыграй, Сережа, — упрашивал Данчин.

Серега скорчил недовольную мину и замотал головой, но Иван уже тащил инструмент. С нескрываемым пренебрежением Серега отстегнул меха, развернул папку с нотами, просунул руки в ременные лямки и, чуть притопывая ногой, заиграл. Это были «Амурские волны». Играл великолепно: чисто, точно, со всеми оттенками. Все были зачарованы музыкой, кроме разве самого музыканта: лицо его было безучастно к звукам.

Потом Серега заиграл «Славное море, священный Байкал». Песню полхватили. Кричали так зычно, так самозабвенно, что забыли об аккомпаниаторе, а тот между тем отложил баян и снова пристроился у моей спины.

— Баян я не люблю, честное слово.

— Охотно верю, Сережа.

— Можно, мы еще поговорим?

— Конечно.

«Лишь бы бумажки не подсовывал, — думаю, — а так отбьюсь».

— Скажите, что такое Солнце?

Хорошо объяснять то, чего точно никто не знает.

— Это такое небесное тело, непрерывное свечение которого поддерживается внутриядерными процессами.

Получилось даже стройно.

— Мне кажется, что ядерные реакции больших энергий были подсказаны Солнцем.

— Почему ты так решил?

— Раз в природе существует такой бесконечный взрыв, как Солнце, значит, его можно получить искусственно.

— И что же?

— Придумали атомную бомбу.

Потом мы фантазировали с Серегой, как отбирать энергию от плазмы, если ее удастся обуздать.

— Ты, наверное, очень любишь физику? — спросил я Серегу.

— Очень. И физику и математику.

— Тебе надо учиться в Москве, Сережа. Ты бы хотел?

— Очень.

— Тебя обязательно примут в университет. — Иначе я не мог говорить в эту минуту.

— А как готовиться?

— Надо написать письмо, а лучше самому приехать в Москву.

— Вот бы здорово...

— Не приставай к человеку, — возмущалась Ильинична. — Возьми баян, сыграй страдания.

— Не заставляйте его играть на гармошке, — просил я. — Не надо ему это. Он другое любит.

Я долго убеждал удивленную мать, что сын ее должен кончить десять классов и поехать учиться в Москву, что такие ребята, как он, на дороге не валяются. Дал московский адрес моего старого товарища. Он поможет.

Вечером в бичевне, когда все спали, я писал письмо другу в Москву.

13

Осенью на севере Байкала мало солнечных дней. Сутками сыплет мелкая мжичка, расквашивая грунтовые дороги.

В Нижне-Ангарском порту тишина. В эту пору здесь больше ждут, чем летают.

Семнадцатого сентября уходил последний пароход. По пути он останавливался в Усть-Баргузине, затем следовал на юг до поселка Байкал. Местное пароходство раньше срока закрывало навигацию, так как считало невыгодным гонять полупустой такую большую посудину, как «Комсомолец».

Жителям Нижне-Ангарска придется ждать восемь месяцев, пока он вновь вернется к северным берегам.

Проводить судно в последний рейс пришло много поселян. Старики, старухи, бабы, мужики, молодежь. Много было пацанвы. Две гармонии по краям людской толчеи на причале щедро выкладывали свои души. Пел нестройный хор, были солисты. Среди бушлатов, зипунов и рыбацких засаленных стеганок толкались зеленые охотничьи плащи. Охотники пришли сюда прямо с вечерней зорьки. На поясах висели вздернутые за шеи теплые утки.

«Комсомолец» посапывал, довольный такими проводами. Встречать его следующим летом придет еще больше народу. Исскушаются люди по кораблю за долгую-то зиму. Только самолеты да иногда машины по льду будут приходить сюда в холодное время.

Спорят двое:

— В этом году Байкал не замерзнет.

— Нет, замерзнет.

— Он в декабре никогда не становится, а январь — это уже другой год.

Гони бутылку.

Все стараются проникнуть в корабельный буфет, но это не так-то просто. Там пиво — редкое для северного берега питье.

Последним рейсом уплывало много таежного обезжиренного люда: экспедиционные рабочие, геологи, топографы, геодезисты. В Иркутск и Улан-Удэ отправлялось поселковое студенчество.

Уплывали и мы. Водой до Усть-Баргузина, затем пересядем на машину — и до Улан-Удэ. Там базируется отряд. Мне же предстоит лететь еще дальше — в Москву, а затем в Крым.

В поселке оставались Иван Найденов и радист Сафьяинов. Иван местный, куда ему ехать. А Сафьяинов будет ждать летной погоды, чтобы отправить грузы специальным рейсом самолета. Переправлять их водой было нерезонно из-за трудной разгрузки с рейда в Усть-Баргузине.

Свои таежные припасы Протасов не рискнул оставить на Сафьяинова, взял с собой. Народу много — помогут. К бачкам, ведрам, фанерным кадушкам он добавил в Нижне-Ангарске еще три эмалированных ведра с омулем круглого посо-

ла. Выторговал у найденовских знакомых по десять копеек за рыбину. Цена выгодная, если учесть, что лов омуля закончился еще десятого сентября.

Овсянников прорвался в буфет. Зовет остальных. Разливаем по стаканам водку.

— За окончание сезона,— возвещает Протасов,— теперь не грех пропустить по маленькой.

Чокаемся, пьем, продуваемся.

Женька Данилкин совсем пацан. Захмелел, заулыбался, в глазах малина. Очень ему хочется попеть.

Закури, дорогой, закури,
А на утро с восходом зари
Ты уйдешь по тайге опять
С перевала тропу искать.

Прочувствованно тянет, салага.

— Этот змееныш нам жизнь спас.— Растроганный Данчин обнимает студента.

Мы как-то сразу не заметили, что среди нас не было Тюрина. Он ушел на корму и больше не появлялся. После прилета с Солей он откололся от бригады. А вернее, его просто перестали замечать. Не ко двору пришелся. За рублем погнался, да не туда попал. Любил, чтобы за него другие надсаживались.

Перед отъездом он сказал Данчину:

— В город приедем, месяц пробюллетеню. Я знаю, как это сделать. Средний заработок хороший. А что? Отряд заплатит, такой закон. Получу расчет. Сотню дам матери. Сколько старухе-то надо. И подамся на золото. В старых штольнях, говорят, можно мыть по частному подряду. Фирма райпотребсебе. Большие деньги люди имеют.

— Давай,— сказал Володя.— Только там, поди, тоже надо упираться.

Когда шли на пристань, Тюрин отстал и телепался сзади, как последний догоняющий в собачьей свадьебе.

По Байкалу шел вал. Нос «Комсомольца» то задирался, то опускался вниз. Деревянные лаги причала тяжело скрипели.

Внизу, среди платков, картузов и ушанок маячит голова Ивана Найденова. Он кричит и что-то показывает. Делает пальцем квадрат, потом изображает в руке что-то круглое и машет от меня к себе. Затем снова квадрат, руки изображают что-то продолговатое, облизывается и пальцем от себя ко мне. «Высылай посылку яблоч, а я тебе пришлю омуля». Киваю: мол, понял. Толпа напирает на левый борт, прижимает к перилам. Мне не хочется выбираться на свободу, хочется остаться в этой тесноте и так же со всеми кричать и раскачиваться. Меня наполнили новые ощущения, совсем не похожие на те, что бывали раньше после альпинистских сезонов. Я сделал десятки восхождений на Кавказе и Тянь-Шане. Были среди них эффектные, классные, котируемые. Но после каждого такого восхождения вставал простой до жути вопрос: ну и что? Попробуй объяснить крестьянину, зачем ты сделал траверс Ушбы или поднялся на Талгар. Не поймет он тебя, сочтет за чудака.

А сейчас я стоял в пропотевшей толпе работяг и чувствовал себя трудягой.

— Если решишь на следующий год идти в Чару, прилетай пораньше, к заброске лабазов,— говорил Овсянников.

— Постараюсь.



ПУБЛИЦИСТИКА

В. БЕЛКИН, В. ИВАНТЕР

★

БАНК И УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ

1

Года три тому назад в «Известиях» появилась статья «Встречи с примитивным меркантилистом». Автор, журналист А. Аграновский, повествовал об одном финансисте, который, добросовестно сберегая копейки... «экономил рубли?» — поторопится заключить приученный к штампам экономической публицистики читатель. Но не угадает. Статья была построена не по штампу: из нее следовало, что, сберегая копейки, финансист терял рубли (разумеется, не свои, а государственные). Вопреки поговорке, не всегда «копейка рубль бережет».

И все же личная вина «примитивного меркантилиста» не столь велика, как может показаться с первого взгляда. Он действовал по инструкции. И инструкция соответствовала той системе хозяйствования, что сложилась у нас до экономической реформы. Разумеется, инструкция вовсе не имела целью обречь финансиста на столь нелепую деятельность. Но она вынуждала его быть пассивным. А при определенных условиях это неизбежно приводило к нелепостям, описанным в упомянутой статье, к существенным потерям для хозяйства.

В нашей публицистике слово «инструкция» вообще не в почете. Строго по инструкциям действуют герои фельетонов — закоренелые бюрократы. Между тем правильно отражающая существо дела и грамотно составленная инструкция чрезвычайно полезна. Она обеспечивает единообразное применение экономического законодательства, облегчает осуществление хозяйственных связей. Трудно найти что-либо более вредное, чем «законность курскую» и «законность калужскую». Зло, разумеется, не в том, что «примитивный меркантилист» действовал «строго по инструкции», а в том, что «дореформенная» инструкция обрекала его именно на такую деятельность.

При новой системе хозяйствования пассивность финансиста станет недопустимой. Какова же должна быть его роль, роль финансово-банковских органов вообще?

2

Хозяйственная реформа существенно расширяет самостоятельность предприятий. Но должно ли при этом общество отказаться от централизованного управления предприятиями? В соответствии с современными научными представлениями ответ на этот вопрос однозначен: нет. Специальная наука об управлении — кибернетика — утверждает, что ни одна сколько-нибудь сложная система в природе или обществе не может обходиться без управления. Это относится и к столь сложным системам, как предприятие, отрасль, народное хозяйство.

Подобно тому как свободе не должна метафизически противопоставляться необходимость самостоятельности предприятий не следует противопоставлять управление. Дело здесь в том, как, какими методами управлять. Опыт показал,

что чисто административные методы руководства не могут разумно сочетать централизованное управление с хозяйственной самостоятельностью и вырождаются в мелочную регламентацию, попытку планировать производство и реализацию каждого гвоздя, контролировать из центра использование каждой копейки. В результате вероятность просчетов увеличивается. В каком же соотношении должны находиться самостоятельность и управление? Что значит управлять предприятиями, обладающими самостоятельностью? Это значит создать такие условия, в которых предприятие, руководствуясь своими собственными интересами, действовало бы в соответствии с общественной необходимостью. Такие условия обеспечиваются в основном экономическими методами. Они должны быть созданы в результате хозяйственной реформы.

Сентябрьский Пленум ЦК КПСС (1965 года) принял решение — преимущественно административные методы управления заменить преимущественно экономическими. Административные указания предприятиям — что произвести, в какие сроки, из какого сырья, на каком оборудовании, с какой себестоимостью — уступают место инструментам экономического управления: ставкам платы за производственные фонды, рентным платежам, процентам за кредит, финансовым льготам и санкциям (штрафы, пени, неустойки).

В чем преимущество экономических методов руководства перед административными?

Управляющие сигналы, если говорить языком кибернетики, административного характера в преобладающей своей части индивидуализированы, они адресованы каждому конкретному предприятию. Однако никто не может знать всех производственных возможностей и резервов лучше коллектива самого предприятия. Между тем детальная регламентация не дает простора творческой инициативе в хозяйстве; стремление обеспечить государственные интересы в подобных условиях приводило подчас даже к нарушению закона, к хозяйственным преступлениям. Это убедительно показано, например, в статье В. Канторовича «Директор и инструкция» в «Литературной газете» от 24 декабря 1966 года. Речь там идет о директоре предприятия, которое не удавалось ввести в строй, потому что не хватало незначительной части электрооборудования. Ограниченный в своих правах разного рода циркулярами, директор был вынужден приобретать это оборудование на деньги, якобы выплаченные работникам предприятия за фиктивные работы.

Управляющие экономические сигналы имеют общий, можно сказать, глобальный характер. Они касаются и совокупности предприятий, и целой отрасли, и даже всего народного хозяйства. Они должны направлять деятельность предприятия в нужное русло, не сковывая его инициативу. Если, допустим, ставки платы за фонды — здания, оборудование, запасы сырья и материалов — и проценты по ссудам сравнительно невелики, то предприятиям выгодно устанавливать дополнительное оборудование, автоматизировать производство. Зато, когда ощущается нехватка материальных ресурсов, а рабочая сила в избытке, можно, повысив плату за фонды и процент за кредит, воспрепятствовать расширению производства, требующего крупных капиталовложений. В этом случае при одних и тех же затратах будет создано относительно больше рабочих мест, занято больше трудящихся. Устанавливая надлежащие ставки рентных платежей, можно добиться и более рационального использования месторождений полезных ископаемых, лесов, пахотных земель. Действительно, если установить достаточно высокую земельную ренту, то увеличивать этажность зданий будет просто выгоднее, чем излишне расширять площадь городской застройки.

Важное преимущество экономических методов управления — это возможность так называемого саморегулирования, самосовершенствования хозяйства, исправления ошибочных решений. Так, если по прогнозам предприятия какой-либо отрасли хозяйства не смогут достаточно эффективно использовать капитальные вложения, то при административных методах управления такой отрасли не выделяются средства для вложений. Ошибка в прогнозе непоправима. Иное дело,

когда на основе того же прогноза принимается экономическое решение. Устанавливается определенная, достаточно высокая ставка процента по долгосрочным ссудам. Тем самым общество гарантировано от неэффективного использования средств. И если прогноз был ошибочен и на самом деле эффективные направления для вложений существуют, то предприятия могут их осуществить за счет ссуд. Ошибка исправлена, потери предотвращены.

Глобальный характер управляющих экономических сигналов не означает игнорирования производственных особенностей предприятий и отраслей хозяйства. Подобно тому как из одних и тех же унифицированных деталей можно возводить разнообразные сооружения, — различным сочетанием экономических сигналов можно для каждого предприятия обеспечить индивидуальные, наиболее целесообразные условия работы. При этом экономическое воздействие одного и того же сигнала управления будет соответствовать специфике предприятия. Так, ограниченный срок кредита не помешает предприятию с быстрым оборотом средств расширять производство. Реализовав свою продукцию, оно сможет незамедлительно вернуть ссуду. В то же время для предприятия с длительным циклом производства возможности использовать кредит при ограничении его срока существенно сужаются.

Для развитого управления экономическими методами характерен широкий арсенал экономических инструментов. Одни стимулируют внедрение новой техники и передовой технологии (плата за фонды и долгосрочные целевые ссуды), другие обеспечивают оптимальный уровень запасов (краткосрочный кредит Госбанка), третьи способствуют рациональному использованию природных ресурсов (рентные платежи) и т. д.

Нельзя надеяться, что какой-либо один экономический инструмент обеспечит рациональное управление хозяйством.

Более того, если пытаться использовать одни и те же экономические инструменты для решения несовместимых задач, то не только задачи правильно не решишь, но и инструменты испортишь.

За примером недалеко ходить. Цены — важнейший экономический инструмент, с помощью которого в недалеком прошлом пытались одновременно и выражать общественные издержки производства, и перераспределять национальный доход.

Общественные издержки производства могут быть, как известно, выражены такими ценами, которые складываются из реальных затрат труда, материалов, амортизации, прибыли, определяемой единообразно, по одному для всех товаров правилу. Между тем перераспределение национального дохода осуществляется посредством цен, которые отклоняются от общественных издержек в ту или другую сторону, нарушая эквивалентность обмена. Если цена товара занижена, то доход перераспределяется в пользу покупателя этого товара — он получает реальных благ больше, чем отдает. Если цена завышена — перераспределение происходит в пользу поставщика, который получает за свой товар несоразмерно высокую плату. В результате использования цен для перераспределения доходов возникли серьезные недостатки в ценообразовании. Этих недостатков можно было бы избежать, если бы оставить на долю цен отображение общественных издержек производства, а доходы перераспределять посредством отчислений от прибыли, рентных платежей, прямых налогов и прочих финансовых методов. Рациональное руководство предприятиями может быть обеспечено лишь комплексом экономических инструментов.

При всем многообразии средств экономического воздействия критерий оценки работы предприятий должен быть, разумеется, единым — превышение результатов производства над затратами в сопоставлении с оснащенностью предприятия. Стало быть, прибыльность, рентабельность и есть тот самый критерий. Прибыль, оставшаяся после уплаты за фонды, процентов по ссудам и других платежей, — вот источник экономического стимулирования производства.

Экономическое управление должно обеспечить, чтобы предприятие, стремясь увеличить прибыль, действовало в интересах общества. Однако опыт предприятий, перешедших на новую систему хозяйствования, показывает, что перечисленных экономических инструментов, сколь сложными и совершенными они ни были, для этого еще недостаточно.

Экономическое управление — в широком смысле этого понятия — состоит еще и в том, чтобы правильно ориентировать предприятия. Без экономических ориентиров предприятие не может составить обоснованный план производства. Для этого ему необходимо знать, каковы потребности общества в той или иной продукции, каково предложение подобной продукции другими предприятиями, каковы возможности приобретения сырья и материалов, необходимых для производства, — словом, ему должны быть известны конъюнктура и перспективы социалистического рынка. Но каким образом тамбовская, например, фабрика может узнать о том, что детали, в которых она нуждается, могут быть поставлены ей новосибирским заводом? Как крымскому колхозу выяснить, что свою продукцию ему лучше всего реализовать в Донбассе, а трубы для орошения виноградников заказать на Урале? Как установить — и притом с наибольшей эффективностью для себя и для общества — предусмотренные реформой прямые связи с предприятиями-смежниками? Ведь рынок средств производства — это не базар, где все товары разложены на прилавках, и даже не оптовая ярмарка, где заключают сделки по образцам. Это нечто более сложное. Поставщик лишь тогда должен производить продукцию для этого рынка, когда ему заранее известен спрос, а в ряде случаев и конкретный покупатель.

Очевидно, и экономические рычаги, и экономические ориентиры, составляющие в комплексе механизм экономического управления предприятием, могут быть надлежащим образом выработаны специальным, хорошо осведомленным аппаратом, охватывающим всю страну.

Неужто нужно опять учреждать новый аппарат? Нет, не надо. Такой аппарат у нас есть — это банки. В новых условиях хозяйствования банки нужно усовершенствовать, но многим из того, что требуется для управления экономикой, они располагают уже теперь.

3

Прежде всего для управления нужна информация. Когда вы слышите о хозяйственниках, наделенных экономической интуицией, не забывайте: мать интуиции — информация. Как же обстоит дело с информацией в банках?

В условиях товарного хозяйства продукция предприятий реализуется за деньги, каждая сделка оформляется банком, средства предприятий хранятся на расчетных счетах в банке. Банки получают от предприятий плату за производственные фонды, рентные и другие платежи в государственный бюджет, они выдают предприятиям средства, выделенные для них бюджетом, и контролируют расходование этих средств. Банки выполняют краткосрочное и долгосрочное кредитование предприятий. Словом, банки опосредствуют все хозяйственные связи предприятий. Именно в силу этого банки наилучшим образом осведомлены о производственных фондах и мощностях предприятий, о поставках, запасах и потребности предприятий в сырье, топливе и материалах, о выпуске и реализации продукции, о ее запасах и о потребности в ней.

Перед любой другой формой экономической информации банковская информация имеет ряд неоспоримых преимуществ. Ее достоверность и своевременность обеспечиваются экономическими средствами.

Предприятие-поставщик не может указать в документе, представленном к оплате за отгруженную продукцию, больший объем, чем в действительности, так как покупатель откажется оплачивать счет. С другой стороны, предприятие-поставщик не укажет и меньший объем отгруженной продукции, ибо это противоречит его интересам. По тем же причинам оно не может ни завysить, ни понизить не только объем, но и сортность продукции.

Сроки получения информации близки к фактическому движению средств на предприятиях и в организациях. Фотография здесь почти моментальная. Если предприятие-поставщик несвоевременно выпишет счет за отгруженную продукцию, оно тем самым задержит поступление средств. В результате это предприятие не сможет расплатиться в срок за сырье, погасить ссуды, выплатить заработную плату рабочим и служащим. Кроме того, последуют санкции со стороны банка. Все это обеспечивает своевременность банковской информации. Однако, чтобы использовать информацию банка для управления хозяйством, надо существенно изменить и расширить ее обработку.

Допустим, скажет скептически настроенный читатель, о предприятиях в банке знают многое, ибо предприятия так или иначе связаны с банком, взаимодействуют с ним. Но что могут знать в банке о человеке-потребителе, о его доходах, об индивидуальном спросе, который он предъявляет к хозяйству. Ведь производство у нас в конечном итоге для человека, для удовлетворения его потребностей. А на расчетном счете в банке отдельные люди деньги свои обычно не держат, и банк не контролирует (упаси боже) расходы каждой отдельной семьи...

Да, это так. И все же банк знает (во всяком случае может и должен знать) довольно многое и об отдельном, рядовом человеке. Но не надо принимать наши слова на веру: в отношении экономической литературы разумный скептицизм достоин уважения, легковёрность здесь не добродетель; опыт, подчас горький опыт,— тому свидетельство. Давайте поэтому разберемся, что знает и что может знать банк о человеке.

Госбанк СССР является единым эмиссионным и кассовым центром страны. Поэтому он знает объем денежной эмиссии, или, попросту говоря, знает, сколько денег находится в обращении. Далее. Предприятия, учреждения и колхозы получают деньги на заработную плату своим работникам с банковских счетов. В банке, стало быть, имеются сведения о том, какими социальными группами населения, на какой территории сколько получено денежных доходов. Речь идет не только о заработной плате, но и о пенсиях, стипендиях, пособиях, гонорарах и т. д. С другой стороны, в банке известно, сколько денег население потратило на покупку продуктов, одежды, обуви и т. д., ибо магазины ежедневно сдают свою выручку в банк, банк инкассирует, то есть собирает эту выручку. Точно так же банк осведомлен о расходах населения на оплату услуг. Квартирная плата, выручка пассажирского транспорта и кино, даже штрафы, полученные милицией от водителей, нарушивших правила уличного движения,— ничто не минуется кассы Госбанка. Банку известны вклады и сбережения, хранящиеся в сберегательных кассах, ибо сами сберкассы — органы Государственного банка.

Зная доходы населения и его расходы, нетрудно сосчитать, каков его реальный платежеспособный спрос. Зная поступления и запасы товаров в магазинах (а банк о них осведомлен, поскольку их кредитует) и сколько каких товаров продано, можно в какой-то мере судить о структуре спроса населения в целом и по районам. К сожалению, такие сведения пока еще не обобщаются и не анализируются. Поэтому практически банк знает о населении далеко не все из того, что здесь сказано. Но при соответствующей обработке информации знать о населении банк сможет многое, во всяком случае вполне достаточно для компетентных управляющих решений.

4

Хорошая информация, осведомленность — условие для управления необходимое, но недостаточное. Чтобы управлять наилучшим образом, нужно быть заинтересованным в принятии оптимальных управляющих решений и иметь возможность проводить их в жизнь. Возможности эти бывают различными — административная власть и экономические средства. Как обстоит с этим в банке?

В отличие от других управляющих органов банк — хозрасчетная организация, хотя хозрасчет в банках носит во многом формальный характер.

В распоряжении банка находятся весьма значительные ресурсы, за счет которых осуществляется кредитование хозяйства. Кредитные ресурсы, кроме собственных средств банка, включают временно свободные денежные средства предприятий и организаций, хранящиеся на их текущих и расчетных счетах, средства других кредитных учреждений (сберегательных касс), органов государственного страхования, средства государственного бюджета (до их использования по назначению). Кредитование производится и за счет так называемого эмиссионного ресурса, то есть выпущенных в обращение денег. Банк отвечает за сохранность предоставленных ему средств. Речь идет не о том, чтобы сберечь их от хищений, это само собой разумеется, а о том, чтобы клиенты банка, получившие ссуду, своевременно и полностью ее возвращали. Работа эта не простая, если иметь в виду, что только краткосрочных ссуд Госбанк выдает за год на сумму почти шестьсот миллиардов рублей. Для сравнения заметим, что бюджет направляет в народное хозяйство в двенадцать раз меньше — около пятидесяти миллиардов рублей.

Сохранить предоставленные в ссуду средства — это лишь полдела. Другая, более сложная его половина — обеспечить рациональное использование средств. Как хозяйственная организация, банк должен быть заинтересован в получении возможно большей прибыли. В новых условиях прибыль банка должна определяться в основном как разница между процентами, уплачиваемыми хозяйственными организациями банку за пользование ссудами, с одной стороны, и расходами банка на выплату процентов по вкладам, а также эксплуатационными расходами — с другой. Банк не сможет сократить свои расходы на выплату процентов, ибо свободные средства одних хозяйств служат источником кредитов для других. Поэтому чистый доход банка будет тем больше, чем больше кредитов он предоставит и чем лучше будут использованы эти кредиты — стало быть, чем лучше будут работать кредитруемые предприятия, чем быстрее будет реализована их продукция. Это ведь в буквальном смысле общегосударственные интересы, свободные от какой бы то ни было ведомственности или местничества.

(Обеспечение этих интересов следовало бы стимулировать не только добрым словом, но и рублем. Нужно поставить материальное поощрение работников банка в прямую зависимость от его доходов, подобно тому как это имеет место на производственных предприятиях, переводимых на новую систему хозяйствования.)

Таким образом, банки по самой их природе представляют аппарат, которому присущи функции регулирования и управления хозяйством исключительно экономическими методами, — аппарат, который располагает для этого необходимыми возможностями и который при определенных условиях будет материально заинтересован в том, чтобы управлять наилучшим образом. Поэтому банкам после известной их перестройки следует придать управляющие функции.

Идея об использовании банков для управления социалистическим хозяйством была выдвинута Лениным еще накануне Октября и развита в ряде последующих его трудов. «Единый крупнейший из крупнейших государственный банк, с отделениями в каждой волости, при каждой фабрике, — писал Ленин, — это уже девять десятых **социалистического аппарата**». «Контролировать и регулировать... производство и распределение продуктов, не контролируя, не регулируя банковских операций, это бессмыслица». Он называл банки «превосходным аппаратом». «Без крупных банков, — подчеркивал Ленин, — **социализм был бы неосуществим**». В 1918 году в «Тезисах банковской политики» Ленин указывал: «Банковская политика, не ограничиваясь национализацией банков, должна постепенно, но неуклонно направляться в сторону превращения банков в единый аппарат счетоводства и регулирования социалистически организованной хозяйственной жизни всей страны в целом».

Теперь крупнейший из крупнейших банков — Госбанк СССР — с тысячами отделений и агентств, находящихся в каждом районе, у нас есть. Он охватывает все народное хозяйство, связан со всеми предприятиями, организациями, колхозами. Это позволяет реализовать указания Ленина относительно превращения банков в аппарат регулирования социалистического хозяйства.

Управление и регулирование хозяйства банками поможет Госплану и отраслевым министерствам сосредоточиться на выполнении их главных функций. Освободившись от повседневных вопросов хозяйственного регулирования, Госплан и отраслевые министерства смогут больше внимания уделять научной разработке перспективных планов развития хозяйства, проведению наиболее прогрессивной технической политики, решению коренных вопросов коммунистического строительства. При этом плановые и хозяйственные органы будут опираться на информацию, доставляемую банками, и с помощью банков осуществлять разработанные ими мероприятия.

5

Успешное выполнение банками управляющих функций во многом зависит от качества работы банковского аппарата. Достаточно ли для этого численность и квалификация его сотрудников?

В кредитных и страховых учреждениях СССР работает свыше трехсот тысяч человек. Сама по себе эта цифра не малая. Но в США только в банках занято около миллиона человек, а вместе со страховыми обществами — свыше двух миллионов. Разумеется, капиталистическая страна для нас в этой области не пример. Но все же цифры показывают, что наши банки располагают не слишком большим штатом. Казалось бы, это должно компенсироваться высокой квалификацией работников банка. Но вот что показывает статистика: в органах государственного и хозяйственного управления из каждых ста работающих двадцать восемь человек имеют высшее образование, а в кредитных и страховых учреждениях лишь восемь человек из ста. Мы ни в коем случае не собираемся подвергать сомнению знания и опыт финансовых работников. Но для того, чтобы банки отвечали задачам, поставленным экономической реформой, понадобится, по-видимому, пополнить их персонал квалифицированными специалистами, сведущими в вопросах производства и строительства. И дело это важное, ибо от качества работы банковского аппарата зависит эффективность использования сотен миллиардов рублей.

Понятно, что специалисты высокой квалификации в соответствии с социалистическим принципом распределения по количеству и качеству труда должны получать надлежащую заработную плату. Но можно ли это осуществить, когда уровень заработной платы у работников кредитных учреждений существенно ниже, чем в других сферах народного хозяйства? Так, в промышленности уровень средней заработной платы выше, чем в банках, почти в 1,3 раза, в органах государственного и хозяйственного управления выше на 21 процент, а в целом по народному хозяйству — на 20 процентов. Это не может не затруднить привлечение в банк опытных и квалифицированных кадров.

Характерно, что за рубежом соотношение в средних зарплатах работников банка и всего хозяйства в целом обратное. Уровень заработной платы в финансовых и кредитных учреждениях Японии выше, чем в среднем по стране, в 1,3 раза, во Франции — в 1,4 раза, в Англии — почти в 1,5 раза. Опять же повторим: приведенные данные — для нас не образец. Но поразмыслить над ними стоит.

Как сложилось у нас нынешнее — неблагоприятное для банка — соотношение в уровнях заработной платы? Если обратиться к статистическим данным за двадцатые годы, тогда это соотношение было иным. В 1928 году средняя заработная плата в кредитных учреждениях была в 1,2 раза выше, чем в промышленности, и в 1,4 раза выше, чем в целом по народному хозяйству. Разумеется, заработную плату в банках не снижали, она росла. Но в значительно большей мере повышалась заработная плата в других отраслях народного хозяйства, и причина здесь была в ограничении товарно-денежных отношений, в усилении преимущественно административных методов хозяйственного руководства в ущерб экономическим. В период ускоренной индустриализации, подготовки к обороне страны, а затем в годы Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления такими методами достигалась необходимая концентрация ресур-

сов страны на решающих направлениях. Однако, как указывалось на сентябрьском Пленуме ЦК КПСС, административные методы сохранились и в дальнейшем. И это не могло не сказаться на фактическом статусе банка, который при всех условиях орган экономического, а не административного управления. Никто официально не умалял значения банка. Однако это произошло, поскольку подчеркивалась и повышалась роль других органов управления, а управляющая и регулирующая роль банка по существу была сведена к минимуму.

Реформа, которая знаменует поворот к экономическим методам управления, коренным образом меняет дело — роль банка повышается. По-видимому, уровень заработной платы работников банка должен быть приведен в соответствие с новыми, более обширными по объему и более сложными задачами, которые им предстоит решать.

Может показаться, что это было бы прямым увеличением расходов государства. В действительности это не так. Хозрасчетная организация банка позволяет с достаточной точностью измерить экономический эффект совершенствования его деятельности и установить заработную плату в соотношении с этим эффектом.

Назрела необходимость существенно расширить подготовку финансистов. В то время как вузы нашей страны выпускают ежегодно инженеров в четыре раза больше, чем в США, выпуск экономистов у нас в два раза меньше, чем в США. В свете задач, поставленных экономической реформой, подготовка экономистов, и в частности финансистов, с высшим образованием должна быть резко увеличена.

Разумеется, это потребует определенных затрат. Но они окупятся сторицей, ибо, как показывает опыт зарубежных стран, нет более эффективных затрат, чем затраты на повышение эффективности управления.

6

С помощью банков могут быть наилучшим образом решены многие проблемы, которые возникают в связи с экономической реформой.

Взять, например, проблему выпуска продукции, не предусмотренной централизованным заданием. Доля ее будет расти по мере того, как материально-техническое снабжение будет заменяться оптовой торговлей средствами производства. В этих условиях банк благодаря своей осведомленности в хозяйственной конъюнктуре, маневрируя кредитом, может экономически стимулировать выпуск продукции, действительно нужной обществу.

На сессии Верховного Совета СССР в декабре 1966 года отмечался значительный рост запасов не пользующейся спросом готовой продукции на предприятиях машиностроения, пищевой и легкой промышленности. Было указано, что Госбанк должен строже применять в подобных случаях меры кредитного воздействия с тем, чтобы исключить возможность перевыполнения плана выпуска продукции ограниченного спроса.

Как известно, некоторые предприятия из переведенных на новую систему планирования и экономического стимулирования не получают своевременно оплату за реализуемую продукцию. Серьезные затруднения испытывает ряд предприятий, работающих по-новому, от нарушения предприятиями-смежниками договоров на поставку сырья, материалов, оборудования. Банк, зная производственно-финансовое положение предприятий, которые он обслуживает, с помощью имеющихся в его распоряжении экономических средств мог бы и здесь существенно исправить положение.

Большими потенциальными возможностями обладает банк в области не только текущего регулирования производства, но и капитальных вложений. Повышение экономической эффективности капитальных вложений и действующих основных фондов во многом зависит от того, как сможет каждое предприятие использовать свой фонд развития производства. В новых условиях хозяйствования размер этого фонда в целом по стране весьма велик. В 1966 году доля

собственных средств в финансировании капитальных вложений у предприятий, переведенных на новую систему планирования и экономического стимулирования, возросла почти в два раза.

За счет этих средств, при разумном их использовании, можно модернизировать оборудование, внедрить новую технику и передовую технологию на многих и многих предприятиях. Вместе с тем не создано еще надежного экономического заслона от распыления средств и недостаточно эффективного их использования. Дело в том, что для строительства сколько-нибудь крупного объекта, приобретения технически совершенного оборудования нужна концентрация определенных, подчас немалых ресурсов. Нужно время, чтобы предприятие накопило такие ресурсы. Между тем предприятие мало заинтересовано в том, чтобы ждать, пока у него образуются необходимые средства. Весьма часто поэтому предприятия начинают модернизацию или даже новое строительство при явно недостаточных ресурсах. В результате работы затягиваются на длительный период, средства, столь необходимые хозяйству, заморожены. Уже в настоящее время в строительстве находятся одновременно четверть миллиона (!) объектов, и незавершенное строительство составляет свыше двух третей годового объема капитальных вложений.

Нужно устранить не только распыление средств, но также все другие причины неэффективного их использования. Необходимо, чтобы эффективность вложений была, как правило, не ниже средней эффективности, которая существует в народном хозяйстве в настоящее время, по нашим расчетам — пятнадцать копеек годовой прибыли на один рубль вложений. Если нормальная эффективность и будет ниже — это приведет к худшему использованию производственных фондов. Проблема эффективного использования собственных средств должна быть кардинальным образом решена не только в отношении промышленных предприятий, но и для совхозов, которые переводятся на полный хозрасчет, и для колхозов, капитальные вложения которых превышают ныне пять миллиардов в год.

Наиболее эффективное использование средств в данном случае может быть с успехом обеспечено банком, который концентрирует все свободные средства предприятий и осведомлен о наиболее перспективных направлениях вложений. Разумеется, банк при этом должен был бы платить надлежащий процент по вкладам предприятий. Предприятиям и колхозам было бы выгоднее получать гарантированный доход по вкладам, чем надолго замораживать средства в незавершенных объектах или использовать их на проведение малоэффективных мероприятий. В то же время банк смог бы предоставлять больше ссуд тем предприятиям, которые в состоянии использовать их наиболее эффективно. Как это предусмотрено, процент по банковским ссудам должен быть существенно повышен и увязан с платой за производственные фонды. Для предприятий, перешедших на новую систему, плата за кредит устанавливается в размере шести процентов, то есть повышается в три раза.

В настоящее время Госбанку и Стройбанку, их местным конторам и отделениям предоставлено право в более широких, чем прежде, пределах решать вопрос о целесообразности кредитования тех или иных мероприятий. Если раньше роль банка ограничивалась преимущественно простым распределением средств по предписанию свыше, то теперь на банк в известной мере возлагается самая важная хозяйственная функция — функция службы эффективности.

Существенный интерес представляет деятельность банков в области капитальных вложений в Чехословакии и некоторых других социалистических странах. Здесь банк, выступая как представитель заказчика-государства, всесторонне рассматривает представленные предприятием проекты капитального строительства и кредитует лишь такие, которые обеспечивают эффект не ниже нормативного. Предоставляя долгосрочные ссуды, банк непосредственно контролирует сроки и качество работ, ввод в действие и пуск предприятий на полную мощность. В Югославии банк организует конкурс проектов на строительство предприятий той или иной отрасли хозяйства, а также определяет подрядчика для реализации лучшего проекта. Аналогичный порядок в области капитального

строительства предполагается ввести в Болгарии. Следует отметить, что для привлечения средств банк Югославии выплачивает по вкладам предприятий семь процентов годовых.

7

Располагая наиболее весомым в новых условиях хозяйствования средством воздействия на экономику — денежными средствами, — банк может сыграть видную роль в ее совершенствовании. «Кто платит деньги, тот заказывает музыку». Но распорядиться деньгами нужно умеючи, с толком, ибо «какова музыка — таковы танцы».

Управление хозяйством — сложнейшая сфера, здесь нельзя допускать дилетантского подхода. Поэтому использование банков для экономического управления должно с самого начала осуществляться на основе современной науки и техники. Это означает, во-первых, что экономической наукой (с широким использованием математики и кибернетики) должны быть разработаны наиболее эффективные методы управления хозяйством и, во-вторых, что в банках должна в полном объеме применяться электронная вычислительная техника. Без нее здесь попросту дальше не обойтись. В банке говорят, что при выборе методов расчетов и кредитования предприятий критерием вследствие трудоемкости работы служит не «лучше», а «проще». Что это означает? Потерю важнейшей экономической информации, замедление расчетов, снижение эффективности кредита. Вот уж простота хуже воровства в буквальном смысле.

Электронные вычислительные машины (ЭВМ) — отличное средство переработки финансовой и банковской информации применительно к задачам управления народным хозяйством. Межотраслевые и межрайонные балансы, оптимальное программирование и другие новейшие экономико-математические методы открывают здесь самые широкие возможности. Об этом свидетельствует как зарубежный опыт, так и исследования, начатые в нашей стране, в частности в институтах Электронных управляющих машин и Теоретической и экспериментальной физики. Экономисты и математики этих институтов разработали и опробовали на ЭВМ методы многовариантных расчетов сбалансированного плана и бюджета на основе информации, которую можно будет в дальнейшем извлечь из банковских документов. Банковская деятельность — наиболее массовая область применения электронных вычислительных машин в США и некоторых других промышленно развитых капиталистических странах.

Особенно эффективным нам представляется создание автоматизированной системы оптимального управления финансово-банковской деятельностью для руководства народным хозяйством экономическими методами. В настоящее время подобные системы разрабатываются в различных отраслях, проектируется автоматизация вычислительной работы и в Госбанке; но речь при этом идет об автоматизации работ, которые банк проводит уже в настоящее время, предстоящее же изменение характера деятельности банка, обусловленное экономической реформой, не учитывается.

В этой автоматизированной системе оптимального управления должны органически сочетаться экономические и математические методы с современными техническими средствами их реализации. Электронная вычислительная техника, новейшие средства связи, запись магнитными чернилами — все это должно найти самое широкое применение в банках. Нет более подготовленной к этому области, нежели финансово-банковская деятельность. В высшей степени централизованная и осуществляемая по инструкциям, она всего легче поддается формализации, а стало быть, математизации и воспроизведению на электронных машинах.

Напомним снова, что действующие инструкции, которые подвели «примитивного меркантилиста», описанного в статье Аграновского, должны быть заменены при этом инструкциями, обеспечивающими руководство хозяйством экономическими методами.

8

Использовать банки для экономического регулирования и управления можно лишь при определенной совокупности условий, в первую очередь при ценах, отвечающих общественным издержкам производства, и деньгах, выполняющих роль подлинно всеобщего эквивалента во всех сферах хозяйства. Что означают эти условия и почему они важны?

Экономические методы предполагают осуществление действительного, а не формального хозяйственного расчета. Хозрасчет требует постоянного сопоставления затрат с результатами производства. Результаты и затраты производства выражаются в ценах. Однако цены, установленные в отрыве от общественных издержек, искажают показатели затрат на производство и показатели производственных результатов и делают весьма затруднительным их сопоставление. Элементарное требование, предъявляемое к любому измерителю, — абсолютное тождество в различных применениях. Поскольку выражением стоимости служат цены, которые исчисляются в денежных единицах — рублях, в соответствии с этим требованием, например, в количестве стали, реализуемой на один рубль, должно содержаться столько же овеществленного труда, сколько в угле на тот же рубль. Только это и обеспечивает пропорциональность цен количеству общественно необходимого труда, которое они должны выражать. С давних времен детям предлагали загадку-шутку: что тяжелее — пуд железа или пуд ваты? Ребенок узнает, что тяжесть того и другого одинаково измерена одним пудом, едва ли не раньше, чем научится писать свое имя. А вот то обстоятельство, что рубли бывают разные и что цены, следовательно, измерены в разных рублях, взрослые экономисты подчас упускают из виду.

Проводимый в настоящее время пересмотр цен на промышленную продукцию, введение новых, более совершенных оптовых цен значительно сокращает различие в уровнях цен, но не ликвидирует его до конца. Поэтому банку придется и в дальнейшем оперировать рублями, которые на деле не равны друг другу. Зато от рублей, циркулирующих в безналичном обороте, банк и хозяйственная практика отличают рубли наличные. Деньги, находящиеся в кассе предприятия, отличаются от денег на его расчетном счете. На деньги из кассы можно купить товары, которые продаются в розничной сети, уплатить за квартиру и проезд на пассажирском транспорте и т. д. За деньги на расчетном счете можно приобрести товары, подлежащие продаже по безналичному расчету — в основном, средства производства. Средний уровень новых цен на средства производства, по нашим подсчетам, в 1,2 раза ниже, чем на товары и услуги для населения. Следовательно, безналичные деньги, на которые покупаются средства производства, полновеснее наличных в 1,2 раза. Казалось бы, и беречь их надо больше, во всяком случае не меньше наличных. В действительности это не так.

Многие читатели, видимо, знают, сколь непочтительно относятся иные хозяйственники к «безналичным» деньгам. Вместо одной отвертки, которую можно приобрести за наличные деньги в розничной торговле, подчас покупается целая сотня их по безналичному расчету; вместо чернильницы-непроливайки за грифель приобретается чернильно-письменный агрегат за десятки рублей. Эти факты общеизвестны, но даже не в них главное зло. Главное — в той легкости, с которой во многих случаях предоставляются средства, с уверенностью, будто бы разбазаривание денег в безналичной форме — простое перекаldывание из одного государственного кармана в другой. В действительности же сверхнормативные запасы материалов (создаваемые на безналичные деньги) нарушают баланс денежных доходов и расходов населения ничуть не меньше, чем выплата заработной платы, не обеспеченной товарами. Все равно ведь был оплачен труд рабочих, которые эти материалы произвели, и рабочих, которые добыли сырье для производства материалов, и т. д. И если не заботиться о безналичных деньгах так же, как о наличных, то сверхнормативные материалы будут лежать на скла-

де, и товары, которые можно было бы купить на выплаченную заработную плату, так и не будут из них вовремя изготовлены.

Возможно, что «безналичные деньги» принято беречь меньше, чем наличные, еще и потому, что прежде на них покупали в основном фондируемую и централизованно планируемую продукцию. В период, когда все у нас было в дефиците, подобный аргумент имел под собой почву. И правда, всякий знает (пример из другой области), что если, скажем, сахар отпускается по карточкам, то, чтобы его купить, мало иметь деньги, надо иметь еще и карточку. Но теперь хозяйству наше богаче, номенклатура фондируемой и централизованно планируемой продукции сокращается, а по мере проведения экономической реформы будет сокращаться быстрее, и поэтому хотя далеко не все, но не так уж мало можно купить и без фондов, на одни лишь безналичные деньги.

В известной мере это начали учитывать. Напомним, что в течение нескольких лет при выдаче Госбанком ссуд на новую технику действовало правило, согласно которому кредит выдавался, если заработная плата составляла не более сорока процентов затрат: ныне это правило отменено. Пока это лишь начало на пути к отмиранию двух видов денег. Но для успешного проведения хозяйственной реформы весь путь к одному виду денег надо пройти до конца. Только в этом случае банковский кредит станет достаточно полновесным. Предприятие или колхоз, получив денежную ссуду, сможет приобрести все необходимое ему оборудование, материалы, детали. Одной лишь ссуды в ряде случаев пока еще недостаточно: требуются фонды, лимиты, наряды.

Хозяйственной практике давно известна — и наукой возведена в непреложную закономерность — та простая истина, что карточки и лимиты — вещь на редкость неэкономичная, приводящая к серьезному ущербу для общества. Ведь если товары отпускают по карточкам или по лимитам, тут уж выбора нет: бери не то, что нужно и не сколько нужно, а то, что дают и сколько дают. Вот и берут больше, чем требуется. За примерами ходить недалеко. Как известно, предприятия и организации могут покупать в розничной торговле товары в пределах определенного лимита. Установлен такой порядок из лучших побуждений — сохранить товарный фонд для покрытия доходов населения. Не так давно в порядке эксперимента этот лимит был отменен в трех союзных республиках — Эстонии, Грузии и Таджикистане. И что же? Покупки организаций в результате не только не возросли, но даже уменьшились.

То, что деньги еще далеко не в полной мере служат у нас всеобщим эквивалентом, убедительно показал журналист Л. Лиходеев. В экономическом фельетоне «Некупленное железо» в «Литературной газете» от 1 февраля 1967 года он приводит известную в политэкономии развернутую форму стоимости (дальнюю предшественницу всеобщей денежной формы стоимости). С ней сталкивается председатель колхоза. Пытаясь купить отходы железа, он выясняет, что за деньги этого сделать нельзя, но что 2 т. железа = мешку муки = 20 кг. меда = 2 бидонам растительного масла = 30 курам = 10 уткам = 400 яйцам = 3 мешкам пшеницы = 10 кг. мяса. А железо в результате так и остается некупленным...

Надо ли доказывать, сколь затрудняет деятельность колхозов, предприятий, организаций такая примитивная, неразвитая форма стоимости, сколь противоречит духу и букве экономической реформы подобная натурализация обмена? Надо ли доказывать, как важно иметь деньги, выполняющие присущую им роль всеобщего эквивалента для действенного функционирования всего экономического и в особенности банковского механизма?

Таким образом, объективной тенденцией развития нашей экономики, требованием времени является дальнейшее приближение цен к затратам общественно необходимого труда и превращение денег в действительно всеобщий эквивалент, что создаст наилучшие условия для использования банка в эффективном управлении хозяйством.

Правда, процесс этот постепенный. Но уже в настоящее время банки могли бы играть немалую роль в управлении хозяйством. Как указывалось в Заявлении

Советского правительства, «в связи с проведением экономической реформы, расширением хозяйственной самостоятельности предприятий должен быть изменен характер работы банков и некоторых органов финансовой системы. Финансовые и кредитные органы должны не только осуществлять финансовый контроль, но и активно воздействовать на улучшение коммерческой деятельности промышленных и торговых предприятий».

Читатель, который систематически следит за выступлениями газет на экономические темы, не может не заметить любопытной тенденции. До хозяйственной реформы первенство по числу предъявляемых претензий прочно удерживал Госплан. После перехода к реформе на это первенство покушается Госбанк. Не надо быть пророком, чтобы предвидеть нарастание указанной тенденции. И это понятно. По мере того как усиливается роль экономических методов хозяйствования, все большее значение приобретает кредитная, расчетная и прочая деятельность банка.

Но перестройка работы банка далеко отстала от требований реформы. Многие сложные вопросы деятельности банка в новых условиях не решены, и прежде всего потому, что не создано соответствующего научного задела. Но кому его создавать? Госплан СССР располагает четырьмя научно-исследовательскими экономическими институтами, имеют свои экономические институты также госпланы ряда союзных республик. В то же время у Министерства финансов самый малочисленный институт из всех министерств. Госбанк вообще никакого научно-исследовательского института не имеет, хотя важность и сложность проблем, которые поставила перед ним экономическая реформа, настоятельно диктует необходимость создания такого научного учреждения.

Вопросам деятельности банка в новых условиях не уделяет должного внимания и Академия наук СССР. При Отделении экономических наук Академии есть немало научных советов — по проблемам ценообразования, эффективности капитальных вложений, материальному стимулированию и другим. Но совета, который занимался бы проблемой финансов и банка, нет.

Для того, чтобы банки могли с успехом выполнять функции управления хозяйством, институту, Совету при АН СССР, которые мы надеемся, будут созданы, и прежде всего самому Госбанку предстоит проделать большую подготовительную работу, решить целый ряд научных и методологических проблем. Сюда относятся в первую очередь разработка экономических и математических методов и алгоритмов формирования банковской информации применительно к задачам управления хозяйством, определение наилучших форм и видов кредитования и расчетов, оптимальных размеров банковского процента и сроков ссуд, создание методики изучения банком хозяйственной конъюнктуры.

9

После всего сказанного следует в последний раз вернуться к финансисту, упомянутому в начале статьи, к его дальнейшей судьбе.

В настоящее время финансистов у нас принято считать консерваторами. Один журналист вкладывал в это слово двойкий смысл: общий и буквальный. имея в виду их страсть «консервировать» деньги. Из глубины веков подобным консерваторам в квадрате шлют поклон индийские накопители сокровищ, британские меркантилисты, французские гобсеки и доморощенные плюшкины.

Нет, не подумайте, мы не ратуем за то, чтобы транжирить государственные денежки. Экономист должен быть расчетливым и осмотрительным. Мы вполне разделяем взгляды противников прожектерства. Прав Андрей Платонов, который в «Городе Градове» иронизировал над проектом «превратить сухую территорию губернии в море, а хлебопашцев в рыбаков». Прав и Фазиль Искандер, заключивший «Созвездие Козлотура» горестными размышлениями о странном типе новатора, который, затеяв разного рода аферы, до конца прогореть не может, ибо финансируется государством. Но является ли лучшим средством от про-

жектерства противоядие, изготовленное по рецепту «тащить и не пущать»? По-видимому, нет.

Между действиями примитивных меркантилистов и прожектеров — дистанция огромного размера. И где-то на этой дистанции лежит оптимальная точка — тот гибкий и целесообразный образ действий, который требуется от современного финансиста. Эту заветную точку не так-то легко найти. Но стремиться к этому надо.

И в этих поисках и стремлениях, кроме чисто экономических, возникают многие социологические и нравственные проблемы. О деньгах, о банках и других подобных заведениях у большинства из нас укоренилось представление как о чем-то чуть ли не постыдном, во всяком случае чужеродном социалистическому хозяйству. В недалеком прошлом у нас относились точно так же и к закону стоимости, к прибыли. Но весь вопрос в том, кому служат эти категории и связанные с их существованием учреждения. Мы уже привыкли к понятию «крупный хозяйственник». Ничем не хуже понятие «крупный финансист» или даже, если угодно, «банкир»! В годы нэпа, когда презрение к «торгашам» достигало кульминационной точки, В. И. Ленин призывал коммунистов — строителей нового общества: «Учитесь торговать!» С не меньшим основанием в нынешнее время нашим финансистам нужно сказать: «Учитесь управлять хозяйством!»

Надо привить уважение к профессии финансиста. Решение этой чисто этической проблемы принесет немалую экономическую пользу. Не секрет, что в финансовые институты, которых, как было отмечено, к тому же явно недостаточно, поступают пока гораздо менее подготовленные и менее способные абитуриенты, чем в другие вузы. Совершенно очевидно, что общественное мнение в силах это изменить. Новое отношение к финансам и банкам позволит привлечь к этому виду труда знающих и инициативных людей, способных поднять деятельность финансовых учреждений на уровень новых задач, поставленных экономической реформой.



ВЛ. КАНТОРОВИЧ

★

СОЦИОЛОГИЯ И ЛИТЕРАТУРА

Интерес к конкретным социологическим исследованиям охватил в последние годы огромный круг людей. Литераторы отнюдь не представляют исключения. И это понятно: социология — родственная нам писателям, наука.

Беда, однако, в том, что широкому читателю доступна большей частью лишь та «облегченная» социологическая информация, которую сейчас в изобилии печатают газеты и журналы. Сами ученые-социологи не устают призывать к сдержанности, к противостоянию «моде на социологию», осуждают «анкетоманию». Видные социологи, собравшиеся в мае 1966 года за «круглым столом» «Литературной газеты», выступали против наблюдаемого пренебрежения к строго научным методам. «Социологией занимаются практики из милиции, суда, школы, — говорил ленинградец В. Ядов. — Многие из них — энтузиасты, но не подготовлены к тому, чтобы вести исследования на научном уровне. Беда, если их выводы примут на веру». Тот же мотив прозвучал в речи новосибирца В. Шубкина: «Сегодня мы, социологи, вроде можем даже кибернетиков переплюнуть в смысле популярности. Есть, однако, опасность: каждый человек, способный задавать вопросы, готов считать себя социологом... Пора поднять вопрос о гласности исследований, чтобы мы могли судить о методах, о репрезентативности материалов». Б. Грушин, возглавлявший в то время институт общественного мнения при редакции «Комсомольской правды», высказался еще резче: «Вокруг социологии халтурщики крутятся со страшной силой».

Между тем подлинно научные социологические исследования печатаются незначительными тиражами, их расхватывают в первые же дни после появления в свет. Правда, солидная социологическая информация встречается, например, в «Вопросах философии», но круг читателей этого журнала тоже ограниченный.

Все это создает дополнительные трудности для литератора, если он хочет выработать для себя обоснованные критерии и сразу же отвергнуть недоброкачественные сенсации, нашпигованные податливыми цифирками, подтверждающими (а иногда с той же услужливостью опровергающими) распространенные стереотипы. Положение литератора (как, впрочем, и самих ученых) затруднено еще ограниченностью и несовершенством публикуемых статистических данных.

В этой статье я хочу познакомить читателя с итогами некоторых конкретных социологических исследований, а также высказать суждение о потенциальных взаимосвязях социологии и социологии, науки и литературы. Постараюсь хотя бы пунктиром обозначить стыки между этими двумя сферами деятельности, близкими друг к другу по цели — исследованию общества, а кое в чем и по методам.

КРАТКО О НЕКОТОРЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОСЫЛКАХ

Общие положения науки об обществе сформулированы Марксом и Энгельсом в учении об историческом материализме --- этой материалистической философии истории. Одна из важнейших прогрессивнейших ее особенностей — это пристальное внимание к изучению объективных закономерностей каждой общественной формации. Но, как известно, на протяжении длительного периода объективные закономерности развивающейся советской системы менее всего подвергались научному исследованию. ЦК КПСС в своем августовском постановлении о дальнейшем развитии общественных наук отметил: «До последнего времени не были в достаточной мере развернуты конкретные социальные исследования, а их научно-методическая основа остается весьма эмпиричной. Многие работы не содержат новых выводов, обобщений и рекомендаций, имеющих серьезное теоретическое и практическое значение». В постановлении ЦК отмечалось также и то, что изучению проблем социальной психологии коллектива и личности, общества и государства, развития социалистической демократии в условиях коммунистического строительства уделялось недостаточное внимание.

Сегодня советская социология переживает бурный период возрождения, развития. Идет процесс накопления информации о структуре нашего общества, отрабатывается методология, анализируются отдельные процессы и проявляющиеся через них закономерности. Пожалуй, не нужно удивляться, что социологическая теория продолжает пока отставать, но, несомненно, мы еще станем свидетелями формирования социологии как науки, опирающейся на выводы исторического материализма, политической экономии, социальной психологии и др. Но это произойдет, по-видимому, не раньше, чем социология как прикладная дисциплина окрепнет и создаст доброкачественные модели различных процессов, происходящих в стране.

«Конкретные социальные исследования, — декларируют ученые в своем коллективном труде «Социология в СССР», — важнейший метод познания социальной действительности, метод, необходимый для практической деятельности партии, государства, предприятий, учреждений и общественных организаций. Без этих исследований (позволяющих еще в зародыше подмечать возникновение новых, прогрессивных или тормозящих, тенденций. — В. К.) невозможно научно руководить общественным развитием».

Надо бы сразу оговориться, что нынешние социологи имеют предшественников. Россия издавна славилась высокой культурой подобного типа исследований. Земская статистика, в которой немало потрудились и марксисты, прославилась, например, смелым применением выборочного метода.

Конкретные исследования велись также по материалам городских управ, акционерных обществ, фабричных инспекторов, бирж, первых профсоюзов, обществ трезвости. Не кто иной, как В. И. Ленин широко пользовался подобными публикациями в своем труде о развитии капитализма в России.

В первые два десятилетия советской власти появились многочисленные социологические исследования, начиная с книжки А. Тодорского «Год с винтовкой и плугом», которую Ленин аттестовал как «маленькую картинку для выяснения больших вопросов». Публиковались работы, характеризовавшие экономический быт разных категорий населения, не исключая ремесленников, отходников, даже частных (во время нэпа). Ежегодно закладывались (и анализировались) десятки тысяч посемейных записей доходов и расходов разных групп населения, а также бюджетов времени (С. Г. Струмилин). Социологи того времени могли опираться на объективные по своему происхождению данные, благо статистика была широкодоступной и исследователям не приходилось запасаться визами и допусками к статистическим материалам, да и то лишь с правом служебного пользования. Ученым тех лет не были чужды и так называемые субъективные методы. Они обращались к анкете, к интервью, о чем свидетельствует, скажем, брошюра «О половом вопросе», опирающаяся на анонимную анкету среди студентов «Свердловки». Уни-

кальная брошюра сохранила неповторимые приметы времени и представляет интерес и поныне.

Словом, у нынешних социологических исследований есть богатая русская и советская предыстория. Конечно, преемственность, столь важная в науке, была искусственно прервана во второй половине тридцатых годов. Но этот факт не дает иным молодым социологам права выступать в неблагоприятной роли «Иванов, не помнящих родства», и утверждать, что они возводят здание своих исследований на девственной почве.

* * *

Социолог изучает всю совокупность социальных отношений, определяющих поведение социальных групп, — не только производственные, но и другие общественные отношения и связи, не только классы, но и группы внутри них, не только объективные, но и субъективные явления и процессы¹.

Неправильно, не по-марксистски сводить все исторические события и процессы непосредственно к одним только производственным отношениям, игнорируя влияние вторичных факторов, «коммуникаций», формирующих сознание и волю людей. Недаром именно социологи постоянно напоминают нам слова из письма Энгельса к И. Блоху: «Маркс и я отчасти сами виноваты в том, что молодежь иногда придает больше значения экономической стороне, чем это следует. Нам приходилось, возражая нашим противникам, подчеркивать главный принцип, который они отрицали, и не всегда находилось достаточно времени, места и поводов отдавать должное и остальным моментам, участвующим во взаимодействии». Социологический подход к процессам, происходящим в любом обществе, предполагает всесторонний анализ всех факторов и взаимодействий.

Писателям ближе всего сфера духовной жизни, и мы, конечно, знаем, что человеческое сознание — это не только прямое, зеркальное отражение бытия — материального, экономического. «Надстройка» лишь в конечном счете определяется состоянием и развитием «базы» — производственными отношениями; влияние опосредствуется через многообразные связи и, значит, не обязательно одинаково в разных группах одного класса, объединенного единым характером собственности на средства производства.

Социальное значение понятия «коммуникаций» восходит к Фейербаху: «Действительное Я есть только такое Я, которому противостоит Ты и которое, в свою очередь, становится Ты, т. е. объектом для другого Я». Маркс шутливо добавил, что человек рождается на свет божий не фихтеанским философом «Я есмь я», и человек «сначала смотрится, как в зеркало, в другого человека. Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к самому себе как к человеку». В надстройке естественно происходят сложные процессы, раскрытие которых важно для самопознания общества.

Когда же связь между надстройкой и базой мыслится только прямой и одно-сторонней. без обратных связей, рождается представление, что социалистическому обществу противоречия вообще чужды. В литературе это обернулось «теорией бесконфликтности». У этой теории, порожденной духом приспособленчества, век был короткий. Но до сих пор в какой-то части литературы нет ясного понимания сущности конфликтов между общественным бытием (социалистическим, ибо 99,9 процента средств производства у нас обобществлено) и остальным сознанием еще многочисленных групп и индивидов. Это убедительно показал в № 11 «Вопросов литературы» за 1965 год Ю. Кузьменко, подвергший социологической критике романы О. Зив, В. Очеретина и А. Былиннова. Основные конфликты в этих произведениях сведены к субъективному «недопониманию» персонажей. Значит,

¹ Здесь и в ряде других мест статьи я часто пользуюсь материалами и высказываниями новосибирских социологов А. Аганбегяна, В. Шубкина и других в их обстоятельной коллективной работе, вышедшей в конце 1966 года, «Количественные методы в социологии».

стоит усилить разъяснительную работу — и все противоречия будут устранены! Романисты, в сущности, остаются во власти тех самых принципов, которые питают волонтаристскую практику в планировании и в управлении. Но что такое волонтаризм в философском плане? Одно из течений идеализма.

Художественной литературе, за исключением, пожалуй, развлекательных, детективных и научно-познавательных жанров, присуще жадное стремление раскрыть жизнь в ее многообразии, проникнуть в глубины человеческой психики, вскрыть социальную психологию через множество представительных образов. Тут цели литературы и социологии как бы накладываются одна на другую: ни писатели, ни социологи не довольствуются «усередненными» обобщениями, оторванными от жизни абстракциями. Они отвергают возможность представить все характерное для общественного класса в одном-единственном «ведущем» типе. Именно поэтому внимание ученых (как и литераторов) направлено на исследование сложившихся внутри классов формальных и неформальных слоев, групп и так далее. Об этом в «Проблемах мира и социализма» писал Зденек Млынарж, обосновывая чехословацкую экономическую реформу. После того как в стране вопрос «кто кого?» был решен и социализм утвердился, аргументирует автор, политик-экономист уже не удовлетворяется прежними обобщенными характеристиками пролетария, крестьянина, интеллигента. Он хочет знать о них все: быт, интересы, психологию конкретных групп населения, находящихся в рамках класса. И тогда советчиком его становится социолог.

Не случайно и наши отечественные ученые утверждают, что социологические исследования тесно связаны с наукой об управлении (В. Шубкин).

Несколько слов об отношении к зарубежной социологии.

Огульным отрицанием буржуазной науки, а вовсе не серьезной полемикой с идеалистической философией истории, с новейшими модными экономическими и социальными теориями, наконец с методологическими приемами исследований делу не поможешь.

Это, конечно, правда, что многие западные социологи выполняют заказ хозяев, обслуживают предпринимателей, приспособляются к существующим социальным структурам. Но далеко не все конкретные исследования на Западе проведены апологетами капитализма. Такие крупные ученые, как Фром, Адорно, Милс, Баланье и другие, известны критикой капитализма и даже пиететом к наследию Маркса (в частности, к его трактовке «теории отчуждения»). Объявлять всех их апологетами капитализма и агентами империализма так же нелепо, как ставить на одну доску с авторами произведений типа «Бонд — агент 007» Кафку, Хемингуэя, Фолкнера, Бёля... Право, одно лишь отрицание «буржуазной социологии», когда речь идет о научных методах конкретных социологических исследований, кажутся пережитками давно пройденного и неплодотворного этапа, когда, например, теория относительности Эйнштейна отвергалась некоторыми нашими философами (двадцатые годы), теперь прославляющими Эйнштейна; когда начисто отмахивались от кибернетики, а классическую генетику объявляли вне закона. Внушаемое некоторыми авторами статей о социологии презрение ко всей обширной научно-обработанной информации, которую содержит прогрессивная зарубежная социология, приносит вред как раз нашей советской науке. Не правы ли наши «конкретные социологи», когда утверждают, что «подлинная борьба с буржуазной идеологией начинается там, где марксист сам ведет исследовательскую работу, внимательно следит за находками своих зарубежных соперников и дает открытиям более широкое, более правильное марксистское толкование»? Это символ веры образованнейших из наших молодых ученых, занимающихся конкретными социологическими исследованиями. Так же и мы, писатели, убеждены в том, что советская литература участвует в мировом литературном процессе двусторонне: осваивает лучшие достижения классики и современности, ведет борьбу за социализм и оказывает влияние на национальные литературы и Запада и Востока.

КОНКРЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

(Некоторые стереотипы под прицельным огнем социологов)

Журнальная статья не вместила бы даже простого перечня осуществленных у нас социологических исследований. Поэтому ограничусь лишь несколькими аспектами темы «Рабочий класс СССР». Это понятие охватывает также и техническую интеллигенцию.

По мере технического прогресса граница, отделяющая умственный труд от физического, становится все более условной. Социологи осуществили, например, сравнительный анализ содержания труда ручников-станочников и наладчиков, которые заменили их после установления автоматической линии. Ручник, работая на станке, в течение 79 процентов своего времени «воздействует на предмет труда», а 17,4 процента времени сочетает физическую работу с умственной (контроль и т. д.). У пришедшего ему на смену наладчика (один вместо восьми), напротив: 83 процента времени занято умственной работой, 16 процентов — работой, которая сочетает умственные и физические функции. Мы знаем целые отрасли промышленности (электростанции, химия), где рабочий по многочисленным приборам только наблюдает за ходом скрытого от глаз производственного процесса. Действуя строго по инструкции, он регулирует его ход с помощью приборов.

Все-таки замена физического труда умственным происходит вовсе не так стремительно, как бы хотелось и как подчас изображают литераторы. В одном производстве я встретил эффектный образ: сближение умственного и физического труда протекает будто бы столь бурными темпами, что напоминает свечу, зажженную с обоих концов. К сожалению, это все та же подмена сущего должным или желаемым. Процесс сближения физического и умственного труда, конечно, неудержимо развивается. Однако в то же время действуют и противоположные тенденции. Например, теперь на машиностроительных заводах мы встречаем куда реже, чем раньше, слесаря или токаря-универсала, подлинного творца метизов. Его все чаще подменяет оператор на полуавтомате, выполняющий всего несколько операций, повторяемых весь рабочий день. Продолжается внедрение конвейеров с присущими им крайними формами разделения труда. Наконец в ближайшие пять лет в рабочий строй вступит многочисленное поколение молодых людей, родившихся в первом послевоенном семилетии (так называемое демографическое «эхо войны»), и страна должна обеспечить их рабочими местами.

Отсюда следует, что ни социолог, ни литератор, обращаясь к теме рабочего класса, не смеют ограничиваться выявлением только одной главной тенденции и игнорировать все реально существующие группы, из которых состоит рабочий класс, в частности, и обширную категорию занятых физическим трудом, особенно однообразным именно при работе на станках. Для молодых людей, тем более со средним образованием, эти виды труда наиболее тягостны. В этом коренится один из факторов текучести рабочей силы и даже миграции населения.

Факторы подобного рода, как и процессы, которые они порождают, оказываются в фокусе зрения социологов. Сделанные ими наблюдения разрушают кое-какие стереотипы, нашедшие себе убежище и в литературных произведениях так называемого массового потока.

Один ошеломляющий статистический итог подвели демографы. Государство затрачивает немалые средства, направляя переселенцев из так называемых трудоизбыточных районов (Средняя Азия, Кавказ, Кубань, Молдавия) на Восток, где производительные силы развиваются особенно быстро и существуют нетронутые массивы земель. Однако каков результат сельской миграции за последние пять лет? С Урала и из Сибири выбыло в конечном счете около полумиллиона жителей, а приток сельского населения отмечен как раз в трудоизбыточных районах: на Северном Кавказе — 470 тысяч человек, в Средней Азии — 319 тысяч чело-

век, в Закавказье и Молдавии — 56 тысяч человек. Вообще, несмотря на организованное переселение в Сибирь с ее новыми очагами индустрии, все население этой огромной территории не выросло за двадцатилетие (1939—1959 годы), а за последнее десятилетие (1956—1965) даже уменьшилось! Только через Оргнабор и с путевками комсомола мы направили в Сибирь великое множество работников, преимущественно молодых людей. Но оказывается, что из четырех горожан, выезжавших на целину, комсомольские стройки и т. п., трое увольнялись и уезжали в течение первого года. Другой пример: из числа десятков тысяч завербованных на стройки Иркутской области осели в области только 10 процентов. Демограф В. Переведенцев считает, что «отток» населения в трудоизбыточные районы на три четверти обуславливается «стихийными» причинами. Вот важнейшие из них: к концу пятидесятих годов все показатели уровня жизни в Западной Сибири, куда планировался приток населения, были ниже среднего уровня по РСФСР и, конечно же, ниже, чем на Кавказе и в Молдавии, где даже климат позволяет расходовать меньше средств на одежду и питание, где легче перебиться с временным жильем, можно покупать дешево овощи и фрукты... Выходит, лучше бы потратить часть средств, расходуемых на плановые переброски рабочих к востоку от Урала, — на строительство жилья в Сибири, на детские ясли, на восстановление «льгот за удаленность» и т. п. В этом случае, можно не сомневаться, много больше старых и новых жителей пустило бы глубокие корни на сибирской земле.

Стоит поразмыслить, но что обходится стране сама по себе необходимая, но недостаточная эффективная миграция населения и текучесть рабочей силы! Подъемные, командировочные, оплата перевозок — это лишь незначительная часть затрат. Народное хозяйство несет потери от «прогула» рабочих, от смены ими специальностей. По данным ленинградского обследования, даже в пределах одного города «летун» при каждой смене рабочего места прогуливает в среднем двадцать пять дней, 45 процентов уволившихся сменяют специальность, а на новой работе выработка снижается: в первый месяц — на 25—30 процентов, во второй — на 10 процентов и в третий — на 3—5 процентов. Социологи определили ущерб, который приносит стихийная текучесть рабочей силы, в три миллиарда рублей в год!

Узнав обо всем этом, и в первую очередь о результатах организованной миграции на Восток, я испытал чувство стыда и горечи за нас, литераторов. Не только газетчики, привыкшие подхватывать очередную кампанию и трубить в свой рог вплоть до отбоя, мы, писатели, тоже тут не без греха. Молодежь, уезжавшая на стройки, на целину, заражала и нас своим энтузиазмом — это-то хорошо! Но много ли мы сделали, чтобы этот энтузиазм не поглек, чтобы не выветрился юный задор, не сломилась бы воля при столкновении с трудностями? Не с теми, которые нагромодила природа на пути новоселов, а с бесхозяйственностью, нерасчетливостью, бесплановостью, пренебрежением к суровой реальности? Издано великое множество произведений, обыгрывавших так и сяк высокое понятие «романтики». Но разве романтика в том, чтобы ребята соглашались жить в палаточных и барачных городках, не имея возможности продолжить учение, создать семью, и притом жить так столько времени, сколько заблагорассудится хозяйственникам? Многие из нас закрывали глаза на все, что препятствовало эффективной миграции на Восток. Конечно, можно назвать и имена литераторов, которые увидели жизнь новоселов со всеми присущими ей противоречиями, — назову хотя бы очерки И. Сельвинского, повесть и очерки Ю. Полухина, корреспонденции старого русского писателя Н. Анова, очерки В. Аграновского, Н. Верховского, Ю. Черниченко. Но в свете данных о миграции на Восток, добытых социологами, видишь, что многочисленные литераторы, писавшие о целине, заняли позицию бездумную, безответственную, если не лицемерную. С горечью сознаю, что и сам отдал в тридцатых годах дань облегченному представлению о судьбах тысячи двухсот комсомольцев — сахалинских целинников. Ошибку эту я исправил лишь в более поздних работах — в «Сезонниках» и «Сахалинских тетрадах».

Внимание социологов привлекли такие вопросы, как социальная и профессиональная ориентация молодых людей, зависимость рабочей квалификации от уровня образования и прочее. Литератор не вправе игнорировать эти исследования ученых, хотя, наверно, не обязан соглашаться с каждой их рекомендацией.

Полное среднее образование получает уже почти половина молодых людей. Но вузы отбирают из числа абитуриентов только четвертую часть, тогда как три четверти закончивших школу пополняют ряды рабочего класса, служащих и колхозного крестьянства. Между тем в сознании абитуриентов (и их родителей) у них только один путь — в вуз и далее, к профессиям интеллигентского труда. Фундаментальным новосибирским обследованием установлено, что 81 процент выпускников намерен продолжать учение, еще 12 процентов — совмещать работу с учебой, и лишь 7 процентов (в большинстве девушки в сельских местностях) заранее решили, что будут работать в сельском хозяйстве. Аналогичные результаты дали обследования в Уфе, Казани, Горьком, Ленинграде. Как будут реагировать эти абитуриенты на поправки, которые жизнь неизбежно внесет в их решения? Подготовлены ли они к этому? 1963 год, когда производили новосибирское обследование, был благоприятен для молодежи. И все же он существенно скорректировал планы школьников: на учебу поступили только 33 процента и еще только 3 процента совместили работу с продолжением учебы.

Недостаток информации и помощи молодым людям в профессиональной ориентации, мода (не без влияния печати) на немногие специальности, — все это привело к тому, что выпускники чуть ли не всей массой готовят себя в электронники, летчики, радиотехники... Эти профессии заведомо не могут принять большого числа окончивших школы. Между тем великое множество профессий, притом как раз нуждающихся в притоке хорошо грамотных рабочих кадров, не пользуется в глазах старшеклассников, как и в всего общества, никаким престижем. Речь идет в первую очередь о сфере обслуживания, включающей и торговлю.

Что ж, за все это литераторы несут свою долю ответственности: ведь мы систематически поддерживали эти устойчивые стереотипы. Не без содействия журналов и писателей термин «обслуживать» стал чуть ли не тем же, что и вымогать «чаевые»... «Торговать» — значит чуть ли не обязательно мошенничать, воровать. Кино, радио, печать, литература, потакая обывательским взглядам, воспитывали юмористически-пренебрежительное отношение к профессиям, связанным со сферой обслуживания, если не к самим профессиям, то чуть ли не к каждому их представителю. Право, среди значительных произведений художественной литературы мне приходит на память лишь одно, в котором главным героем, пользующимся симпатией автора, стал «торговец», — это «Сердце» Ивана Катаева.

Круг профессий, привлекающих абитуриентов, еще больше сужается из-за почти поголовного выбора ими городских условий жизни. Судя по одному из обследований, и один из городских школьников не выразил желания жить и работать в селе, но и среди заканчивающих сельские школы нашлось только 8 процентов учеников, которые не заявляли бы о намерении переехать в город. В работе Г. Шинаковой и А. Янова «Тревоги Смоленщины», опубликованной в «Литературной газете», приведены данные по нескольким школам: город забрал к себе на учебу и работу 65 процентов всех закончивших восьмые классы, 83 процента десятиклассников, 96 процентов одиннадцатиклассников.

Эта последняя оценка не столь уж редкая. Социологи отмечают, что среди части старшеклассников в Ленинграде распространено весьма критическое, граничащее с безразличностью отношение к физическому труду. Об этом, собственно, говорилось еще в Постановлении ЦК партии о реформе школы (1958): «Некоторые из окончивших школы считают для себя оскорбительным заниматься физическим трудом». Эти явления должны были насторожить литераторов, а между тем долгое время подобное отношение к труду приписывалось только «звездным» мальчи-

кам и стилигам, роль и численность которых раздували всяческие ханжи, готовые в любых мальчишеских выходках, модных брючках, современных танцах и т. п. видеть одно развращение нравов. Кстати, социологи с сомнением относятся к зрелому стереотипу — будто именно интеллигентская (более обеспеченная) прослойка поставляет из своей среды большое число молодых людей, вступающих на уголовный путь. Оказывается, высок процент молодых преступников в иной среде — среди недоучившихся в школе, в так называемых неполноценных семьях, затем у родителей, обладающих малым образованием и низкой квалификацией, к тому же страдающих алкоголизмом.

Но вот те же литераторы-«моралисты» словно не замечают, что у нас (и это вовсе не ограничивается кругом служилой интеллигенции) готовы осудить подростка — и тем более его родителей, — который оказывал бы трудовые услуги за плату (студенческие строительные отряды — великолепное исключение). Даже мало зарабатывающие матери-одиночки несут на себе полностью все материальные заботы о детях-школьниках. Между тем (я сам тому свидетель) до революции и студенты и гимназисты даже из семейств, достигших относительно высокого статуса, как правило, зарабатывали «карманные деньги» уроками, репетиторством, работой в земстве. За рубежом подростки из разных слоев общества (конечно, кроме элиты) постоянно подрабатывают, трудясь грузчиками, продавцами, мойщиками посуды, ремонтными рабочими и т. п. Нужно ли удивляться, что, приученные с детства только к умственной работе, к учению, ленинградские школьники, о которых я упоминал (притом дети как рабочих, так и служащих), решают, что они созданы только для интеллигентских профессий и ни для какого иного труда. А когда жизнь заставляет их «идти в рабочие» — это воспринимается как унижение, даже как жизненный крах (подобной ситуацией начинается отличная повесть А. Кузнецова «Продолжение легенды»). Вот так и случается, что молодой человек даже со средними способностями, кое-как закончивший школу, лишенный пока что даже задатков интеллигентного человека, все же не мыслит себе будущего иначе, как на должности интеллигента.

Размышляя об отборе и поощрении талантов, проф. Н. Толстой (физик) объявил в равной степени ложными и вредными оба афоризма: «Всяк сверчок знай свой шесток» и «Каждый солдат носит в своем походном ранце маршальский жезл». Мысль о фатальном предопределении социальной роли каждого вступающего в жизнь молодого гражданина «своим шестком» действительно глубоко враждебна нашему строю. Вспомним первые годы нашего государства! Выдвиженцев из рабочих и крестьян на различные должности; двери университета, настежь раскрытые для всех желающих, даже не окончивших школы. Позже созданы были рабфаки, и государство взяло на себя материальные заботы о студентах. Еще позже на факультетах особого назначения и специальных курсах практикам давали возможность восполнить недостаток научных знаний. Сегодня у нас действует широкая сеть вечернего и заочного обучения без отрыва от производства, вызвавшая восхищение у посетившей нас делегации профсоюзов ФРГ. Правда, эта система обучения не дает школы инженерного мышления, как хорошие дневные вузы, но все-таки открывает перед работниками широкие возможности дальнейшего роста.

Афоризм о доступности «маршальского жезла» приписывают Наполеону, — в свое время он выражал социальный оптимизм третьего сословия («разночинцев») после победы над феодализмом. Чем бы этот лозунг, казалось, неприемлем для нашей эпохи? Молодому человеку повторяют, что перед ним открыты все дороги к профессии, пользующейся в его глазах престижем, а далее — и к высшему в нашем обществе статусу (намеренно пользуюсь ходовыми терминами социологов). Однако проф. Н. Толстой не без основания возражает против такой легкомысленной пропаганды. На деле этот афоризм развенчивает все профессии, кроме сугубо интеллигентских, и дезориентирует молодежь, рисуя чересчур легким трудный выбор «места в жизни».

В перспективе среднее образование охватит всю молодежь. Значит, появится еще больше рабочих со средним образованием. Но существует ли прямая связь между школьным образованием и квалификацией рабочего? Что касается приобретения квалификации в самой школе путем производственного обучения, то опыт показал, что только 11 процентов абитуриентов работают по специальностям, которым обучала школа. «Уроки труда» редко приносят пользу школьникам, отнимают много времени и теперь стали факультативными. Раньше считалось бесспорным, что каждый дополнительный год обучения в школе способствует повышению квалификации будущего рабочего. Давнишние расчеты, сделанные С. Г. Струмилиным, утверждали, что добавочный год школьного образования дает в 2,6 раза большую прибавку квалификации, чем год заводского стажа, и вообще каждый рубль, затраченный на школьное образование, приносит шесть рублей дополнительного народного дохода. С. Г. Струмилин обследовал петроградских станочников в 1918 году, когда образовательный ценз рабочего Путиловского завода в среднем составлял только два с половиной класса. Сегодня же на Ленинградском заводе имени Кирова — почти восемь классов.

Очевидно, поэтому все современные данные социологов опровергают выводы С. Г. Струмилина. В книге ленинградцев А. Здравомыслова и В. Ядова, в статье казанского социолога Н. Аитова, в книге новосибирских авторов «Количественные методы социологии» сформулирован даже противоположный, на первый взгляд парадоксальный, вывод: между средним образованием и квалификацией рабочего существует как бы обратная зависимость. Стаж, приобретаемый сверстниками школьника, пока тот учится в старших классах, дает для рабочей квалификации больше. Образование сверх семилетки словно снижает среднюю рабочую квалификацию. Так, даже в группах токарей с одинаковым трехлетним стажем средний разряд выше именно в группах с семилетним образованием. Н. Аитов утверждает, что у рабочих с шести-семиклассным образованием такие показатели, как разряд, заработок, способность обучать учеников, умение работать на различных марках однотипных машин и устранять незначительные дефекты механизмов, — выше, чем у их товарищей, учившихся десять лет. К этому ленинградские исследователи добавляют, что чувство неудовлетворенности выполняемой работой вызывает более частые нарушения дисциплины именно у рабочих со средним образованием.

За этими фактами последовали выводы двух социологов, которые я отказываюсь, однако, принять. Н. Аитов пишет: «Рабочий с восьмиклассным образованием находится на иждивении общества более трети своей жизни, со средним образованием (плюс двухгодичное профучилище) — 42 процента, а рабочий со средним техническим образованием (таких у нас немало) — 42,8 процента. Не многовато ли?..» Я сошлюсь в скобках на мнение крупного американского экономиста Деннисона: он отстаивает для своей страны двенадцатилетнее общее образование, отвечающее, по его мнению, темпам технического прогресса.

А вот суждение другого, советского социолога. «Преждевременный переход к формам образования, которые не вызваны к жизни реальной потребностью народного хозяйства, — обобщает В. Шубкин, — ведет лишь к тому, что мы оттягиваем вступление молодежи в самостоятельную жизнь, даем знания, которые не нужны, пробуждаем потребности, которые общество не в состоянии удовлетворить».

Не думаю, чтобы хоть один литератор согласился с подобным утилитарным отношением к среднему образованию. Не говоря уже о ложной посылке, будто бы духовные потребности не должны опережать реальных возможностей их удовлетворения, литератор не может не думать о воспитании пятнадцатилетних подростков, которые оканчивают обязательную семилетку. Именно средняя школа — а не ФЗУ, не ремесленное училище, не заводское ученичество — располагает наиболее эффективными средствами воспитания и развития подростков. Школа объединяет свои усилия с влиянием семьи, и то, как мы знаем, не всегда преуспевает! При переходе же в ФЗУ и РУ влияние семьи падает, а в общежитии-

ях неоформившиеся ребята сплошь и рядом попадают под влияние «вожачков» из старших учеников, понабравшихся отрицательного житейского опыта. В учебных заведениях подобного типа такие «неформальные» ученические группы» подчас успешно противятся влиянию педагогов. И в какой исключительно подобной среде оказываются юнцы-фабзайчата! По данным горьковского обследования, у детей, обучающихся в ФЗУ, только 4 процента родителей обладают высокой квалификацией, тогда как в школах (у старшеклассников) 43 процента родителей — высококвалифицированные рабочие и служащие. Писательская память подсказывает много, чересчур много биографий, надломленных, исковерканных мальчишескими общежитиями. Нет, общество наше, не гоняясь за узко понятой эффективностью полного среднего образования, должно поднатужиться и по возможности всех подростков пропускать через полную среднюю школу!

Именно поэтому тревогу вселяют данные о социальной структуре полной средней школы. В Горьком, например, в младших классах учится 80 процентов детей рабочих и 20 процентов детей служащих, что соответствует фактической структуре населения города. В дальнейшем наблюдался все возрастающий отлив детей рабочих из школ. В последнем классе (по сравнению с младшими) процент детей служащих значительно выше процента этой группы в составе населения города. Мало того, чем выше образование отца и матери, чем выше зажиточность семьи, тем успешнее занимается ученик в школе, — констатируют новосибирские ученые (при этом главную роль в учебном успехе детей играет образование матери).

Из числа закончивших десятилетку именно дети городской интеллигенции преимущественно поступают в вузы. По одному из обследований в каждой социальной группе абитуриентов продолжали учение 82 процента из детей городской интеллигенции, 61 процент из детей индустриальных рабочих, 46 процентов из детей работников сферы обслуживания и только 10 процентов из детей работников сельского хозяйства (из-за низкого уровня преподавания в сельских школах). Мало того, новосибирские социологи распределили профессии родителей абитуриентов на три группы по «возможностям для творчества». Оказалось, что к интеллигентским профессиям тянутся: одна четвертая часть детей, чьи родители имеют профессии низшей, наименее творческой группы, половина детей, чьи родители обладают профессиями средней группы, две трети детей, у которых отцы или матери владеют наиболее творческими специальностями. В общем, путь к интеллигентским профессиям облегчен потомственным интеллигентам.

Отвергнем всякое фарисейство: конечно же, в профессорской семье дети развиваются быстрее просто потому, что походя усваивают знания, которые их сверстникам из малообразованных семей достаются лишь в результате дополнительных усилий. Несомненно, интеллигенты в третьем-четвертом поколении — явление положительное. Однако дальнейшее развитие общества измеряется самопроявлением всех наиболее способных, трудолюбивых, верных нравственным началам молодых людей. Дети гениев чаще всего не наследуют их талантов. Не обязательно, чтобы сын интеллигента был способнее крестьянина. И совсем недопустимо, чтобы среди подростков любого класса, любой группы населения возникало представление, что их будущее образование и профессия заранее predeterminedены. Высшее образование «по способностям» есть в конце концов модификация основного принципа социализма: «Каждому — по труду».

Практически проблемы такого рода нельзя решить никаким применением скидок. Важно, однако, — в этом кровно заинтересовано наше общество, — чтобы к моменту будущего соревнования способнейших молодые люди заняли исходные позиции, вооруженные равными знаниями (и развитием). Государство в силах многого добиться, действуя в этом направлении. Например, сравнять уровень преподавания в сельских школах с городскими, ориентировать большее число школ в стране на одаренных в определенной сфере учеников (математические, механические, гуманитарные и прочие направления разных школ). Вовсе не исключены

формы дополнительной активной помощи способным детям низкооплачиваемых родителей: ведь удлиняют же на один год сроки обучения в школах некоторых национальных районов СССР. Стоит изучить, в какой же мере общественные фонды, достигающие у нас 35 процентов фонда заработной платы, действуют в нужном направлении, в частности «подтягивают» детей наименее обеспеченных, наименее образованных родителей. На какую семью — многодетную или интеллигентскую с единственным ребенком — падает больше материальной помощи из обобществленных фондов (на душу)? Чешские социологи произвели подобное обследование и выступили с предложениями, корректирующими несовершенную практику.

Когда речь шла о дальнейшем расширении среднего образования, я не захотел следовать за социологами, выдвинувшими единственный критерий его эффективности: меру повышения рабочей квалификации. На первом плане стоят, по моему, культурные потребности страны, трудные задачи воспитания подростков в возрасте пятнадцати — семнадцати лет.

Иначе надо подходить к масштабам необходимого и посильного нашей стране высшего образования. Конечно, всякое образование, тем более высшее, благо. Однако было бы крайней, непозволительной маниловщиной рисовать такую благостную картину: государство обеспечивает возможность получать высшее образование всем, кто этого захочет.

Стоимость обучения одного школьника в год — сто один рубль. Следовательно, обучение в двух последних классах школы обойдется не дороже двухсот пятидесяти рублей. Инженерный же диплом стоит стране пять тысяч рублей. И эта сумма еще не включает платы за фонды: стоимость зданий институтов и их оборудования. И не учитывает, какие материальные ценности могли бы создать студенты, работая на производстве, какие научные ценности создала бы за то же время армия преподавателей вузов. Нет, надо серьезнее планировать — кого обучать в вузах, в каком количестве, кому предоставить работу специалиста высокой квалификации, требующей вузовской подготовки.

У нас в стране один миллион шестьсот тридцать одна тысяча дипломированных инженеров, а в США — только семьсот двадцать пять тысяч, к тому же мы ежегодно выпускаем в четыре раза больше инженеров (правда, если включить все неиндустриальные специальности, то в США — девять миллионов триста тысяч человек с высшим образованием, а у нас — шесть миллионов). Нашей системе свойственны быстрые темпы развития (за последние пятнадцать лет продукция промышленности выросла у нас более чем в четыре раза, в США — меньше чем в два раза), и уже это обязывает нас опережать соперника и в подготовке специалистов. Но насколько опережать, по каким специальностям?

Как же случилось, что инженеров у нас на целый миллион больше, чем в Америке, а промышленная продукция составляет пока 65 процентов американской? Да и по качеству мы не всегда стоим на уровне мировых стандартов, и число патентов на изобретения у нас во много раз меньше (США выручили от продажи патентов четыре миллиарда долларов за семь лет). Труд в промышленности организован у нас недостаточно хорошо (а ведь это функция инженеров!). Недавнее обследование ЦСУ на двух тысячах предприятий показало, что за один день было потеряно двести пятьдесят четыре тысячи человеко-часов, то есть тридцать шесть тысяч человек оказались как бы не у дел в течение всей смены. Те же делегаты профсоюзов ФРГ, которые не могли нахвалиться нашей системой внешкольного образования и организацией летнего отдыха трудящихся, подметили не без злобства, что на одинаковых по уровню техники машиностроительных предприятиях у нас занято значительно больше рабочих, чем на Западе, и, следовательно, производительность труда, его организация пока ниже. Конечно, это связано и с недостаточно эффективным использованием высококвалифицированных специалистов. Тут кроются большие резервы. И, значит, не всегда нужно делать ставку на увеличение той или иной категории специалистов; надо их лучше обучать и как следует использовать.

В науке занято в СССР шестьсот тысяч работников. Существуют, правда, теоретические подсчеты, доказывающие, что один рубль, затраченный на науку, увеличивает национальный доход на один рубль сорок пять копеек, тогда как обыкновенные капиталовложения в промышленность в три раза менее эффективны. Однако крупнейшие ученые страны (П. Л. Капица, В. А. Трапезников и многие другие) делятся с нами тревогой: «отдача» армии научных работников низка, научные рекомендации внедряются медленно. Помимо организационных причин, корифеи нашей науки ссылаются на бедную экспериментальную базу как в научных институтах, так и на предприятиях. В США около 60 процентов исследований, непосредственно затрагивающих интересы промышленности, ведется в лабораториях и экспериментальных цехах самих предприятий, у нас — только 2 процента. Значит, повышение эффективности труда ученых зависит не только от организационных мер, но требует, как своей предпосылки, значительных капитальных затрат.

Работа инженера в промышленности давно уже привлекает внимание и ученых и литераторов. Сегодня (если не говорить опять-таки о новых отраслях производства) промышленность испытывает острый недостаток не в инженерах, а в техниках. На одного специалиста высокой квалификации (инженера) приходится два с половиной работника со средним техническим образованием, тогда как норматив в два раза выше. Известно, что в учреждениях инженеры загружены операциями, которые вполне доступны среднеграмотному работнику. На производстве же инженер сплошь и рядом превращается в снабженца, диспетчера, канцеляриста, участника бесчисленных совещаний. Работа в цехах, к сожалению, непопулярна среди инженеров. И хотя ставки здесь выше, специалисты стремятся уйти в технические службы при заводоуправлениях, в научные и учебные институты, в бесчисленные учреждения, которые предъявляют спрос на инженеров. Я изучал эту проблему на Челябинском тракторном заводе. Очерк под заглавием «Инженер уходит в бильдинг» вызвал множество откликов, свидетельствуя о том, что я прикоснулся к острой проблеме. Очерк начинался с противопоставления: в большом цехе шасси работают полторы тысячи рабочих и полтора десятка инженерно-технических работников, добрая часть которых занимает инженерные должности; среди них — единственный инженер, да и тому некогда заниматься вопросами техники, потому что он загружен обязанностями начальника цеха; завод же располагает целой армией специалистов — почти двумя тысячами дипломированных инженеров!

Выпускники вузов и институтов растекаются по бесчисленным, плохо учитываемым каналам, сосредотачиваются в крупных городах, где учились, где живут их родители и есть жилье. Часто они довольствуются работой не по специальности, во всяком случае не на производстве. По данным Н. Аитова, почти половина специалистов, закончивших вузы и техникумы, работают не по тем специальностям, по которым учились. Между тем заявки ведомств на специалистов с высшим образованием продолжают расти! Эти заявки как же не могут претендовать на роль объективного критерия для подсчета истинной потребности народного хозяйства в кадрах, как и массовое стремление в вузы почти всех абитуриентов.

Ну, конечно же, нельзя распространять пресловутый «закон Паркинсона» из известного памфлета, адресованного английскому чиновничеству, на комплектование аппарата специалистов нашей — принципиально иной — социальной системы. Однако не обойдешься и без кое-каких аналогий. Вспомним едкие формулировки этого «закона», опубликованного «Иностранной литературой»: «Чиновники стремятся умножить подчиненных». «Чиновники создают работу друг для друга». «Армия чиновников растет... совершенно независимо от того, увеличивается, уменьшается или сведется к нулю объем работы».

«Отсутствие полезной деятельности вовсе не означает бездействия... не обязательно сопровождается бездельем».

И наконец вснчающий все здание принцип: «Сложность... работы возникает прямо пропорционально времени, которое на нее затрачивается» (а не наоборот!).

Ленин не уставал напоминать об опасности бюрократизма. И эта опасность подстерегает нас не только при формировании административного аппарата самого государства. Управление промышленностью, наукой (не исключая и модной социологии!) потенциально подвержено той же болезни. Бюрократизм и в капиталистической индустрии стал объектом научных исследований, а в литературе и в кино — мишенью для едких насмешек.

От литератора никто, конечно, не ждет практических предложений о целесообразных масштабах высшего образования на данном этапе развития. В одиночку не разберешься во всех факторах, которые определяют дальнейший технический прогресс, и не определишь, какие затраты на высшее образование посылны нашей экономике. Проблема эта стала предметом обсуждения нашей печати. Кое-кто склоняется к мысли, что у нас в некоторых областях знаний уже наблюдаются признаки известного перенасыщения профессиональной интеллигенцией, хотя новым отраслям индустрии крайне не хватает специалистов. Словом, проблема высшего образования очень сложная, связанная со всеми сторонами социального нашего существования, с разумной и эффективной для каждого периода структурой советского общества. И сложность этой проблемы писатель обязан осознать, иначе перо его будет создавать лишь пасторали...

Но раз потребность в высокообразованных специалистах не безгранична, поставленная в начале статьи проблема профессиональной ориентации старшеклассников приобретает поистине огромное значение. Ее невозможно сводить к тестам или социологическим анкетам. Литература, едва ли не во всех ее жанрах, активно воздействует на процесс становления молодежи, а значит, и на профессиональное ее самоопределение. Литератор не может стоять в стороне от проблем воспитания, в частности школьного. Сегодняшняя школа недостаточно справляется с задачами, которые стоят перед ней, потому что она лицом своим обращена к высшим учебным заведениям, служит ступенькой к вузу, хотя две трети или три четверти ее выпускников заведомо в высшие учебные заведения, а следовательно, и на интеллигентские должности, не попадут. Сегодняшняя школа не применяется к индивидуальным склонностям учеников, перегружает их кругом знаний, которые могут понадобиться на вступительных экзаменах по всем возможным специальностям, и не успевает в достаточной степени пробуждать, укреплять, поощрять в старшеклассниках независимые от будущих профессий культурные запросы. Иллюстрацией может служить хотя бы практика преподавания литературы. Школа не прививает вкуса к художественному слову, часто даже отталкивает от него — прежде всего от произведений, которые «проходят» по программе.

Словом, средней школе нельзя оставаться только стартовой площадкой для запуска в вузы и на орбиту интеллигентских профессий. Школа должна выпускать из своих стен семнадцати-восемнадцатилетних юношей и девушек с задатками интеллигентных людей. Таких абитуриентов не оскорбит и не испугает завод. Рабочая профессия все больше становится сферой применения творческого труда, открывает широкие возможности дальнейшей учебы и продвижения. Но главное — рабочий, как и служащий, может вести тот образ жизни, который позволит удовлетворить любые духовные интересы. Вспомним, что И. Ильф высмеивал тех, кто зачислял в интеллигенцию всех свободных от физического труда людей, хотя к умственному они имели лишь слабое касательство.

При массовом выпуске узких специалистов диплом вуза перестал служить не переменным свидетельством интеллигентности, высокой культуры его владельца. Увы, рядом с натурами творческими, живущими напряженной интеллектуальной жизнью, мы видим кругом себя на так называемых интеллигентских должностях много удручающе ограниченных людей — с дипломами, но с низким культурным уровнем, с ничтожными культурными запросами, равнодушными часто даже к прогрессу той науки, к которой они приобщились в вузе. Цена такому «специалисту, подобному флюсу», невелика и в индустрии, а при быстрых темпах тех-

нического прогресса она к тому же еще снижается. Но если подойти к этим плохим специалистам с критериями интеллектуальной жизни, то они не выдержат никакого соревнования со многими и многими подлинными интеллигентами без вузовского ценза, занимающими должности рабочих и служащих. Назову первые пришедшие на ум имена — скажем, мартенщика В. И. Большухина, строителя И. В. Елагина, старейшего рабочего «Станколита» К. И. Богданова, всесоюзно прославившегося библиотекаря М. Л. Халфину или сахалинского шахтера-навалоотбойщика Е. Ф. Селезнева, который известен на острове как собиратель книг, как городской чемпион по шахматам, как художник-фотолюбитель и неумейный турист.

Да таких интеллигентов без вузовского диплома множество в любом кругу нашего общества! Это активнейшие читатели, меломаны, самодеятельные художники и музыканты, рационализаторы и изобретатели. Рабочая профессия обеспечивает им материальную базу никак не ниже той, которую дает профессия врача или учителя, и, пожалуй, больше досуга. Они продолжают накапливать знания, их умственная жизнь протекает напряженно, они приобщаются — хоть и непрофессионально — к искусству. Ведь не впустую же мы твердим, что квалифицированное чтение книги, умение видеть картину, слушать музыку есть творческое сопереживание, и без него не могло бы существовать профессиональное искусство! Стоит отметить далеко не единичное явление последнего времени — молодые рабочие, как, впрочем, и инженеры, учатся в вечерних и заочных гуманитарных вузах, например на историческом факультете МГУ, отнюдь не помышляя переменить свою профессию, — просто стремятся приобрести фундаментальные знания по тем вопросам, которые их интересуют. Между прочим, это относится и к области технических знаний. Социологи, например, отмечают, что и на заводах есть немало рабочих с дипломами техникумов и даже институтов (сталевары). Не знамение ли времени подобное, во всяком случае не только утилитарное, отношение к знаниям? Не выражается ли в этом некая тенденция, также способствующая разрушению существующих перегородок между физическим и умственным трудом?

Способствовать этому процессу должна перестроенная, охватывающая всех подростков средняя школа, которая в принципе должна стать трамплином не столько к интеллигентским должностям, сколько к интеллигентному образу жизни — так, чтобы это становилось нормой для все более широкого круга людей в СССР.

Но как раз наши количественные успехи не столь велики, как об этом любят писать, пользуясь итоговыми, «усередненными» показателями. И об этом тоже сказали свое слово социологи.

Да, это верно, у нас наивысшие в мире показатели на душу населения в год: число посещений кино (18,6), издания книг (5,1). наблюдается гигантский рост тиражей, и по отчету ЦСУ за 1966 год повысили квалификацию четырнадцать миллионов человек. Но наряду с этим институт общественного мнения при «Комсомольской правде» установил, например, что внушительная масса молодых рабочих остается вне культурного отдыха: $\frac{1}{10}$ вовсе не читает газет, $\frac{1}{4}$ — журналов (а сколько же из остальных $\frac{3}{4}$ ограничивается иллюстрированными изданиями?), $\frac{1}{5}$ вовсе не читает книг, $\frac{1}{6}$ вообще не ходит в кино (не говоря уже о выставках, музеях и пр.). Значит, средние цифры «динамических рядов культуры» не означают, что у нас нет миллионов людей с крайне узкими культурными запросами, людей, не имеющих никаких навыков в их удовлетворении. Именно эти группы людей, чья духовная жизнь бедна, должны бы быть постоянно в поле зрения наших «просветителей». Между тем даже литература и кино до последнего времени их просто игнорировали. Не только потому, что прототипами положительных героев становились обычно — это естественно! — передовые рабочие, интеллигентные люди с высокими духовными интересами, а потому, что авторы приукрашивали социальный быт, не замечали неоднородности рабочей среды и служилой интеллигенции, силу различных пережитков, бескультурья у части молодых людей. В этом смысле правдивые книги писателей вносят в последние годы существенные реалистиче-

ские поправки к лакировочным литературным произведениям или парадным полотнам.

Отношение к труду, стимулы труда — это важнейшая тема социологических исследований о рабочем классе. Тут, как в фокусе, отражаются все аспекты затронутых ранее проблем. Накапливаются ценнейшие наблюдения из сферы социальной психологии, изучающей мотивы поведения различных групп трудящихся. Управление хозяйством, его планирование не может быть вполне эффективным, если не опирается на научно разработанные репрезентативные данные о стимулах труда.

Каковы они в разных социальных системах? У нас повторили анкету французских социологов, в которой содержался вопрос: «Любите ли вы свою работу?» Отрицательно ответили на него 60 процентов рабочих французских предприятий и только 8 процентов русских. Ответы на контрольные вопросы анкеты содержат интересные детали. Так, например, 90 процентов рабочих капиталистических предприятий, ступив за его порог, вычеркивают из своего сознания все мысли о производстве, тогда как 70 процентов советских рабочих, выйдя из заводских ворот, продолжают думать о заводе во внерабочее время, ощущают тесную многостороннюю связь со своим коллективом. На вопрос: «Что не нравится на заводе?» — три четверти французов поставили на первое место ощущение зависимости, подчиненности.

Что касается заокеанских исследований, то они показывают, что в Америке работу ценят прежде всего по ее устойчивости (страховка от безработицы, фактор, практически у нас не ощутимый — разве что в части малых городов наблюдается незанятость так называемых вторых членов семьи), а затем уже — по возможности продвижения, по характеру труда и по размеру заработка.

Естественно, нас интересуют в первую очередь детальные исследования мотивов труда советских рабочих. А. Здравомыслов и В. Ядов дали количественные ответы на эти вопросы. Их обследование охватило 2665 молодых ленинградских рабочих в возрасте до тридцати лет. Ответы на анкетные вопросы корректировались методом интервью, контрольными вопросами. Каково же влияние различных факторов, определяющих отношение к конкретной работе на данном производственном участке? Результат укладывается в таблицку:

1. Содержание работы	}	A. Умственность работы, смекалка и пр.	0.72
		B. Разнообразие в работе	0.48
		B. Возможность повышения квалификации	0.58
		Г. Важность данной продукции для страны	0.42
2. Условия и организация труда	}	A. Физическая нагрузка	0.32
		B. Собственно организация труда	0.38
		B. Отношение администрации к рабочему	0.35
		Г. Сложившиеся отношения с товарищами по работе	0.67
3. Оплата труда		Заряботок	0.61

Следовательно, не только размер заработка определяет отношение к работе. Напротив, советский рабочий придает огромное значение содержанию работы и ее организации, в частности, превыше всего ценит включение умственных функций.

В течение долгого времени у нас принято было противопоставлять «высокие», моральные стимулы труда стимулам «низким», материальным. На практике это означало пренебрежение к материальной стороне жизни — не только к заработку или к северным льготам, компенсирующим человеку трудные условия жизни, но,

скажем, и к строительству жилья на новостройках. Подобные лицемерные штампы культивировались и в какой-то части литературных произведений, на страницах которых подвизались бумажные герои, разные председатели колхозов, которым ничего не стоило — на «чистом энтузиазме» — вывести свой колхоз в передовики и за один сезон так обогатить всех его членов, что они тут же строят и электростанцию, и агрогород, и Дворец культуры. Литература этого типа, все больше отрываясь от реальной жизни, могла лишь укреплять в головах ее читателей мысль о том, что «идеология» и «практика» живут в разных, друг с другом вовсе не соприкасающихся плоскостях.

Реакцией на это явилось недавнее выступление писателя Ал. Борина. В «Литературной газете» и в «Журналисте» он утверждает, что за работок — единственный фактор, определяющий поведение человека в производственной сфере, что «рубль» живо расставит по местам всех агентов производства, упорядочит все процессы и что сам по себе он обладает способностью сделать человека счастливым.

Тут стоит отметить, что и на Западе не только социологи, но и бизнесмены пришли к убеждению, что «стимул заработной платы» не стимулирует «всего человека» (К. Дэвис).

А в одном из давних номеров «Менеджмент ревью» мы даже читали: «Управляющий должен иметь такого рода умственную оснастку, которая позволяет ему целиком учитывать роль человеческих факторов в деловых проблемах. Лучшие дни промышленности будущего, если они наступят, должны подразумевать решение конкретных ситуаций людьми, которые умственно и эмоционально способны оценить во всем своем значении человеческие факторы в деловом анализе и действии».

Таков же в основном вывод анкеты «Центра по исследованию общественного мнения» о сравнительном статусе девяноста профессий в представлении статистического большинства американцев (порядковые номера; перечень дан с сокращениями):

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Член Верховного суда | 48. Репортер ежедневной газеты |
| 6. Мэр большого города | 49. Управляющий мелкой лавкой |
| 7. Профессор колледжа | 50. Бухгалтер |
| 10. Банкир | 52. Фермер-арендатор |
| 12. Местный судья | 55. Полисмен |
| 14. Священник | 57. Почтальон |
| 15. Архитектор | 59. Авторемонтный рабочий |
| 17. Дантист | 60. Водопроводчик |
| 18. Адвокат | 61. Механик гаража |
| 19. Директор крупной корпорации | 64. Капрал в армии |
| 20. Ядерный физик | 65. Фабричный рабочий, станочник |
| 24. Летчик | 66. Парикмахер |
| 26. Владелец ф-ки на сто рабочих | 69. Водитель автобуса |
| 27. Социолог | 73. Лесоруб |
| 28. Бухгалтер крупной фирмы | 75. Певца в ночном баре |
| 31. Писатель | 76. Сельскохозяйственный рабочий |
| 32. Офицер (капитан) | 77. Шахтер |
| 33. Строитель-подрядчик | 78. Шофер такси |
| 36. Учитель начальной школы | 81. Докер-грузчик |
| 38. Железнодорожный инженер | 82. Ночной сторож |
| 39. Фермер-собственник | 85. Продавец в баре |
| 40. Профсоюзный работник | 86. Уборщик |
| 43. Хозяин мелкой типографии | 90. Чистильщик сапог |

Как тут не подивиться американским нравам! Статус фабричного рабочего ниже статуса приказчика в лавке, шахтера и шофера такси — ниже парикмахера или певца в ночном баре. Неожиданно высоко оценивается профессия дантиста. Для нашей темы существенно, однако, что и в США деньги — не единственный критерий статуса. Профессор занимает более высокую ступеньку, чем средний банкир, а летчик или ученый — чем средний фабрикант. Представители многих свободных профессий опередили даже директоров крупных корпораций.

Институт Гэллопа не ограничивается оценкой шансов кандидатов в президенты, а выполняет множество, мы бы сказали, хозрасчетных заказных работ для телевизионных компаний, торговых фирм и т. п. Гэллоп делает свои выводы, опрашивая представителей 480 социальных, национальных, территориальных групп населения, удельные веса которых определяются «цензами» — американскими переписями. Наверное, чтобы познать современную Америку, полезно знакомиться и с такими опросами, даже с оценкой динамики политических взглядов разных групп населения. Приведу образчик последних. Он во всяком случае поясняет, в какой мере развращена верхушка рабочего класса.

Придерживаются политических взглядов
(в процентах к общему числу опрошенных в группе)

	Консервативных и ультрареакционных	Радикальных
Люди крупного бизнеса	87	2
» мелкого бизнеса	71	8
» свободных профессий	70	11
Белые воротнички	56	16
Синие воротнички:		
рабочие квалифицированные	39	27
» полуквалифицированные	27	49
» неквалифицированные	23	38

Но вернемся к выступлению Ал. Борина. Нечего говорить, что у нас его упрощенный экономизм не мог не встретить возражений. Ленинградское и другие обследования содержат недвусмысленный ответ. Социологи (вместе с физиологами) приводят еще и иные доказательства. К примеру, что неритмичный, плохо организованный труд утомляет больше, чем самый напряженный, но упорядоченный (обследование Заволжского моторного завода). Огромную роль играют взаимоотношения в цехе, в бригаде. Хронометраж Т. Павловой показал, что одни и те же операции на станке выполняются при хорошем настроении рабочего за 1,5—2,6 минуты, но если настроение испорчено стычкой с мастером — только за 2,5—3,0 минуты. Напомню еще утверждение врача-психиатра Б. Драпкина, что большая часть нервных срывов и психических заболеваний возникает из-за нездоровых отношений на работе, из-за травм, которые наносит начальник-грубиян. Он же напоминает, что у победителей раны заживают быстрее, чем у побежденных, — вот какую роль играет душевное самочувствие человека!

Между прочим, я не вижу причин, почему бы нам, подбирая мастеров, не пользоваться тестами, какие выработала одна из американских фирм. Там сказано: «Обладает ли кандидат в мастера спокойствием? Стойкостью? Выдержкой? — эти качества вызывают доверие и дают возможность его подчиненным работать без страха и сомнений. Не впадает ли кандидат в мастера в крайности и не вызывает ли у работников беспокойства и расстроенности чрезмерной нервозностью? — в таком случае он не может исполнять должность мастера в нашей фирме». В самом деле, почему таких мастеров, от которых данная фирма уже отказалась по чисто утилитарным, коммерческим соображениям, мы сплошь и рядом встречаем на наших предприятиях, хотя должны бы от них отказаться прежде всего по мотивам социальной этики?

Личность бригадира тоже играет немалую роль в производственных коллективах. Важно, чтобы он имел авторитет у рабочих, не только у администрации. Между тем директора заводов, пользуясь непререкаемым своим правом единоначальника, сплошь и рядом снимают бригадиров даже в заслуженных коллективах. «Комсомольская правда» в № 285 за 1965 год описала один случай смещения вожака бригады коммунистического труда и дурные последствия такого произвола дирекции. Бригадир после вмешательства газеты был восстановлен, но заводская

администрация так и не усвоила существа допущенной ошибки. «Комсомольская правда» напечатала немало писем и высказываний молодых рабочих и администраторов в защиту выборности не только бригадиров, но и мастеров. Недавно газета рассказала, как один из строительных трестов в Красноярске пошел на интересный опыт: выборы старшего прораба в одном комсомольском СМУ.

Большой интерес представляет исследование Н. Голубевой и К. Замберг на Ленинградском металлическом заводе. Здесь отношение к труду изучалось раздельно в передовых, средних и отсталых бригадах. У передовых бригад и производительность труда, и заработки выше, они выпускают продукцию хорошего качества (у 80 процентов рабочих личное клеймо). Прочие показатели у передовиков тоже отличные, например 81 процент рабочих повышает квалификацию (в отсталых бригадах — 24 процента), 70 процентов участвуют в общественной и рационализаторской работе (а у отстающих — 5 процентов). Нарушения трудовой дисциплины в передовых бригадах — исключение (2,7 процента), тогда как в бригадах третьей группы это заурядное явление (38,1 процента). В хороших бригадах люди тянутся друг к другу, проводят свободное время вместе, культурно. В отсталых — все врозь, разве что «сообразят на троих».

А вот и «отношение к труду» (причина и следствие): в бригадах, характеризуемых высшим уровнем взаимоотношений, выполняемая работа не нравится только 8 процентам состава и 92 процента вовсе не помышляют о переходе на другое предприятие. В то же время в бригадах «низшего типа» работой недовольны 81 процент рабочих и каждые четверо из пяти членов этих бригад готовы уволиться с завода! Отсюда и «текучесть рабочей силы». Неградушно понять, что, как бы удовлетворительны ни были общие показатели выполнения плана предприятием, как бы ни была численно мала группа отстающих бригад (ведь, кроме передовых и отсталых, есть еще и многочисленные «средняки»), заводские коллективы — да и все наше общество! — не должны мириться с существованием такой «обреченной» группы незадачливых, разочарованных людей, которые считают, что для них нет никаких трудовых перспектив (и только ли на данном заводе?).

Очевидно, нужно тщательно изучать причины столь различного отношения к труду в разных коллективах, у разных рабочих на одном и том же предприятии.

Мотивы труда, факторы, влияющие на оценку конкретной работы, своеобразно проанализированы в оригинальном исследовании наших венгерских товарищей А. Хегедеша и М. Маркус, доложенном Эвианскому социологическому конгрессу. Изучая отношение к труду рабочих и технической интеллигенции, венгерские ученые ввели на первых же этапах исследования понятие идентификации требований, предъявляемых работником к труду, степени удовлетворения им. Это сложное понятие (кажется, введенное в научный обиход фрейдистами); оно включает всю совокупность представлений человека о своей личности. Обследованных рабочих, инженеров и ученых венгерские социологи сразу же разделили на три группы. В первую группу входят работники, предъявляющие высокие, гуманизирующие труд творческие требования. Во вторую — работники, не ставящие перед собой таких задач, рассматривающие работу в основном как источник дохода. Среди обеих групп встречаются как удовлетворенные работой (идентифицирующиеся с ней), так и пассивно или активно не удовлетворенные ею. Оценка 235 научных работников показывает, что гуманистические (творческие) требования к труду предъявляют 95,7 процента из их числа. У ведущей группы (37,9 процента) наблюдается полная идентификация ожиданий и оценок фактической работы. Еще 25,5 процента опрошенных испытывают частичное удовлетворение. Обследованные 97 инженеров и техников также предъявляют к работе творческие требования (95,9 процента). Однако 36,1 процента инженеров активно и 14,4 процента пассивно не удовлетворены работой — это результат плохой организации производства и инженерного труда. Только половина рабочих из числа 181 обследованного предъявила творческие требования к работе. из них 12,2 процента удовлетворены полностью, 26 процентов — частично. Из другой половины рабочих, предъявляющих

лишь ограниченные требования Lohnarbeiter'a (рабочего за плату), — 29,8 процента обследованных также удовлетворены работой.

Не могу проверить, достаточно ли обоснована столь сложная оценка каждого работника по «степени идентификации», но картина, нарисованная венгерскими социологами, на мой взгляд, представляется правдивой. Интересно, что психологическая разработка идентификации личности советского человека в конкретном труде (включая и дифференцированные требования к труду, и степень удовлетворения им, и причины неудовлетворенности) — это как раз тот путь, по которому идет писатель, который хочет создать полнокровные образы советских людей; в сознании его героев нет глухой стены, отделяющей «личную жизнь» от «производственной».

Здесь уместно коснуться одного направления в западной социологии, которое связано с именем проф. Э. Мэйо, с известным хотторнским экспериментом. Компания телефонной аппаратуры в Хотторне экспериментировала над группой сборщиц. Для них выделили особое помещение, мастера-лаборанта, разрешили рассаживаться, как они пожелают, выбрать соседок, подбирали освещение, температуру воздуха и пр. Производительность труда этой группы выросла чуть не на 40 процентов по сравнению со среднецеховой. Приглашенный много позже Мэйо сделал вывод: не освещение, не отопление и прочие факторы определили успех эксперимента. Производительность труда есть функция удовлетворенности работой, которая во многом зависит от структуры неформальной рабочей группы. Удовлетворенность трудом, оказывается, во многом зависит от места человека в системе отношений его с товарищами по труду, с мастером, с бригадиром, даже в семье.

Из всего этого родилась так называемая наука человеческих отношений, опирающаяся на социальную психологию и социометрию, сопровождаемая в капиталистической прессе лицемерной шумихой. При всем том появляющиеся у нас во множестве статьи об этом явлении, начисто зачеркивающие все подсказанные им методы управления предприятием, кажутся мне опрометчивыми. Конечно, бизнесмены преследуют свои эгоистические интересы, стремятся увеличить прибыли, прибавочную стоимость. Однако социолог и психолог в штате крупного капиталистического предприятия, равно как экономист или инженер-организатор, улучшают организацию производства. Мы присматриваемся к научной организации капиталистического предприятия, заимствуем у него то, что нам полезно. Ленин писал, что надо «учиться социализму у организаторов трестов». В наших условиях внимание к «человеческим факторам» на производстве должно бы удеться.

Надо сказать, писатели когда-то воспевали «волевых» директоров, «бравших план» любой ценой, попиравших достоинство подчиненных — и инженеров и рабочих. Но уже лет десять большинство писателей выступает за «гуманизацию человеческих отношений», в частности в сфере «начальник — подчиненный», и в этом направлении нужно еще добиться многого! Слишком долго мы были снисходительны к хозяйственникам, считавшим доблестью пренебрежение к личности подчиненного, даже грубость, — лишь бы начальник боролся за план или добивался выполнения другого общественно полезного задания. Но порочный принцип ни этически, ни практически не может быть оправдан.

«Отношение к труду», исследуемое социологами, тесно связано с нормами этики, распространенными в обществе. Любопытный массовый анализ социальных ценностей («идеалов») среди наших молодых рабочих-монтажников описан В. Ольшанским. Участникам анонимной анкеты предложили оценить по пятибалльной системе несколько типичных судеб-характеров, обрисованных авторами в такой лапидарной форме:

1. В л а д и м и р — быстро продвинулся от рядового рабочего до крупного администратора. Ему еще нет сорока лет, а под его началом несколько сот человек, выпускающих ответственную продукцию. Способности его признаны руководством, есть основания ожидать его дальнейшего продвижения.

2. М а т в е й — выполняемая работа не приносит больших почестей и не сулит продвижения, но оплачивается хорошо. Не отказываясь ни от какой работы, не жалея времени, Матвей имеет надежный дополнительный доход. Он купил себе автомобиль и копит деньги на дачу.

3. В а с и л и й — не считается с заработком и бытовыми удобствами, видит особую красоту в том, чтобы работать там, где труднее, где больше принесет пользы, где он нужен. Гордится коллективом своих товарищей, вместе с которыми мужественно преодолевает трудности.

4. Н и к о л а й — в его работе нет ничего героического, не сулит она и роста доходов. Работа спокойная, чистая, и в ней нет ничего неожиданного. Проводит жизнь спокойную и размеренную. Имеет небольшую квартиру, которую стремится обставить со вкусом.

5. П а в е л — много внимания уделяет судьбам других людей, многим помог в их тяжелом положении. Совестьлив, отзывчив. Однако, борясь с недостатками, порой «конфликтует» с отдельными руководящими работниками, что ухудшает возможности его личного продвижения.

6. А н д р е й — молод, но уже завоевал славу. Его имя широко известно. Фотографии появляются в газетах. Встречи с ним передаются по телевизору. Не горит за деньгами, предпочитает демонстрировать свои способности.

7. К и р и л л — имеет интересную работу, которой отдается весь, без остатка. На личную жизнь и развлечения не имеет времени. Вместо увеселений ему нравятся свободные исследовательские занятия, где он проявляет смелость и оригинальность мышления. Немногие знающие его люди ценят его как крупного специалиста.

8. К о н с т а н т и н — не связал себя ни с одной постоянной профессией. Зарабатывает мало и нерегулярно, бывает и так, что не на что жить. Оценивает себя высоко, имеет склонность к свободе передвижения. Свободное время, которого у него много, посвящает развлечениям. Любит веселые компании. На вопрос, когда он намерен устроить свою жизнь, отвечает, что успеет это сделать, когда составится.

Отвечающий на анкету часто в какой-то мере играет роль «на публику» — социологи поэтому обращаются к теории «ролей» и стараются отметить, в какой мере идентифицируются в обследуемом представлении о своей роли и объективное поведение. Очевидно, выбор той или иной модели по анкете (в данном случае — одной из восьми «судеб») не обязательно соответствует реальным поступкам в жизни. Например, немужественный человек, который боится противоречить начальству, тем не менее в душе может превозносить своего товарища, всегда выступающего за справедливость. Все-таки массовый анонимный опрос-интервью, хорошо подготовленный, проконтролированный разными «объективными» способами, доступными социологу, имеет безусловно познавательное значение.

Так какой же выбор сделали двести опрошенных? Их симпатии отданы были положительным героям: прежде всего — Павлу (положительный коэффициент +0,82), затем Василию (+0,66) — работающему, где нужнее, и Кириллу — творческой натуре (+0,47); в последнем случае повлияли, возможно, голоса аспирантов, вошедших в опрошенную группу. Владимир, дельный службист, имел лишь немного больше положительных, чем отрицательных вотумов. И едва ли не всеобщее осуждение заслужил Константин, любитель поездить по свету и «прожигать жизнь», — уж, наверно, все женщины голосовали против него! Преуспевающий Матвей, Андрей, любящий «блеск славы», как и любитель тихой жизни и покоя Николай, были также забаллотированы. Иначе говоря, двести человек из нескольких производственных коллективов, отвечая каждый в одиночку, высоко оценили альтруистические мотивы поведения, отбросили эгоистические цели жизни и резко осудили крайнюю форму индивидуализма. Характерно, что при контрольном опросе относительно наиболее ценных в человеке качеств свыше 50 процентов рабочих поставили на первое место честность, отзывчивость и чуткость к товарищам и т. п. Также и при ответе на вопрос: «Каким бы

вы хотели видеть своего сына?» — у родителей возобладали нравственные требования.

Любопытны ответы на контрольный вопрос: «Что бы вы приобрели, если бы у вас появились «свободные деньги»?».

«Не пропил бы!» — отвечает молодой рабочий. А другие называют десятки конкретных вещей, которые очень нужны каждому, которые они обязательно приобрели бы, появившись «свободные деньги» (в процентах к итогу):

Продукты питания и одежда	11,25
Квартира, обстановка, бытовые приборы . . .	24,50
Книги, культтовары, музыкальные инструменты	12,25
Туристская путевка (по СССР или за границу) .	9,75
Автомобиль, мотоцикл, мотороллер	10,50
Подарок родственникам или друзьям	4,75
Возможность не работать	1,00
«Свободных денег» нет и не предвидится» . . .	6,00
Прочие ответы	3,00
Не ответили	17,00
<hr/>	
Итого	100,00

Приведенные цифры говорят о сравнительно высоком жизненном уровне молодых рабочих. Так, о приобретении предметов первой необходимости (питание, одежда) думают только 11,25 процента опрошенных, причем о продуктах питания написали только 0,5 процента людей, а указывая предметы одежды, многие подчеркивали, что речь идет уже не о самом необходимом (записи: «хороший костюм», «красивое платье», «модные туфли» и т. д.). С другой стороны, 10,5 процента хотят приобрести «личный транспорт», причем 9 процентов не согласны ни на что меньшее, чем на собственный автомобиль. Далее, только 5 процентов истратили бы деньги на улучшение жилищных условий, а 19,5 процента мечтают купить мебель, холодильник, стиральную машину и т. д. Очень характерно, что о книгах, культтоварах и музыкальных инструментах пишут больше, чем о питании и одежде. Показателен интерес к путешествиям. Наконец, нельзя не выделить в особую группу записи, говорящие о стремлении сделать приятное другому человеку: «Покупал бы бабушке что-нибудь хорошее за то, что он меня воспитал» (анкета И/13) и т. д.

И только один процент опрошиваемых рассматривает деньги как средство избавления от труда, причем и эти люди оговариваются, что они понимают возможность не работать как увеличение времени для учебы или для любимого вида творчества.

Сказанное подтверждается и другими материалами опроса. В одном из пунктов рабочему предлагалось выбрать наиболее соответствующее его взглядам суждение из следующих четырех (по четырехбалльной системе: +2; —2):

«Хороша любая работа, если она высоко оплачивается»;

«Нельзя забывать о зарработке, но основное — смысл работы, ее общественная ценность»;

«Зарботок — главное, но надо думать и о смысле работы»;

«Хороша та работа, где ты приносишь больше пользы, где ты необходим».

Ответы на третий вопрос дают средний балл +0,9.

Вообще выбор П а в л а (наивысшее число баллов) подтверждает наблюдение, которое сделали для себя и многие литераторы. В последнее время в любом кругу наивысшую оценку получает не волшебной, не удачливый, не знающий, даже не самый умный и талантливый работник, а именно тот, к которому приложим моральный критерий «порядочный человек». Отмечаемый в нашей литературе последних лет интерес к этическому аспекту любой проблемы есть лишь выражение тех внутренних процессов, которые протекают в советском обществе.

На примере работы В. Ольшанского и тем более В. Шубкина, объектом исследования которого стали «социально-психологические взаимоотношения личности

с научным коллективом»¹, легко заключить, что социологи проникают в сферу психологии и нравственной жизни общества количественными методами, статистическими рядами, но обрабатывают в конце концов то же поле, на котором трудится и писатель. Иногда даже метод социолога — «интервью» — напоминает писательские приемы. Должно быть, не случайно аспирант В. Ольшанский долго (неопознанным) работал слесарем-монтажником на том самом предприятии, на котором проводилась анкета. Это позволило ему проиллюстрировать цифровые итоги еще и убедительными индивидуальными примерами. Так, автор рассказал о крушении авторитета бригады, состоявшей, в сущности, из отличных ребят, к тому же студентов-вечерников. Бригаде этой вдобавок к действительным достижениям администрация приписывала еще несуществующие, ее назойливо восхваляли в многотиражке, по радио, бригадира постоянно выдвигали на почетные общественные посты, противопоставляя другим работникам. Рабочие стали относиться резко отрицательно к «выскачкам», «подхалимам», «хвастунам» (так их звали между собой). По социометрической анкете («С кем бы вы хотели работать?») члены бригады нахватили 209 черных шаров из 237 возможных, а при первом удобном случае их бригадира, выдвинутого на очередной общественный пост, единодушно забаллотировали (вспомним, что такой же была в конце концов судьба А н д р е я). В. Ольшанский говорит в этом случае о критериях, присущих конкретной социально-психологической группе, и приводит в пример другую группу — коллектив многотиражки. Рабочие из передовой бригады считают нечестным заявить о несделанной работе, будто она выполнена, тогда как журналистский коллектив, совершая такие поступки, не считает, что это противоречит моральному кодексу: ведь «главное для журналиста — видеть тенденцию»!

СОЦИОЛОГИ И СОЦИОГРАФЫ

Это словечко — «социография» — я услышал впервые в Венгрии. В Будапеште я провел целый день в социологическом центре при Академии наук. В конце беседы гостеприимные хозяева предложили познакомить московского писателя «со своими социографами». Как известно, на Западе нет термина, соответствующего нашему «художественному очерку». Там пользуются широкими и неопределенными понятиями, как «невывышенная литература», «документальный жанр», или более узкими определениями: «репортаж», «эссе», «скитце». В последнее время к рассказам и очеркам, исследующим современное общество, приросло это характерное словечко — «социография», ближе всего стоящее к нашему «очерку нравов».

Мне хотелось бы, чтобы выразительное слово «социограф» прижилось и в нашем литературном обиходе. Кроме того, считаю, что пример тесных связей, существующих между венгерскими социологами и социографами, заслуживает подражания, ибо ученые и писатели в самом деле вершат общее дело. Из уст таких ученых, как Ю. Замошкин, В. Шубкин, В. Ольшанский, В. Ядов, Н. Наумова, мы не раз слышали признание заслуг литераторов перед социологией. По словам социологов, в тот период, когда их наука была на положении Золушки, социальные писатели, прежде всего очеркисты, успешно выполняли функцию дотошных исследователей советского общества. Чаще всего называют при этом «Районные будни» В. Овечкина и «Деревенский дневник» Е. Дороша, не забывая прибавить, что автор «Дневника» пользовался испытанным в социологии методом «панельно-

¹ За недостатком места отсылаю интересующихся к этой исключительно интересной для писателя работе о «Количественных методах в социологии». Она напомнит читателю игру в «характеристики» из «Ночей» П. Морана, модную у нас в тридцатых годах, а также определение Л. Толстого, назвавшего человека дробью, в которой числитель то, что он собой представляет, а знаменатель — что о себе думает. Оказывается, в руках социологов подобные игры, подвергаясь тончайшему анализу, являются ценным источником для характеристики личности и коллектива.

го» исследования, когда наблюдения накладываются последовательно, с интервалами, на один и тот же объект. Впрочем, в том, что литература служит источником неоченимой социологической информации, мы никогда не сомневались. Об этом можно прочесть и у классиков марксизма (вспомним хотя бы оценку Бальзака Энгельсом), и у многих современных социологов, например в известном недавнем бестселлере Вэнса Паккарда «Погоня за статусом», где по поводу повести Макса Шульмана «Собирайтесь вокруг флага, ребята!» написано: «Эта повесть показала, что беллетрист может стать лучшим исследователем социальных конфликтов, чем даже социолог!»

Толчком для раздумий о более тесных, деловых (не ограничивающихся одной только взаимной информацией) связях между советскими социологами и социографами послужили также две памятные встречи на читательских конференциях.

Как-то в 106-й библиотеке Москвы, постоянно работающей с писателями и обеспечивающей квалифицированную аудиторию, я сослался на известное место из предисловия к «Человеческой комедии». Любое общество, по словам Бальзака, являет собой драму с тремя-четырьмя тысячами действующих лиц. Закончив весь цикл задуманных им романов, вместив в него две-три тысячи типов-характеров, писатель надеялся изобразить всю картину нравов своей эпохи. Не успел я объяснить цель ссылки на Бальзака, как один из читателей прервал меня вопросом:

— Не производилась ли у нас перепись литературного населения? И много ли р а з н ы х типов изобразили наши авторы?

Видимо, подобные мысли занимают многих, потому что позднее, в далеком уральском городке Сибее, я услышал голос еще одного читателя-скептика. Он утверждал, что современная литература проходит мимо большей части тех проблем и конфликтов нашего времени, которые волнуют советских людей.

Очевидно, в чем-то оба требовательных читателя правы.

Первый — потому что в самом деле не столь уж обильно «население» наших книг; конечно, если считать только оригинальные характеры, разные типы. Долгое время почему-то считалось, что действующие лица пьесы или герои романа «нетипичны», если за каждым из них не стоят миллионы прототипов. Пожалуй, нарушена была традиция русской литературы, которая умела даже в рассказах одного-единственного писателя воссоздать многолюднейшую энциклопедию русского быта. «Если бы... — утверждает К. Чуковский, — вдруг каким-нибудь чудом на московские улицы хлынули все люди, изображенные Чеховым, все эти полицейские, акушерки, актеры, портные, арестанты, повара, богомолки, педагоги, прости-тутки, помещики, архиереи, циркачи... (перечень занимает пять строк. — В. К.) — произошла бы ужасная свалка, ибо столь густого многолюдства не смогла бы вместить самая широкая площадь».

Второй читатель ориентировался, очевидно, на так называемый массовый поток литературных произведений, действительно разрабатывающий лишь немногие «вошедшие в моду» конфликты, сводя их к тому же к примитивной, трафаретной схеме.

В действительности мы вовсе не так бедны. Ну, скажем, можно было бы назвать напечатанные в истекшем году «Прощай, Гульсары!» Ч. Айтматова, «Бабий Яр» А. Кузнецова, «Привычное дело» В. Белова, «Кражу» В. Астафьева и другие. Но за год вышло в свет более трех тысяч художественных произведений, их раскупают, читают... А доступная широкому читателю критика мало помогает отбору действительно правдивых, проблемных, жизненных романов, повестей, очерков (если не направляет читателей по ложному следу).

Между тем социологи уже приучили нас оперировать большими массами «случаев», обнаруживая законы, которым они подчиняются. И я не вижу причин, почему бы самой художественной литературе не стать предметом научного социологического исследования. Зрелость социологической науки служит залогом того, что конкретные исследования в области литературы для нас полезны, что они будут плодотворны и не приведут к возрождению «вульгарного социологизма».

Предлагаю поставить перед наметившимся содружеством социологов и социографов увлекательные практические задачи, а именно:

проектировать опыт переписи литературного населения и некоей инвентаризации проблем (конфликтных ситуаций), поднятых художественными произведениями на разных этапах истории советского общества.

Литература, как и другие формы общественного сознания, уже не раз становилась объектом социологического анализа. В первую очередь социологи интересовались читательскими, зрительскими интересами, оценками и вообще эстетическими вкусами рабочих и интеллигенции. Назову, например, Свердловскую область, где за последние годы философы и социологи провели девять разных исследований вкусов читателей, зрителей кино, театров, музеев, охвативших 12 610 человек и еще шесть тысяч семей в рабочих поселках (изучались эстетические потребности и вкусы разных групп поселкового населения).

Сегодня социологи проводят массовое обследование интересов и вкусов читателей газеты «Известия». Ученые намерены собрать и так называемые объективные данные об опрашиваемых лицах и попытаться разработать типологию читателя газеты (а их много — таких типов!). Нечто подобное провела в эстонском городе Тарту городская газета «Эдази». Прислушавшись к мнению читателей, редакция поручила семи-восемью уважаемым в городе людям вести в газете (регулярно, всегда в определенные дни, на привычном месте) публицистические фельетоны на всякие вольные темы и др. Газета почти удвоила свой тираж.

На Западе давно уже изучают телезрителей, их реакции на различные программы, темы, проблемы и т. п. Там появилась книга М. и К. Ли «Прекрасное искусство пропаганды». Авторы изучают приемы буржуазной пропаганды. Они сформулировали, между прочим, наиболее распространенные приемы, назвав каждый из них «собственным именем» («навешивание ярлыков», «демагогическая апелляция к общепринятым стереотипам», «использование популярных символов», «простонародность», «ссылки на авторитеты, вплоть до суждений кинозвезд» и т. д.), а затем показали, какими средствами известные ораторы добиваются у слушателей желательных реакций.

Но позвольте, скажут мне: количественные методы, принятые на вооружение социологами, — и литература? Это несовместимо! И, наверно, вспомнят забавный анекдот о секретаре Тульского отделения Союза писателей, который хвалился ростом численности тульского отряда писателей: до революции в губернии был только один писатель — теперь двадцать пять! Но тем единственным оказался... Лев Толстой!

И все-таки вопрос не так прост. Во-первых, социология научилась даже градации качественных признаков личности выражать в количественной форме (этим занимается В. Шубкин). Во-вторых, нельзя утверждать, что количественными характеристиками вообще не уловить особенности образного мышления, хотя бы некоторых его важных сторон. Писатель, прежде всего «социальный», претендует на «типичность» своего «героя». Да, конечно, типичный образ — это совсем не обязательно наиболее повторяющийся в жизни, а скорее тот, который наиболее характерен, выявляет ту или иную тенденцию. И все-таки действующие лица романа, пьесы всегда претендуют на какую-то степень репрезентативности — и «ведущие» герои, и чудачки, чью оригинальность автор особо подчеркивает. Притом именно в «очерке нравов» (социография) писатель, как правило, делает зарисовки множества представителей той среды, которую изучает. Через многообразие типов и повторяющиеся конфликты он и подходит к изображению социального явления.

Скажем, вторая часть «Капли росы» Вл. Солоухина вовсе не «энциклопедия солнечного детства», как писали критики. Автор ведет за собой читателя в каждую из тридцати четырех изб деревеньки Оленино. Когда рассказывает побывальщину, когда просто перечисляет по именам всех, кто сегодня живет в избе, кто из братьев, сестер, детей перебрался за последние годы в город. По существу «Капля росы» — обстоятельное, документальное исследование, легко переводимое на язык

цифр (правда, все, что за пределами прямого исследования, цифрами уже не уловишь). Дотошный социолог мог бы завести индивидуальные карточки на каждого из жителей Олепина (их больше двухсот душ!), а потом уж сгруппировать эти карточки по полу и возрасту, месту жительства, роду занятий и т. п. Пользуясь этим литературным очерком как единственным источником информации, ученый дал бы убедительные характеристики по-своему типичной деревеньки Олепино: масштабам миграции в промышленном поясе, ненормальной поло-возрастной структуре населения, трудным судьбам женщин, неожиданному обилию «должностей» в опустевшей деревне и т. п. Конечно, читатель, и не произведя статистических выкладок, отлично усвоил суть изображенной Солоухиным драмы — исхода деревни... Этим примером я подчеркиваю лишь некоторое сходство количественных приемов «очерка нравов» и социологических исследований. Понятно, что для научного анализа явления, изображенного Солоухиным, понадобилось бы привлечь и другие материалы, например статистические.

Раздумывая над вторым своим предложением, которое иронично обозначено как «инвентаризация проблем и конфликтов», представленных в литературе, я попробовал применить к своей книжке «Ты и Вы» методы статистического анализа, благо В Шубкин назвал ее типичным социологическим исследованием нравов. Оказалось, что книжечка, негодующая против обидного обычая неравноправного тыканья «сверху», содержит около ста сюжетов, ситуаций, конфликтов. В каждом эпизоде раскрыта логика поведения того, кто тыкает, и реакция человека, подвергшегося этому обращению. При желании эти конфликты можно распределить по группам, выстроить их в ряд по градациям бескультурья, бездумного поведения, лицемерия, барских привычек, хамства, чванства.

Не приходится спорить: писателям в какой-то мере импонирует строгая научная (количественная) основа социологических исследований. Физиолог Сеченов назвал человека самой причудливой машиной в мире. Казалось бы, кому-кому, а уж писателям очевидна причудливость, особливость личности, безмерная сложность общественных связей. Но вот не кто другой, как поэт-пролеткультовец Алексей Гастев — правда, он еще и ученый, — выразил свою (нет, нашу!) мечту о социальной инженерии, об эпохе, когда, например, «вопросы труда будут решаться научно, на основе таких же точных измерений, как в технике: формул, чертежей, контрольных приборов, социальных нормалей, выведенных из данных экономики, физиологии, психологии». Недавно на социологическом симпозиуме в Сухуми мы выслушали сходные мысли от академика А. М. Румянцева.

И «перепись» и «инвентаризация» — типичные социологические исследования, тут ученый и книги в руки. Работа эта трудоемкая, методология должна быть изощренной, чтобы не дай бог не спровоцировать вспышки вулгарного социологизма, от которого литература и искусство немало пострадали, когда и Пушкин выдавался за представителя мелкопоместного служилого дворянства. Перепись, вне всякого сомнения, будет пользоваться методами выборки. Руководить ею будет штаб ученых и литераторов, армию исполнителей наберут, очевидно, из квалифицированных студентов философских, литературных, исторических факультетов. Во время одного неофициального «круглого стола» на сухумском симпозиуме я изложил свои предложения о переписи «литературного населения» и встретил понимание и заинтересованность ведущих наших социологов Ю. Замошкина, В. Шубкина, В. Ядова и других.

Предвижу бесчисленные аспекты, в которых предстанет литература после того, как ее произведения подвергнут массовому исследованию социологическими методами. Естественно, ученые не станут посягать на оценку художественных образов, композиции, языка — это дело лингвистов, литературоведов. Зато социологический анализ позволит отчасти судить, в какой мере литература справляется с функцией отражения жизни.

Как же интересно будет сравнить друг с другом «литературное население» (со всем присущим его представителям социальным миром — коммуникациями, идеями, конфликтами), «обитающее» в таких литературных изданиях, как жур-

налы (отдельно: в журналах семейного чтения — «Огоньке», «Работнице», «Ниве»), книги, изданные ведущими центральными издательствами, и книги, появившиеся в областях; очерки, печатаемые в «Комсомольской правде», «Известиях», «Литературной газете», и в сравнении с ними — очерки в областных, очерки в районных газетах.

По картотеке социальных типов, изображенных в литературе, можно будет нагляднее представить себе и заселенность литературы, и зияющие пробелы в отображении разных сторон жизни. Перечень этических проблем, поднятых писателями, сам по себе полон захватывающего интереса. Нужно при этом знать, что, хотя социологи опираются на количественные методы, у них в арсенале не одни только цифры. Ученые широко используют метод интервью, углубляются в социальную психологию. Они вводят в свой текст индивидуальные характеристики, подпирющие итоги или свидетельствующие об отклонении от средних.

В общем, как мне представляется, добросовестная выборочная «перепись литературного населения и конфликтов» обогатила бы наши представления сразу в нескольких направлениях. Например, позволила бы полнее характеризовать близость литературы к жизни, охват ею жизненных явлений, общественное мнение, остро реагирующее на поднятые в литературе проблемы, само советское общество во многих его аспектах; и наконец механизм «обратной связи» в сфере «жизнь — литература — жизнь».

Но и этим, как мне представляется, не исчерпываются формы связи социологов с литераторами. Предвижу, что литераторы станут принимать участие (с начальной стадии) в новых конкретных социологических исследованиях.

Известно, что в нашем хозяйстве проводятся различные эксперименты. Формулированию основных положений реформы управления предшествовали, например, экономические опыты в двух автохозяйствах, на швейной фабрике «Большевичка» и др. Проверяли новые стимулы труда и методы управления, причем на время эксперимента опытное предприятие выводилось из-под действия многих плановых, экономических, финансовых правил и законов.

Не сомневаюсь, что сегодня оправданы были бы куда более смелые, и не только экономические, а в полном смысле слова социальные эксперименты на особо отобранных заводах, в колхозах и т. п.

Как уместно было бы провести на нескольких средних типичных предприятиях широко продуманный, неторопливый эксперимент — конечно, во всех отношениях более значительный, чем в Хотторне. Он дал бы исключительно ценный материал и литераторам и ученым. Можно было бы, например, изучить, как люди стали бы работать в условиях гарантированного материального снабжения. без простоев и штурмовщины. Можно будет оценить эффективность разных систем заработной платы, осуществить разные принципы подбора цеховой администрации или ее выборность, а также проверить действенность «интеллигентного» стиля руководства в опытном предприятии, когда он будет обязателен на всех уровнях. И так далее и тому подобное...

В штаб такого экспериментального предприятия войдут, очевидно, инженер по НОТу, экономист, социолог, физиолог, психолог и писатель. И опять-таки, какое поразительно богатое поле социальной информации открылось бы не только перед социологом, но и перед писателем, по сущности своей профессии неравнодушным к проблемам так называемой футурологии. Конечно, член такого заводского штаба, писатель, не стал бы ограничивать себя лишь описанием самого эксперимента...

Словом, содружество литераторов с социологами принесет, как мне кажется, добрые плоды.



В МИРЕ ИСКУССТВА

А. КАМЕНСКИЙ

★

ПОЭЗИЯ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Октябрьская революция и вызванные ею преобразования в жизни определили основное содержание советского изобразительного искусства на всем пути его развития.

Конечно, воздействие революции на искусство надо понимать широко, имея в виду не только непосредственное изображение событий и героев Октября, гражданской войны и последующих эпох истории нашего государства. Идеи и дела революции явились почвой, духовной материей всех произведений, где запечатлен новый характер мировосприятия, людской психологии, где воссоздано ощущение атмосферы повседневности и звучат лирические диалоги человека с природой.

На оселке искусства испытываются любые общественные системы и экономические структуры. Как живет человек, что наполняет его будни, с чем они мечтают, в чем видят красоту — повествуя об этом, художники прямо или косвенно судят о жизни своего времени, своей страны. Поэтический строй искусства, внушаемые им представления о прекрасном — отпечаток духовной сути эпохи.

На протяжении всей своей полувековой истории советское изобразительное искусство — если говорить о лучших его мастерах и произведениях — жило и дышало поэзией человечности.

Еще во времена Рублева и Дионисия были заложены основы великой гуманистической традиции русского искусства. Она обогатилась сложным и многокрасочным, нередко драматическим, выстраданным опытом художественного творчества последующих эпох. Вторая половина XIX века соеди-

нила высокий духовный строй произведений крупнейших из своих предшественников с открытой, благородной гражданской направленностью. Талантливые мастера русской живописи и скульптуры начала XX века, предчувствуя революцию и мечтая о будущей жизни как о царстве справедливости и душевной чистоты, создавали произведения, в которых звучали гимны красоте мира и человека.

На совершенно новом жизненном материале и с новых позиций эти гуманистические порывы, борьбу за человеческое счастье продолжило советское искусство. Его знамя — революционный гуманизм.

В. И. Ленин, коммунистическая партия поддерживали и направляли плодотворные попытки строительства нового, революционного искусства. Социалистическая идейность, верность правде народной жизни, делу революции были для них исходным мерилом оценки произведений художников. При этом никогда, даже в качестве программы-минимум, партия не поддерживала «пригонку художественных произведений на примитивно революционные колодки» (слова А. В. Луначарского). Только глубокое постижение реальных жизненных процессов, общественного, духовного опыта времени, отлившееся в образы большой художественной силы, по-настоящему отвечало интересам и задачам революции.

Ленин, ведущие теоретики партии были убеждены, что советское искусство пойдет по пути реализма, — и время доказало обоснованность и прозорливость такого убеждения. Общеизвестно, что Ленин резко выступал против попытки нигилистического отрицания классического художественного

наследия, против «бессознательного почтения к художественной моде, господствующей на Западе».

Но вместе с тем Ленин говорил (в беседе с Кларой Цеткин), что «должно вырасти действительно новое, великое коммунистическое искусство, которое создаст форму соответственно своему содержанию». Создание такой формы — дело нелегкое и небыстрое. Искусство революционной эпохи, овладевая традициями классического реализма, не могло, конечно, ограничиться простым их повторением — необходимым было их обновление и развитие в духе требований нового времени.

Очевидно, немислимо было попросту взять и механически приспособить художественный язык предыдущих времен для «выражения себя», для воплощения духа новой эпохи, ее повседневной жизни, идеалов, мечтаний и страстей. Создать образы революционного времени, найти для этого необходимые формы и средства — вот что было центральной проблемой искусства Советской страны после победы Октября.

Тут решающее слово принадлежало практике работы художников, творческому опыту, который складывался в итоге свободного соревнования различных школ и направлений. В резолюции ЦК «О политике партии в области художественной литературы» (1925) отмечалось: «...партия в целом отноудь не может связать себя приверженностью к какому-либо направлению в области литературной формы. Руководя литературой в целом, партия так же мало может поддерживать какую-либо одну фракцию литературы (классифицируя эти фракции по различию взглядов на форму и стиль), как мало она может решать резолюциями вопросы о форме семьи... Все заставляет предполагать, что стиль, соответствующий эпохе, будет создан, но он будет создан другими методами, и решение этого вопроса еще не наметилось... Поэтому партия должна высказываться за свободное соревнование различных группировок и течений в данной области. Всякое иное решение вопроса было бы казенно-бюрократическим псевдорешением».

Поиски «стиля, соответствующего эпохе», продолжались на протяжении всего полувекового пути советского изобразительного искусства. Они привели к значительным находкам, художественным открытиям и за-

воеваниям. Причем задача отбора традиций, обновления и развития их в ходе изображения современности почти сразу же стала сочетаться для советских художников с не менее сложной задачей установления преемственности не раз сменявшихся на протяжении полувека образно-стилевых концепций и приемов.

В большой книге, посвященной мастерам и проблемам советского изобразительного искусства, можно попытаться ответить на некоторые из упомянутых вопросов или хотя бы наметить пути к их исследованию. В журнальной статье это, конечно, невозможно. Есть десятки и десятки художников, работ, явлений, которые равнозначны тем, о которых пойдет речь в статье (а то и значительнее их), но которые в статью не вошли. По преимуществу здесь говорится о советских художниках разных поколений, чье творчество почему-либо еще не получило достойной оценки (или, на мой взгляд, не вполне верно понято). Замечу к слову, что за последние годы были опубликованы (в том числе и на страницах «Нового мира») мои работы о творчестве С. Коненкова, М. Сарьяна, В. Фаворского, С. Герасимова, А. Дейнеки, А. Тышлера, Ю. Пименова, С. Чуйкова, Кукрыникова, Д. Шмаринова, А. Гончарова и других художников — понятно, что тут я к ним не возвращаюсь.

Итак, это эскизные заметки о некоторых мастерах и проблемах советского изобразительного искусства, об отдельных чертах и разноликих конкретных вариантах собственной ему поэзии человечности.

* * *

К. С. Петров-Водкин — один из тех художников, чье творчество органично и крепко связало некоторые значительные традиции русской живописи с искусством новых, послереволюционных времен.

Это прежде всего традиция широких философских обобщений, воплощающих духовный опыт своей эпохи. Она идет еще от Андрея Рублева, а в более близкие к нам времена продолжена А. Ивановым и М. Врубелем.

Уже в первой своей подлинно зрелой вещи — знаменитом «Купании красного коня» (1912) — Петров-Водкин предстал как мастер монументального стиля, чье поэтическое иносказание вбирает в себя сокровен-

ные размышления и мечты современников. Сказочно-прекрасный мир этого полотна — это мир воображаемого будущего, царства свободы, раскованных, естественных человеческих чувств, гармоничного слияния с природой. Сходные по своему эмоциональному ладу мечтательные образы грядущего золотого века создавали в десятых годах многие из лучших художников России. Пожалуй, Петров-Водкин достигает наибольшей широты и обобщенности поэтического символа. Еще в русском фольклоре образ скачущего коня нередко служил метафорой надвигающихся великих перемен. В пушкинском «куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта», в гоголевской «птице-тройке», в блоковской «степной кобылице» самые судьбы России уподобляются скоку-полету коня по далекой, бескрайней дороге. Петров-Водкин дает новую жизнь этому традиционному образу, связывая его с умонастроениями русских людей в десятые годы нынешнего века, когда самый воздух эпохи был насыщен предчувствием революции.

При всей отвлеченности сюжетного решения и полном отсутствии жанрово-конкретных деталей, «Купание красного коня» имеет глубоко национальный характер. Оно воссоздает перетолкованные на новый, современный лад приемы древнерусской иконописи, причем не только ее звонкие, насыщенные локальные пласты цвета, музыку ритмов, условность трактовки пространства, но и лирический строй, строгую и возвышенную духовную сосредоточенность.

С высокими и сокровенными традициями русской мысли связано стремление художника создать в «Купании красного коня» пророческий образ, мечтательное предвестие судеб будущего. Впрочем, в нескольких иных больших полотнах предреволюционных лет («Мать», 1913; «Девушки на Волге», 1915; «Утро», 1917) по-прежнему широкое и обобщенное решение образов сочетается с отчетливой национальной характерностью персонажей и пейзажных мотивов.

Всем строем своих размышлений о судьбах родины, всем характером своих образных концепций Петров-Водкин был подготовлен к тому, чтобы воспринять Октябрьскую революцию как событие закономерное и — пусть смутно, в самых общих эмоциональных чертах, — но предугаданное. Он стал одним из тех художников, которые

стремились показать в своих работах не хронику повседневности новой эпохи, а общечеловеческий смысл происшедшего, философскую суть событий, «где высшей страсти отданы места».

Вскоре после победы Октября появились картины, авторы которых трактовали революцию как рождение «новой планеты», как некий катаклизм, который смел с лица земли все старое и начал новый отсчет времени.

К. Петров-Водкин, напротив, стремится соединить революционную новь с поэзией лучших национальных традиций, с богатством и красотой вечных образов искусства. Он пишет в 1918 году, оформляя Петроград к первой годовщине Октября, огромное панно «Степан Разин», где образ народного героя был явственно осовременен и в ореоле своих легендарных подвигов словно бы входил в творимую историю наших дней как ее живой и непосредственный участник. Он создает в 1920 году так называемую «Петроградскую мадонну» («1918 год в Петрограде») — образ кормящей младенца молодой русской женщины на фоне живущего взволнованной жизнью города. Тут не только получающий современное звучание своеобразный сплав древнерусской иконописи и полотен Возрождения. Спокойно проникновенная лирика образа Матери, вознесенного над вихрем событий, неожиданным путем раскрывает их высокий человеческий смысл.

В нескольких композициях Петров-Водкин разрабатывает идею самопожертвования во имя победы революции. Эта идея осязательна, например, в картине «После боя» (1923), решенной весьма необычно: на первом плане — три бойца, скорбящих об убитом товарище, а в глубине, в холодном синем мареве, призрачная, как воспоминание, сцена гибели красноармейца.

Но это лишь первый опыт воплощения большой темы, пожалуй, не лишенный некоторой нарочитости.

Зато продолжающая ту же тематическую линию картина «Смерть комиссара» (1928) обладает глубокой органичностью решения. Это одно из классических произведений советской живописи.

Чтобы войти в образный мир этой картины Петрова-Водкина, надо постичь ее особый, во многом символический строй, необычность которого начинается уже с пространственного решения композиции

В своей книге «Пространство Эвклида» художник вспоминает, как однажды в детстве он гулял по холму и, резко бросившись наземь, вдруг «увидел землю, как планету... я очутился как бы в чаше, накрытой трехчетвертьшаром небесного свода. Неожиданная, совершенно новая сферичность обняла меня на этом затоновском холме».

Разумеется, было бы наивностью полагать, что эти вот по-детски острые, полусказочные впечатления встречи с неведомым миром легли в основу художественной системы Петрова-Водкина. Но, запав в душу, они помогли живописцу, когда он, уже в зрелые годы, напряженно искал приемы и средства для широких поэтических обобщений. В своих полотнах Петров-Водкин с чеканной ясностью, осязаемой материальностью изображает отдельные фигуры и детали. Но чаще всего они помещены в условную среду, которую образуют и необычность точки зрения, и сложные смещения привычных масштабов и пропорций (фотографическая точность при этом исчезает, но зато возникает новая реальность — восприятия и представления); наконец — во многих случаях — «планетарность» пейзажного фона, плоского или сферического, который придает изображению монументальный размах, значение всеобщности.

И в «Смерти комиссара» действие развивается не на такой-то полянке или опушке, а в необозримых пространствах, на всей земле, во всем огромном, безбрежном мире. Эта «планетарность» изображенного ландшафта придает сцене совершенно особый смысл: место действия — земной шар, зритель — все человечество.

Так с первого же взгляда на картину ощущаешь особую значительность происходящего, и это достигнуто без ложной патетики и уж тем более иллюстративности.

Изображение мира в целом имеет тут и другой смысловой оттенок. Ведь раненый комиссар умирает, прощается с землей, которая предстает его угасающему взгляду как последнее видение, как образ уходящей жизни. И сейчас для героя картины земля уже не столько зримый ландшафт, сколько воспоминание — вся вместе, со всеми своими полями, холмами, селениями, со всеми своими красками, которые остывают и блекнут, туманятся в его представлении.

(Такого рода космичность образов нередко встречается в советской литературе двадцатых годов — у Бабеля, Платонова, не го-

воря уж про Маяковского. Впрочем, Петров-Водкин скорее смыкается с этой традицией, чем испытывает ее прямое влияние: ведь с ранней поры творчества он «видит землю, как планету», — с этим философско-поэтическим строем живописи художника связана, в частности, и разработанная им композиционная теория «сферического пространства».)

Глазами умирающего комиссара увидено и движение отряда, которым он руководил: бойцы не идут, а в странно-растянутом ритме, словно потеряв весомость, парят над полем.

Но фигуры первого плана — сам комиссар и обнявший его слабеющее тело товарищ — показаны с предельной четкостью, без внешнего острашения: тут вступает в силу иной отсчет восприятия — от зрителя. Однако взаимоотношения двух этих центральных персонажей картины также не вполне обычны. Их объятие безотчетно, они ведь даже не глядят друг на друга, не вступают в прямое психологическое общение. Каждый полностью погружен в себя, без остатка захвачен внутренним движением мысли. Ибо показан момент высшего откровения, когда вдруг перед людьми раскрывается все самое главное в жизни.

Дело революции и есть здесь стержень главного, суть жизненного призвания, «смысл философии всей». И не в том, разумеется, это выражено, что комиссар, как это написано в одном каталоге, «торопит красноармейцев выполнить их боевой долг», что он, умирая, волевым взглядом следит за маршем удаляющегося отряда (смотрит-то он ввысь, в пространство, в будущее, и глаза его стекленеют). Ведь в том-то и состоит особое значение картины Петрова-Водкина, что он, раздвигая границы узкоконкретного действия, придал ему едва ли не космические масштабы, показал революцию как событие, связанное с судьбами всего земного шара, как средоточие высоких порывов и душевной чистоты, как достигнутую ценой жертв и крови победу прекрасной, торжествующей человечности.

В нескольких других сюжетных композициях, в большом цикле портретов и натюрмортов Кузьма Петров-Водкин запечатлевает многие существенные грани духовной жизни России в послереволюционные годы. Герой замечательной повести Андрея Платонова «Сокровенный человек» однажды с

потрясающей ясностью прозрения вдруг увидел «роскошь жизни и неистовство смелой природы, неимоверной в тишине и в действии... Он постепенно догадывался о самом важном и мучительном. Он даже остановился, опустив глаза,— нечаянное в душе возвратилось к нему. Отчаянная природа перешла в людей и в смелость революции».

Вот именно такая, охватывающая все бытие в целом, подмечающая сцепление и взаимодействия самых разнородных вещей, зоркость художественного взгляда свойственна творчеству К. Петрова-Водкина. Его картины вобрали в себя поэзию, философию, человеческое содержание первых десятилетий революции в России.

* * *

В советской портретной скульптуре господствуют две ведущие жанрово-тематические тенденции: создание образов героико-романтического плана и разработка сложных, многоплановых психологических повествований о современниках.

Разумеется, эти тенденции не противостоят друг другу, не существуют в строго отграниченной раздельности. Они взаимодействуют, переплетаются, и, пожалуй, как раз их скрещение порождает наиболее удачные результаты.

Само это скрещение сложно, многозначно. Встречаются, например, монументальные портретные композиции, в которых при общем возвышенно-героическом строе образа тонко прослеживаются и оттенки движения мысли, рефлексы душевной жизни (некоторые бюсты из «Ленинианы» Н. Андреева, серия портретов В. Мухиной, ряд портретов И. Шадра). Создавались и вещи, в которых нет обобщающей концентрации, законченных формул человеческих качеств: в них динамика характера развертывается как бы на глазах у зрителя. Но художник раскрывает в этом характере такую значительность, что портрет воспринимается как живое воплощение духовного опыта времени, его сильнейших импульсов.

Динамика характера (а иногда и его становление, развитие во времени) встречается во многих работах скульптора Сарры Лебедевой, имя которой по праву нужно называть в ряду самых крупных и своеобразных мастеров советского портретного искусства. В своих произведениях она не претендует на символическую многозначитель-

ность, на такую форму обобщения, которая как бы вознесена над конкретным жизненным опытом человека. Обычно она не выходит за рамки индивидуальных образов.

Но это образы такой емкости и многогранности, что дают отчетливое представление и о людях и о времени, которое их встретило.

Критиков иногда упрекают (и вполне справедливо!), что они, рассуждая о портретах, начинают говорить не столько о работе художника, сколько о личности изображенных людей. Но портреты, созданные С. Лебедевой, просто требуют, чтобы в связи с ними речь шла в первую очередь о запечатленных характерах. Ибо эти характеры не только постигнуты с удивительной зоркостью (что само по себе чрезвычайно интересно и ценно), но, став образом, воспринимаются как открытия мастера.

Таковыми открытиями явились многие портреты С. Лебедевой, и прежде всего — ее изображения выдающихся революционеров, созданные на протяжении двадцатых—тридцатых годов.

Широко известно пожелание Маркса и Энгельса, чтобы деятели революции «были, наконец, изображены суровыми рембрандтовскими красками во всей своей жизненной правде». «Во всех существующих описаниях,— продолжают Маркс и Энгельс,— эти лица никогда не изображаются в их реальном, а лишь в официальном виде, с котурнами на ногах и с ореолом вокруг головы. В этих восторженно преображенных рафаэлевских портретах пропадает вся правдивость изображения».

Нельзя не признать, что в портретах революционных деятелей, созданных нашими художниками, суровые рембрандтовские краски встречались не так уж часто. С. Лебедева — убежденный их приверженец.

Ее портрет Ф. Э. Дзержинского (1925), на мой взгляд, лучший из всех поныне созданных изображений «железного Феликса». «В его скованном, по скулам широком, асимметричном лице, с тонкими и красивыми чертами я все время чувствовала внутреннее горение», — писала С. Лебедева о своей работе над бюстом Дзержинского. И действительно, на остром, драматическом сочетании внешней скованности и внутреннего горения построен этот портрет. Поначалу видишь спокойное, немного усталое выражение худого лица, его тонкие, сложного ри-

сунка черты, мужественную, благородную красоту. Однако резкая, колючая острота силуэта (не только профильного, медально-четкого, но и увиденного с любой иной точки зрения) нарушает, ломает это спокойствие. А линейный ритм портрета — стремительный, порывистый, безостановочный, словно витки натянутой пружины, — заставляет почувствовать, какая энергия клокочет в этом изможденном человеке, какая бурная действительность ему присуща. И тогда замечаешь нервный зигзаг изогнутых бровей, глубокие борозды складок лица, сосредоточенный, полный размышления взгляд — отсветы огромной, напряженной работы ума, яростной, клокочущей, но подчиненной могучей воле.

С. Лебедева вспоминает, что, когда бюст был закончен, один из сотрудников Дзержинского сказал: «Похоже очень, но суровым вы Ф. Э. сделали». Дзержинский на это ответил: «На таком деле посидишь — ангелом не станешь, такой и есть».

Да, в лебедевском портрете Дзержинского действительно нет ничего «ангельского», смягченного. Но его суровость особого свойства. Она — от предельного напряжения сил, от целеустремленности труднейшей работы во имя провозглашенных революцией великих светлых идеалов. Печать этой целеустремленности лежит на всем облике Феликса Дзержинского.

В портрете одного из близких соратников Ленина, А. Д. Цюрупы (1927), также нет внешней гармоничности, безмятежного благообразия или натянутой представительности. Тут все построено на асимметрии: голова поставлена несколько косо, стороны лица неравны, рисунок бровей неодинаков, волосы направлены вверх и вбок. Эта сложная динамика пропорций придает крупным, резким чертам лица Цюрупы особую живость выражения. Весь он нескладный, неровный, необтекаемый, но костяк его лица крепок и силен, в плотно сжатых губах и крутом очерке подбородка — настойчивая, твердая воля.

Если бы понадобилось определить одним словом характер, запечатленный в портрете П. П. Постышева (1935), то его нетрудно было бы найти — убежденность. Он свято верит в свою правоту, и это здесь чувствуется во всем: в твердых, четких контурах простого скуластого лица, в упрямом ежике волос, в решительности взгляда, наконец в собранности, энергичной готовности к

действию, которые так ясно видны во всем его облике. Да, такой человек не дрогнет душой, не отступит, защищая то, во что он верит...

Обращает внимание, что Постышев изображен в этом портрете несколько моложе, чем он на самом деле выглядел в 1935 году, а в припухлых губах и маленьком подбородке есть даже какая-то юношеская мягкость. Не думаю, что скульптор совершил умышленное «омоложение», — Лебедевой это абсолютно не свойственно. Скорее всего она подметила в Постышеве не угасшую с годами молодую горячность, открытость, открытость (а они иногда оборачиваются незащищенностью, неумением и нежеланием гибко применяться к обстоятельствам) и посчитала нужным как-то отметить это в портрете.

Лебедева никогда не идет на внешнее, нарочитое «приподымание» образа. Никого она не ставит на котурны, никому не создает искусственного ореола, и самые прославленные современники предстают в ее изображении во всей своей жизненной сложности.

Вот этюд головы Валерия Чкалова (1936). Это не вполне законченная работа (Чкалов дважды позировал скульптору, но начавшаяся подготовка к знаменитым перелетам, а затем трагическая гибель летчика оборвали сеансы).

Незавершенность произведения обнажает приемы работы над ним. Тут есть какая-то особо строгая дисциплина формы. Блок гипса (переведенного затем в бронзу) монолитен, и, чтобы не нарушить его компактности, Лебедева лишь наметила раковины ушей, сомкнула волосы в густую ровную массу. Глазницы, нос, губы обозначены крупно и резко, они прочно влиты в поверхность лица, не прорывая ее. Ритм энергичных мазков лепки имеет центростремительную направленность, и это придает бюсту особую собранность. Такая динамика формы наделяет бюст еще одним удивительным качеством. Его композиция четко определена, обладает устойчивым внутренним равновесием. А вместе с тем динамика ритма не замыкается в пределах скульптуры, срывается в пространство, и две стороны лица, резко раскинутые под острым углом, как два расправленных крыла, рассекают воздух.

Сосредоточенное лицо летчика строго, даже несколько холодно, как у полководца перед боем. Этот человек — сгусток воли,

способной творить чудеса, но требующей постоянной полной мобилизации сил. Вдохновение и трезвый расчет, открытость и сдержанная сила — вот основные грани образа Валерия Чкалова, созданного скульптором.

В работах Лебедевой никогда не встретишь простой фиксации, мимолетного наблюдения. Острота мимики, кажущаяся случайность выражения лица для нее лишь прием, с помощью которого скульптор достигает впечатления жизненной непосредственности. За этим стоит долгое, пристальное изучение модели, тщательный выбор такого психологического состояния, экспрессии, позы, чем-то особо примечательного (пусть мгновенного!) выражения лица, которые позволяют войти в живое общение с изображенным человеком, оказываются ключом к его духовному миру.

Бывает, художник решит формальную композицию портрета, напишет или вылепит маску лица, плоскости фигуры, а затем уже начинает «наводить психологию» с помощью тех или иных внешне повествовательных приемов.

С. Лебедева мыслит, как психолог, от начала до завершения работы над портретом, ни на мгновение не переставая быть скульптором. В создаваемых ею бюстах нет деталей безразличных, нейтральных по отношению к характеру. Черты его несет любая из пластических категорий ее работ.

Нескладность, неуклюжесть, какая-то зигзагообразная закрученность объемов и линейных контуров фигуры художника В. Е. Татлина (1943) — это, конечно, уже характер: угловатый, парадоксальный, решительно не считающийся с общепринятым. И несколько донкихотский в своей упрямой, фанатической увлеченности.

Сарра Лебедева чаще всего запечатлевает минуты трудных, напряженных размышлений человека. При этом ее портреты отнюдь не представляют собой каких-то оторванных от времени опытов психологического анализа. Каждый из запечатленных Лебедевой человеческих характеров — это грань эпохи, примечательная черта советской повседневности, и именно в этом качестве данные характеры прежде всего интересуют скульптора. Она отлично знает пути от неповторимого в своей человеческой конкретности индивидуального образа к широкому, общественному звучанию произведения.

Герои, мудрецы, рыцари революционного

действия, запечатленные Саррой Лебедевой, — воплощение лучших качеств человека нашей эпохи. Именно поэтому можно с глубокой уверенностью утверждать, что в ее портретах живет и дышит советская современность.

* * *

Творчество А. Т. Матвеева — замечательный пример продолжения классических традиций в скульптуре, обновленных и развитых в духе требований современности.

Предшественники Матвеева в русской скульптуре — Паоло Трубецкой, А. С. Голубкина и другие — придерживались концепции непрерывного потока времени и движения, слияния пространства, света и пластической материи. Матвеев возрождает самоценность этих сплеченных у его предтеч категорий, но не разобщает их, а приводит в систему полифонического объединения. Строгая четкость силуэтов отграничивает его скульптуры от окружающего, но характерный для его фигур круговой разворот в пространстве заставляет увидеть огромное множество различных по рисунку и ритму очертаний, а это всякий раз меняет взаимоотношение статуи и пространства. Матвеев обычно исполняет вещи в твердых материалах, с предельной ясностью выявляя и подчеркивая объемную структуру тел, решительно отказывается от живописной манеры лепки, от нарочито неровной, взрыхленной фактуры, островками проступающей в перетеканиях светотеневых волн. Но в монолитных конструкциях скульптора тонко прослежена гибкость сочленений тел, осязатима их мягкость, живое, теплое дыхание. Свет, не прорывая поверхность, сохраняет, однако, важные действенные функции: его меняющиеся по ходу движения блики одушевляют фигуры, придают им большую многозначность выражения.

А. Матвеев использовал все важнейшие завоевания импрессионизма. Возвращение к натуре как исходному началу всякой работы, зоркость видения ее, постижение всех тонкостей ее пластической природы; сочетание целостно взятого «общего» с меткостью и точностью характеристики отдельных деталей, широкое, многосложное использование светотеневых, динамических эффектов, активное взаимодействие с окружающей пространственной средой, наконец отношение к скульптурной массе как к телу, живу-

щему жизнью одухотворенного существа,— все это в полной мере сохраняется у Матвеева. Но живописно-текущая аморфность изображения сменяется у него строгой, прочной тектоничностью, внешняя незаконченность исполнения — предельной четкостью формы, ясной закономерностью ее построения. На смену нервному, острому, импульсивному рассказу о впечатлениях, смятении чувств, порывам приходит спокойная уравновешенность, тяготение к идеальному, гармоническому.

Иными словами, Матвеев стремится соединить классические традиции с итогами опыта лучших скульпторов рубежа XIX—XX веков, как русских, так и иноземных. Это соединение порождает пластическую систему качественно нового характера.

Среди произведений Матвеева есть и замечательные миниатюры, и монументальные композиции, где воплощены и размышления о современности, и такие человеческие типы и характеры, которые отражают нравственные и эстетические идеалы времени. Таков замечательный памятник Карлу Марксу (1918), такова знаменитая композиция «Октябрь» (1927), законченная к десятой годовщине революции. Персонажам своей композиции — красноармейцу, рабочему, крестьянину — скульптор придал облик классических героев: они обнажены, их тела прекрасны, жесты спокойны и величавы. Но здесь нет и тени бесплотной сухости и заунывной дидактичности академических программ. Эти люди полны живых, нерастряченных сил, они — истинное воплощение справедливости, благородства, духовного и физического здоровья, воли к действию. Красота и возвышенность представлений о свободном человеке, воплощенных в композиции, ее великолепная, поистине совершенная в своей чеканной законченности пластическая форма делают эту работу классической.

В серии «Купальщиц», «Кариатид», «Девушек» двадцатых — тридцатых годов (завершением и обобщением этой серии явилась «Девушка (кариатида)» 1937 года) Матвеев создает современный идеал женской красоты. Это образ обретенного счастья, гармонии красоты, которая оказывается пластическим синонимом победы в многотрудной жизненной борьбе.

Также полны огромного внутреннего драматизма — при внешней сдержанности и

статичности — работы Матвеева, посвященные теме творчества, судьбе художника. Это его замечательный «Автопортрет» (1939), где служение искусству трактуется как суровый жизненный подвиг, требующий предельной целеустремленности и самоотверженности. Это этюды к неосуществленным проектам памятников поэтам Алишеру Навои (1942), Михаилу Лермонтову (1949). Это, наконец, портретная фигура А. С. Пушкина, над которой скульптор работал с 1938 года до самой смерти в 1960 году.

Композиция «А. С. Пушкин» поражает неожиданностью своего решения. Она вызывает в памяти слова Блока о том, что Пушкина «убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха». Матвеев создал образ человека с открытой, чистой, легко ранимой душой, который живет в страшном, жестоком мире и обречен им на гибель. Легким, почти невесомым касанием поэт прижимает руку к сердцу, словно прощаясь с жизнью. Есть какая-то щемящая душу беззащитность и в этом потрясающем своей выразительностью жесте, и в хрупкости тела, и в безмолвии лица, уже отмеченного печатью близкой смерти.

Но матвеевский Пушкин не только жертва, вызывающая сострадание. В статуе явственно звучит героическая тема, ибо изображенный скульптором поэт с несомненной решимостью принимает свою судьбу, сознательно совершает выбор. Он жертвует жизнью, чтобы не идти на унижительный компромисс со светской чернью, с грязной несправедливостью, чтобы не поступиться ничем, что ему дорого и свято, — свободой, честью, высоким человеческим достоинством, идеалами которых проникнута вся его поэзия. Мотив личной судьбы сплетается тут с открытыми гражданскими мотивами, столь близкая сердцу Матвеева идея «творчество — самопожертвование» обретает глубокий общественный смысл. Поэтому-то эта статуя, одна из лучших в полудекадовой Пушкиниане русского искусства, — это обобщенный образ поэта, творчества, понимаемого как жизненный подвиг.

* * *

«Связанные глубокими корнями с родной землей, родным бытом, — писал в своей автобиографии (1944) П. П. Кончаловский, — мы должны искать новый живописный язык, способный ярко выразить дух нашей эпохи».

Эти поиски Кончаловский начал еще в годы своей бурной молодости, когда выступил как новатор, рушащий привычные каноны и создающий живопись, где звонко и сильно звучит живой голос действительности. Он стремится соединить строгую логику пластических обобщений Сезанна с праздничной стихией русского народного искусства. В своих глубинных основах искусство Кончаловского уже и в начальную пору его развития было прочно связано с жизнью родной страны, с мечтой о торжестве свободы, человечности, полнокровной радости бытия.

Эту радость Кончаловский поет и славит в сотнях полотен советских лет. В отличие от работ ранней поры они обладают зрелой простотой живописного стиля, ясной выраженностью художественной идеи, мировосприятия.

Но, несмотря на эту простоту, зрителям и критике порой оказывались не вполне понятны взаимоотношения искусства живописца и окружавшей его жизни. А. В. Луначарский (в рецензии на персональную выставку мастера в 1933 году) очень точно определил, что именно озадачивало порой современников при встрече с полотнами Кончаловского (сам Луначарский, как увидим, находил убедительный ответ на возникавшие вопросы): «Кончаловский необыкновенно радостно воспринимает жизнь. Но разве в жизни нет горя? Страдания? Борьбы? Задач? У Кончаловского вообще мир выглядит так, словно земля есть уже счастливая планета, словно все люди и животные на ней счастливы и ничему так не радуются, как воздуху, воде, горам, долинам и своим дальним родственникам — деревьям и цветам... ни малейшего отражения той тяжелой, суровой и славной борьбы, которая на самом деле составляет содержание жизни его родины, ни тени тех страданий, которые сейчас в такой ужасающей степени омрачают существование человечества и покончить с которыми на всей земле — наша цель. Не есть ли это некоторая поверхностность? Не есть ли это даже закрывание каких-то внутренних «очей» для того, чтобы не видеть тревожного?»

Вопросы резонные. Ведь вот и Маяковский в 1926 году отчеканил свою известную формулу: «Надо жизнь сначала переделать, переделав — можно воспевать». И действительно, многие лучшие произведения советского искусства этого времени повествуют

о такой переделке, о борьбе за переустройство жизни на новый лад, борьбе трудной и суровой. А Кончаловский во второй половине двадцатых годов пишет целую серию картин, где изображен праздничный пир жизни, где воистину, по словам Луначарского, «мир выглядит так, словно земля есть уже счастливая планета».

Что же это — равнодушие к современной жизни в ее подлинном облике? Нарочитое замыкание себя в искусственном, выдуманном мире безмятежного счастья и благополучия?

Нет, такие суждения (а их отголоски иногда можно услышать и поныне) были бы решительно несправедливы.

В том же стихотворении «Сергею Есенину» Маяковский восклицал: «Надо вырвать радость у грядущих дней!» Это было одной из важнейших эстетических (и не только эстетических) задач эпохи. Кончаловский из тех, кто успешно ее решал. Потому-то А. В. Луначарский считал Кончаловского «одним из лучших мастеров нашей современной живописи». И пояснял при этом: «Мы должны помнить, что действительно жизнерадостность есть очень важная сторона социализма, один из важнейших элементов его фундамента... Нам нужна радость, нужны элементы ласки, ликования, ощущения биения здоровых сил, — они необходимы для нас и даже, может быть, особенно необходимы именно потому, что мы находимся в жестокой борьбе».

«Радость, ликование, ощущение биения здоровых сил» — главный пафос творчества Кончаловского. Свообразие его взаимоотношений с жизнью времени не должно затмевать сути дела.

Но надо в этом своеобразии разобраться более подробно. Искусство любого серьезного художника всегда прочно и многосторонне связано с жизнью времени, его общественной практикой, нравственными и эстетическими идеалами, с его интересами, побуждениями, борьбой, надеждами.

Но нередко эта связь сложна, опосредствованна, ее не втиснешь в рамки однозначных определений, не установишь при помощи прямолинейно-непосредственных параллелей с календарем событий. Художник может воплотить свое отношение к современности не только в формах конкретных повествований о людях, делах и днях эпохи, но и в иносказаниях, символах, при помощи переноса понятий, проекций в историю, ле-

генду, миф и, наконец, в общих чертах мировосприятия, образного строя, свойственных произведению.

Есть и многое множество иных видов сопряжения художника и эпохи «по касательной». Порой они связаны с национальными традициями в определенных жанрах — скажем, игрушки, лубки, изразцы, вышивки, лаки русских народных мастеров, как правило, яркие, нарядны, праздничны: само назначение искусства, по представлениям этих мастеров, в том и состоит, чтобы радовать людей, рассказывать им о веселом, безоблачном счастье, стремление к которому становилось тем более сильным и властным, чем тяжелее и безотраднее была подлинная жизнь. Случается, что какой-то поворот обстоятельств, иногда вовсе не первостепенных, позволял художнику увидеть и постичь какие-то неведомые, не познанные ранее грани красоты, и это настолько глубоко и бездонно захватывало его воображение, что он отдавал этому себя до конца. Стоит вспомнить в этой связи, что одновременно с потрясающими трагическими откровениями позднего Рембрандта создавались гармоничные полотна Вермеера. Автор «Возвращения блудного сына» по справедливости воспринимал как нечто глухо равнодушное, враждебное высоким страстям и гуманистическим идеалам, взлелеянным нидерландской революцией, рутину мелочно-расчетливого, прозаического бюргерского быта. Но Вермеер отклонил от этого быта некоторые его качества и сумел создать из них пленительно-светлую поэзию повседневного. В его живописи раскрыта красота самых простых вещей. Это художественное завоевание общечеловеческой значимости, но его, разумеется, нелепо ставить в прямо пропорциональные отношения с событиями и атмосферой своего времени.

Подобного рода сложно-опосредствованные взаимоотношения искусства и жизни встречаются в разные времена, в разных странах. Можно вспомнить французских импрессионистов, которые пошли наперекор претенциозной фальши и добропорядочной мещанской красоты салонно-академического искусства второй половины XIX века. Гонимые, отверженные, нищие, они самоотверженно и с поразительной силой внутренней убежденности боролись за то, чтобы вернуть искусству способность показывать

реальную красоту мира, живую пластику современного.

Можно вспомнить и о том, что многие крупные, талантливые мастера русского искусства начала XX века в своих произведениях изображали прекрасный, вольный, сверкающе-радостный праздник жизни, хотя окружавшая их действительность была на редкость тяжелой и мрачной. Но только вульгаризаторы могут обвинять таких художников в равнодушии к судьбам родной страны, родного народа. Ведь искусство этих мастеров вобрало в себя чаяния лучших людей русского общества, шедшего навстречу революции и, так сказать, мечтавшего вслух о прекрасной и радостной жизни при справедливом социальном устройстве.

Словом, формы раскрытия общественно-го, духовного опыта времени и взаимоотношения с ним художника могут быть — и нередко — весьма сложны, своеобразны и неожиданны.

Сложности такого рода встречаются и в истории советского искусства. Творчество П. П. Кончаловского — очевидный тому пример, причем далеко не единственный и отнюдь не самый сложный.

Суть дела в том, что живопись Кончаловского, осязательно-материальная, полная горячих жизненных соков, является и мечтательной о романтической. Не понимать этого — значит неверно представлять себе мировоззрение мастера. Никогда Кончаловский не отворачивался с холодным равнодушием эпикурейца от борьбы и страданий времени. Он и сам жил далеко не безоблачно, и в живописи своей бывал задумчиво-хмурым, даже трагичным. Но он принадлежал к числу тех советских художников, что стремились показать людям, каким прекрасным может быть мир, подарить им эту красоту, найдя для изображения последовательно современные поэтические и образно-зрительные средства. Мир полотен Кончаловского, при всей своей очевидной реальности, несет на себе печать романтического идеала. Художник воплощал его не только с блистательным мастерством, но и с уверенностью в высокой гуманистической миссии своего художнического дела. В этом-то и состоит секрет его феноменальной творческой энергии, потому-то в его мастерской каждое утро «начинался ежедневный праздник работы», как вспоминала же-

на художника О. В. Сурикова-Кончаловская.

Вскоре после революции становится особенно очевидной национальная характерность творчества Кончаловского. Примечательна в этом смысле «Новгородская серия», выполненная в двадцатые годы. В советской живописи, пожалуй, нет иных примеров столь убедительного и органичного воссоздания форм, пропорций, пластики древнерусской архитектуры. Да и сами новгородцы, показанные в полотнах серии, словно бы сошли со старинных фресок. И это не стилизация — она вообще никогда не была свойственна Кончаловскому. Нет, просто художник воочию убедился, какие глубокие народные корни у творчества авторов древней росписи храмов: здесь и в XX веке он нашел среди встреченных им новгородцев тот же, что и в старинных образах, национальный тип красоты, который запечатлен в обликах светлокудрого богатыря-рыбака, священника Виссариона и других новгородцев.

«Новгородская серия» послужила бесспорным и ярким доказательством того, насколько прочно связано самое мировосприятие живописца с русской жизнью, русской художественной культурой. Мы ощущаем это и в тех полотнах двадцатых годов, где Кончаловский перенимает на свой лад легенды, мотивы, образы, заимствованные из арсеналов западной классики. Он пишет «Геркулеса и Омфалу» (1928) как чудесную, веселую, полную светлых чувств сказку, и в роли мифологического героя здесь выступает простой русский мужик. В «Лежащей женщине» (1924) композиционная схема близка к «Данасе» Тициана (только перевернута слева направо), но идеал женской красоты здесь совсем иной, лишенный ореола недосягаемого, божественного величия, но и в то же время полный искренней, чистой поэтичности.

Маркс и Энгельс говорили о произведениях философа Фрэнсиса Бэкона, что в них «материя улыбается своим поэтически-чувственным блеском всему человеку». Вот такой же сверкающий, радостный, улыбающийся мир предстает перед зрителем в натюрмортах Кончаловского. Стоит взглянуть на его знаменитые «Сирени», особенно на любую из цикла «Сиреней героических», чтобы убедиться в этом. Какое гордое, зрелое, пышное великолепие у этих цветов, чьи ветки и кисти буйно раскинулись, словно взвих-

рившиеся к небу языки пламени! И в то же время какой влажной утренней свежестью веет от букетов, как хорошо, чисто становится на душе, когда соприкоснешься с их светлой, приветливой красотой!

Когда приглядываешься к живописи этих полотен, кажется, это — какое-то колдовство. Художник пишет лепесток одним движением кисти, изображает сложное по своей материальной и колористической структуре цветение при помощи простых и, казалось бы, очевидных приемов, что диву даешься. Но это простота, которая свидетельствует о зрелости, совершенстве мастерства. Кончаловский никогда не пересчитывал предметов, но смело шел на обобщение, чуждое субъективному произволу, основанное на вдумчивом, внимательнейшем изучении свойств природы, ее естественной выразительности. Глубина постижения природы, виртуозная техника позволяла мастеру не растворяться в материале природных форм и красок, иллюзорно копируя их, но уверенно подчинить изображение сквозной, ведущей образной идее.

В портретах художника можно проследить две линии. Одна из них по своему содержанию, окраске и настроению образов явно перекликается с теми радостными гимнами жизни, которые звучат в натюрмортах мастера. К произведениям такого типа относится «Портрет О. Кончаловской с ожерельем» (1925), «Портрет дочери» (1925), автопортрет с женою.

А другая линия портретов Кончаловского связана с острыми психологическими задачами, с напряженными, при всей своей внешней сдержанности, образами размышления, самопогруженности, глубокой задумчивости. Таков «Автопортрет» 1943 года. Таков портрет Всеволода Мейерхольда. Он был написан в 1938 году, незадолго до трагической гибели режиссера. В горьких складках усталого лица Мейерхольда, во всей его позе, одновременно небрежной и напряженной, — ответы тревог и печалей человека, переживающего трудную пору жизни. Но этот портрет не тризна, не элегия. Темный силуэт фигуры окружен, заполнен буйством причудливых красочных сочетаний фона, стремительным переплетением ритмов орнамента. Конечно, рядом с праздничным весельем красок особенно остро чувствуешь печаль, смятенность, горькую усталость изображенного человека. Но вместе с тем вся эта причудливая иг-

ра орнамента, бурный поток сталкивающихся, переплетающихся линий, форм и красок каким-то неожиданным, но очень метким ходом направляет наши мысли на воспоминания о красоте и силе воображения режиссера, его искрометной выдумке, виртуозном артистизме и блистательной творческой фантазии.

Я говорил уже, что в произведениях Кончаловского нередко словно бы слышишь своеобразную переключку с произведениями классиков. Художник поднимал пласты традиций прежних веков, изучал технику старых мастеров, созданные ими образы, поверяя все это своим ощущением нового времени, новой жизни.

«Понятие о картине, — говорил художник, — это не какая-нибудь Пифагорова теорема, она постоянно изменяется, в каждую эпоху определяется различно... Наша эпоха, несомненно, требует пока еще не найденного стиля живописи, нового живописного метода, действительно способного ярко выражать явления современности, говорить на ее языке, образно фиксировать самую ее сущность, ее дух».

Кончаловский — из тех художников-искателей, которые напряженно ищут глубокого, емкого соответствия пластического языка своего искусства с духом времени. Он стремился найти для своих полотен такой живописный стиль, который отличался бы простотой и ясностью и в то же время был бы гибким инструментом для воплощения чувств и мыслей человека наших дней. Причем менее всего Кончаловский занимался умозрительным конструированием живописной формы. Недаром он любил повторять знаменитые слова Сезанна: «Все мы должны стать классиками через природу», то есть через непосредственные наблюдения над натурой, над современностью, ее зрительным обликом и духовным опытом.

* * *

Совершенно особое место в советской живописи занимает творчество Павла Корина. Особое, ни с кем не сходное в нем все: творческая биография, духовный мир, образный строй, стилевая система. Это один из таких мастеров, чьи произведения совершенно не устраивают любителей составлять прямые пропорции между временем и искусством

Павел Корин родился в селе Палех, прославленном своими вековыми художественными традициями.

И прадед, и дед, и отец Павла Корина, и многочисленные его родственники по боковым линиям — все были иконописцами. Он вырос в атмосфере художественного ремесла, и вопрос о выборе профессии никогда и не стоял перед ним: сам Корин говорил, что он стал художником не только по призванию, но и по рождению.

С древними, веками устоявшимися традициями Корина связывало не только ремесло предков и родичей, но и вся жизнь Палеха: строго соблюдавшиеся бытовые обычаи, истовая религиозность, нравственные устои, представления о красоте, даже о национальной пластике русских лиц — в Палехе они сохранялись в своем не смешанном, стародавнем этническом типе.

Первые картины Корина написаны на сюжеты евангельской легенды. От революционных событий художник поначалу был в стороне. Впоследствии его взаимоотношения с ними были сложны, в некоторых аспектах драматичны.

На протяжении почти полутора десятилетий (1925—1937) художник пишет этюды и эскизы для композиции, которую А. М. Горький, высоко ценивший талант Корина и знакомый с его работами, предложил назвать «Уходящая Русь» (сам живописец больше склонялся к названию «Реквием»). Сюжет картины таков: по интерьеру Успенского собора в Кремле (в первых эскизах — по Соборной площади близ этого храма) медленно, в торжественно-скорбном молчании, под звуки заукобойной службы движется процессия. В ней участвуют представители высшего духовенства России — митрополиты, архимандриты, епископы и иные «князья церкви»; монахи и схимницы, церковные философы, слепые, юродивые, старые и молодые фанатики, безгранично преданные древней вере, порушенному революцией укладу жизни. Те, кто всем своим существом связан с дедовской стариной, с канувшим в небытие прошлым России, те, кому чужда, непонятна и ненавистна послереволюционная новь страны. Они уходят — навсегда, навечно, уходят в никуда, в смерть...

Образы всех персонажей задуманной композиции решены в подготовительных этюдах к ней. Впрочем, подготовительными их мо-

жно называть лишь условно — каждый из этих этюдов, бесспорно, обладает значением и ценностью законченного произведения.

Вглядимся в некоторые из этих этюдов.

«Митрополит Грифон» (1929). Маленький сутулый старик в пурпурно-золотом одеянии, с огромным, сверкающим драгоценностями посохом в руке. Он сжимает этот посох яростно, как меч, его сверлящий взгляд полон негодования и клокочущего гнева. Это — живое воплощение иступленной ненависти, совершенно непримиримой к новому в окружающей действительности, готовой, не дрогнув, сжечь и растоптать все, что принесли новые дни.

Но эта ярость бессильна. Немощное тело старика, прижавшего правую руку к трепещущему сердцу, тонет в сверкающей роскоши ризы, бьется в ней, как больной в лихорадке. Порыв срывается в пустоту и завершается агонией: эхом ему оказывается похоронная мелодия.

«Отец и сын» (1931). Могучий, кражистый старик и тонкий, стройный юноша. Оба сосредоточены, погружены в себя, отрешены от окружающего. Отец, сжимая за спиной дорожную палку, медлительно и угрюмо думает тяжкую думу. Упрямый мужик — камень, он всеми корнями врос в старину и готов погибнуть вместе с ней. Юноша с нервно переплетенными руками словно сдерживает надрывный крик, сжигающее его душу страшное смятение. Мучительным усилием воли преодолевая инстинкт жизни, молодую тягу к ее красоте и радости, он приносит себя в жертву ложной идее. Ведь и на отце и на сыне лежит неизгладимая печать обреченности — они сродни тем своим далеким предкам, что во времена Петра Первого сжигали себя живьем «во имя старой веры».

В сущности, почти все персонажи, запечатленные в этюдах к «Реквиему», воплощают разные формы предостояния перед смертью. Оттенки его многолики. Это смиренное угасание, спокойный и грустный отлет от всего мирского («Схимоигуменья Фамарь», 1935; «Молодая монахиня», 1935). Это страдальческий вопль о загубленной, исковерканной, впусую прожитой жизни в «Слепом» (1931), который разом напоминает и калек Коненкова, и уродцев-карликов Веласкеса. Это тяжкая, мрачная злоба древней старухи-монахини из этюда «Трое» (1933—1935), и еле сдерживаемая

истерика ненависти и сектантского изуверства в фигуре молодой женщины из того же полотна. Это мрачная сила, несломленная убежденность и гордый вызов в фигуре священника М. Холмогорова (1935; эта фигура должна была занять одно из центральных мест в будущей картине).

Все эти этюды с их большой психологической силой и ясной выраженностью сложных и ярких характеров стоили художнику долгих лет напряженнейшего и вонстину подвижнического труда. Корин стремился к скульптурной пластике изображения, которое создается предельно четким объемным рисунком и лепящими форму плотными мазками. Тона коринской живописи холодные, она образуется контрастными соотношениями локальных пластов цвета, чаще всего вариациями черного и белого. Над каждым из этюдов художник работал месяцами, отделявая каждую малейшую деталь и добиваясь безукоризненной законченности частей и целого.

Было бы глубочайшей ошибкой видеть в «Уходящей Руси» Корина сознательный и целенаправленный разоблачительный умысел, гневную инвективу или острую сатиру. Художник изображал людей, с которыми был долгие годы кровно связан и духовно близок, чьи умонастроения и жизненную философию во многом разделял. Вместе с ними уходит, умирает и какая-то часть его собственного прошлого. Корин видит в этом прошлом свою силу, свою красоту, слышит в нем колокольный звон русской истории, страстные, мученические голоса протопопа Аввакума и боярыни Морозовой, громогласный, пронизывающий душу предсмертный вопль старой веры, старой жизни, старой Руси. Он не прокликает это прошлое, а оплакивает его.

Но Корин — художник огромного таланта и чистой, взыскующей совести. Он честен и правдив в своих этюдах, он в них ни разу не сфальшивил. И именно внутренняя логика его таланта и неукоснительной верности правде наблюдения заставила мастера, быть может вопреки его личным побуждениям и желаниям, показать мир русской церкви после революции миром опустошенным и умирающим, миром побежденного и отброшенного жизнью прошлого. Такова объективная суть совокупности этюдов к «Уходящей Руси».

* * *

«Надо уяснить, какое значение для скульптора имеет материал,— писал однажды Иван Ефимов.— Это его стихия, в которой он живет и которой дышит: все его творчество зависит от того, в стихию какого материала его влечет погрузиться. Для скульптора одно из важнейших испытаний на качество — это чувство материала. Он не смеет иначе мыслить, как в материале».

Иван Ефимов имел право произнести эти слова, ибо уж сам-то он не только «мыслил в материале», но и весь окружающий мир рассматривал как огромную скульптурную мастерскую, где таятся неисчерпаемые пластические возможности. Гипноз устоявшихся традиций на него не действовал. Например, он почти никогда не прикасался к мрамору и граниту, считая их холодными и мертвенными, а в гипсе (хоть и пользовался им изредка) вообще не видел пластических качеств. Зато он использовал для своих скульптур кованую медь и стекло, чугун и цемент, фарфор и майолику, керамику и гальванопластику, листовое железо, бронзу, фаянс, терракоту, медную и хромированную проволоку, металлическую стружку и бог весть что еще, вплоть до обыкновенного мучного теста. При этом он нередко употреблял совершенно неожиданные сочетания материалов, непривычно решал проблему объема в скульптуре — от своего рода скульптурной графики (ажурные сквозные рельефы, проволочные фигурки) до скульптурной архитектуры фонтанов и иных декоративных ансамблей; смело и разнообразно вводил цвет в скульптуру, прибегал к острым и оригинальным динамическим эффектам.

В самой основе художественного мировосприятия Ивана Ефимова лежало глубочайшее убеждение в жизнеутверждающем предназначении искусства: «Меня радует мое искусство. Я только тогда и делаю, когда радует, и хочу, чтобы радовало и других и вселяло в них бодрость, жизнь, что так соответствует нашей поразительной, небывалой с сотворения мира эпохе».

Иван Ефимов отнюдь не был у нас одиноким приверженцем этого взгляда. Его разделяли и Кончаловский, и Сарьян, и Тышлер, и некоторые другие советские художники. Свойственная их произведениям радостная праздничность, кипение жизненных сил, декоративно-пластическое богатст-

во, смело и оригинально обновляемые и в то же время тяготеющие к мудрой простоте стилиевые концепции — все это соединено глубинными связями со стихией народного творчества, с народными представлениями о смысле и жизненной роли искусства.

А вместе с тем искусство такого рода отвечает некоторым насущным эстетическим потребностям бурного и тревожно-драматического XX века. В нынешнем столетии внешне совершенно различные и, казалось бы, вовсе несоизмеримые тенденции, бывает, неожиданно встречаются и перекрещиваются, взаимодействуя и обогащая друг друга. Кто не знает, что в недавние десятилетия изощреннейший профессионализм и самая утонченная пластическая культура обращались и к так называемым «примитивам», и к иконам, и к безымянным средневековым статуям, и к вышивкам, и к игрушкам, находя в них такой строй жизневосприятия и такие элементы образно-декоративного языка, которые оказывались донельзя кстати для актуальных художественных исканий нынешней эпохи.

В большинстве произведений И. Ефимова встречаются образы зверей, птиц, рыб. Но назвать Ефимова анималистом можно лишь, так сказать, номенклатурно. Художник очень любил животных, имел огромный опыт наблюдения за ними, великолепно знал особенности их внешнего вида, поведения, психологии. Словом, натурные прототипы своих работ он изучал всесторонне и до тонкости. Однако животные интересовали его не сами по себе. Он видел в них воплощение жизненных сил, их бесконечное многообразие и богатство, их природную красоту. Он подмечал и раскрывал в повадках и настроениях своих героев обнаженно-чистые формы характеров, «меньших братьев» людских. Наконец, звери, птицы, рыбы были для Ефимова сгустками пластического творчества природы, которое он стремился продолжить, чтобы дать своим современникам и потомкам вдохновляющее и облагораживающее зрелище прекрасных форм и неисчерпаемой, вечно молодой радости бытия.

Очень часто Ефимов изображает животных в соединении с условно-символически трактованными пейзажными деталями. «Дельфин» (1935) из кованой меди изогнул свое гибкое тело над етеклянным шаром, наполненным водой; фарфоровый «Белый медведь» (1940) распластался на льдине;

фаянсовая «Зебра» (1927) прилегла на зеленой травке и т. д. Такое соединение не только лишь расширяет диапазон декоративных эффектов, увеличивает сюжетную занимательность скульптур. В нем целая философия: близость и родство разных стихий природы, картина обжитого, приветливого мира, где господствует и торжествует разумная соразмерность начал...

Звери Ефимова редко бывают свирепыми и угрожающими. Если он и показывает их в таком качестве, то либо для того, чтобы полюбоваться прекрасной игрой могучих мускулов, захватывающим зрелищем телесного напряжения («Бой лосей», 1936), либо во имя создания красочного характера (угрюмый, воинственно ошетинившийся «Вепрь», 1926, изображенный, впрочем, не без усмешливой иронии).

Но несравненно чаще животные в ефимовских композициях чувствуют себя спокойно и вольготно, находятся в радостном и ничем не потревоженном ладу с жизнью. Научная точность изображения мира животных художника не интересовала — он показывает этот мир как царство свободы, естественности, непобедимого торжества жизни. Этот мир воспроизведен не «по Брэмсу», а скорее по фольклору: какой-нибудь «Трудолюбивый медведь» (1948), гордо и вдохновенно возвещающий зарю «Петух» (1932), печальный узник «Сокол прикованный» (1927) — не говорю уж про очевидно сказочных «Жар-птицу» (1946), русалку — «Береговицу» (1923), «Морского быка» (1924) — явно напоминают персонажей народных преданий и фантазий. Чаще всего такая близость достигается не антропоморфным уподоблением или причудливым соединением зверного обличья и человеческих поступков. Нет, Ефимов изображает не басенные маски, а настоящих животных со всеми обычными особенностями их натурального вида. Но во многих случаях он выделяет и подчеркивает какие-то примечательные свойства природного характера зверя — материнскую нежность «Лани» (1929), трогательную наивность «Козленка» (1934), чудаковатое ротозейство «Страуса» (1935), тупое упрямство «Быка» (1923), добродушную неуклюжесть «Медведицы» (1927), грациозность «Лебедя» (1933), веселую игривость «Дельфина» (1935) — и придает им звучание поэтических метафор, столь обычных для фольклора, который издавна и прочно соединил представление о различ-

ных животных с постоянными образными определениями (хитрая лиса, гордый сокол и т. д.).

И так же, как народные мастера, Ефимов не страшится никакой условности в изображении животных, сплошь и рядом прибегая и к самым различным, часто чрезвычайно смелым и неожиданным приемам обобщения, и к совершенно «ненатуральной» раскраске фигур, и к динамическим композициям, которые не повторяют реальные движения, а воссоздают их внутренний ритм, их «идею». Словом, для Ефимова, так же как и для народных художников, любые средства хороши и приемлемы, если они способны дать жизнь задуманному образу.

Но, конечно, и в разработке средств изобразительно-пластического языка ваения и уж тем более в отборе, комбинации и характере использования традиционных и новых материалов для своих скульптур Иван Ефимов был блистательным профессионалом, свободно владевшим всем арсеналом современной художественной культуры. Близкие по духу и образной природе народному искусству, произведения Ефимова стоят в ином эстетическом ряду, чем полные наивности и традиционализма работы мастеров стародавних ремесел.

Как глубоко надо было проникнуться столь свойственным искусству XX века духом поисков обобщенных пластических формул, чтобы изобрести, например, ажурные рельефы, где скупой контурный штрих проволоки с предельной лаконичностью намечает и объем фигуры животного, и фактуру его тела, и рисунок привычных движений, и даже характер! Каким талантом символической речи необходимо обладать, чтобы включенным в композицию мерцающим зеленым стеклом создать образ водной стихии, чтобы изгибами стальных или медных пластин передать величавую плавность лебедя, чуткую настороженность оленя, изящный бег антилоп! Каким зорким и свежим взглядом нужно провидеть возможности эстетической выразительности старых и новых материалов скульптуры, чтобы золотистое сияние меди в фигуре поющего петуха казалось бы отблеском восходящего солнца, чтобы соединение в одной композиции («Рыбы в сети», 1937) фарфора и хромированной проволоки создавало бы ощущение контраста живой, трепещущей плоти и бездушного холода мертвой материи!

Несомненно, что Иван Ефимов явился первооткрывателем множества новых стилизованных приемов и методов, которые еще долго будут служить отправной точкой дальнейших поисков обогащения пластического языка современной скульптуры.

* * *

В послевоенные годы завершил свой жизненный и творческий путь один из глубоко своеобразных советских живописцев — Р. Р. Фальк.

Он был человеком трудной судьбы. В двадцатых годах Фальк — профессор ВХУТЕМАСа, участник многих выставок. Затем он на несколько лет уезжает в Париж. Возвратившись, Фальк оказывается на долгие годы практически оторванным от художественной жизни. Его картины не выходили за пределы мастерской, были известны очень небольшому кругу друзей. Лишь в 1958 году, за несколько месяцев до смерти живописца, состоялась крохотная выставка его произведений. А по-настоящему полная экспозиция творчества Фалька увидела свет совсем недавно.

Ее успех был большим, но очень спокойным. Любителей сенсаций и острых ощущений ждало разочарование. Поспешающие «вперед прогресса» исключили Фалька из своих святцев, куда он был внесен заочно, пснаслышке.

Вместе с тем стало очевидным, сколь несправедливыми были обвинения художника в формализме, которые принесли ему так много горьких переживаний.

Ведь Фальк — во всяком случае в зрелые годы — не имел и отдаленного касательства к бездуховному экспериментаторству ультра-левого толка. Более того, он из тех живописцев, которые идут по пути прямого развития традиций классического искусства в современных условиях. Самой высшей вершиной живописного искусства и непрекращаемым образцом для художников нашего века он считал Рембрандта.

Творчество Фалька и близких ему по убеждению художников соединено с классикой прошлых веков прямым и очевидным родством основополагающих изобразительных принципов. Они опираются на изображение конкретной природы в ее обычном жизненном виде, не подвергнутом какой-либо существенной трансформации. Сторонники этих принципов стремятся, сохраняя

ясную «узнаваемость» реальной природы, так использовать и сфокусировать ее выразительные возможности, чтобы с их помощью запечатлеть свое восприятие мира, свои переживания и настроения.

Само собой, речь идет не о бездумно-механических копиях видимого, которые всегда начисто лишены художественной силы и не имеют действительной связи с классической традицией. Речь идет о зрительном воплощении жизненного опыта современности при помощи предметного языка реальной природы.

Фальк из тех художников, чье искусство с неотразимой убедительностью доказывает, что возможности этой традиции не только не исчерпаны, но, в сущности, безграничны. Никто из элементарно объективных людей не откажет ему в остроте и непосредственности ощущения жизни нашего времени. Однако зрелый Фальк никогда не прибегает к условному преобразованию природы. Он идет внутрь, в глубь ее, находя бесконечное множество оттенков выразительности живой формы, способных воссоздать любое чувство, любое душевное движение современника. Он с виртуозностью и свободой гармонизирует все эти оттенки, достигая законченной цельности образа, единства многосложного.

В особых свойствах и качествах этой многосложности прежде всего и заключается отличие работ Фалька и иных близких ему по духу художников от произведений мастеров прошлого (разумеется, я говорю сейчас только о формально-стилевой стороне дела). Отдельные предметы и натурные детали были алфавитом классической живописи, исходными элементами изображения. А для Фалька и других каждый отдельный предмет — это микромир, проникновение в зрительное богатство которого не только расширяет, но и во многом видоизменяет всю систему изображения. Колорит, свет, пластика, движение ритмов чрезвычайно усложняются и в своей внутренней структуре. и — особенно — в разносторонности взаимоотношений; достижение гармонического единства общего живописного строя становится делом невероятной трудности. Между тем именно к гармонии, к законченной и целостной «живописной непрерывности», к высокой простоте Фальк стремился всегда, считал это главной своей целью. Сутью и основой этой гармонии была для художника одухотворенная человек-

ность, он искал ее всюду, в ней он видел смысл и оправдание жизни. Фальк сравнивал поверхность холста с силовым полем, где есть свои центры притяжения, взлеты, спады и перекаты напряженности, борьба разных сил и некая равнодействующая, которая все это объединяет и сплавливает в единое целое. Такой он видел и всю картину современной жизни — ее драматизм, сложности и побеждающее в трудной борьбе тяготение к прекрасному.

Это своего рода живописный симфонизм. Я не случайно употребляю это слово.

Фальк очень любил музыку, она была вторым его призванием, и это наложило особый отпечаток на все его творчество. Любое из его произведений создано по законам не только изобразительной, но и музыкальной гармонии. Колорит и пластику своих картин он разрабатывал как своего рода темы с вариациями.

Быть может, поэтому ему так удавались натюрморты. Из самого скромного, неприхотливого натюрмортного сюжета он умел извлечь бесконечно много. Одно из его полотен (1955) запечатлело всего лишь несколько картофелин на столе и в корзинке. Но это полотно поистине завораживает — и не только редкой красотой тончайших оттенков серого и коричневого цвета, великолепной оркестровкой колорита, но и всей своей музыкой (именно музыкой!) живности, спокойно-созерцательного, просветленного и несколько эггического. И все это — в изображении картошки!

Много раньше, в 1920 году, Фальк написал одну из лучших своих картин — «Красную мебель». Именно с помощью музыки цвета и формы художник сумел в этом бессюжетном полотне, запечатлевшем всего лишь обстановку московской комнаты, инсказательно запечатлеть душевные бури времени. Напряжение цвета, схватки острых, динамичных ритмов, резкие смещения привычных контуров вещей — в таком строе восприятия окружающего явственно звучат отголоски драматических переживаний. Предметы изображенной обстановки, вольно сгрудившись, излучая тревожно-мерцающий свет из глубин своих темно-красных тонов, словно бы беседуют, да нет, не беседуют, а спорят, перебивают друг друга, чуть ли не митингуют!

То же и в пейзажах Фалька — в каждом из мест, которые писал художник, он слы-

шал неповторимую мелодику, и ею почти буквально озвучено изображение. Париж, где художник провел почти десятилетие (1929—1938), чаще всего предстает в его полотнах грустным и тревожным. Шум и сумятица «мирового города» тут не слышны, красота Парижа как-то неожиданно оказывается сгустком человеческого одиночества, горечи, душевного смятения. В таких пейзажах 1934—1937 годов, как «Внешние бульвары», «Сена. Париж», «Три дерева», «Старая площадь», — сложнейшая, подлинно симфоническая цветовая структура: в каждой из обыденных деталей городского вида Фальк открывает бесконечное богатство красочных оттенков, сплетений, рефлексов. Но все это не складывается в зрелище безоблачно-прекрасного мира: сквозь изображение настойчиво проходит интонация тревоги, душевной неустроенности, тяжких предчувствий. Надо отдать должное чуткости художника, который сумел так услышать музыку жизни Европы во второй половине тридцатых годов.

На мой взгляд, пора высших достижений Фалька приходится на два последних десятилетия его жизни (он умер в 1958 году). Хотя в эти годы художнику пришлось перенести много трудных и горьких испытаний, в его живописи отчетливо преобладает гармония чувств и безыскусная простота повествования о красоте духовной жизни современников. Обо всем этом свидетельствуют и пейзажи и портреты Р. Р. Фалька, особенно те, что написаны в пятидесятые годы. Достаточно вспомнить такой шедевр его работы в портретном жанре, как предсмертный «Автопортрет» 1957 года. Он по-рембрантовски открыт. В нем ничего не скрыто — ни старость, ни трудная жизнь, ни тревога и печаль. Но облик больного семидесятилетнего человека преображает и делает прекрасным одухотворенность и покоряющее сочетание мудрости, человечности и по-детски отзывчивой непосредственности.

* * *

Леонида Сойфертиса нередко называют карикатуристом. Это определение возникло автоматически, ибо он — один из наиболее известных мастеров изобразительной сатиры, многолетний сотрудник «Крокодила», а уж где «Крокодил» — там и карикатура.

Однако и ту часть работ Сойфертиса (а она меньшая), где очевиден сатирический

строй образов. строго говоря, неверно относить к жанру карикатуры. Ведь стихия этого жанра — метафора, уподобление, иносказание, калейдоскоп немислимых в реальной обстановке ситуаций, ликов, действий. У Сойфертиса ничего похожего не встретишь (за редкими и нехарактерными исключениями). Он бывает едким, язвительным, саркастичным, но не прибегает к средствам сатирической фантастики. Даже самые острые и желчные разоблачительные образы создаются им в рамках сцен повседневности, художник выступает как бы незримым свидетелем обыденной жизни разномастных подлецов, тупиц, мещан, выжиг, военных преступников, гангстеров и т. д. И это, к слову, придает подобным листам Сойфертиса особую, клеймящую силу.

Поэтому и рисунки этого рода точнее всего именовать жанровыми композициями. Все иное — тем более. В них сатира и бытописание, лирика и ирония не разделены никакими четкими гранями. В этом Сойфертис отличен от своих стародавних соратников по искусству. Например, карикатуры и пейзажи Кукрыниксов не имеют никаких точек соприкосновения. Сатира и антивоенная публицистика Бориса Пророкова также развиваются в различных эстетических и жанровых плоскостях.

А Сойфертис не предстает зрителю в разных жанровых ипостасях. Мир его рисунков и акварелей неделим. Смешное и печальное, радостное и тяжелое, возвышенное и прозаическое появляются в работах художника не в связи с какой-то жанровой заданностью, а только в зависимости от того или иного характера жизненных впечатлений.

Иногда бывает, что художник-«новелист» раз и навсегда разрабатывает непрехотливый набор графических приемов, нечто вроде изобразительной азбуки, при помощи которой он на протяжении десятилетий изъясняется со зрителем. По сути дела его интересует лишь занимательность фавулы; он пишет маленькие рассказы, только не словами, а штрихами и контурами. Значение собственно пластических качеств рисунка тут ничтожно и чисто внешне, как в системе иероглифов (на которой, кстати сказать, основана нынешняя западноевропейская карикатура).

Сойфертис также мастер новеллы, острый, оригинальный, изобретательный в своих сюжетах. Но в большинстве его вещей и

содержание в целом, и его повествовательные элементы раскрываются прежде всего в строе и выразительности пластической формы.

Посмотрим несколько работ.

«Газированная вода» (1938). Прежде всего замечаешь напряженно изогнутый силуэт продавщицы, толкающей тележку. В этом силуэте узел повествования. Приглядись, видишь, каким привычным, ладным усилием полнится тело этой женщины, как нелегки ее будни и вместе с тем сколько в ней спокойного, ненаигранного достоинства. Начав с меткого, рельефного изображения пластики тела, его мощного движения, художник развернул пружину рассказа о целой человеческой биографии, более того — о социальном характере.

«В ожидании эшелона» (1943). Где-то близ путей на земле сидит женщина в шинели внакидку, кормит грудью ребенка. Рядом — спящий солдат. Образный запев композиции в том, как он спит — распластавшись, раскинувшись, тяжело прикинув к земле. В силуэтном очерке тела бойца точно и лапидарно запечатлено состояние глухого забытья, за которым стоит как много: отчаянная усталость, вечный недосып, суровый, неустроенный фронтовой быт...

«Студенты» (1961). Примостившись по соседству с детской коляской, юная пара склонилась над чертежом на песке. В легких, непринужденных движениях тел, в гибких поворотах голов ясно ощутима искренняя увлеченность этих молодых людей, у которых ничто не отягощает душу, чья жизнь течет «свободно и раскованно».

Я умышленно поставил рядом вещи трех различных периодов работы художника: за эти годы несколько изменилась графическая манера Сойфертиса, более разнообразны стали интонации в его жанровых композициях, но опора на пластическую выразительность неизменна.

Эта опора очевидна и в тех произведениях, где искрятся юмор, ирония художника. И для них он находит всякий раз оригинальные пластические ходы. В этой связи мне вспоминается известная акварель Сойфертиса, изображающая стайку малышей посреди новой станции метрополитена (1957). Об этой вещи иногда говорят, что она-де построена на милом, улыбчивом обыгрывании контраста крохотных детских фигурок и монументального величия подземного дворца. Такой контраст — пла-

стический в своей основе — тут действительно есть, но в нем заложен более глубокий и острый смысл. Ведь нет на свете ничего более откровенного и непосредственного, чем ребятишки. Сойфертис изобразил их во всем покоряющем обаянии естественности. И вот рядом с ней натужная пышность украшательской архитектуры, нелепо сочетающей тяжеловесные столбы «в романском стиле» и кокетливые завитушки рококо, раскрывается во всей своей пошлой претенциозности. Ироническая суть акварели, как видим, заключена не в тех или иных поворотах фабулы, а только в зрительных сопоставлениях.

Эта вещь характерна для Сойфертиса еще в одном плане. Для любой показываемой ситуации он стремится найти какой-то камертон человечности. Тут это, разумеется, фигуры ребятишек. Но не обязательно, конечно, чтобы таким камертоном было бы нечто изображенное на листе. Гораздо чаще он заключен во внутренней позиции автора. Но он всегда есть в работах Сойфертиса, и от его звучания начинается отсчет гражданского, эстетического отношения к показанной сцене.

Именно потому, что этические представления художника глубоко гражданственны, он в иных своих графических новеллах бывает ядовитым и беспощадным. Сколь неприглядны в его изображении, например, некие посетители лондонского Гайд-парка (1962) — люди с пустой душой, холодно-злые и спесивые в своем привычном эгоизме. Тут нет саркастических уподоблений и гипербол мрачного гротеска, только легкая подчеркнутость, но ее оказывается вполне достаточно, чтобы клеймящая суть рисунка была бы резкой, как удар хлыстом. А как ненавистно художнику тупое, животное самодовольство обывателя! Сойфертис и покажет-то его в самой что ни на есть обыденной житейской ситуации, где-нибудь за утренним одеванием (1948) или в бане (1963), и изобразит этаким с виду безобидным толстячком-колобком, а приглядишься — и видишь, что и совесть у него заплывла жиром, и сердце глухое, как пень.

Ирония и юмор Сойфертиса богаты в своих оттенках. Они бывают и добрыми, вызывая симпатию к людям, чем-то и как-то по-смешному раскрывающим чистый мир своей души. В таких вещах, как, например, «Смотр художественной самодеятельности»

(1959), «Слушают музыку» (1961), «Выходной день» (1963), и многих других, сходных по образному ладу, масса комических несуразиц. Исходная основа их заключается в том, что в повседневной житейской практике многое не укладывается в рамки привычного. Такой «выход за рамки» бывает иногда смешон, и художник это показывает. Но в данном случае смех не отрицает, а защищает. Он защищает свободу, богатство и многогранность человеческих интересов, желаний, характеров, оригинальность их самораскрытия. Оказывается, у смеха может быть и такзя вполне положительная функция.

Ирония, пусть самая мягкая и доброжелательная, вовсе не обязательно присутствует в композициях Сойфертиса. В них может преобладать и мужественный строй, и задумчивая созерцательность, и грустная лирика. С проникновенной отзывчивостью, например, повествует художник о сложных сплетениях людских судеб, о ранимости больших чувств, о вечной тревоге за близких и любимых в листе «Письма до востребования» (1962). Здесь тонко подмечено «публичное одиночество» человека в неумолчной суете огромного города, открытость, обнаженность переживаний, которые так часто остаются неуслышанными монологами.

Любопытно, что пространство в «Письмах до востребования» — это не только среда действия и даже не только многоплановая сценическая площадка, где люди находятся вместе, а ощущают себя порознь, наедине со своими переживаниями. Это еще и атмосфера происходящей тут сложной жизни чувств, которая как бы вобрала в себя оттенки душевного напряжения, волнений, — все это ассоциативно выражено в ритмической динамике и светотеневых оттенках пространственного построения.

Вообще выразительность рисунка Сойфертиса обладает гипнотической силой. Скажем, вы смотрите на то, как человек пьет пиво (1962), и видите, что он пьет его не только по сюжету, не только движением рта, но всем своим существом — каждая из деталей фигуры и все они по совокупности тянутся, алчут, жаждут, у каждой линии «пересохшее горло»: они спешат, мчатся, тяжелея и прерываясь — как бы спотыкаясь — на ходу и все же не теряя ни на миг напряжения, стремительности, желания при-

пасть к источнику. Вы видите актрису, которая по исполнению номера кланяется (1958), и в плавном изгибе ее рук, в легком движении головы, даже в складках платья — мягкость, женственность, чистейшее сопрано. Контур ее фигуры лишь намечен легчайшими касаниями кисточки, и эта почти невесомая воздушность придает облику актрисы особое изящество, грациозность, летучесть, похожие, должно быть, на ее голос. Перед вами предстает некий горожанин, который где-то на пляже ест виноград (1957). И достаточно взглянуть на его сутулую спину или на брезгливо-осторожный жест его длинных изогнутых пальцев, чтобы узнать об этом человеке все: непригодность к жизни, безвольность, эпиходовские двадцать два несчастья... Соединяясь со скупой сюжетной основой, пластика хрупкого, обвислого, извивающегося какими-то нелепыми, капризными зигзагами силуэта заменит тут любое жизнеописание.

Словом, рассказы о жизни в композициях Сойфертиса не только обладают метко найденным сюжетом, большой внутренней содержательностью, характерностью ситуаций и деталей, они еще и сыграны всем ансамблем пластических средств. Именно так — сыграны. Ибо в работах Сойфертиса непринужденная естественность изображения органично соединена с заветными для искусства «как бы», игровым началом, ярче всего раскрывающимся в особенностях пластического решения. Иллюзорность для художника чужда. Его представление о сходстве бесконечно далеко от буквализма. Прежде всего мастера интересует внутренняя сущность явления, характера. Затем те черты внешнего облика, в которых эта внутренняя сущность раскрывается. Что по отношению к этой задаче излишне или хотя бы инертно — он отбрасывает. Что особенно важно и красноречиво — подчеркивает, а если кажется уместным и нужным — то и преувеличивает, правда, без особого нажима и резкости. Так получается, что в работах Сойфертиса натура словно начинает играть самое себя, подчиняясь воле художника-драматурга, полностью самораскрываясь в пластике рисунка.

И все, что разыгрывается на этих подмостках, освещено светом человечности, которая является для художника своего рода воплощением лучших сторон общественного, духовного, морального опыта нашей эпохи.

* * *

Если смотреть на вещи широко, то убеждаешься, что даже самые различные, внешне совершенно несходные между собою представители новых поколений советского изобразительного искусства обладают известной родственной близостью. Несомненно, это определяется тем важнейшим обстоятельством, что творчество художников «нового призыва» формировалось в общественной атмосфере, сложившейся в Советской стране на протяжении последних полутора десятилетий. Отсюда их демократизм, открытое, мужественное восприятие действительности. С этим связана взволнованная, личная интонация повествования о днях нашей жизни. Рассказывая о них, художники рассказывают и о себе. Суть дела при этом не в каком-то эгоцентризме, субъективистской ограниченности отношения к современности, в претенциозном навязывании зрителю узколичного взгляда на вещи. Во все нет! Скорее, пожалуй, наоборот: большинство молодых мастеров всеми силами добиваются, чтобы в их произведениях даже ненароком не прозвучал поясняющий, дидактический голос «от автора». Но они чувствуют себя пусть малой, пусть крохотной, но неотъемлемой частицей нашей жизни. Потому-то стремление к строгой последовательной объективности не оказывается в противоречии с тем, что иные картины звучат как страницы лирического дневника.

Отсюда и органическое отвращение к выпренности, фальши, к штампованным иллюстрациям на заданную тему, к умозрительному построению вещи, создаваемой по всем правилам, но равнодушно, «без божества, без вдохновенья...».

Условия, в которых шло развитие советского искусства последние пятнадцать лет, будут недостаточно ясными, если не припомнить, что начиная с середины пятидесятых годов в нашей художественной жизни появляются новые важные стилиобразующие факторы. Советская архитектура, воюя с эклектизмом предыдущих лет, решительно отказывается от накладывания на фасады современных зданий нелепого грима из смеси мотивов ренессанса, барокко и ампира. Она обнажает конструктивную логику построек, ищет для них простые и легко обозримые очертания, стремится мыслить пространственно-пластическими категориями, отвечающими духу и материально-предмет-

ной обстановке своего времени и своей страны.

Конечно, это лишь начало нового этапа конструктивных и стилевых исканий. Рано говорить о результатах, но по крайней мере ведущие тенденции в этой области обозначились достаточно явственно.

Точно так же вся необозримая сфера советского дизайна, всех форм и видов промышленной эстетики, производственного и декоративно-прикладного искусства изменяется бурными темпами, заметно обновляя внешний облик наших городов и сел, общественных и частных интерьеров, самих людей. Именно в этой сфере особенно четко и сравнительно беспрепятственно проявляются закономерности несколько загадочного, но все же несомненно существующего «современного стиля». Ведь все ныне здравствующие представители старших и средних поколений, сопоставив в своей памяти жизнь Советской страны, скажем, в тридцатые и шестидесятые годы, неизбежно придут к выводу, что эти периоды отличаются, в частности, и чисто зрительно: у каждого из них есть свои формы, краски и линии, своя пластика, свои принципы художественной организации, художественного конструирования материальной повседневности.

Мастерам станковых видов искусства пришлось считаться с этими изменениями в зрительной обстановке жизни, с новым зрением времени. Это отразилось не только в поисках новых материалов скульпторами, новой техники графиками и живописцами, в невиданном ранее развитии монументальных жанров (вызванном потребностями украшения фасадов и интерьеров современных зданий), в стремительной эволюции декоративных приемов. Словом, дело не ограничилось лишь внешним приспособлением к новому, переменами узкостилевого порядка. Наметились и значительные сдвиги в общих качествах образной системы, в трактовке и характере обобщения жизненных впечатлений, во внутренней структуре художественной выразительности полотен, скульптур и графических листов.

Окончательные выводы насчет итогов этого процесса делать пока рано: понадобится еще несколько лет, чтобы завершился и стал историей первый его этап. Но надо ясно отдавать себе отчет в том, что этот процесс идет, с каждым годом набирает силу и уже сейчас сделал совершенно устаревшими те представления о стилево

советского изобразительного искусства, которые господствовали лет десять—пятнадцать тому назад.

Облик последнего периода в истории советского изобразительного искусства определяется работами мастеров всех его поколений. Но наиболее явственно и отчетливо новые тенденции проявились в работах молодых художников «призыва» пятидесятых и шестидесятых годов.

Творческие биографии наиболее талантливых представителей новых поколений советского изобразительного искусства складывались чрезвычайно разнообразно, со множеством неповторимых оттенков индивидуального развития. Пожалуй, лишь одно характерно едва ли не для всех, кто заметно выдвинулся на выставках второй половины пятидесятых — начала шестидесятых годов: решительный и бесповоротный отход от парадных и иллюстративных канонов, резкий рывок на пути поисков новых образно-стилевых концепций, а затем уже гораздо более спокойная и медлительная разработка этих концепций.

Примечательна в этом плане история работы Павла Никонова. Его дипломная работа «Октябрь» (1957) была благосклонно отмечена критикой. В этой картине нет и намека на пагетическую декламацию, обстановка преддверия больших событий раскрыта во внутреннем поэтическом строе композиции: в настроении осеннего петроградского пейзажа, хмурого и тревожного, в чувстве напряженного ожидания, которое так ощутимо в фигурах участников вооруженного восстания, столпившихся около коистра на набережной.

Однако никакого открытия здесь нет: взгляд на историю этой эпохи обычен, а интонация рассказа о ней приводит на память различные широкоизвестные образцы — от литературных («Хорошо!» Маяковского, отрывок «Дул, как всегда, октябрь ветрами») до живописных («Оборона Петрограда» А. Дейнеки и другие).

Но когда живое и острое чувство жизни, очевидное уже в дипломе Никонова, соединилось со смелой оригинальностью восприятия современности — это дало значительные результаты. Его картина «Наши будни» (1960) — вещь этапная. Интонационный строй и стилевая манера этого полотна в последующие годы многократно повторялись и варьировались другими художниками и сейчас уже не только никого не удивляют,

но кажутся едва ли не «академическими». Но при своем появлении картина вызвала бурную полемику.

Ее сюжет подчеркнуто прост и бесхитростен. Серый, холодный зимний день в сибирской тайге, в кузове самосвала едут люди, везут материалы на стройку. Облики рабочих полны суровой, грубоватой силы. Они — из тех, чей жизненный опыт нелегок, пересечен войной, жестокими трудностями первых послевоенных лет. В картине властвуют острые, резкие ритмы, холодные, ржаво-стальные тона колорита.

Что же смущало и тревожило некоторых критиков в этой картине? Говорили, что «Наши будни» — иная крайность по сравнению со сладкоречивой парадностью, что суровость ее настроения нарочито сгущена и вдобавок усугублена колючей жестокостью пластической формы, — словом, что картина не вдохновляет, а угнетает зрителя и наводит на него уныние.

В суждениях такого рода сказывалась укоренившаяся привычка сравнивать произведения искусства не с реальной действительностью, а с отвлеченными тезисами и видеть самый подходящий способ художественного «снятия» противоречий и сложностей жизни в поверхностной риторике.

Но картина «Наши будни» встала в один ряд со многими произведениями советской литературы, кино, театра, созданными приблизительно в то же самое время и проникнутыми тем же духом бескомпромиссной трезвости взгляда на жизнь. Стало ясным, что эта трезвость и правдивость — знамение времени, закономерно связанное с той общественной атмосферой, которая сложилась в стране после XX съезда партии.

Причем ведь для непредвзятого взгляда очевидно, что именно такие работы, как «Наши будни», способны воспитывать в людях и волю, и благородство, и крепкую убежденность в добрых перспективах того огромного трудного дела, которому они посвящают всю свою жизнь. Облики запечатленных в картине рабочих полны упорства, веришь, что они покорят эту дикую тайгу, сумеют сделать свои будни более светлыми и радостными. Реальность, конкретность изображения трудной повседневности и сформированных ею характеров соединены в полотне Никонова с чувством большой цели, и в этом особая ценность таких вещей, как «Наши будни».

Все же некоторая чертежность, однознач-

ность мировосприятия действительно присуща этой картине. Она холодновата, отчужденна, ее повествование течет по неглубокому и нарочито прямолинейному руслу. Художнику предстояло, ни в чем не отступая от зоркости видения и правдивости, добиваться большей тонкости и многосложности духовного содержания в своем творчестве.

На мой взгляд, Никонов достиг этого в полотне «Геологи» (1962). Об этой картине много спорили. Ее упрекали в сгущении мрачных красок, безысходной горечи мировосприятия и в силу этого считали чужеродной на выставке советского искусства шестидесятых годов.

Но, как мне кажется, в этом полстне совсем иная суть и направленность. Понимая правомерность возникновения остро критических суждений о «Геологах», я хотел бы сказать о возможности другой трактовки этой картины. Персонажи «Наших будней», повинувшись зову высокого долга, идут на сознательное самоограничение. В «Геологах» властвует иной пафос — самопожертвования. Разница этих моральных категорий колоссальна. Во всяком случае художник убежден в этом. Он забросил своих геологов в безлюдную пустыню, они измучены и обессилены. Но им свойственна не замкнутость и хмурая сосредоточенность (как у рабочих в «Наших буднях»), а идущая из душевных глубин просветленность, чувство приобщения к высшей цели. Оно возносит людей над потоком житейской прозы, повседневности, награждает их силой духа, даром проникновенного понимания друг друга и не медлящей отзывчивости. Оно делает естественным, как дыхание, поступки, которые по обычным представлениям считаются подвидами.

Моральная концепция этой картины объединяет ее внутренней связью со «Смертью комиссара» К. Петрова-Водкина и с более далекими по времени классическими образцами, о которых художник, должно быть, и не вспоминал, когда работал.

В «Геологах» Павел Никонов пришел и к новой живописной системе. Раньше он во многом отталкивался от традиций ОСТА с их суховатой графичностью и локально-плоскостным цветом. Теперь ему ближе такие мастера, как П. Кузнецов, А. Древин (в их работах конца двадцатых — начала тридцатых годов). Впрочем, сходство тут самое общее и приблизительное. Главное, к

чему стремился Никонов, разрабатывая живописный строй «Геологов», — это создать в пределах общего — строгого, почти эстетического — серо-коричневого тона богатство градаций, которые несли бы отсветы духовной сложности мира его героев. Любопытный парадокс: ранние композиции Никонова имели традиционно-перспективное построение с несколькими далевыми планами, а их живопись казалась как бы стелющейся по поверхности полотен. В «Геологах» все изображение, в сущности, вынесено на первый план, а пластика и цвет картины обладают несравнимо большей пространственностью и глубиной. Произошло это потому, что тут вступило в силу «четвертое измерение» внутренней сложности колорита и формы, закономерно связанное с общим образно-психологическим содержанием картины.

Вскоре после «Геологов» Никонов возвращается к теме Октябрьской революции в картине «Штаб Октября. Смольный» (1964—1966). Он берет многократно использованный сюжет — Ленин, окруженный соратниками, обсуждает план действий — и придает ему совершенно новое звучание. Лишь Ленин изображен узнаваемо, портретно, с характерной для него жестикоулящей. Все остальное полностью отрешено от исторической документальности. Тут нет ни общеизвестного интерьера, ни кожаных тужурок, картузов и бескозырок, ни винтовок и патронных лент оплечь. Действие переведено в иной регистр, ему придана всеобщность, всесветность. Черный с багровыми отблесками фон сообщает сцене грозную напряженность, а выхваченные как драмблужимся светом из темноты застывшие в некоем предстоянии фигуры полны ощущения великой значительности происходящих событий. Тема самопожертвования проходит и тут, но уже дополнительной краской образов в музыке возвышенно-героического лада. В целом это картина-метафора, где одна из ночей революции показана как драматический канун, сгустком страстей и надежд эпохи.

Художественные результаты исканий живописцев нового поколения совершенно различны, причем, конечно, не только по характеру вновь найденного стиля, но и по образному строю, кругу излюбленных тем и идей, по особенностям мировосприятия.

Даже если очень быстро и кратко рассказать о работе нескольких одаренных живописцев, выдвинувшихся на протяжении пя-

тидесятых — начала шестидесятых годов, станет ясным, как несходно шло их творческое развитие.

Николя Андронova увлекла палитра и пластика мастеров «Бубнового валета» (особенно раннего Кончаловского), свойственные их произведениям динамичность, буйство контрастов, смелой деформации натуры, радостная и озорная поэзия молодого кипения жизненных сил. В композициях 1957—1960 годов он варьирует известные композиционные схемы, но избранный живописный строй придает им совершенно особую выразительность. В запечатленных художником сценах нашей повседневности — большой жизненный потенциал, их персонажи — люди мужества и целеустремленности. Все это выражено по преимуществу в пластике композиции и отдельных фигур, в их цветовой характеристике, ритмах, динамике, полных внутреннего напряжения. Повествовательные элементы играют тут второстепенную роль.

В последующих работах Андронova («Автопортрет», 1964; «Понедельник», 1964; «Озеро», 1965; «Деревня Андронova», 1965, и других) живопись внешне менее темпераментна, значение сюжета возрастает, хотя язык пластики по-прежнему остается решающей выразительной силой картин. Образные интонации в этих картинах мягче, даже когда к ним добавляется горечь иных наблюдений и размышлений. Несколько отвлеченная раньше поэзия близости изначальным жизненным силам все более ясно обретает национальный характер.

В особой мере он очевиден в последней крупной работе художника — «Проводы» (1967), которая напоминает русскую народную песню, из тех, что называют протяжная, плач.

Это проводы 1941 года. Наша живопись изображала их не так уж часто, но некая схема решения этого сюжета успела сложиться: жена склонилась на грудь бойца, а он смотрит вдаль суровым, грозным взглядом.

Бывало, конечно, и так. Но бывало и иначе: предчувствие непоправимой беды, слезная горечь и мука расставания, за которым, быть может, не последует встречи.

Андронов показал такие проводы. Они очень сдержанны — лишь одна из женщин, не сдержав душевной боли, взметнула руки и бросилась вслед уезжающему грузовику. Все другие — и новобранцы и прово-

жающие — молчаливы и недвижны, погружены в себя. Да и лица-то их почти неразличимы, словно что-то смазало взгляд и он утратил обычную зоркость. Люди живут не этой тяжелой минутой, а тем огромным и бездонным, что пережито и что еще предстоит пережить. Это слишком значительно, чтобы выразить себя в каком-то мгновенном жесте или мимолетном душевном движении. Потому эти фигуры так странно застыли: в древней живописи подобным образом показывали «предстояние» перед лицом высших судеб.

Ну, а «плач» где? Плачет отчий край — хмурые небеса, оглашенные птичьим граем, далекие печальные поля, ветхая церквушка. Чувство родины в этом широко развернутом пейзаже такое острое и щемящее, такое красноречивое, что к нему и добавлять ничего не нужно.

В других картинах Н. Андропова, написанных им за последние годы, эмоциональный, интонационный строй меняется, обретает множество разных оттенков. Его пейзажи и жанры бывают задумчивы и праздничны, полны спокойно просветленной созерцательности и бурной динамики. Но всякий раз художник стремится придать размах и широту запечатленному им миру чувств, выразить в нем грани общего чувства жизни наших дней.

Эта тяга к художественным обобщениям большого диапазона помогает Н. Андропову в его работе над произведениями монументальной живописи. Но об этом несколько ниже.

Я сказал, что в некоторых работах Андропова (так же как и многих других живописцев новых поколений) повествовательные элементы оказываются подчиненными. Но тут необходимо уточнение.

Действительно, в этих работах роль сюжета преобразуется сравнительно с произведениями иллюстративно-академического типа. Художник не чувствует себя так, будто он дает свидетельские показания на полотно. Но успех достигается лишь в том случае, если изображенная ситуация способна воплотить большой опыт наблюдений и размышлений современника, поднять в его душе волну прямых и косвенных ассоциаций с тем, что он видел, чувствовал, представлял. Затем возникает задача — направить поток этих ассоциаций в определенное образное русло. Этому служат эмоциональный подтекст, внутренняя структура

картины, экспрессия ее пластической формы. Значение этой экспрессии тут чрезвычайно велико. Пластический строй в картинах советских живописцев нового поколения либо является образным форпостом, решающей выразительной силой сюжетно инсценированной темы, либо в самом сопряжении предметных мотивов, форм, ритмов, цвета содержит разветвленные повествовательно-ассоциативные ходы.

Обращение к первому из этих вариантов очевидно даже на примере таких художников нового поколения, которые сохраняют очевидную близость к старым традициям. Скажем, Гелий Коржев во многом исходит из заповедей «героического реализма» АХРР. Но свойственные мастерам этой группировки обстоятельная, подробная описательность, пристрастие к многолюдным мизансценам, к дробной, расклязывающей о предметах живописи — Коржеву чужды. В наиболее известной из своих работ — центральной части триптиха «Коммунисты» (1957—1960), «Поднимающий знамя» (1959—1960) — он показал эпизод революционной борьбы, предшествовавшей Октябрьской революции. В большой по размерам картине всего лишь три основные детали: убитый демонстрант, выскользнувшее из его рук алое знамя и рабочий, поднимающий это знамя. Живопись полотна нарочито тяжеловесна, осязательно-грубовата: в совокупности с композицией, основанной на мощных, длительных аккордах, такая пластика создает настроение сурового драматизма, дышит пафосом непреклонного мужества.

В полиптихе «Опаленные огнем войны» (1964—1967) Коржев выносит на первый план фигуры людей, измученных и изуродованных войной. Этот кинематографический наплыв на людские облики, изображенные с резким физиологизмом, придает им известную монументальность. Сочетание упомянутых приемов заставляет звучать это зрелище мук и страданий, как хриплый, болезненный крик.

К слову, прием условной гиперболы — выдвижение на первый план полотен крупномасштабных фигур — обрел широкое распространение в работах живописцев пятидесятых — шестидесятых годов и получает по преимуществу символическую трактовку. Петр Оссовский в картине «Три поколения» (1960) вынес к переднему краю картины старика, крестьянина средних лет

и юного пастушка. Они стоят рядом, но их не объединяет общее действие, да и вообще какая-либо сюжетная близость. Каждый из них живет в своем временном и психологическом измерении: ведь это обобщение, типологические характеры представителей разных поколений русского крестьянства.

Пятеро рабочих шагают на первом плане (опять же во всю его высоту) полотна латышского живописца Эдгара Илтнера «Хозяева земли» (1960). В глубине виден далеко растилющийся пейзаж, но это не конкретная местность, а как бы вся Латвия с ее городами, селами, перелесками, освещенная напряженно сверкающим светом полуденного солнца. В этом условном сопоставлении — основная идея картины: просторы отчего края принадлежат таким вот сильным, мужественным людям и они, хозяева, сделают свою родную землю еще более прекрасной и радостной.

Совершенно бессмысленной была бы попытка «прямого» сюжетного прочтения композиций бакинского мастера Таира Салахова. Его большие полотна «На вахту» (1957), «Утренний эшелон» (1958), «Резервуарный парк» (1959), «Ремонтники» (1960) и другие содержат скупое и само по себе малозначимое фабульное действие: в ранний час идут на работу бакинские нефтяники; мчатся через виадук над изгибом шоссе эшелон нефтяных цистерн; в закатном свете видны строгие контуры нефтяных резервуаров, вокруг которых привычно течет налаженная, обычная жизнь, и т. д. Чтобы воспринять образную суть этих картин, необходимо постигнуть острое движение ритма, динамику пространственных соотношений, красноречивый язык цветовых сопоставлений и контрастов. И тогда, например, в «Утреннем эшелоне» быстро разворачивающаяся вглубь даль шоссе, мерные, энергичные повторы лаконичных форм товарного состава, холодные серые, фиолетовые, зеленые краски неба, моста, придорожных газонов, звонкие цветные удары в колорите цистерн — все это сложное, но внутренне цельное богатство изобразительных мотивов складывается в многозначный образ: перед зрителем предстает мужественный, сурово-сосредоточенный мир, живущий в непрестанном движении, в напряженном ритме.

Точно так же в картине братьев Александра и Петра Смолиных «Стачка. 1905 год» (1964) внешне весьма статичная сцена — группа рабочих с красными стягами на фо-

не заводских корпусов — в своем фабульном действии не содержит ясного образного начала. Оно заключено в контрасте холдно-унылого, мрачного вида строений и взволнованной людской толпы. Завод, который при ином взгляде на вещи мог бы предстать как великолепное творение рук человеческих, тут выглядит метафорой гнета, тюрьмы: его очертания жестки и монотонны, его объемы тупой громадой окружают людей, заполняя все вокруг, закрывая небо и солнце. А горстка рабочих, прижатая к нижнему краю композиции, потому и кажется прекрасной, что в ней клокочет живая человеческая страсть, которая по самой природе своей враждебна глухой бездушности этого железного царства и жаждет свободы.

Живописцы новых поколений извлекают образную выразительность из таких свойств и категорий художественной формы, которые еще не так давно оставались по большей части нейтральными. При этом они иногда используют традиции, редко волновавшие их предшественников.

Довольно частым оказалось, например, обращение к некоторым живописным приемам и образным условностям средневековой иконописи. Речь идет не о стилизациях (они бывали, но ничего интересного не принесли) и тем более не о каких-то попытках воскресить религиозную мифологию. Но в картинах, вполне современных по тематике и мировосприятию, встречается характерная для икон трактовка проблемы времени, взаимоотношения персонажей, цветового строя и т. д.

Можно в этой связи назвать работы Виктора Попкова, созданные им за последние годы. В ранних композициях художника (лучшая из них — «Строители Братска», 1961) были свои привлекательные черты: мужественное, энергичное восприятие жизни, неподдельный молодой задор, бурный темперамент повествования. Но многое в этих картинах было поверхностным, скоропелым; думать они не заставляли. И, при всей острой броскости и внешней обобщенности формы полотен, они все же были связаны с испытанными штампами иллюстративной живописи.

Но где-то в начале шестидесятых годов в творчестве художника произошел значительный перелом: Попков стал напряженно и настойчиво искать более глубокие, более сложные образы современности.

Вот на таком-то повороте, строя свой новый стиль, Попков заимствовал у иконописи некоторые приемы. В картинах «Студенты на практике» (1965), «Двое» (1966) и нескольких других он применяет обратную перспективу, условные источники освещения, строит колорит на широких локальных плоскостях цвета с интенсивными световыми переливами. Фигуры, расположенные в этой пластической среде, обладают самостоятельностью, не вступают между собой в прямое взаимодействие, хотя их соседство не случайно, между ними есть определенное сцепление — только оно осуществляется не через сюжетные линии, а в сопричастии к общей образной атмосфере картины.

Эта стилевая система позволяет художнику сочетать в своих произведениях осязаемую конкретность отдельных мотивов и образов с неизменным ощущением видения мира в целом. Поэтому избранные темы — труд, любовь, воспоминания о погибших («Вдовы», 1966) — обретают масштабность; действие в картинах происходит «на всем белом свете», каждый образ соединяет в себе индивидуальную судьбу и сломившее границы отдельного факта обобщение.

Сходная стилистика встречается и в работах Дмитрия Жилинского. Правда, ему ближе не икона, а древнерусская фреска с ее монументальным строем, а также живопись раннего итальянского Возрождения. Жилинский сторонится сложной проблематики, его влечет к себе ничем незамутненное светлое спокойствие, материальная красота мира, прелесть предметности. Отказываясь от какой бы то ни было деформации и обобщения природы, художник любую фигуру или вещь, любую деталь изображения воспроизводит с граненой четкостью, словно бы он все это впервые увидел и хочет поделиться со зрителем своим открытием, не упустив ни малости («Моя семья», 1964; «Гимнасты СССР», 1965).

Конечно, вся эта внешняя наивность полотно Жилинского условна. Они сродни всем тем (весьма немногочисленным) произведениям современного искусства, которые противопоставляют тревоге и смутности нынешнего мира гармонию простых чувств и радостной декоративности. Но особый характер и уровень артистизма, который требуется для создания такого рода живописных Аркадий, полностью выдает их принадлежность к художественной культуре нашего времени. Впрочем, дело не только в ар-

тистизме: ведь за искусством видения и отбора природы, за музыкой чистых красок и энергичной пластикой стоит совершенно определенное представление о прекрасном. Это представление проникнуто поэзией душевного здоровья, приобщения к светлым началам жизни — они спокойно и свободно властвуют в том простом и радостном мире, который показывает Жилинский.

Такая жизненная философия вовсе не обязательно связана с яркой многоцветностью палитры и любовным выписыванием «кожи» натуральных объектов. В картинах Андрея Васнецова из всего солнечного спектра оставлены лишь черные и белые тона. Фигуры и предметы изображены тут в приблизительных очертаниях, намеками, формулой, вне всякой иллюзорности.

Но этот аскетизм живописи, соприкасающийся с различными традициями от Сурбарана до Брака, на мой взгляд, не имеет своим следствием скованность чувств, отрешенность от зрительного и эмоционального богатства жизни. Картины Васнецова излучают теплоту сердечного участия; обычное течение повседневного бытия обретает в них высокую значительность и духовность. Ограничив колорит двумя исходными тонами, Васнецов достиг особой сосредоточенности своей живописи, углубления в простое и очевидное, которое на поверку оказывается сложнейшим и непознанным, обладающим огромной, многосложной выразительностью. Кроме того, стоит заметить, что сведение картины мира к двум краскам (художник, однако, показывает богатство их оттенков) — не такое уж условное допущение: современный человек психологически по большей части в таком мире и живет, — убедительнее всего это доказала поэтика черно-белого кинематографа. Тем более значительно, если художник находит в этом мире скрытые и непонятые качества, вводит их в эстетический обиход, по-человечески их осваивает.

А. Васнецов и Н. Андронов много работают и в области монументального искусства. Пути его развития составляют особую, далеко не простую проблему, которой я не буду касаться в этой статье. И даже об индивидуальных успехах этих художников в монументальных жанрах тут говорить сложно, ибо чаще всего они создают фрески и мозаики в коллективах под руководством таких выдающихся мастеров, как А. Гончаров и В. Эльконин (которые в свою оче-

редь являются учениками В. Фаворского). Все же об одном в этой связи сказать необходимо. Монументальные композиции посвящены, как правило, событиям и темам огромной общественной значимости, они требуют крупномасштабной формы, обобщающей силы образов. Они обращены к улице, к тысячам зрителей, им нужно громогласие и предельная ясность выражения. И если Андронов и Васнецов приносят из станкового творчества в монументальные жанры лирическую тонкость и человеческую теплоту (что, сохраняя органичность, обогащает даже самую плакатно-ораторскую фреску или мозаику), то ведь есть и обратное воздействие. Совсем не обязательно, чтобы в станковые картины Андропова и Васнецова прорывались специфически-монументальные приемы, но гражданственность, философская широта обобщения мыслей и чувств современников объединяет оба ведущих жанра их творчества: образный мир художника един и внутренне целостен.

Попытки проникновения в пластику современной жизни увлекают многих живописцев новых поколений. Среди них есть талантливые экспериментаторы, которые годами работают над проблемами живописной формы, ищут художественные эквиваленты духовного мира людей нашей эпохи (стоит в этой связи назвать имена москвича Б. Биргера, литовца И. Шважаса, армянского художника М. Аветисяна). Впрочем, и опыты этих художников нельзя назвать чисто лабораторными. В огромном же большинстве случаев формальный эксперимент следует у молодых мастеров за образной идеей, строго подчинен ей. Тут можно было бы вспомнить несколько десятков фамилий — от более старших, уже перешедших в среднее поколение (скажем, В. Иванов, Т. Нариманбеков, М. Савицкий, Б. Берзинь, Г. Мосин и М. Брусиловский), до совсем молодых — Н. Ерышева, Г. Мызникова, Т. Мирзашвили. Нет-нет, я не составляю перечня. Для читателя он неинтересен, а для критика самоубийствен (всегда когонибудь забудешь и обидишь). Но, обойдясь без перечислений, скажу с глубокой и радостной уверенностью: молодых талантов (и не только в живописи, но и во всех жанрах изобразительного искусства) у нас много. Радует не только изобилие молодых дарований, но в первую очередь целенаправленность их исканий, стремление показать

жизнь нашей страны, нашего времени во всем ее богатстве и сложности.

Реализм развивается с ходом истории. Конечно, его основные черты — верность жизненной правде, связь с передовыми идеями времени — сохраняются всегда. Но конкретное общественное содержание, образный строй, выразительные средства и приемы реалистического искусства постоянно обновляются и развиваются — вместе с историей, социальным и духовным опытом человечества, чья качественная новизна неотвратимо требует и новизны художественного выражения. Искусство, которое сколько-нибудь всерьез от этих требований отстало, оказывается не в состоянии запечатлеть подлинный облик времени, раскрыть его душу. Определение «реализм» к такому искусству неприменимо, причем ссылки на сходство с известными, признанными образцами прошлых, даже сравнительно недавних периодов тут бессильны помочь. Образцы-то полны живой крови своего времени, они утверждают со всей силой душевного напора: «Это было при нас, это с нами вошло в поговорку...» А когда современность силком пытаются втиснуть в кальки художественных решений вчерашнего дня, луть самых превосходных и выразительных, образы получаются мертворожденными, они лишены непосредственности, пафоса времени, жизненного нерва. Любая традиция продолжает жить лишь в том случае, если с движением времени ее развивают и обновляют. Становясь каноном, а не отправной точкой дальнейшей творческой эволюции, она более или менее быстро хиреет и умирает, становясь лишь историей.

Ясно и другое: новые стилевые приемы возникают вовсе не потому, что авторам старых недоставало мастерства. Понятия «лучше» — «хуже» в этом плане весьма зыбки и вообще вряд ли применимы. Главное, что эти приемы разные. А возникает эта разница, если брать проблему крупно, в целом, не в силу действия одних лишь внутренних художественных импульсов, но по причинам, которые в конечном счете лежат вне искусства. Вместе с развитием человечества, отдельных стран, общественных формаций, научно-технического прогресса — словом, вместе с изменением содержания жизни меняются эстетические воззрения, меняется искусство, меняются и его выразительные средства, его форма. Закон соответствия, синхронности таких перемен доказывает вся

история искусства. Само собой, что грандиозный опыт искусства прежних эпох не «отменяется» развитием новой художественной культуры, как бы мощна и оригинальна она ни была. Даже самые резкие и кардинальные перемены в образном строе и системе выразительных средств работ художников-реалистов постепенно обнаруживают свою глубокую внутреннюю связь с предыдущими традициями. И средства, принципы изобразительного языка, сложившиеся в различных классических школах, обязательно используются новыми реалистическими художественными направлениями. Но простого повторения не бывает никогда, и каждая эпоха создает свои образно-стилевые концепции, отвечающие духу и характеру жизни времени. Нелепо и бессмысленно как-то дозировать «обязательные», «допустимые» пропорции традиционного и новаторского. Одно можно сказать с полной уверенностью: у каждой эпохи, как и у каждого человека, свой голос. Иногда он напоминает отцовский, а то и дедовский, но все же он — особый, со своим тембром, своими интонациями, единственными в своем роде.

Мы — современники великой эпохи в истории человечества, когда на глазах одного-двух поколений происходят огромные сдвиги в общественном жизнеустройстве, достигаются фантастические успехи в изучении тайн природы. На наших глазах изменяются содержание и характер трудовых процессов, наука бесконечно расширяет рамки мира человеческих интересов.

Ясно, что все это оказывает свое воздействие на психологию современников, их духовный, эмоциональный строй, требует от искусства умения создавать обобщенно-концентрированные образы эпохи.

Однако когда говорят, что искусство должно рассказать о жизни наших дней, то вряд ли это достаточно полное определение. Оно говорит лишь о части дела. Ведь в несравненно большей мере от искусства ждут, так сказать, очеловечивания окружающего нас и столь быстро изменяющегося мира, идейного, психологического, эмоционального освоения всего, что приносит с собой современность.

К слову сказать, именно в этой связи становится понятным, сколь однобоки и неточ-

ны взгляды, в силу которых художники должны представлять действительность наших лет только и исключительно в напряженных, бурных ритмах, экспрессивной динамике, предельной концентрации действия. Бесспорно, что все это может сейчас иметь место, но ограничиваться этим современное искусство не может, не должно. Ведь, как и прежде, люди спокойно и неторопливо созерцают красоту родных краев, облик любимых; вряд ли сильно изменился ритм человеческого мышления; общение с настоящим искусством также отнюдь не требует поспешности; наконец, хотя бы уже в порядке психологической самозащиты от вихревой динамики жизни, люди все больше тянутся к вдумчивому самоуглублению, к тишине, к уравновешенному созерцанию. Связанные со всем этим ритмы, строй, интонации образов наверняка сохранятся в современном искусстве и даже получат особо мощное развитие, но, разумеется, не противопоставляя себя общему характеру нынешней жизни, а отыскивая новые формы сопряжения с ней.

Да и вообще для любых открытий, любых изменений в жизни, ее общественной и материальной практике художники должны находить человеческую и человеческую точку зрения. Работа мастеров искусства, как правило, не прямо, а лишь путем сложного опосредования связана с достижениями науки, техники, промышленности. Найти какой-то художественный эквивалент этих достижений, раскрывающий их научную суть, — дело невозможное, да и ненужное. У художника совсем иная цель — показать новое в психологии человека, его общественную повседневность, воплотить представления о прекрасном, гражданские идеалы.

Советское изобразительное искусство принадлежит к тем силам, которые отстаивают человека и человеческое в современном мире. Оно яростно сопротивляется всему, что противоречит человеческой природе или пытается как-то ограничить или обеднить ее. Лучшие из созданных за полвека произведений советских художников проникнуты искренним стремлением сообщить высокую красоту взаимоотношениям людей между собой и с окружающим их природным и предметным миром.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ЛЕБЕДЕВ

★

СУДЬБА ВЕЛИКОГО НАСЛЕДИЯ

В последние годы в нашей литературной и общественной жизни произошло значительное событие: вышли в свет или были завершены изданием новые капитальные собрания сочинений всех крупнейших представителей русской революционно-демократической мысли.

Снабженные отличным академическим аппаратом и обстоятельными вступлениями, выполненные по всем правилам современной текстологии, наиболее полные по своему составу, нежели все ранее выходившие, эти издания явились плодом огромной подготовительной работы больших коллективов наших специалистов, а в известном смысле и своеобразным итогом пути, пройденного нашей наукой. Русские революционные демократы XIX века — непосредственные предшественники русских марксистов, и овладение их наследием, отношение к нему всегда было у нас вопросом, имеющим принципиальное идейное значение.

1. ГЕРЦЕН И КНИГОТОРГ

Спустя двадцать лет после смерти Добролюбова (в то время Россия была знакома уже с тремя изданиями его сочинений) один русский журналист писал: «...четыре тома «Сочинений» Добролюбова, ставшие ныне чуть ли не библиографической редкостью, зачитанные, засаленные, захватанные, испещренные разнообразными заметками, свято хранятся во всех уголках и захолустьях России и снова и снова перечитываются, каждый раз производя ободряющее впечатление: еще можно жить на свете, еще не вывелись честные люди, еще есть с кем поговорить по душе...»

Многие и многие годы имена Белинского, Добролюбова, Герцена, Чернышевского

стояли в самом центре идейной жизни России, были средоточием самых страстных идейных споров, предметом самых непримиримых политических столкновений. Спустя десятки лет после смерти этих людей «высочайше» запрещались их сочинения, школьные учителя увольнялись со службы за пропаганду их статей, общественные панихиды в дни памятных годовщин превращались во внушительные политические демонстрации. Накануне этих траурных дат студенческие комитеты готовили листовки, посвященные памяти любимых литераторов, а начальство вызывало казаков. Правительство запрещало сочинения революционных демократов к выдаче в библиотеках, цензура вымарывала их имена из журнальных и газетных статей и книг. Идеи, высказывавшиеся шестидесятниками, волновали Тургенева и Льва Толстого, Достоевского и Горького. Труды революционных демократов сыграли решающую роль на первых порах в духовной эволюции Плеханова и Ленина. Оценивая различные течения в передовой домарксистской русской общественной мысли, Энгельс писал: «Если некоторые школы и отличались больше своим революционным пылом, чем научными исследованиями, если были и есть еще различные блуждания, то, с другой стороны, была и критическая мысль и самоотверженные искания в области чистой теории, достойные народа, давшего Добролюбова и Чернышевского»¹.

Миллионными тиражами разошлись по нашей стране после победы Октябрьской социалистической революции школьные хрестоматии, включившие лучшие статьи

¹ К. Маркс, Ф. Энгельс. Переписка с русскими политическими деятелями. Госполитиздат. 1951, стр. 277.

критиков революционно-демократического лагеря. Академические издания их сочинений были дополнены массовыми выпусками избранных работ по эстетике, философии, педагогике, критике. Тысячи статей и брошюр, посвященные различным проблемам революционно-демократического наследия, были написаны в советские годы. О Белинском, Добролюбове, Герцене, Чернышевском были прочитаны у нас тысячи докладов и лекций, о них писались кандидатские и докторские диссертации и школьные сочинения на аттестат зрелости. Книги, посвященные наследию великих предшественников марксизма в России, удостаивались Государственных премий. Их имена звучали в самые торжественные минуты с самых высоких трибун, они были провозглашены национальной святыней.

И вот перед нами новые издания их сочинений. Какой действительно путь, пройденный нашим обществом, лежит между этими прекрасно выполненными изданиями и теми «зачитанными, засаленными, захватанными, испещренными разнообразными заметками» книжечками, о которых упоминал некогда русский журнал!

И все-таки начать эту статью хотелось бы именно так, как начиналась некогда рецензия на одно из тех самых изданий, которым затем так скоро суждено было превратиться в «зачитанные и засаленные» книжечки: «Давно ожидавшееся издание... наконец, появилось и раскупается нарасхват...»

Только начать эту статью сегодня так нельзя.

Едва замеченные нашей периодической печатью, новые издания сочинений революционно-демократических литераторов тихо легли на библиотечные полки и прилавки букинистических магазинов. Последним был Добролюбов.

Вышли в свет новые издания сочинений крупнейших представителей революционно-демократической мысли, и этот факт впервые за многие десятилетия русской истории не сделался событием ни в литературной, ни в общественной жизни страны.

Да, «книги имеют свою судьбу». Но, как справедливо замечал еще Плеханов, «если имеют свою судьбу книги, то имеют ее и писатели. И надо заметить,— добавлял Плеханов,— что судьба писателей подчас не менее поражает своей странностью, чем судьба книг».

Судьба революционно-демократического наследия в наше время — вот тема, которая, пожалуй, представляет ныне наибольший интерес, когда мы обращаемся к творчеству великих шестидесятников.

Так что же произошло у нас с наследием великих критиков-революционеров? Почему их книги «не идут» у нас так, как «шли» когда-то?

Вопрос этот ставится в нашей печати не впервые.

Более двух лет тому назад в «Литературной газете» (4 мая 1965 года) В. Шкловский писал, крайне обеспокоенный судьбой издания «советского Герцена»: «...на пыльные полки складов легло не просто несколько тысяч комплектов книг,— легло знание о великом писателе. Книгу мы издали, издали хорошо, но продать не сумели. Убыток же выражается не в десятках, не в сотнях тысяч рублей,— основной убыток — это непрочитанный Герцен». Это верно, конечно. «Как же,— спрашивает Шкловский,— получается, что один из величайших русских писателей... оказывается на складе? Нельзя сказать, что был завышен тираж, нельзя сказать, что плохой автор. Подумаем же, кто из нас виноват?»

Подумаем.

Сам В. Шкловский полагает, что виновато прежде всего, если не исключительно, наше неумение торговать, а главное — рекламировать нужную книгу. «Да,— восклицает он, заключая свою статью,— это оно повинно в том, что великие имена классиков позорит уценка их книг, что печальная тень ложится, таким образом, на имена людей, которые своим гением создали наше настоящее». Вот если бы заранее, до выхода нового издания сочинений, отдельные статьи Герцена передавались бы по радио, были бы напечатаны в «Работнице» и «Огоньке», если бы устроить интересную рекламную передачу по телевидению, напечатать соответствующие материалы в газетах — тогда все было бы хорошо, новое издание, без сомнения, разошлось бы.

«Кто виноват?» — так называется статья В. Шкловского. Ответ, данный им на этот вопрос, прям и нелицеприятен: Книготорг. Наше неумение торговать, рекламировать книгу.

Ну что ж, можно в качестве рабочей гипотезы принять в конце концов и эту версию. Правда, она сразу же вызывает некоторые сомнения. Реклама рекламой, неуме-

ние неумением, а ведь есть же и сейчас у нас книги, которые — хоть совсем не рекламируй их — как ветром сдувает с прилавков книжных магазинов.

Но в конце концов пусть даже В. Шкловский прав. Книготорг так Книгсторг. Пусть это будет звучать так. Однако и в этом случае остается все-таки еще выяснить: как же дошел до жизни такой этот самый Книготорг?

2. ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ШЕСТИДЕСЯТНИКОВ

Прежде всего следует отметить тот факт, что действительное — последовательное и всестороннее — изучение наследия революционных демократов началось лишь при советской власти. Именно Октябрьская социалистическая революция открыла возможность для объективного, свободного освещения деятельности непосредственных предшественников русских марксистов. Труды Ленина и Плеханова послужили исходной методологической базой для плодотворной разработки нашими учеными идейного наследия литераторов-шестидесятников. Огромную лепту в это дело внес своими статьями об эпохе и людях шестидесятых годов Луначарский.

Кропотливая работа текстологов, освобождавших произведения революционных демократов от цензурных искажений и купюр, объединенные усилия философов и литературоведов, экономистов и историков, социологов и искусствоведов — все это приближало к нам революционно-демократическое наследие, создало необходимые предпосылки для того, чтобы сделать это наследие достоянием миллионов. Эта работа была существенным элементом той культурной революции в стране, целью которой явилось приобщение широчайших масс к миру величайших духовных ценностей. Творчество революционно-демократических писателей было при этом мобилизовано для выполнения задачи первоочередной важности — именно литературно-критические работы наших шестидесятников для миллионов советских людей явились своеобразным «введением» к освоению духовных богатств «золотого века» русской культуры прошлого, первым «путеводителем» по сокровищнице классического русского реализма XIX века. Ведь именно Белинский для очень многих из нас стал первым истолко-

вателем Пушкина и Гоголя, именно «со слов» Добролюбова многие из нас впервые воспринимали героев Тургенева и Островского. «Без Герцена,— замечает в упоминавшейся нами выше статье В. Шкловский,— мы не можем понять до конца самого Толстого, понять Достоевского, Салтыкова-Щедрина». Все сказанное, без сомнения, относится и к литературно-критическому наследию Чернышевского.

Творчество революционно-демократических критиков явилось, таким образом, в первые же десятилетия советской власти весьма существенным подспорьем для еще не окрепшего советского литературоведения и искусствознания.

Однако это только одна сторона дела. Революционные демократы — непосредственные предшественники марксизма в России, и естественно, что они должны были, не могли не стать союзниками советской власти в той огромной идеологической, воспитательной работе, которую поставила на повестку дня революция.

Именно поэтому изучению творчества революционных демократов в первую очередь была придана важность дела государственного значения. Образовывался единый идеологический фронт от «неистового Виссариона» и Николая Добролюбова до Николая Островского и «неистовых» героев молодой, романтически звонкой советской литературы. Тени великих предшественников стали в один ряд с героическими творцами первых наших пятилеток.

Широко известна мысль Белинского о том, что Пушкин относится к вечно юным и вечно живущим, развивающимся явлениям русской истории. В известном смысле и с некоторыми ограничениями эта же мысль может быть, как видно, отнесена и к любому истинно великому явлению литературы, искусства, культурной жизни вообще. Наследие великого литератора — вечно живое явление, будь то шедевр собственно искусства или явление критики, тесно связанное с данным искусством, впервые открывшее его смысл и значение людям. Но это наследие не развивается лишь «из самого себя». Судьба писателя — очень сложное социально-историческое явление. Храня наследство, люди никогда не ограничиваются им — это было бы просто невозможно. Общество хранит лишь то, что нужно ему в его сегодняшней жизни, — наследие с неизбежностью утилизируется новой

общественной потребностью, при этом переосмысливаясь и домисливаясь.

Все это отнюдь не означает, конечно, что какая-то степень «модернизации» наследия фатальна. Ничего подобного! Известно, что человек способен, утверждая свою человеческую сущность, подходить к каждому явлению окружающей его жизни в меру именно данного явления.

Но известно также и то, что можно, не утруждая себя познанием объективных закономерностей, не вникая в суть дела, подойти к явлениям с «позиций силы», стараясь «подмять» их, продиктовать им свое решение, «приневолить» их. Иногда подобный подход именуют у нас теперь «волевым». Такой «волевой» принцип может лежать, например, в основе отношения к природе. По-иному подобное отношение называется в этом случае еще и хищническим. Но этот же самый принцип может определять и отношение человека к миру культурных ценностей...

Изучение творческого наследия революционно-демократических писателей получило после Октябрьской революции в нашей стране творческий импульс огромной силы. Новая общественно-политическая потребность натолкнула науку на освещение в первую очередь таких сторон деятельности предшественников русских марксистов, которые ранее оставались в тени: огромная работа — и в довольно жесткие сроки — была проведена для выяснения форм и масштабов революционно-организаторских усилий шестидесятников, при этом были открыты новые важные общественные связи крупнейших деятелей шестидесятых годов. Многие и в самой литературной практике революционно-демократических литераторов оказалось освещенным при этом новым светом, уточнились многие оценки и характеристики. Фигуры революционно-демократических деятелей предстали более полнокровными, реальными, живыми. Были тут отдельные «перегибы» и «перехлесты», но в целом проделанная работа оказалась, без всякого сомнения, высокополезной.

Однако в то же самое время в недрах этого плодотворного процесса зародились и иные тенденции. Обнаружилась опасность, связанная прежде всего с возможностью некоторого «перенапряжения» испытанных средств академического анализа, вдруг получивших небывалую общественно-политическую «нагрузку». Средства эти представ-

лялись порой недостаточно гибкими, порой недостаточно динамичными для того, чтобы решить задачи, которые нередко начинали теперь ставиться перед людьми, изучающими литературное наследие революционно-демократических деятелей. При этом начинало казаться, что наука все как-то не поспевает за новыми лозунгами и кампаниями, что она как-то все «отстает от жизни», что жизнь обогнала ее. Даже сами методы строго научного исследования иногда начинали казаться слишком уж «старомодными», слишком уж «академическими» (хотя и странно, если на минуту вдуматься, звучал этот упрек применительно к научным методам исследования); результаты и выводы, достигнутые в процессе исследования темы, представлялись недостаточно «публицистически нацеленными». Даже академик П. Лебедев-Полянский оказался, к примеру, явно академичным. То же произошло и с В. Евгеньевым-Максимовым. Наконец, был взят под сомнение и А. Луначарский, больше всех других сделавший для широкой пропаганды революционно-демократического наследия.

Так к здоровой, вызванной ходом самой жизни и с научной точки зрения исключительно плодотворной линии на всемерное сближение дела изучения революционно-демократического наследия с делом культурного просвещения миллионов масс стало подчас примешиваться стремление поэксплуатировать это наследие на потребу конъюнктурно понятой политической надобности. Подобное стремление обнаруживалось все чаще и, наконец, обратилось в очевидную тенденцию...

3. ТЕНИ ОТДЕЛЯЮТСЯ ОТ ХОЗЯЕВ

Действительно, ни одно мало-мальски памятное событие в нашей идейной жизни в не столь уж отдаленном историческом прошлом не обходилось без упоминания имен революционно-демократических деятелей. И имена эти не только упоминались, а упоминались с надлежащим и подходящим к случаю цитированием. И даже цитаты эти столь всем до сих пор памятные, что стоит лишь привести некоторые из них, как бывалый читатель без труда тут же вспомнит, когда и по какому случаю их уже употребляли в нашей печати.

Ну, к примеру, хотя бы так:

«...Не в талантах, не в их числе видим мы собственно прогресс литературы, а в их направлении, их манере...» (Белинский).

Или так:

«Признаюсь, жадки и неприятны мне спокойные скептики, абстрактные человеки, беспачпортные бродяги в человечестве...» (Белинский).

Порой подобного рода цитирование сводилось к минимуму текста из цитируемых авторов. Но имена оставались — нужны были именно имена.

«Осознанная большевистская партийность советской литературы и ее неразрывная связь с народными массами... позволили нашей литературе осуществить задачу отражения назревающих тенденций народного развития, задачу «перенесения из будущего в настоящее» (Чернышевский). При этом советская литература поднялась до претворения, если употребить выражение Добролюбова, «самых высших умозрений в живые образы» (см. сборник «Проблемы социалистического реализма». 1948, стр. 319).

А иногда из соответствующим образом подобранных и «отрегулированных» цитат составлялись целые подборки «высказываний»:

«Гегель превратил жизнь в мертвые схемы... из явлений жизни сделал тени, сцепившись костяными руками и пляшущие на воздухе, над кладбищем» (Белинский).

«Развитие последовательных воззрений из двусмысленных и лишенных всякого применения намеков Гегеля совершалось у нас... — мы с гордостью можем сказать это — собственными силами» (Чернышевский).

«Даже логика Гегеля сама по себе не представляет ничего поучительного...» (Добролюбов).

А в общем,

«Не пойдет наш поезд,
Как идет немецкий...»

(Добролюбов)

Все цитаты приведены верно. Только вот контекст оказывался у них иной раз совершенно не тот, какой был в сочинениях, откуда эти цитаты взяты. И в уже упоминавшемся нами сборнике 1948 года, в котором как раз и были опубликованы приведенные строки из добролюбовского стихотворения, отточие оказалось поставленным там, где у Добролюбова стоит иной знак — двоеточие.

Не пойдет наш поезд,
Как идет немецкий:
То соскочит с рельсов
С силой молодецкой;

То обвалит насыпь.
То мосток продавит.
То на встречный поезд
Ухарски направит.

То пойдет потише,
Опоздает вволю.
За метелью станет
Сугок трои в поле.

А иной раз просто
Часика четыре
Подождет особу,
Сильную в сем мире, и т. д.

Цитировать приходилось «осторожно, урывками. Можно было, скажем, обругать кого-нибудь, цитируя Добролюбова: «Эти нравственные недоросли, эти рабски-ленивые и рабски-подлые натуры...» Но давать точную ссылку на источник цитаты не стоило, ибо речь у Добролюбова в этом случае шла о тех самых «рабски-подлых натурах», которые «делают паразитами какого-нибудь громкого имени, чтобы его величием наполнить собственную пустоту. Нередко, — писал Добролюбов, — это громкое имя бывает — отечество, родина, народность, и тут уж не бывает конца цветистым фразам и риторическим изображениям, лишенным всякого внутреннего смысла. На деле, разумеется, не бывает у этих господ и следов патриотизма, так неутомимо возвещаемого ими на словах...».

Нет, главное, конечно, было не в цитатах — нужны были лишь имена, нужны были тени великих предшественников, освящающие современные писания, нужно было показать, что писания эти — «в лучших традициях» передовой русской общественной мысли.

В одном из изданий, увидевшем свет в 1950 году, можно было прочесть, например, следующее высказывание: «Можно смело сказать, что товарищ Сталин является одним из прямых наследников лучших сынов русского народа, как Белинский, Добролюбов, Чернышевский и т. д., и не только в том, что он претворил в жизнь на основе марксизма-ленинизма лучшие мечты и устремления этих людей, но и по строю всей своей жизни.»

Что ж удивительного в том, что тени наших великих предшественников стали как

бы святыней, к которой нельзя прикасаться, нельзя критиковать, на которую можно лишь почтительно взирать?

Вот как реагировали отдельные авторы на проявления недостаточно почтительного, с их точки зрения, отношения к наследию революционных демократов со стороны «некоторых советских ученых»: «Влияние либеральных истолкований мировоззрения Белинского сказывается и в работах некоторых советских ученых... Такая, не соответствующая исторической истине, точка зрения лежит в основе работ А. Луначарского, П. Сакулина, П. Лебедева-Полянского и некоторых других» («Вопросы философии», № 2, 1948, стр. 174). Это академический, так сказать, вариант.

Менее академический вариант: «Чудовишно извращаются философские взгляды Добролюбова в статьях профессора В. Я. Кирпотина... Если верить В. Я. Кирпотину, то оказывается, что Добролюбов — фейербахианец, метафизик, его материализм носит даже механистический характер... Впрочем, эти рассуждения Кирпотина не новы. Он повторяет злостные вымыслы буржуазных литературоведов вроде Иванова-Разумника, Ветринского (Чешихина) и других». И это — о Кирпотине!..

Еще менее академический вариант: «Там, где умалется идейно-теоретическое наследство русских мыслителей-материалистов... как это имеет место в статье (имярек. — А. Л.), — там налицо проявление низкопоклонства и угодничества перед буржуазным Западом и безродный космополитизм» («Вопросы философии», № 2, 1948, стр. 227).

Далее следуют варианты уже не вполне, если можно так выразиться, цензурного по нынешним временам свойства...

Мы не называем имен авторов подобных пассажей; давно все это было. Теперь те же авторы пишут совсем иное и иначе. А некоторых из них и вовсе нет в живых. Да и не в именах тут дело.

Дело в том, как понимать «использование» классических традиций.

В одну, к примеру, пору революционных демократов заставили вдруг как по команде произносить самые грозные слова по адресу людей, которые без особой готовности признавали, что паровая машина или, скажем, рентгеновские лучи впервые изобретены или открыты именно в России. Сами вышедшие, как известно, из «западничества», тесно связанные с «западнической»

идеологией, революционные демократы начали в ту пору поносить Гегеля и Канта, Фейербаха и великих французских просветителей. Мобилизованы были личные письма и частные записки, черновики и перечеркнутые в последующей работе самими авторами предварительные записи, дневники и беглые, подчас не очень даже внятные заметки на полях книг, — и чуть не в один день дело было слажено. Революционные демократы своими собственными цитатами «доказали», что именно они и исключительно они сами являются единственно стоящими философами во всей домарксистской философии. Оказалось, что так же, как паровая машина Ползунова, подлинный материализм впервые тоже «изобретен» в России...

Или другой пример. Известно, что отношение революционно-демократических деятелей к либералам и либеральной идеологии претерпело известную эволюцию — известную эволюцию претерпела на протяжении того исторического периода, о котором идет речь, и сама либеральная идеология. Говоря о двух тенденциях в русском обществе в отношении к капитализму — демократической и либеральной, — Ленин отмечал, что в 1861 году они — эти тенденции — лишь «только намечались», «обрисовались»¹. Соответственно в это время только еще лишь намечался, обрисовался и классовый антагонизм революционных демократов по отношению к либеральным деятелям, основной чертой которых в ту пору, по многочисленным свидетельствам Чернышевского и Добролюбова, была именно непоследовательность, половичатость в решении важнейших вопросов русской жизни, разрыв между намерением и исполнением и т. д. Но вот в одно время некоторым нашим авторам представилось, что главным врагом современного рабочего движения является не буржуазия и ее прямые идеологи, причем прежде всего наиболее реакционная часть буржуазии, а социал-демократические и даже прежде всего левосоциалистические элементы в самом рабочем движении. И революционных демократов привлекли для подтверждения и этой идеи. И что же — оказалось, что революционные демократы всегда видели главного противника крестьянской революции

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. т. 20, стр. 166.

не в крепостниках-помещиках, а именно в либералах!..

Конечно, повторяем, русский либерализм эволюционировал, эволюционировало и отношение к нему революционеров-шестидесятников. Конечно, в принципе возможны и исторически представимы такие ситуации, при которых либеральная идеология (равно как и левосоциалистическая) может оказаться главным препятствием на пути революционного переустройства общества, дезориентируя массы в условиях, когда основной классовый противник уже потерял в глазах масс всякий общественный престиж, идейно полностью разоблачен и политически окончательно дискредитирован. Тогда борьба с либерализмом может стать главной тактической задачей революционного авангарда. Но разве в середине прошлого века, когда, как известно, весь ход дальнейшего развития русского общества упирался в существовавшее в стране крепостное право, когда царистские иллюзии оставались массовым заблуждением «простолюдинов» и вера в добрые намерения «царя-батюшки» оставалась главным препятствием на пути революционного просвещения масс,— разве в это время задача борьбы с либеральными силами могла стать главной задачей прогрессивной части общества, главной заботой руководителей этой части русского общества? Нет, конечно. Ни Чернышевский, ни Добролюбов, при всей их устойчивой классовой неприязни к либеральной идеологии, при всех насмешках и издевках над либеральной непоследовательностью, половинчатостью, трусливостью, при всем презрении к либеральной бесхребетности, чреватой предательством, никогда не говорили, что борьба с либералами является главным делом их жизни. Нет такого в их работах. И не могло быть. «Либералов 60-х годов,— писал В. И. Ленин,— Чернышевский называл *«болтунами, хвастунами и дурачьей»*¹. И не на них он расходовал основную часть своей интеллектуальной мощи, своей революционной энергии. Вместе с тем даже и к шестидесятым годам прошлого века русский либерализм был еще внутренне противоречивым, сложным явлением. Вспомним в этой связи описания либеральных деятелей в «Прологе» — Чернышевский видел, что среди этих деяте-

лей есть разные люди: и такие, кто прямо уже связал свою политическую судьбу с судьбой существующего режима, предав демократические идеалы, и такие, кто искренне заблуждался или даже эволюционировал в сторону революционно-демократической идеологии...

Так в сознании широких читательских кругов стал постепенно создаваться новый образ типичного революционно-демократического деятеля XIX столетия. Это был распекагель и начетчик, с подозрением косящийся на все кругом и каждую минуту готовый призвать не понравившегося ему писателя к ответу. Во имя поддержания престижа мифологизированных фигур революционеров-шестидесятников авторы популярных брошюр и увесистых томов умалчивали о многих действительных чертах реальных героев. Это касалось большого и малого. Желю Чернышевского порою гримировали под истую подпольщицу, некую «Анку-пулеметчицу» прошлого века. Добролюбов был вообще лишен личной жизни¹. Фигуры революционно-демократических деятелей стали святыней, при этом молчаливо предполагалось, что о святынях полезно знать поменьше,— так оно, что там ни говори, надежнее...

А теперь вспомним В. Шкловского. И так, все дело в том, значит, что реклама плохая и надо, как говорит В. Шкловский, «приучать читателя» к Герцену?

Только ведь, как мы только что видели, приучали уж. И к Герцену, и к Чернышевскому, и к остальным революционно-демократическим писателям. И по радио передавали, и статьи в газетах помещали, и премии за книжки о них давали.

Так, может быть, все дело в том как раз, что слишком уж мы «приучены» к именам

¹ В свое время Чернышевский, готовя к печати Добролюбовский дневник, уже вычеркнул из него по праву ближайшего друга все, что, как видно, имело сугубо интимный смысл. Но даже в новом, только что вышедшем издании Добролюбовских сочинений в «Дневнике» редакторами и составителями сделаны новые купюры. Незначительные. Но сделаны. Что это — проявление неукротимой страсти к цензурованию всего и вся? Оскорбительное для памяти Чернышевского недоверие к его нравственному чувству? Или обывательский намек на наличие «закулисной» стороны в Добролюбовском облик? Досадная, но характерная деталь.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 175.

революционно-демократических критиков, слишком уж «зарекламированы» они у нас? Не от этого ли в самом деле и вся беда? Ведь известно, что ежели, скажем, какого-нибудь человека начать вдруг пичкать каждый день и час даже и самым любимым его блюдом, то и оно может ему вскоре осточертеть хуже самой горькой редьки. А если еще блюда эти готовить такими способами, как мы только что видели?

Да, многие из субъективистских искривлений партийной линии в идеологии, о которых выше заходила речь, в последующие годы, как известно, исправлялись партией. Но не будем закрывать глаза: образ революционно-демократического деятеля, который в результате этих «перегибов» и искривлений сложился в сознании наших читателей, в значительной мере продолжает жить... Кошмарное видение гофмановского мира — Чернышевский и Добролюбов, привлекающие к ответу известных советских писателей, Белинский, грозно клеймящий композиторов и указывающий им, какую надо писать музыку.

Придуманные образы с течением лет стали идеологической реальностью. Тени далеких предков отделились от своих хозяев. Сохраняя лишь некоторые внешние контуры реальных исторических деятелей прошлого, они явились теперь отражением совершенно иной реальности. Эти идеологические фикции, эти фантомы живут порой и поныне в новейших исследованиях.

4. КАК А. БЕЛИК Н. ЧЕРНЫШЕВСКОГО ЗАОСТРЯЛ

В 1959 году Издательство АН СССР опубликовало сборник «Из истории эстетической мысли нового времени». В сборнике напечатана и статья А. Белика «Н. Г. Чернышевский о красоте в действительности» (часть работы, которая в дальнейшем была защищена автором в качестве докторской диссертации).

Статья А. Белика написана с воинствующей откровенностью. Пафос ее заключается в едва ли не демонстративном заострении автором некоторых положений эстетики Чернышевского.

Посмотрим, как и «в какую сторону» заостряет А. Белик Чернышевского.

«Всей системой своих рассуждений,— пишет А. Белик,— Чернышевский доказывал,

что «истинная, высочайшая красота есть именно красота, встречаемая человеком в мире действительности, а не красота, создаваемая искусством...» Чернышевский,— продолжает А. Белик,— никогда не отказывался от этого основного принципа своей эстетики, не проявлял ни колебаний, ни отступлений от него, проводя этот принцип во всех своих трудах по эстетике и литературной критике. Более того...» Впрочем, хватит пока и этого.

Что ж, действительно «эстетическая реабилитация действительности» явилась главной идеей известной работы Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности». Но в чем заключался для Чернышевского и в чем объективно состоит главный смысл подобной «реабилитации»? Имея перед глазами лишь ту цитату, которую привел А. Белик, можно подумать, что основная задача этой «реабилитации» сводилась у Чернышевского к принижению красоты искусства, к утверждению некоей «второсортности» этой красоты, к дискредитации эстетической ценности художественного творчества. Так ведь? А ведь на самом-то деле совсем не так.

Основная идея «эстетической реабилитации» реальной действительности заключалась у Чернышевского прежде всего в утверждении объективной основы творческой фантазии, в утверждении приоритета действительности по отношению к художественному вымыслу, в отрицании какой бы то ни было идеализации ненавистной действительности в искусстве, в отрицании дурного произвола художника по отношению к отображаемой им жизни, в отрицании субъективистского толкования «творческой воли» писателя. Вот что тут было главное. Случайно ли, что диссертация Чернышевского была воспринята его современниками как теоретический манифест критического направления в искусстве того времени? Случайно ли, что Плеханов, так много сделавший для дискредитации субъективно-социологического метода, в частности и в эстетике, нашел в этом случае отличное теоретическое подспорье именно в работах Чернышевского? И именно эту направленность эстетической теории шестидесятников Плеханов, достаточно сурово говоривший о многих слабостях этой теории, никогда не переставал оценивать в высшей степени положительно.

В статье, посвященной эстетической теории Чернышевского, Плеханов цитирует предисловие Чернышевского к его диссертации: «Уважение к действительной жизни, недоверчивость к априорическим, хотя бы и приятным для фантазии гипотезам — вот характер направления, господствующего ныне в науке. Автору кажется, что необходимо привести к этому знаменателю и наши эстетические убеждения...» Вот в чем, по мнению Плеханова (и, как видим, Чернышевского), заключается главная идея знаменитой диссертации. «Если сущность человека, — разъясняет Плеханов основную мысль Чернышевского, — «чувственность», действительность, а не вымысел и не абстракция, то всякое превознесение вымысла и абстракции над действительностью не только ошибочно, а прямо вредно. И если задача науки вообще заключается в реабилитации действительности, то в этой же реабилитации заключается и задача эстетики, как отдельной научной отрасли. Этот вывод, — заключает Плеханов, — неизбежно следующий из философского учения Фейербаха, целиком лег в основу всех рассуждений Чернышевского об искусстве».

Думается, что эстетическая реабилитация действительности с ее пафосом уважения к объективным закономерностям исторического процесса, с ее отбрасыванием всякого рода субъективистских, произвольных, «фантастических» взглядов на этот процесс, — такая «реабилитация» вполне созвучна тем тенденциям в современной нашей жизни, которые связывают себя с борьбой против всякого рода «волюнтаристских», «волевых» приемов и навыков обращения с историей и основываются на уважительном, деловом, компетентном подходе к самым острым проблемам реальной жизни. Думается еще, что если названные тенденции пока достаточно слабы в нашей эстетике и критике, то вовсе не влияние идей Чернышевского тому виной... Иное дело, что Чернышевский, в силу известной исторической ограниченности своего мировоззрения в целом, не был достаточно последователен в утверждении идеи эстетической реабилитации жизни. Эта идея порой получала у него слишком уж абстрактное, отвлеченное выражение, оставляющее место для произвольного ее истолкования в пользу тех или иных предвзятых концепций и конъюнктурных теорий, возможно-

сти возникновения которых он, естественно, предвидеть не мог.

Вообще надо сказать, что прошлые годы значительно обогатили наше понимание тех или иных положений революционно-демократической эстетики. Да и помимо того за теми или иными энергично выдвигаемыми теоретическими положениями мы научились видеть и даже предвидеть их общественно-практическое назначение и смысл. В частности, и упомянутое положение Чернышевского («истинная красота — красота действительности, а не искусства») мы уже встречали в контексте памятных рекомендаций литераторам. Вот как, к примеру, «заостряли» тогда у нас Чернышевского в одной из статей, включенных в сборник, изданный Академией наук СССР в 1951 году: «Прекрасное — это наша жизнь». А далее в этой статье говорилось еще и так: «Мысль о том, что прекрасное — это наша жизнь... являясь продолжением и развитием на новой, более высокой исторической основе лучших традиций русской революционно-демократической эстетики, неразрывно связана со всеми коренными, основополагающими принципами теории социалистического реализма, естественно вытекает из них... Она утверждает на языке эстетики великую идею животворного советского патриотизма, резко противопоставит космополитизму и одному из его проявлений в литературе — формализму, а также и всему, что уводит от реальной жизни нашей Родины, с ее красотой и величием».

Никто, естественно, не собирается возлагать ответственность за то, что подчас печаталось у нас в 1951-м или каких-то иных годах, ни на Чернышевского, ни на Белика. Но в отличие от Чернышевского автор современной работы о революционно-демократической эстетике не имеет права не помнить о том, чему могут служить на практике те или иные «заострения» тех или иных «чисто теоретических» положений этой эстетики, не может не понимать, что неумело или слишком уж «умело» поставленное в цитате из классика отточие порой намечает кратчайшую линию от великого до плохого.

Да, кстати сказать, А. Белик вряд ли и забыл, как интерпретировались революционно-демократические идеи в статье 1951 года, цитату из которой мы выше привели. Ведь именно в этой статье шла речь и об А. Белике. Только упоминался он в этой статье совсем не в той связи, в какой «разоблачались» тогда другие советские авторы.

У каждой крайности есть своя крайность. А. Белика критиковали тогда за «комчванство», за «противопоставление писателей-коммунистов — писателям-беспартийным», за «отрыв принципа большевистской партийности в литературе от принципа правдивого отражения действительности» и за «сектантское положение о том, что социалистический реализм является особым «партийным методом художественного творчества». Отмечиваясь, как видно, «от слишком уж «крайнего» и чрезмерно «заостренного» выражения той самой точки зрения, которую в общей форме он и сам тогда разделял, автор упомянутой статьи счел нужным отмежеваться от требования, предъявлявшегося в ту пору А. Беликом советским литераторам: «Отображать порожденные жизнью ростки нового, коммунистического бытия в качестве победивших, зрелых явлений жизни еще до того, как они прочно утвердятся в жизни». Слишком уж откровенно звучало в этом случае требование приукрашивать действительность.

Кто старое помянет — тому глаз вон. Что же, иногда приходится все-таки идти на этот риск.

Нам не пришлось бы вспоминать о давнишних выступлениях А. Белика (как не вспоминаем мы здесь о давнишних статьях других авторов — они давно отошли от защищавшихся в ту пору ими взглядов), если бы только А. Белик не проявлял в данном случае столь незавидной и настойчивой последовательности. Правда, прямых выводов в сфере культурной политики он сейчас из своих рассуждений об особенностях революционно-демократической эстетики не делает. Но методология у него осталась прежней. А практические выводы... В данном случае если они и не подразумеваются автором, то, как говорится, напрашиваются сами. Любое рассуждение имеет свою логику, даже если его оборвать на полуслове...

Да, методология недавней статьи А. Белика давно знакома. Сам А. Белик в другой своей работе таким образом восстанавливает свою методологическую и идейную родословную.

«Чернышевский, — говорит он, — был социалистом-утопистом. Это неопровержимый факт. Но это не значит, что его, например, эстетика тоже является утопичной и отошла в область истории... То, что он (Чернышевский. — А. Л.) сделал в эстетике, должно занять свое прочное место в новой

эстетике, эстетике диалектического материализма, разработкой которой началась свыше ста лет тому назад. Весь этот период эстетика Белинского — Чернышевского и эстетика диалектического материализма существуют параллельно, как два самостоятельных течения в материалистическом направлении эстетики. До начала 30-х годов каждая из них самостоятельно отражала атаки идеализма, отстаивала позиции материализма в этой области. В 30-е годы между ними стал налаживаться прочный союз, который крепнет с каждым годом...» В 1931 году, напоминает А. Белик, было опубликовано постановление о журнале «Под знаменем марксизма»; в этом постановлении был осужден меньшевистствующий идеализм. Ладно. Но все-таки как же в эту именно пору изменилось соотношение между марксистской эстетикой и эстетикой революционных демократов? То ли, наконец, марксизм в этот момент вдруг «дорос» до понимания истинной сущности эстетики революционных демократов, то ли, напротив, революционно-демократическая эстетика дозрела, так сказать, вдруг до марксизма? Так или иначе, но именно с тех пор, как утверждает А. Белик, положение с изучением революционно-демократического наследия коренным образом изменилось к лучшему и восторжествовала новая точка зрения на революционно-демократическое наследие. Ну, а может быть, дело с идейной и методологической предьсторией А. Белика обстоит несколько проще и на самом деле методологический постамент, который он подвел под свое теперешнее выступление, может быть назван какими-то иными словами?

«На работы о Добролюбове в 30—40-е гг., — читаем мы во втором томе «Краткой литературной энциклопедии», — повлиял культ Сталина (тенденция к обособлению Добролюбова от развития мировой философской и эстетической мысли, элементы модернизации и догматизации)...»

В статье А. Белика 1959 года, посвященной Чернышевскому, вовсе не говорится о Фейербахе, которого Чернышевский сам считал своим учителем. Зато щедро упоминаются Платон и Аристотель, Берк и Кант — всех их Чернышевский «критикует», и только «критикует», у всех видит только плохое, слабое, реакционное...

А. Белик огрубляет революционно-демократическую эстетику, «заостряет» ее в лю-

безную его сердцу сторону. Подчас он односторонне истолковывает ее важнейшие положения, подчас обрывает Чернышевского на полуслове, постоянно опуская или упуская именно то, что как раз и составляет «живую душу», действительный смысл и методологический урок этой эстетики. Чернышевский «по Белику» может, конечно, внушить современному читателю чувство, далекое от восхищения.

«Чернышевскому удалось,— пишет, к примеру, Белик,— открыть объективный социальный критерий красоты как идеала жизни в отношении человека к физическому труду, к заботам о материальном обеспечении своей жизни... Крестьяне выражают свой идеал, исходя из своей реальной жизни, беспросветной и тяжелой, когда человек обременен слишком тяжелой работой и не может ни сытно поесть, ни построить крепкую, теплую избу. Поэтому крестьянин и мечтает о жизни, свободной от изнурительного труда, голода и холода. Аристократия,— продолжает А. Белик истолковывать мысль Чернышевского,— также исходит из условий реальной жизни и ищет свой идеал красоты в праздности, привольной жизни, мечтает о блестящей карьере, о том, чтобы не отстать от других в роскоши своего жилища, стола и одежды, стремится к острым ощущениям, сильным переживаниям и страстям. Аристократ мечтает о жизни, свободной от всякого серьезного труда и каких-либо важных забот».

На первый взгляд все это «очень близко» к тому, что говорит по этому поводу и сам Чернышевский. Однако при несколько более внимательном прочтении приведенного отрывка сразу начинают слышаться и какие-то иные нотки. Вспоминается Шулятиков. Чернышевский оказывается причесанным на вульгарно-социологический лад. Попробуйте в самом деле подойти с этих позиций к истории мировой культуры и применить к ней последовательно предложенную А. Беликом точку зрения. Вам нужно будет признать, что по крайней мере добрая половина великих художников, писателей, музыкантов были — по своей социальной характеристике — людьми, мечтавшими лишь о «жизни, свободной от всякого серьезного труда и каких-либо важных забот». Перед вами откроется потрясающая воображение картина великого искусства, созданного тунеядцами! А теперь еще прикиньте, что получится, если с этих же позиций оценить

и те традиции классики, которые, как известно, призвано развивать советское искусство...

Впрочем, не надо ничего прикидывать. Загляните в прежние статьи А. Белика — там все это уже было «прикинуто»!

К статье А. Белика, увидевшей свет в 1959 году, нельзя отнестись как к единичной ошибке, отдельному промаху этого автора. В 1961 году издательство «Высшая школа» опубликовала книгу того же автора объемом почти в двадцать листов — «Эстетика Чернышевского». По отношению к этой книге упомянутая статья явилась как бы предварением, своего рода пробой пера перед более обстоятельным выступлением. Вообще создается впечатление, что А. Белик решил во что бы то ни стало не дать превратиться той именно традиции в освещении революционно-демократического наследия, которая столь пагубно сказалась в итоге на деятельности нашего Книготорга. Только теперь уже едва ли не одному А. Белику приходится взваливать на свои плечи выполнение задачи, которая ранее была по силам лишь целой группе авторов.

Так или иначе, но положения, заявленные или лишь намеченные А. Беликом в упомянутой статье, в книге его получают распространное изложение и дальнейшее развитие.

Да, заявляет, например, А. Белик, Чернышевский совершенно прав, не считая архитектуру искусством. А если вы, читатель, не вполне согласны с этим, то подумайте-ка как следует еще раз, взвесив такого рода аргументы: «Применение индустриальных методов в архитектурно-строительном деле полностью подтвердило истинность положений Чернышевского об архитектуре, согласно которым она рассматривается преимущественно как вид практической деятельности человека, а не одна из отраслей изящного искусства... Чернышевский,— пишет А. Белик,— конечно, не мог предвидеть тех эстетических извращений, которые были осуждены в 1955 г. ЦК КПСС и правительством в советской архитектуре, но он прекрасно понимал, что признание архитектурного дела прежде всего изящным искусством есть идеалистически-аристократический взгляд на архитектуру только лишь как на украшение жизни. Он понимал, что подобные взгляды вырабатывают и распространяют люди, лишенные каких-либо забот об элементарных удобствах материальной жизни,

люди, заботы которых ограничивались одним только украшательством, поисками путей утончения окружающей их роскоши». Вот он, аристократический взгляд на прекрасное-то, где, оказывается, проявился! И если вам, читатель, не очень по душе застройки безлико-стандартного типа, подумайте, правильно ли вы понимаете, что такое архитектура, вспомните Чернышевского и Добролюбова — оказывается, это от них идет и уныло однообразная архитектура.

Нет, говорит А. Белик, Чернышевский никогда не грешил недооценкой специфической природы искусства. Но в то же время «возникновение и колоссальное развитие самого массового из современных видов искусства — искусства кино — наглядно, — как выражается А. Белик, — подтверждает истинность основного (подчеркнутой. — А. Л.) тезиса эстетики Чернышевского о неисчерпаемости эстетических возможностей действительной жизни, реальных, а не изобретенных фантазией событий человеческой жизни. Опыт кинематографии показывает, что даже съемки картин действительной жизни, не опосредованные игрой актера или комбинирующей фантазией режиссера, по своим эстетическим достоинствам часто не уступают первоклассным художественным фильмам... Можно, — развивает свою мысль исследователь, — без особого риска впасть в преувеличение и предположить, что дальнейший прогресс искусства кино будет во многом определяться приближением киноаппарата к «натуре», возрастанием удельного веса непрофессиональной «игры»...» Понятно теперь, куда дело идет и как далеко смотрел Чернышевский?

Нет, говорит А. Белик, Чернышевский никогда не преуменьшал значения классического наследия в искусстве. Сомневаешься? А вот Мусоргский не сомневался. «М. П. Мусоргский по этому вопросу был вполне солидарен с Чернышевским». Ну, а если вы не очень хорошо знакомы с эстетическими взглядами великого композитора, то можете составить себе о них представление по такой, например, цитате, приводящейся к этому случаю А. Беликом: «Вопреки наивным тенденциям об изящной нежности очертаний голых Венер, Купидонов и Фавнов с флейтами и без флейт, с баннным листом и вовсе «как мать родила», я утверждаю, — писал он (то есть Мусоргский. — А. Л.), — что искусство антипатичное греков (хотел сказать антично) грубо. Тол-

кают лилипутов верить, что итальянская классическая живопись совершенство, а моему — мертвенность, противная, как сама смерть. В поэзии два колосса: грубый Гомер и тонкий Шекспир. В музыке два колосса: медитатор Бетховен и ультрамедитатор Берлиоз. Если сопричь к этим четырем колоссам их генерал- и флигель-адъютантов, то наберется приятная компания; что же сделала эта адъютантская компания? Скакажу и пляска на намеченных колоссами дорогах, но «очень вперед» страшно!» Вот как! Вот, оказывается, каков был этот самый Мусоргский!

Удивительное дело: к кому ни прикоснется иное перо — тотчас же тот, к кому оно прикоснулось, неузнаваемым образом преобразуется на ваших глазах. И перед вами уже не гениальный композитор, не великий философ, а все сплошь одни какие-то неумные грубияны. Ведь надо же в самом деле иметь такое умение: выхватил ни с того ни с сего одну-единственную цитату — и перед вами уже не Мусоргский, а бог весть что такое! Впрочем, и то надо учесть, что опять-таки не сам А. Белик избрал такой способ цитирования...

Кстати сказать, особой надобности убеждать читателя в правомерности своих суждений об эстетике революционных демократов, своей интерпретации этой эстетики у А. Белика нет. И тот же пример с Мусоргским воспринимается у А. Белика как своего рода «архитектурное излишество», так сказать, игра ума автора. Вполне можно было А. Белику обойтись без подобных «тонкостей».

Одна из главок книги называется так: «Царское МВД — организатор похода против эстетики Чернышевского». В главке этой можно прочитать, в частности, и такое: «Свою лепту в это реакционное предприятие (то есть поход против революционно-демократической эстетики, организованный царским МВД. — А. Л.) внес и Ф. М. Достоевский. Еще в начале 1861 г. в своем журнале «Эпоха», в статье «Г-бов и вопрос об искусстве» он выступил с развернутой зашитой свободой искусства, т. е. независимости его от служения современным потребностям общества. Огонь статьи был сконцентрирован на статьях Добролюбова, в которых пропагандировались революционно-демократические взгляды на задачи искусства... Именно потому, — замечает А. Белик, — что грубые выпады Достоевского про-

тив эстетики Чернышевского страшно далеки даже от какого-либо подобия научной критики, они долго перепевались на разные голоса идеалистически-реакционным хором врагов — хулителей революционно-демократического направления русской общественной мысли». Не пропала ли у вас охота вникнуть в спор Достоевского с Добролюбовым, перечитать их статьи, подумать над ними?

Весьма суров А. Белик и по отношению к тем марксистским или близким к марксизму авторам, отношение которых к революционно-демократической эстетике ему почему-либо не нравится. Об этих авторах он говорит так: «наводила на теорию Чернышевского мрачную тень», выступал с критикой, «лишенной какого-либо научного смысла», высказывал «глупые и нелепые» соображения. Плехановская, к примеру, оценка эстетической теории революционных демократов «исключала даже постановку вопроса о значении эстетики Чернышевского для эстетического развития в условиях современности». Понятно? Об одном из современных советских исследователей автор книги говорит так: «...если это научная критика, то что же такое преднамеренное сокращение истины?» Да и вообще «у нас, — замечает А. Белик, — встречаются еще люди, которым не стоит большого труда очернить... великих борцов за светлое будущее человечества». Даже у В. Щербины находит автор недооценку революционно-демократической эстетики. И только о себе А. Белик не обинуясь высказывает самое положительное мнение. «Отстаиваемая здесь точка зрения, — предупреждает он читателя еще в предисловии к своей книге, — вытекает из ленинской оценки теории Чернышевского». Так-то.

Впрочем, А. Белик готов согласиться с тем, что и революционно-демократическая эстетика не является в полном смысле слова образцовой. «Историческая ограниченность эстетики Чернышевского» — так называется одна из главок в его книге. Занимает она две с половиной странички. «Принцип историзма требует признать, — пишет в этой главке А. Белик, — что в теории Чернышевского нет развитого учения о классовости искусства, партийной его направленности». Но автор книги просит читателя понять Чернышевского, снизить к трудности положения великого революционера. «Справедливость, — говорит А. Бе-

лик, — требует признать, что один, пусть даже и гениальный ученый в течение 4—5 лет не в состоянии дать всестороннее разработанный теории. Надо к тому же учесть, что Чернышевскому приходилось уделять много внимания революционно-практической работе, а также добыванию средств существования преподавательской и прочей работой».

Но ведь на то и существуют потомки, чтобы продолжать дело предков и завершать не достроенное ими.

И А. Белик, как мы видели, завершает...

5. ТЕНИ СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Странное все-таки дело! У нас наказывают людей, которые портят памятники материальной культуры прошлого. Но приведение в негодность памятников духовной культуры, порча духовных ценностей может происходить с полнейшей нравственной безнаказанностью. Культура едина, и подобная непоследовательность — непоследовательность лишь кажущаяся. «Метода» и в том и в другом случаях одна и та же — волюнтаристское насилие над окружающим миром материальных и культурных ценностей...

Впрочем, к А. Белику все это имеет в известном смысле лишь косвенное отношение: не он избрал того «Чернышевского», наследие которого с таким пылом отстаивает. Он говорит «от имени и по поручению» тени — той, что давно уже не имеет почти ничего общего с реальным Чернышевским. А. Белик выступает в данном случае как лицо, «завербованное» этой тенью. Его работы — материализованная идеологическая фикция, и эта фикция — их единственное действительное содержание. Они существуют как бы лишь потому, что сами по себе они просто не существуют.

...Вспомним, однако, в этой связи одну довольно мрачную утопию современных «писателей-фантастов»: роботы, некогда сконструированные человеком, начинают жить самостоятельной жизнью, принимают человеческий облик и кончают тем, что подчиняют себе своих творцов, их руками и их устами вершат свои нечеловеческие дела... Это бредовое видение мучит уже не одно поколение людей, являясь увлекательным предметом для социологических исследований.

А что, если в основе подобной утопии лежат действительные наблюдения над неко-

торами вполне реальными явлениями из сферы интеллектуальной жизни? Чудовищные тени бродят среди живых людей, говорят человеческими голосами, пишут статьи, книги, читают лекции, поучают... И ты вдруг с ужасом видишь, как сквозь увесистый том или газетную страницу явственно проступает узор клеенки на твоём столе, и обомлело глазеешь в окно сквозь осанистую фигуру какого-нибудь солидного своего собеседника...

Искаженная и поруганная историческая реальность мстит людям за причиненный ей ущерб. Искажая окружающую реальность, пытаюсь «подмять» объективную закономерность жизненных процессов, человек искажает свою собственную сущность. Искажая свое историческое прошлое, люди лишь отражают неисторичность своего собственного мышления, своего собственного мировосприятия, отрицая в такой форме историческую правомерность тех или иных сегодняшних своих решений и поступков. И в этом смысле странные тени наших предков — это отчужденная историческая правда, правда о тех, кто извращает историю... «Я — Чернышевский, — говорит тень, — послушайте меня. Не верьте тени. Это не Чернышевский. Это кто-то другой. Надо бы назвать его наконец по имени. Иначе тень будет по-прежнему гипнотизировать добрых людей, мистифицируя их, навязывая им свое собственное отношение к истории и современности.

Иногда это ей удастся. Пусть не полностью. Все равно это тревожит как нечто противоестественное.

...В № 3 журнала «Вопросы литературы» за 1966 год опубликована интересная, темпераментно написанная статья Ф. Кузнецова «Варфоломей Зайцев — революционный критик и публицист». Статья эта, как представляется, во многом знаменательна.

В свое время нам уже выпадал случай писать на страницах «Нового мира», какой опасной идеологической подменой чревата попытка представить эпигона и вульгаризатора революционно-демократического наследия Антоновича «верным учеником» и «славным последователем» великих шестидесятников. Действительно, существует такой — лицемерный — способ отречения от провозглашаемой на словах традиции и громогласно утверждаемых принципов: эпигона выдают за классического выразителя этой традиции и этих принципов.

Ну а что в этой связи можно сказать о Варфоломее Зайцеве?

Дело тут оказывается не слишком простым.

Варфоломей Зайцев — не Антонович. Этот оригинальный и яркий литератор предстает как раз противником Антоновича в условиях того, по выражению Достоевского, «раскола в нигилистах», который произошел после спада первой революционной ситуации в России и проявился в ожесточеннейшей полемике между наиболее влиятельными радикальными органами той поры — «Современником» и «Русским словом».

Ознакомление широкого советского читателя с действительно полузабытым уже наследием Зайцева — дело, без сомнения, полезное. В силу ряда причин у нас оказались несколько «зауженные», а подчас и просто превратные представления о круге ближайших и неближайших предшественников русских марксистов¹. И статья Ф. Кузнецова в этой связи может быть отмечена как отрадное явление в творческой разработке истории русской мысли.

Сомнения вызывают лишь некоторые оттенки отношения самого автора к определенным особенностям творческого облика Варфоломея Зайцева.

«Кто такой Варфоломей Зайцев? На этот вопрос, — замечает Ф. Кузнецов, начиная свою статью, — ответят сегодня немногие. Знатоки литературы и журналистики скажут примерно так: когда-то популярный, а ныне забытый публицист журнала «Русское слово»... Далекий от идей крестьянской революционности «социальный реформатор», умеренный «буржуазный радикал»...»

¹ В последнее время могут, впрочем, быть отмечены симптомы, свидетельствующие о стремлении нашей исторической науки преодолеть подобную ограниченность бытующих представлений о предшественниках русских марксистов: в 1965 году был издан двухтомник сочинений П. Л. Лаврова (восьмитомное издание его сочинений было прервано без всяких объяснений в 1935 году на четвертом томе), ставится вопрос о новых изданиях трудов теоретиков русского народничества П. Н. Ткачева, М. А. Бакунина, П. А. Кропоткина, Н. К. Михайловского (см. «Вопросы философии», № 6, 1966, стр. 174), являющихся ныне в полном смысле слова библиографической редкостью. Не так давно вышел однотомник литературно-критических статей Михайловского, тут же разошедшийся и, как видно, отнюдь не заполнивший образовавшейся брешу.

Пафос первой части статьи Ф. Кузнецова определяется стремлением преодолеть подобное представление о Зайцеве, разрушить легенду, роняющую имя этого «революционного критика и публициста».

Ссылаясь на ряд выступлений Зайцева, привлекая архивный материал, автор статьи подводит читателя к выводу, что, «сформировавшись как личность в эпоху первой революционной ситуации в России, Зайцев пришел в журналистику сложившимся и убежденным революционером. Свою мечту о революции в России он пронес через всю жизнь». И, стало быть, «противопоставление Зайцева и его друзей по журналу «Русское слово» Чернышевскому и Добролюбову не выдерживает проверки фактами». Легенда таким образом рушится.

Что же касается той полемики, которую вели на страницах «Русского слова» Писарев и Зайцев с редакцией «Современника», то, как замечает Ф. Кузнецов, она определяется в своей основе фактом спада крестьянской революционности в 1863 году. «Считая Добролюбова по праву «самым полным и чистым представителем любви к народу», Зайцев критикует сподвижника Чернышевского за «идеализированное» отношение к народу, за то, что «идеальные представления о народе вводили Добролюбова иногда в заблуждение и заставляли его слишком много ждать от народа». Все это также весьма убедительно и надежно подтверждается в статье соответствующими цитатами.

Более того: спад революционной активности русского крестьянства «был, — по мнению Ф. Кузнецова, — настолько трагедийным для Зайцева, что летом 1863 года, в минуту крайнего разочарования в революционных возможностях народа, он задавал даже такой вопрос: «...если осознана необходимость навязывать насильно народу образование, то я не могу понять, почему ложный стыд перед демократическими нелепостями может... мешать признать необходимость насильного дарования ему другого блага, столь же необходимого, как образование, и без которого последнее невозможно, — свободы».

«В словах этих, — комментирует Ф. Кузнецов, — звучит отнюдь не реформизм, но, напротив, тоска по революции, — в условиях, когда даже намек на революционный подъем масс нет. Ограниченность Зайцева, — завершает свою мысль автор статьи, — заключалась не в либеральном реформизме,

но в прямо противоположном: в его мелкобуржуазной ультраревolucionности, которая и определяла его крен к бланкизму, а позже — и к анархизму...» Ф. Кузнецов весьма привлекает читателя подчеркнутой объективностью своего взгляда на предмет исследования, тем хорошим академизмом методов исследования вопроса, по которому наш широкий читатель успел несколько соскучиться.

Впрочем, как свидетельствует Ф. Кузнецов, бланкистские идеи не определяли существа и основного содержания мировоззренческих позиций Зайцева. «...надо, — говорит автор статьи, — отдать Зайцеву должное: приведенное выше бланкистское высказывание было единственным в его статьях 60-х годов. Пафосом его публицистического творчества в 1863—1865 годах были не заговоры, но умственная подготовка революции, умственная эмансипация масс».

И далее: «Каждой своей статьей он (Зайцев. — А. Л.) стремился помогать людям в выработке честных и истинных убеждений. Его врагом была церковь, философия идеализма, нравственность «темного царства», робость и косность мысли — все те ограничения и скрепы, которые накладывало на человеческую личность духовное крепостничество...»

Итак, перед нами человек исключительно духовного обаяния, истинно «светлая личность», деятель, прогрессивность которого (учитывая даже и отдельные его колебания в сторону бланкизма) не вызывает ни малейших сомнений. Это, конечно, не эпигон шестидесятников, а их последователь и продолжатель, хотя и в новых исторических условиях и на несколько иной исторической основе. Так вроде бы нащупывается еще одна дорожка, которая соединяет на отечественной почве дело великих шестидесятников с делом первых русских марксистов, нащупывается еще одна живая нить в традиции, идущей от революционно-демократических принципов к нашим идеалам.

И тут как бы между делом Ф. Кузнецов говорит следующее: «И еще одна чрезвычайно характерная особенность мировоззрения Зайцева, накладывавшая совершенно особую печать на все его творчество... Пожалуй, никто в эпоху 60-х годов, да и в последующее время (подчеркнуто мною. — А. Л.) не заходил в отрицании искусства так далеко, как Зайцев. Прямолинейность

его суждений о литературе и искусстве приобрела печальную известность и была в свое время притчей во языцех. «Пора понять,— говорил он,— что всякий ремесленник настолько же полезнее любого поэта, насколько всякое положительное число, как бы мало ни было, больше нуля».

Дальше — больше. Оказывается, что именно Зайцев «первым высказал упрек Белинскому за «эстетические принципы» его критики. Считаю,— говорит Ф. Кузнецов,— Белинского «основателем того направления, которого был представителем Добролюбов», он тем не менее не может принять у Белинского защиты «художественности», его утверждения, что «искусство прежде всего должно быть искусством». И что «без искусства никакое направление гроша не стоит». Оказывается, что Зайцев «с позиций вульгарного, механистического материализма... интерпретировал «Эстетические отношения искусства к действительности», показав примитивное и неверное понимание эстетики Чернышевского. Он представил дело так, будто главной целью Чернышевского и в самом деле было «разрушение эстетики», доказательство бесполезности искусства. Обосновывал он этот взгляд своими собственными аргументами, взятыми из арсенала вульгарного материализма: «...искусство не имеет настоящих оснований в природе человека... оно не более, как болезненное явление в искаженном, ненормально развивавшемся организме...» С этих позиций сам Зайцев отрицал искусство Пушкина и Лермонтова, Шекспира, Мольера, Шиллера, Эсхила, вообще отрицал искусство.

В чем же, задается Ф. Кузнецов вопросом, «истоки этого последовательного антиэстетизма Зайцева? В его утилитаризме, в том самом принципе общественной пользы, который он стремился проводить в своих воззрениях на литературу и искусство? Утвердительный ответ напрашивается сам собой». Ведь Зайцев прямо говорит, что принимает только «такие поэтические произведения, которые занимают разными современными общественными вопросами и действительно научают людей правильно смотреть на них; эти произведения, без сомнения, приносят пользу, и это единственный случай, когда произведения искусства не только терпимы, но и заслуживают уважения. Однако нетрудно видеть, что здесь, собственно, уважение заслуживает не искусство,

а верная и честная мысль, выраженная при помощи его».

И все-таки, замечает Ф. Кузнецов, если мы признаем, что истоки антиэстетизма Зайцева — в принципе общественной полезности искусства, мы окажемся перед неразрешимым противоречием: собственно, ведь вся эстетика революционных демократов исходила из принципа общественной пользы. А разве наша современная эстетика игнорирует общественную пользу искусства? Но ни Чернышевский, ни Добролюбов, ни наша современная критика (за редкими исключениями) не пропагандировали небрежения к художественной форме, не разрушали искусства, не отрицали художественности.

«Истоки антиэстетизма Зайцева,— заключает Ф. Кузнецов,— не в принципе общественной пользы, но в догматическом, сектантском, вульгарно-материалистическом толковании его. Эта ультрареволюционная фраза Зайцева, его фанатическая прямолинейная узость и философская необразованность не позволяли ему видеть в поэзии Лермонтова ничего иного, кроме «гусарских» мотивов, а в «классическом хламе» древнего искусства ничего, кроме «ляжек Венер» и «профилей Аполлонов». Так презрение к диалектике, метафизичность и механицизм философского мирозерцания Зайцева мстили ему за себя».

Ну вот, все и прояснилось тут же. В общем и целом, как это явствует из статьи Ф. Кузнецова, в области практически-политической деятельности Зайцев в основном (исключая бланкистские «перегибы») стоял на верных революционных позициях, а вот в области литературной критики и эстетики он в основном (исключая некоторые его верные выступления против реакционной беллетристики) занимал позиции вульгарные и догматические. Легенда о Зайцеве-либерале разрушена, исчерпана и возникшая было проблема истинного смысла литературной его деятельности. За вычетом всего этого теперь остается «перед нами уникальное,— как говорит Ф. Кузнецов,— явление: литературный критик, отрицающий свой предмет — поэзию!».

Но упоминание об этом «уникальном явлении» может навести читателя на ряд вполне резонных, как представляется, вопросов.

Что же, в собственном своем мировоззрении Зайцев, стало быть, как-то примирял

демократизм и революционность, с одной стороны, с отрицанием искусства — с другой? Соединял он, стало быть, в своем сознании призывы к свободе для народа с отрицанием каких бы то ни было прав для художника? Соединимые, стало быть, в принципе это вещи? Можно, значит, быть истинным революционером и демократом и в то же самое время искренне желать ликвидировать искусство, обкорнать культуру, привести «к нулю» писателя? Совместимые, значит, это вещи — революционный гений и всяческое злодейство по отношению к величайшим культурным ценностям?

Если все это действительно так, то пример Зайцева обретает совершенно особый смысл и принципиальное значение весьма мрачного исторического прецедента.

Но только, может быть, не революционным демократом на манер Чернышевского, Герцена или Добролюбова был Зайцев и не отдельные лишь отступления к бланкизму характеризуют его мировоззрение? Может быть, на самом деле его отрицание искусства более тесно связано с основами его мировоззрения и более несомненно выражает принципиальную сущность этого мировоззрения, нежели это получается у автора статьи? Да и можно ли вообще отношение к искусству, несущему людям правду о них, рассматривать как некий «довесок» к «основному» содержанию идей, проповедуемых тем или иным идеологом, ибо что же в конце концов выражается и отражается в отношении к искусству того или иного идеолога или той или иной идеологии, как не мера человечности их и не мера их исторической состоятельности? Не прощупывается ли во всем облике Зайцева какая-то принципиально отличная от революционно-демократической традиция, пусть и не буржуазно-реформистская? Да, кстати, и столь ли уж случайными были для Зайцева его расистские выступления, о которых лишь вскользь упоминает Ф. Кузнецов?

Задавшись этими вопросами и не найдя на них ответа в статье Ф. Кузнецова, читатель может обратиться и к другим источникам. Например, к «Избранным сочинениям» Зайцева, вышедшим у нас еще в тридцатых годах, к статьям, предпосланным этому изданию, к работам известного историка русской общественной мысли Б. Козьмина, посвященным интересующему нас периоду в истории русского освободительного дви-

жения. Кое-что в этом случае существенно уточнится.

Выяснится, к примеру, что, во многом разделяя точку зрения Б. Козьмина на творчество Зайцева, Ф. Кузнецов вместе с тем опускает целый ряд достаточно важных обстоятельств, характеризующих эту деятельность. И в уточнившемся таким способом представлении об истинной сущности зайцевского мировоззрения найдут свое место и такие, скажем, факты, как горячий интерес Зайцева к революционному авантюризму Лассаля, и преклонение (именно преклонение!) Зайцева перед мрачным фатализмом и волюнтаризмом Шопенгауэра, и влечение Зайцева к нечаевщине (в наиболее зловещих своих чертах послужившей, как известно, реальной основой для образов, созданных Достоевским в «Бесах»), и, наконец, те расистские выступления Зайцева, о которых Ф. Кузнецов упоминает лишь вскользь и между прочим, но которые в свое время буквально потрясли всю передовую русскую общественность. И то, что в статье Ф. Кузнецова выглядит как чуть ли не совершенно случайный эпизод в деятельности Зайцева и именуется «бланкистскими высказываниями» последнего, окажется не такой уж случайностью в эволюции, которую претерпело мировоззрение Варфоломея Зайцева.

Характеризуя взгляды Зайцева, Ф. Кузнецов несколько раз прибегает к приему, который, однако, более прост, чем доказателен. В случаях, когда Ф. Кузнецов не находит необходимого подтверждения своей точке зрения на творчество Зайцева в работах самого Зайцева, он приводит подходящие к случаю выдержки из выступлений... других авторов, скажем, Писарева или Щедрина.

Но что касается Писарева, то направление эволюции его общественно-политических взглядов не совпадает с направлением, в котором эволюционировало мировоззрение Зайцева. Писарев, к примеру, пришел к той мысли, что задачу коренного переустройства общества «должны решить непременно те люди, которые в ее разумном решении находят свои личные выгоды, т. е. ее должны решать сами работники». Зайцев же никогда окончательно не порывал с не весьма демократичной идеей об исключительной плодотворности «революции сверху».

Еще более натянутым выглядит в статье

Ф. Кузнецова сближение позиций Зайцева и Салтыкова-Щедрина.

«Чтобы понять взгляд Зайцева на роль народных масс в истории,— пишет в своей статье Ф. Кузнецов,— полезно вспомнить слова Щедрина, который, защищая свое право обличать «Иванушку-дурачка», требовал отличать «народ исторический, то есть действующий на поприще истории, от народа, как воплотителя идеи демократизма. Первый оценивается и приобретает сочувствие по мере дел своих... Что же касается до «народа» в смысле второго определения, то этому народу нельзя не сочувствовать уже по тому одному, что в нем заключается начало и конец всякой индивидуальной деятельности».

Мысль Щедрина очень хороша сама по себе. Но только не надо бы, конечно, Щедрина в данном случае подкреплять позицию Зайцева.

«Народ груб, туп и вследствие этого пассивен; это, конечно, не его вина, но это так, и какой бы то ни было инициативы с его стороны страшно ожидать. Он всегда скорее готов, как неаполитанские лаццарони, идти рядом с наемными швейцарцами грабить и убивать мирных жителей и противодействовать свободе страны. Поэтому благоразумие требует, не смущаясь величественным пьедесталом, на который демократы возвели народ, действовать энергически против него...» Так писал Зайцев, и его позиция, как видим, существенно отлична от позиции Щедрина. В известном смысле можно даже сказать, что позиция Зайцева в данном случае противоположна щедринской, поскольку Зайцев не только не отличает «народ исторический» от «народа, как воплотителя идеи демократизма», но и не отличает вообще народа от «люмпенов», подонков общества, стихийно влекущихся всегда к самой черносотенной идеологии и политике, которых в свою очередь эта идеология и эта политика так любит выдавать за «народ».

По ознакомлении с приведенной цитатой из трудов Зайцева, замечает Б. Козьмин, «становится понятным, почему Салтыков считал нужным заговорить о «зайцевской хлыстовщине» и почему он в отношении к народу нераскаившихся нигилистов типа Зайцева усмотрел задатки будущих титулярных советников».

Ну, может быть, это уже и крайность. Во всяком случае броскую фразу о «титуляр-

ных советниках» персонально к Зайцеву применять, наверное, все-таки не следовало. Но если иметь здесь в виду не исключительность самого Зайцева, а ту общественную тенденцию, которая достаточно отчетливо выразилась в его творчестве, то мысль Щедрина окажется заслуживающей внимания...

Психологически вполне понятно стремление Ф. Кузнецова как-то возвысить Зайцева — по-своему очень яркую и незаслуженно забытую фигуру в истории русского освободительного движения. Автор статьи исходил тут из самых добрых побуждений, намерения его были самые благородные: он хотел восстановить историческую справедливость. Но несколько увлекся, видимо. И незаметно для себя чуть «перегнул палку», опустив в своей статье некоторые непрезентабельные «исторические детали» и «оттенки» в творческой судьбе своего героя. А герой не принял предложенных ему благородных условий «игры», он не сдержал обещаний, данных за него автором статьи. И результат благих устремлений критика оказался неожиданным и странным: фигура Зайцева в том виде, в каком предстает она перед нами под пером Ф. Кузнецова, с известной неизбежностью наталкивает читателя на «ужасную догадку» относительно того, что революционно-демократическая идеология в своем объективном историческом развитии, так сказать, стихийно «влечется» к крайне утилитаристскому истолкованию художественного творчества, к отрицанию всякой свободы художника и в итоге к ликвидации искусства.

И вот вновь, на этот раз уже из-за спины Зайцева и из-под пера Ф. Кузнецова, появляется знакомая тень. Нет, сам Ф. Кузнецов, конечно, никак не рад этой тени. Он, как легко догадаться, не с ней, в отличие от А. Белика, а против нее. В его статье видна лишь, так сказать, тень той тени, которая столь мила сердцу А. Белика. И все-таки целиком освободиться от наваждения Ф. Кузнецов не смог. Он все еще мыслит в категориях, ему навязанных, он все еще ищет решений в пределах той методики, которая заведомо эти решения исключает. Тень незримо живет в его творческом сознании, нашептывая ему свои лукавые слова. Он творчески не свободен или свободен «от сих и до сих» — на остальное падает тень. И он так при этом воюет с тенью, что в итоге добывается результата, обратного желаемому,— под его

пером тень обретает видимость исторической реальности, и сам Ф. Кузнецов начинает верить в ее существование, утверждая в этой вере и других простодушных людей...

6. «В РАМКАХ СКАЗКИ...»

Тут придется сказать об одной очень искренней, взволнованной, значительной частью своего содержания вызывающей наше горячее сочувствие статье сравнительно молодого еще литературоведа и критика.

Речь идет о работе В. Непомнящего «Двадцать строк (Пушкин в последние годы жизни и стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный»)». Работа эта была опубликована в 1965 году («Вопросы литературы», № 4) и очень тепло принята многими читателями. Она запомнилась как незаурядное явление в нашей литературоведческой науке и обрела, как теперь это уже отчетливо видно, и твердых приверженцев, и безоговорочных противников. Иными словами, это выступление выразило, как видно, некоторые существенные тенденции отношения к искусству, проявляющиеся у какой-то части нашего общества.

Основной пафос и даже стилистическая тональность выступления В. Непомнящего направлены против того казенно-риторического истолкования пушкинской поэзии, поэзии вообще, которое было столь развито у нас в прошлом и далеко еще не преодолено и сейчас. Известно ведь, что в пособиях по литературе школьного типа, в практике преподавания литературы в школе это истолкование и поныне сохраняет характер обязательного канона.

В. Непомнящий и обращается к школьным пособиям по литературе. Проследим за мыслью автора.

«Раскрыв учебник (С. Флоринского.— А. Л.)... школьник,— пишет В. Непомнящий,— прочтет: «В IV строфе содержится *основная мысль* (курсив мой.— В. Н.) всего стихотворения — оценка Пушкиным идейного смысла своего творчества. Пушкин утверждает, что право на признание и любовь народа он заслужил, во-первых, высокой человечностью своего творчества («чувства добрые я лирой пробуждал»); во-вторых, своей борьбой за свободу («в мой жестокий век восславил я свободу», а в варианте этой строки он называл себя последователем революционера Радищева: «вслед

Радищеву восславил я свободу»); в-третьих, защитой декабристов («и милость к падшим призывал»).

Итак, замечает В. Непомнящий, это «и есть основная мысль всего стихотворения «Памятник», которое проходят в наших школах обязательно, при любых сокращениях программ. Согласно этой канонической для школьного преподавания трактовке, Пушкин... напоминает свои заслуги народу. Он... заявляет и обосновывает свои претензии... народу. Он торгуется... с народом. Он выторговывает... любовь и признание. Могут,— пишет далее В. Непомнящий,— с негодованием возразить, что кощунственно видеть такое «торгашеское» истолкование там, где «во главу угла» ставятся «чувства добрые», свобода и другие великие понятия. Однако негодование здесь неуместно. Пушкин не позволяет так возразить. Его Сальери поклонялся великому понятию — искусству, у него величайшая цель — спасение искусства. Этой целью он оправдывал величайшее преступление — убийство человека. Скупой Рыцарь вдохновлялся чрезвычайно высокой целью — он стремился к духовной независимости. Руководствуясь этой целью, он превратил в шесть сундуков золота «слезы, кровь и пот» своих должников. Пушкин лучше многих других ведал, как выгодно торгуют именно высокими словами и великими понятиями и какой неслыханный барыш может такая торговля — до поры до времени — приносить. Полагать, что Пушкин, подобно Барону, копил, собирал «заслуги», а за пять месяцев до смерти предъявил «задолжавшему» народу счет на бессмертие и что именно в этом и заключается «основная мысль всего стихотворения»... это и значит кощунствовать... Никакое «перечисление», никакой «счет» к народу не могут быть «основной мыслью» «Памятника»; иначе это стихотворение было бы глубоко безнравственным. Оно утверждало бы... в сознании того, что *бескорыстию*, — как подчеркивает В. Непомнящий,— нет места даже в сфере духа, что все высокие понятия и красивые слова — вранье, ибо за ними прячется в конечном счете простейший, древний и всеисильный принцип *мены, мзды*; я — тебе, ты — мне, а что сверх того, то либо смешное донкихотство, либо красивый камуфляж; добро делается во имя выгоды, платы *в виде ответного добра*, а не *во имя добра как веления человеческой совести*. Таким образом,— заключает свою мысль

В. Непомнящий,— чисто «академическая», казалось бы, проблема анализа стихотворения поворачивается к нам своею нравственной стороной».

Итак, В. Непомнящий связывает подобного рода «хрестоматийное» истолкование искусства, его «полезности» обществу с утилитаристски-торгашеским отношением к жизни вообще. Думается, что это вполне справедливо. Он указывает и на методологию, лежащую в основе такого подхода к искусству. «Методология эта,— говорит В. Непомнящий,— слишком хорошо известна. Она исходит из обывательского представления, что искусство есть *приложение*— иногда полезное, иногда хлопотное — к жизни политической, социальной, нравственной и чуть ли не экономической; что в качестве такого приложения его и следует использовать, толковать, направлять... Какими бы словами ни маскировалась эта своекорыстная методология... она одинаково порочна всегда. На словах «идейная», а на деле формалистическая, она придает произведению мелочный смысл, принижает искусство, видя в нем облечение нужных «мыслей» в «высокохудожественную форму». Пренебрегая тем, что у искусства — свои законы и что, согласно этим законам, «идея» произведения выражается всей его целостностью, а не какой-либо частью, эта методология умерщвляет произведение именно ради нужной ей, понятной ей *части*. Она удовлетворяется синицей в руках, но важно делает вид, что синица эта — журавль. В жалком потребительстве такого мышления,— замечает в заключение В. Непомнящий.— его пассивность и его скрытый цинизм. Не удивительно, что на подготовленной таким образом почве произрастают цветы цинизма явного, почти открыто иронизирующего над святыми понятиями».

И опять-таки все это совершенно справедливо.

Безликим трафаретам декларационной методологии, унылому потребительству «школьной эстетики» автор стремится противопоставить демонстративно «личностное» восприятие искусства, безыскусственность непосредственно-чувственного, если можно так выразиться, отношения к нему. И общая направленность, и сам стиль выступления В. Непомнящего продиктованы чувством резкого, порой до какой-то конвульсивности, отшатывания от велеречивой глубокомысленности хрестоматийных концепций

Читательскому восприятию искусства автор стремится вернуть характер глубоко личного переживания. Он стремится сблизить современного читателя с поэтом и поэзией, преодолев или обойдя ту преграду, которой отделили искусство от нас наши школьные учебники и школярский примитивизм расхожих концепций, выхолащивающих живую душу поэзии казенным педантизмом комментариев и дежурными восторгами юбилейных славословий.

В. Непомнящий идет дальше. Он ищет идеологические и исторические истоки указанной методологии, ищет ее духовную родину.

Что касается понимания творчества Пушкина в частности, то в этом случае указанная методология, как замечает автор статьи, обрела концептуальную завершенность и цельность. И эта «ставшая традиционной, канонической» концепция сформировалась «задолго до революции».

Смысл этой концепции в данном случае, читаем мы, сводился к следующему: «Пушкин в течение жизни не раз ошибался относительно роли искусства и места художника в жизни общества, проповедуя «чистое искусство», призывая поэта «не дорожить любовью народной», провозглашая: «*Цель поэзии — поэзия...*»; однако в своей поэтической практике он сплошь и рядом противоречил своим же декларациям, а в стихотворении «Памятник» отрекся от них совершенно и сознательно. Ибо «Памятник» — это именно перечисление и прославление *заслуг поэта перед народом*». Родоначальника этой концепции В. Непомнящий видит в «крупнейшем пушкинисте» С. Венгерове.

Этой — венгеровской — концепции противостоит, согласно В. Непомнящему, другая концепция, связанная с именем другого известного литератора — М. Гершензона. В. Непомнящий не считает возможным присоединиться и к гершензоновской концепции, ибо ее характеризует «холодная ироничность, рассудочная извращенность, откровенный снобизм».

Более того, при всей своей внешней антагонистичности, венгеровская и гершензоновская концепции, по мысли В. Непомнящего,— явления близко родственные: «Цинизм не падает с неба. Как общественное явление он пассивен, вторичен по своей природе. Часто он вырастает на почве, разрыхленной вульгаризацией. Именно там, где благонамеренно-упростительская «тради-

ция» спекулятивно использует несколько «высоких слов», появляется кто-то, раздраженно отрицающий само их священное значение. Цинизм концепции Гершензона был болезненной реакцией на вульгаризацию мыслей Пушкина... Цинично-антиобщественная концепция оказалась нелюбимым, но вполне законным детищем декларативно-«гражданской»; и последняя бессильна «убить» это свое детище именно потому, что сама породила его.

Взгляды,— заключает В. Непомнящий,— прямо противоположные, а методология одна».

Положение представляется достаточно драматическим.

Две концепции истолкования пушкинского творчества существуют в истории русской общественной мысли. И обе никуда не годятся. Никаких иных, достойных упоминания точек зрения на пушкинскую поэзию (а поскольку, согласно справедливой мысли автора статьи, пушкинская поэзия представляет собой в известной мере эталон художественности, то речь идет и об отношении к искусству вообще) В. Непомнящий не знает. Опереться не на что. Исследователь оказывается в тяжелом положении. Ему приходится начинать с нуля, почти с нуля во всяком случае. Традиции обанкротились, теорий неоткуда взять. А может быть, можно и без них обойтись?

И тут автора статьи подстерегало модное искушение.

А нельзя ли риторике догматических концепций противопоставить непосредственно-чувственное восприятие искусства уже как некий незыблемый методологический принцип? И нельзя ли пойти еще дальше? Нельзя ли, раз на то пошло, скучной «взрослости» теоретического анализа противопоставить незамутненную ясность детского наития? Ведь и действительно, как пишет В. Непомнящий в статье «О сказках Пушкина» («Детская литература», № 7, 1966), «фаустовское стремление взрослых к сознательному анализу, к расчленению и расщеплению явлений — великое и противоречивое стремление. При определенных индивидуальных и общественных условиях эта способность к анализу может превратиться в бремя и стать проклятием». И тогда «живое тело стихотворения размыается как труп»...

Что же можно противопоставить «фаус-

товскому стремлению взрослых»? Детство — говорит В. Непомнящий. Ибо «детство — прежде всего эпоха синтеза... Детское познание — познание синтетическое, не рациональное и сознательное, а в огромной мере стихийное и безотчетное; не головой совершаемое, но в с е м с у щ е с т в о м». Ребенок «не понимает, а чувствует. И чувствует, возможно, лучше, чем понимаем мы». Короче говоря, «ребенок начнет с того, чем кончит взрослый».

Ну, ладно. Только почему же все-таки «детское познание — синтетическое»? Откуда же синтез-то взялся у ребенка? Может быть, речь идет на самом деле о «синкретизме»? Слова, действительно близкие по звучанию...

Если же попытаться говорить серьезно, то следует, конечно, согласиться с тем, что, взрослея, человек часто утрачивает многие преимущества непосредственно-чувственного мировосприятия, столь свойственного ребенку, как и человечество утрачивает с развитием цивилизации те преимущества, которые, скажем, позволили древним грекам создать некогда свое — почти неувядающее — искусство. Только что же из всего этого следует? Следует ли из этого, в частности, что мы исправим дело, сочинив еще одну неоруссоистскую утопию? Или подобная попытка будет свидетельствовать лишь о нашей собственной инфантильности — методологической, естественно? Да и чем же этот способ «омоложения» лучше тысячных иных? Омолодиться нельзя, а м о л о д и т ь с я стоит ли?

..не штука быть себя моложе,
Труднее быть себя зрелей.

Итак, нет в эстетике и критике традиций, достойных продолжения. Надо начинать от печки, во всяком случае чуть ли не с пеленок. Действительно, с одной стороны, за спиной у нас Гершензон, с другой — Венгеров. Грустно как-то все это... Но ведь нельзя же в самом деле думать, что, исчерпав свои счеты с традиционным истолкованием пушкинской поэзии критикой венгеровской и гершензоновской концепций, В. Непомнящий, так сказать, просто забыл о существовании революционно-демократической традиции в этом вопросе, просто забыл о знаменитых «пушкинских статьях» Белинского, о выступлениях Чернышевского и Добролюбова, посвященных наследию вели-

кого поэта! Пусть непосредственной темой статьи В. Непомнящего явились лишь «двадцать строк» из всего, написанного Пушкиным,— автор статьи сам же считает, что в этих строках заключено эстетическое кредо поэта, его поэтическое завещание. Впрочем, критики революционно-демократического лагеря писали и об этих строках.

Да, по правде говоря, и подходит ли С. Венгеров — достаточно известный литературовед культурно-исторической школы,— при всех несомненных заслугах его перед отечественным литературоведением или, если угодно, при всех его очевидных слабостях, на роль «созидателя концепций»?

Можно ли всерьез рассматривать гершензоновскую концепцию, явившуюся реакцией на революционно-демократическую традицию и принципы революционно-демократической критики, как ответ на венгеровскую точку зрения? Подобное смещение исторических перспектив просто забавно.

Нет, не в том, конечно, дело и не о том идет у нас тут речь, чтобы канонизировать принципы революционно-демократической эстетики и критики и на этом успокоиться. Мы видели, к чему приводила подобная канонизация. Меньше всего хотели бы мы, чтобы фигуры революционно-демократических деятелей вновь превратились в бессловесных «священных коров», от имени и по поручению которых дано говорить кому-то другому. Хватит революционно-демократической эстетике и критике своих собственных — действительных — слабостей и односторонностей.

Наш идеал не позади, а впереди. Было бы странным возвращаться к тому, что исторически предшествовало более высокому этапу в развитии передовой эстетической и критической мысли в нашей стране. Но и сходить из того направления в отечественной эстетике и критике, которое представлено творчеством наших непосредственных предшественников, естественно. И необходимо, если некоторые линии преемственности оказались по тем или иным причинам запутанными или даже порванными.

Эстетика — часть философии. «...Узок,— писал В. И. Ленин,— термин Фейербаха и Чернышевского «антропологический принцип» в философии. И антропологический принцип и натурализм суть лишь неточные,

слабые описания *материализма*»¹. Было бы странным возвращаться к антропологической философии Чернышевского с ее апелляцией к абстрактным нормам «здоровой человеческой натуры». Такой возврат означал бы лишь отступление от материалистической диалектики к материализму метафизическому. Со всеми вытекающими из этого последствиями и в области эстетической теории. Да никакой подобный «возврат» в данном случае был бы и просто невозможен. Нельзя в новых исторических условиях «повторить» революционно-демократическую идеологию — можно стать эпигоном этой идеологии или лицемерно ядиться в ее одежды. Канонизация революционно-демократического наследия и является уделом и признаком подобного эпигонства или такого методологического лицемерия.

Но разумно ли отмахиваться вообще в принципе от таких, например, убеждений Чернышевского, что именно человек является «мерой всех вещей», что именно удовлетворение интересов, материальных и духовных, человека — основной критерий исторического прогресса, что нельзя совершенствовать общество за счет или в обход первейших потребностей массы «простолюдинов»? Разумно ли порывать с такого рода «абстрактным гуманизмом» Чернышевского?

Конечно, не надо никого тянуть «назад к Чернышевскому». Хотя бы уже по одному тому, что такие призывы всегда слишком метафоричны. Выслушав такой призыв, следует еще обязательно уточнить: куда именно и с кем? Но, думается, революционно-демократическая эстетика, революционно-демократическая идеология вообще — не только исторически пройденный уже ныне этап, но все еще в известном смысле и при определенных обстоятельствах и отправная точка, пусть эта отправная точка присутствует в нашем миропонимании и в «снятом виде».

Известны две основные формы отрицания классических традиций в области культурного наследия — нигилистический отказ от них и их канонизация. И с этой точки зрения то славословие по отношению к революционным демократам, свидетелями которого мы все являемся,— лишь обратная сторона, «дурная антитеза» того отношения

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 64.

к ним, которое сводится к фигуре умолчания. И наоборот. К этому стоит добавить, что указанные формы отрицания классических традиций взаимобратимы. Каждая из этих форм возможна лишь как прямая противоположность другой, и поэтому обе они объективно тяготеют друг к другу. В определенном смысле можно, наверное, даже представить себе любую из названных форм как своего рода метаморфозу ее прямой противоположности. И обе они — издержки исторического процесса и прогресса общественной мысли.

Конечно, не надо обращать внимание на таблички, предупреждающие каждого приближающегося к революционно-демократическому наследию — «не прикасаться!». Это наследие — не святые мощи, от прикосновения оно не рассыплется, только пыль слетит.

Конечно, подобное переосмысление предполагает в качестве совершенно неременного условия вполне свободное творческое отношение к революционно-демократическим традициям, осознание и преодоление тех слабостей революционно-демократической эстетики и критики, которые по большей части являются продолжением ее сильных сторон, поскольку мы в данном случае имеем перед собой цельную и органичную по своей природе идейную организацию, а не эклектическую смесь «верных» и «ошибочных» положений. Революционные демократы были идеологами эпохи, ушедшей в прошлое, и продолжение их традиций с необходимостью включает в себя элемент преодоления их исторической ограниченности — тех сторон в их наследии, которые, как мы теперь достаточно легко можем это увидеть и понять, связаны в конечном счете с утопическим характером их крестьянского социализма, с вульгарно-демократическими элементами их социального идеала и метафизической узостью их материалистической философии. Но возможно такое движение лишь на основе развития той плодотворной основы, той главной идеи, которая заключена в революционно-демократической эстетике и составляет ее суть, ее душу, — идеи последовательной защиты права искусства на полную правду о том обществе, в котором живет художник.

Так чем же в самом деле плоха эта идея? Устарела ли она?

Что же касается именно «пушкинской проблемы», то было бы неразумно не заме-

чать того факта, что, всячески подчеркивая роль реалистического направления в русской литературе тех времен («гоголевское направление», «натуральная школа»), критики и теоретики искусства из революционно-демократического лагеря шестидесятых годов (в меньшей мере это относится к Белинскому), следуя логике литературной борьбы, подчас неправомерно противопоставляли этому направлению «пушкинское», тем самым заметно обедняя уже и само понятие реализма в искусстве. С точки зрения социологической, подобное противопоставление «гоголевского направления» (как активно гражданского и критического) «пушкинскому» (как в основном формотворческому) было связано у идеологов русской революционной демократии с известной недооценкой ими дворянской революционности и дворянской культуры в целом, в конечном счете было проявлением классовой ограниченности их идеалов крестьянского социализма.

Нельзя не понять, что конкретные выражения подобной ограниченности в сфере оценки явлений искусства, пушкинских шедевров в частности, способны неприятно озадачить человека, страстно любящего пушкинскую поэзию, искусство вообще. Представим еще, как могут подействовать на такого человека «разъяснения» того сорта, с которыми мы встретились в работах А. Белика и иже с ним. Первая — стихийная и безотчетная — реакция может быть в этом случае достаточно бурной. Но вслед за тем должно возникнуть и желание взглянуть на дело глубже, серьезнее. И тогда должна открыться историческая перспектива, которая позволит увидеть то, что объективно связывает колоссов одного периода в развитии русской общественной и идейной мысли с идеологами последующих ее этапов. Тогда обнаружится та преемственность культурной и художественной традиции, которая и нам в свою очередь открывает возможность подойти к пушкинской поэзии в некоторых случаях ближе, чем это удавалось сделать нашим предшественникам.

Известно: наши шестидесятники были просветителями, соответственно просветительским был и их подход к искусству. А, как справедливо замечал еще Плеханов, «просветитель не враждует с искусством, но он не имеет к нему и безусловного пристрастия. У него вообще нет исключительного

пристрастия ни к чему, кроме своей великой и единственной цели: распространения в обществе здравых понятий». Но только что же из этого следует применительно к той же революционно-демократической критике? «Права ли,— спрашивает Плеханов,— была она? Нет ли греха в том, что она делала, как говорили ее противники, искусство орудием посторонней идеи? Об этом пусть каждый судит по-своему. Кто не дорожит той идеей, которую она проповедовала, тот, разумеется, скажет: «да, грех налицо — и очень большой грех. Передовая критика шестидесятих годов унижала искусство». А кому дорога эта идея, тот не увидит в служении ей ничего унижительного... Ведь надо же помнить, что... критика эта отнюдь не требовала от искусства какой бы то ни было тенденциозности. Напротив, она отворачивалась от тенденциозных произведений и требовала от художника только одного: *жизненной правды*. Уже поэтому она не могла дурно влиять на эстетический вкус читателей». И, излагая в другом месте подобные же мысли, Плеханов добавляет: «Говоря это, мы совсем не хотим, однако, отрицать, что принципы, лежавшие в основе литературной критики 60-х годов и разработанные преимущественно Чернышевским, могли в своем крайнем развитии привести к весьма односторонним выводам».

Конечно, мыслители шестидесятих годов заслуживают критики. И приобщение их у нас к секте «неприкасаемых» было в свое время продиктовано отнюдь не заботой о сохранности их наследия. Проще было мумифицировать, обескровить это наследие, превратить его в тень, подменить его двойником, столь удобным к употреблению по всякой надобности. Серьезная критика революционно-демократического наследия является в этом смысле важнейшим условием для демумификации, ибо, как очень верно говорил все тот же Плеханов, «критиковать великого мыслителя — значит развивать его собственную теорию». Иными словами: хранить наследие — это не значит ограничиваться им. Так его не сохранишь...

В. Непомнящий проявил, несомненно, эстетическую и гражданскую чуткость, когда, выступив против риторического истолкования искусства, в первую голову вспомнил в этом случае именно Пушкина. Вполне логично, конечно, хотя столь же и забавно, что «стихийно и безотчетно» он выступил, в

сущности, тут продолжателем той самой традиции в эстетике и критике, о которой он сам счел за благо даже не упомянуть в своей статье.

«Значение Пушкина огромно... В его стихах впервые сказались нам живая русская речь, впервые открылся нам действительно русский мир... Прежде того поэты русские в наемном восторге воспевали по заказу иллюминации, праздники и другие события, о которых сами не имели никакого понятия и до которых целому народу не было никакого дела. Потом, освободившись от этого шутовского занятия, эти почтенные люди обратились к гуманным идеям, но, по обыновению, поняли их совершенно отвлеченно от жизни и начали строить здание золотого века на грубой почве... оставляя в стороне существенные бедствия, плакали над вымышленным горем, преклоняясь пред господствующим пороком, казнили порок небывалый и венчали идеальную добродетель. Убедившись наконец в бесплодности этого слезного направления, с начала нынешнего столетия поэзия наша решается сознаться, что действительный мир не так хорош, как она его изображала. Но зато она нашла утешение нам в каком-то другом, эфирном, туманном мире, среди теней, привидений и прочих призраков... Из земных предметов она удастайявала воспевать только *возвышенные* чувства да эротический разгул. Пушкин в первые свои годы заплатил дань каждому из этих направлений, но скоро он сумел освободиться от них и создать на Руси свою самобытную поэзию... И толпа внимала ему с благоговейной любовью: для нее этот стих, эти образы были светлым воспоминанием того, о чем до сих пор она не смела и думать иначе, как о пошлой прозе, как о житейских дрязгах, от которых надобно стараться держать себя подальше. И в этом-то заключается великое значение поэзии Пушкина: она обратила мысль народа на те предметы, которые именно должны занимать его, и отвлекла от всего туманного, призрачного, болезненно-мечтательного, в чем прежде поэты находили идеал красоты и всякого совершенства. Поэтому не должно казаться странным, что *очарование* нашим бедным миром так сильно у Пушкина...»

Так писал о Пушкине Добролюбов. Да и вообще революционно-демократической критике, при всей свойственной ей недооценке пушкинской лирики, было в высокой сте-

пени присуще понимание главного в творчестве великого поэта — активной антириторической направленности этого творчества, решительно порывавшего как с «заказным» пышнословием «наемных» восторгов традиционной одописи, так и новейшей риторикой искусственной «возвышенности» утонченно-камерного мировосприятия. Ибо истинная поэзия, как считали деятели революционно-демократического направления в критике, — в правде жизни. И потому именно Пушкина они считали отцом русской поэзии.

Но В. Непомнящий не смог развить этой точки зрения на творчество Пушкина. В первых, потому, что слишком охотно и слишком поспешно поверил на слово тем, кто привык говорить «от имени и по поручению» наших предков, которые ничего подобного им никогда не поручали. А во вторых, — и это главное — потому, что его собственное восприятие пушкинского искусства оказалось не лишенным определенного рода риторики. Не той риторики казенного словоговора и «наемных восторгов», против которой он выступил в своей статье, а той, которая сродни риторике «возвышенных чувств», упоминаемых Добролюбовым. Не потому ли и выступление В. Непомнящего против риторики первого рода оказалось во многом слишком риторичным?

Знакомая тень пала и на эту статью, сместив в сознании автора реальные очертания некоторых существенных явлений нашей идейной действительности.

* * *

Итак, перед нами прошли некоторые, наиболее характерные мнения, высказывающиеся в нашей современной критике по поводу революционно-демократического наследия и вопросов, с судьбой этого наследия тесно связанных.

Нет, как видим, не затихли еще страсти вокруг этого наследия, волнуют и сегодня людей те идеи, которые были высказаны предшественниками русских марксистов еще сто лет тому назад! И ныне с великим азартом спорят люди по поводу вопросов, ими поставленных. И это «естественно»: слишком значительны эти вопросы, слишком важны они для судеб искусства, слишком тесно связано решение их с такими понятиями, как «правда» и «ложь» в искусстве, талант и мировоззрение художника, политика и культура, искусство и мораль, народ и ин-

теллигенция, революция и свобода... Это — «вечные вопросы» нашей эпохи.

И все-таки странная мысль закрадывается подчас в голову при виде некоторых из тех журнальных «сшибок», которые случаются у нас вокруг или по поводу идей, высказанных шестидесятниками прошлого века, и которые ведутся будто бы с великим азартом и полной серьезностью. Временами начинает почему-то казаться, что эти споры и страсти имеют все-таки какой-то явно «вторичный» характер, что они все-таки не вполне, что ли, всерьез, что перед нами лишь какая-то стилизация под «борение идей», что-то вроде «показательных игр». Прозвучит сигнал — и недавние «противники» пойдут вместе чай пить. Внешний драматизм «схватки» подчас обнаруживает черты какого-то лирического фарса.

Отчего это так? Да оттого, что это схватка с тенью. Участники страстного диспута все время говорят как бы не вполне «о том», хотя и «представляют», что говорят они «о том самом». Они как бы блюдут какой-то регламент, строго придерживаясь каких-то известных им «правил игры», и ни под каким видом не желают обратиться к действительному содержанию предмета своего спора. В своих дельных, серьезных рассуждениях они как бы переступают в какой-то момент некий невидимый рубеж и — попадают тотчас в царство теней. А здесь уже свои законы, свои правила. Ибо, попадая сюда, всякий с неизбежностью перестает быть самим собой. Раз признав над собой власть этого царства, он сам становится его персонажем, а его собственное «творческое я», неповторимое и самобытное, остается за границей этого странного царства. И вот тогда «спорящие стороны» начинают рассуждать не о реальных явлениях, а лишь о неких символах, условно эти явления обозначающих. Они начинают походить на держателей таких акций, реальное обеспечение которых заведомо сомнительно, но номинальная стоимость которых оттого не должна подвергаться никакому сомнению. Их гнев и радость начинают вызывать не реальные явления, а тени этих явлений. Они одерживают победы, никого не побеждая, и громко клянут напасти, которые им не грозят.

И на любые испытанья
Согласны храбрые сердца
В нетерпеливом ожиданье
Благополучного конца.

Эту строфу В. Берестова приводит в статье, посвященной сказкам Пушкина, В. Непомнящий, характеризуя таким образом особенность детского восприятия этих сказок. Эта мгновенная детская реакция на противостоющее как на сказочное, нереальное и есть бескомпромиссное, истинно человеческое восприятие — в отличие от «испорченного» жизненным опытом, как выражается В. Непомнящий, восприятия взрослых. «Испорченного» — потому что в результате неизбежного анализа взрослый найдет в любой противостоственности закономерность: в рамках сказки, — замечает исследователь, — в самом принципе которой — добро и справедливость, это равносильно частичному оправданию зла и несправедливости».

«В рамках сказки» возможны, конечно, разные чудеса. Но если попытаться взглянуть на дело всерьез, то приведенные В. Непомнящим стихотворные строки обретут более широкий смысл, довольно верно характеризую атмосферу той идейной баталии, того «борения теней», в которых принял участие и сам В. Непомнящий. Перед нами тут словно бы какая-то имитация идейной жизни — трудно временами отделаться от такой мысли. Борьба все время происходит действительно «в рамках сказки»...

Революционным демократам прошлого века была свойственна, как известно, в высшей степени скромная оценка их собственной исторической роли. Говоря о «малости круга», в котором в ту пору действовало печатное слово, Добролюбов замечал: «Это последнее — такое обстоятельство, о котором невозможно без сокрушения вспомнить и которое обдаёт нас холодом всякий раз, как мы увлечемся мечтаниями о великом значении литературы и о благотворном влиянии ее на человечество... Знает ли это человечество, что мы о нем хлопочем?.. Знают ли крестьяне села Безводного или Многоводного, Затишья или Залесья, что их исправники, становые и управители давно уже преданы суду общественного мнения — в литературных очерках, картинах, воспоминаниях и т. п.? Знают ли они все это и чувствуют ли облегчение своей участи под бла-

готворным влиянием литературы?.. Массе народа чужды наши интересы, непонятны наши страдания, забавны наши восторги...»

Да, революционеры 1861 года остались одиночками и потерпели, по словам В. И. Ленина, по-видимому, полное поражение. Но, несмотря на все это, именно они на самом деле «были великими деятелями той эпохи, и, чем дальше мы отходим от нее, тем яснее нам их величие...»¹.

«...Поймут ли, оценят ли грядущие люди, — писал Герцен, — весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования?»

Читаешь некоторые нынешние статьи, связанные с наследием революционных демократов, думаешь о них, пишешь о них — и странные тени предков незаметно начинают овладевать твоим сознанием, и неожиданный вопрос приходит вдруг тебе в голову: поймут ли, оценят ли люди всю серьезность наших намерений, всю трезвость наших взглядов на жизнь, взаправдашность наших волнений и страстей, историческую значительность делаемого нами дела? И ловишь себя на том, что тут же хочется эдак многозначительно насушить брови и монументально упереть в руку лоб. А рука начинает просвечивать, сквозь нее видны те же статьи, а сквозь них — клеенка на твоём письменном столе...

И тогда хочется обратиться к таким явлениям в нашей жизни, по отношению к которым всякие там мысли об их «взаправдашности» просто не могут возникнуть. Пусть эти явления будут малоприметны, пусть они вовсе не будут сопряжены с журнальным шумом. Пусть только они будут взаправдашными, а не «теневыми».

Есть такие явления в нашей современной литературной жизни или нет?

Есть, конечно.

Вот, к примеру, сравнительно не так давно в нашей общественной и литературной жизни произошло действительно большое событие — вышли в свет новые издания сочинений крупнейших представителей революционно-демократической мысли.

Мы советуем читателю обратиться к ним.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 179.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ФАКТЫ

В газете «Сельская жизнь» опубликована статья «Фактам вопреки» (от 13 сентября 1967 года). Ее авторы товарищи Л. Ефремов, Н. Цогоев, А. Инжиевский, И. Лешенко, Я. Бичевой полемизируют со статьей «Спустя два года», написанной мной и опубликованной в журнале «Новый мир» (№ 2, 1967). Что и говорить, такое внимание со стороны практических работников не только лестно. Их наблюдения и опыт необходимы, чтобы более правильно разобраться в научном существе тех процессов, которые происходят сейчас в сельском хозяйстве страны. Вполне понятен поэтому интерес, с которым берешь в руки газету, вполне понятное желание быстрее узнать, какие же положения моей статьи оказались «фактам вопреки».

Заявив о том, что я стремлюсь «обосновать свои домыслы», а для этого «передергиваю» и «искажаю» факты, мои оппоненты в самом начале своей статьи приводят внушительные данные о развитии сельского хозяйства края, рассказывают об успехах, достигнутых после мартовского Пленума ЦК КПСС. Может быть, в статье «Спустя два года» практические результаты работы ставропольцев, их достижения подвергаются сомнению? Может быть, у меня названы показатели, противоречащие или не совпадающие с теми, которые приводятся моими оппонентами? Ничего подобного! Прежде всего статья «Спустя два года», так сказать, «территориально» связана не только и даже не столько со Ставропольским краем. Здесь много примеров из жизни колхозов, совхозов Украины, Псковщины, Брянщины. Для чего же авторы приводят показатели развития Ставропольского края в данном случае? Очевидно, для того, чтобы сделать вывод: «жизнь наглядно убеждает, что намеченные мартовским Пленумом ЦК КПСС мероприятия по дальнейшему развитию сельскохозяйственного производства успешно выполняются», а меня упрекнуть, что я не хочу этого замечать, ставлю под сомнение правильность партийных решений. Они так об этом и говорят: «автор видит свою цель в другом», «искажает их (решения Пленума.— Г. Л.) по ряду коренных принципиальных вопросов». Между тем весь первый раздел моей статьи посвящен доказательству на многих фактах вывода, сделанного в конце его: «Прошедшие два года убедительно показали, что курс в развитии сельского хозяйства, выработанный на мартовском Пленуме, правильный... Последовательное осуществление этого курса дает хорошие результаты». Моя точка зрения на решения мартовского Пленума здесь, думается, выражена определенно, ясно. И не понятно, зачем понадобилось приписывать мне какое-то иное мнение.

Авторы статьи утверждают далее: «Подвергая критике сложившуюся специализацию колхозного и совхозного производства на Ставрополье, автор обнаружил свою неосведомленность в той большой работе, которая проводится в крае, непонимание сущности специализации». В доказательство они приводят много цифр. Здесь и данные о поставках зерна по отдельным районам, тут и число узкоспециализированных хозяйств, и сведения о внутрихозяйственной специализации. «К сожалению, всего этого не заметил Г. Лисичкин»,— делается вывод. Но к чему весь этот разговор? Разве я объявлял целью своей статьи исследование процессов специализации на Ставрополье во всех ее аспектах? Речь шла вот о чем. Колхоз «Россия» находится в исключительно благоприятных условиях для производства пшеницы. Рентабельность ее очень высокая (300—350 процентов), то есть заниматься ею колхозу крайне выгодно. «Поэтому, когда знако-

мишься здесь со структурой хозяйства,— писал я в «Новом мире»,— то ожидаешь, что вся она подчинена главным, самым прибыльным культурам, и в первую очередь увеличению производства пшеницы, а остальные отрасли если и существуют, то лишь постольку, поскольку помогают или по крайней мере не мешают росту основных. Эта уверенность тем больше, что стремление хозяйств к максимальной прибыльности в данном случае полностью отвечает интересам государства: ведь при этом увеличивается возможность заготовок дешевого зерна». Тем не менее оказывается, что пшенице-то в этих благодатных для нее условиях колхоз отводит всего лишь 37 (!) процентов, хотя без риска для правильного чередования культур можно было бы отвести до 55 процентов пашни. Само собой разумеется, любого человека крайне озадачит такой факт.

Председатель колхоза «Россия» Я. Бичевой, специалисты хозяйства рассчитали по нашей просьбе (до выхода, конечно, нынешней статьи в «Сельской жизни», где стоит подпись и Я. Бичевого) оптимальную структуру посевных площадей в случае некоторой «перекройки» плана-заказа. Если сократить поголовье овец с восемнадцати до десяти тысяч, оставив остальные отрасли животноводства в нынешних размерах, то и тогда можно было бы, по их расчетам, увеличить посевы зерновых с 9427 до 11 000 тысяч гектаров, а пшеницы с 6671 гектара до 8239 гектаров за счет сокращения посевов кормовых с 5385 до 3817 гектаров. Валовой сбор зерна увеличился бы тогда почти на пять тысяч тонн. Перестройка структуры позволила бы увеличить доходы хозяйства в сравнении с нынешними и вместе с тем оказалась бы выгодной для государства.

Что же — опровергают мои оппоненты все эти факты, использованные в статье «Спустя два года»? Нет, не опровергают, даже не пытаются опровергнуть. Но используют более чем странный прием. «Гов. Лисичкин,— пишут они,— считает, что колхоз «Россия» понуждают заниматься овцеводством, которое якобы дает огромные убытки». А «в 1966 году колхоз получил от овцеводства 64 тысячи рублей чистого дохода». В моей же статье говорилось: «500 тысяч рублей убытка дали в 1965 году и овцы». И эту цифру, относящуюся к 1965 году, наши оппоненты не оспаривают. Так же как не объясняют, почему же все-таки колхоз занимается убыточной или менее прибыльной отраслью, когда бы мог на зерне иметь больший доход. «Автор необоснованно утверждает,— продолжают оппоненты,— что производство зерна в восточных районах края нерационально». Но я писал совсем иное: «В Арзгирском районе, где исторически сложилась животноводческая специализация (овцеводство), за последние годы резко увеличили посевные площади. В оборот было пущено много солончаковых земель, на которых можно пасти овец, но просто невозможно получать стабильные и высокие урожаи». То есть очевидно, что речь идет не только не о восточных районах, но даже не о районе в целом, а конкретно о солонцах. «Автор грешит против статистики, когда заявляет, что хлеб в Шпаковском районе получают дорогой»,— говорится у оппонентов дальше, и приводятся убедительные цифры опровержения тезиса, которого я вовсе не выдвигал. В моей статье сказано лишь о «Темнолесском» колхозе этого района и вот как: «Пшенице отдано 6 тысяч гектаров. Урожай ее весьма пестрый. На ровных полях она дает 18—20 центнеров зерна с гектара и больше, а на крутинах, где хлеб решаются убирать только смелые и очень опытные комбайнеры, намолачивают 5—6 центнеров. Поэтому хлеб здесь (то есть на крутинах, а не в колхозе и тем более не в районе.— Г. Л.) получается дорогой». Еще «опровержение»: «В ней (моей статье.— Г. Л.) говорится, в частности, что в новоалександровском колхозе «Россия» не нужно овцеводство, а в колхозе «Темнолесский» Шпаковского района, где много крутых склонов, якобы мало занимаются этой отраслью». Но посмотрите, о чем речь идет у меня. О том, что специалисты колхоза «Россия» считают более выгодным сократить поголовье овец на восемь тысяч голов (то есть все-таки оставить десять тысяч), а специалисты колхоза «Темнолесский» рассчитали, что им целесообразнее залужить крутогорья и увеличить благодаря этому поголовье на десять тысяч. Следовательно, речь идет не о моих «домыслах», а о расчетах колхозных специалистов, и расчеты эти говорят не о полном уничтожении овцепоголовья, а о сокращении в одном и о возможности увеличения в другом случае (эти документы и сейчас у меня).

Итак, вместо делового разговора о зерновой проблеме, о структуре производства идет передергивание моих высказываний.

Может быть, случай с зерновыми в колхозе «Россия» — частное явление и о нем, как, видимо, считают мои оппоненты, нет необходимости говорить? Но вот один из соавторов статьи «Фактам вопреки», Н. Цогоев, начальник статистического управления края, справедливо бьет тревогу в своей работе «Анализ эффективности с.-х. производства Ставропольского края» (1966).

«В 1913 году посевная площадь всех культур составляла 2808,8 тыс. га, из них под зерновыми было занято 2624,5 тыс. га, или свыше 90 процентов всей посевной площади. В 1965 году посевная площадь всех культур была расширена до 4567 тыс. га, или на 62 процента. Но площадь посева зерновых культур при этом не увеличилась, а даже несколько сократилась и составила 2460,5 тыс. га, или 93,7 процента к дореволюционному уровню. В 1966 году вся посевная площадь края несколько сократилась и составила 4428,5 тыс. га. В 1965 году удельный вес зерновых посевов составил 54,7 процента».

Вот эти цифры действительно по существу и эти факты действительно «вопреки» тому, что записано в Директивах XXIII съезда КПСС: «Решающее значение для подъема всех отраслей сельского хозяйства, для роста благосостояния народа имеет прежде всего производство зерна». К этому можно только добавить, что Ставропольский край, который, как и весь Северный Кавказ, отнесен мартовским Пленумом ЦК к числу районов, где развитию зернового производства придается особое значение, этот край после мартовского Пленума два раза из трех не выполнил на добрую треть планов продажи зерна государству. Стоит ли после этого говорить о благополучном положении со специализацией на Ставрополье, для пользы ли дела считать, что «значительная часть их (колхозов, совхозов.— Г. Л.) впредь в основном сохранит нынешнюю структуру производства»?

Второй большой вопрос, по поводу которого резко расходится наша статья со статьей оппонентов, это оценка причин перекосов в структуре посевных площадей на Ставрополье, о которых говорилось выше. Действительно, чем их объяснить? Самое простое сказать: виноваты специалисты, работающие в крае. Но дело в том, что отмеченное нами явление — ущемление зерновых — типично не только для Ставрополья. Вот академики П. Лукьяненко и М. Хаджинов, кандидат сельскохозяйственных наук Т. Дубонос в своей статье в «Правде» (6 мая 1967 года) пишут: «Нельзя признать нормальным, когда ежегодно на Кубани 150—200 тысяч гектаров озимых посевов, главным образом пшеницы, используется на зеленый корм, скармливается скоту... А между тем гектар таких посевов может дать как минимум 3—4 тонны зерна».

Данные говорят о том, что в целом по Северному Кавказу произошло заметное сокращение посевов зерновых культур. В 1913 году вся посевная площадь в этом районе составляла 11 153 тысячи гектаров, из них — зерновые занимали 10 291 (92,3 процента) тысяч гектаров, пшеница — 5555 тысяч гектаров, а в 1966 году, когда посевные площади возросли до 16 109 тысяч гектаров, на долю зерновых приходилось уже 9123 тысячи гектаров (56,6 процента), а пшеницы — 5488 тысяч гектаров, то есть меньше, чем в 1913 году. В Центрально-Черноземном районе и в некоторых других областях та же тенденция по зерновым. Значит, дело не в том, что где-то ошиблись те или иные специалисты. В своей статье «Спустя два года» я высказал поэтому мнение, что подобные явления — результат несовершенства системы планирования, той методологии, которая получила у нас название «от достигнутого уровня». Наши оппоненты пишут в связи с этим: «В статье третируется сложившийся принцип социалистического планирования «от достигнутого уровня». Автор называет его порождением якобы субъективных методов руководства сельским хозяйством. На деле же всем известно, что наше планирование сейчас, после исторических решений октябрьского (1964 г.) и мартовского (1965 г.) Пленумов ЦК КПСС, опирается на реально достигнутые результаты, а не на какие-то субъективные, волевые решения».

Совершенно очевидно, здесь допущена явная подмена тезиса. Употребленный в статье термин «от достигнутого уровня» выдуман не мною и имеет вполне определенное значение. Разумеется, планирование должно исходить из имеющегося уровня развития, опираться на реально достигнутые результаты. И с этим никто не спорит. Но способ составления плана, когда к достигнутому в прошедшем году показателю механически

плюсуется некий средний процент прироста и сумма эта утверждается как задание на следующий год, скомпрометировал себя и отвергнут практикой. Можно привести много примеров того, какой вред наносило такое планирование сельскому хозяйству. В Ставропольском крае, в частности, углубилась диспропорция в развитии двух главных отраслей — животноводства и растениеводства. По данным статуправления края, за пять лет (1961—1965) поголовье скота выросло здесь на 30 процентов, а кормовая база не поспевает за этим ростом. Из-за этого себестоимость мяса, молока, шерсти и яиц возросла, а упитанность скота, жирность молока, классность шерсти упали, сократился выход приплода на сто маток. Потери валовой продукции от общественного животноводства в колхозах и совхозах только от ухудшения качественных показателей составляют, по оценке краевого статистического управления, примерно 18—20 процентов. О чем говорят эти факты? О том, что и тысячами гектаров черноземов животноводство на Ставрополье довольствоваться не может. Оно наступает дальше, требует большего. И под его напором хозяйственники вынуждены отступать. Никто не сомневается, конечно, в том, что животноводство — выгодная и нужная отрасль на Ставрополье. Но нынешнее искусственное противоречие интересов растениеводства и животноводства как раз и вызвано во многом погектарным планированием «от достигнутого уровня». Вот почему на мартовском Пленуме ЦК КПСС были разработаны новые принципы планирования заготовок. Стабильные планы на пять лет уже сами по себе прямое отрицание планирования «от достигнутого уровня».

Критика планирования «от достигнутого уровня» идет сейчас по другим направлениям. Совхозы, перешедшие на полный хозрасчет, заинтересованы не в том, чтобы получить «сверху» минимальный план по прибыли, а сами планируют размер ее, стремясь к максимальной, реальной, разумеется, величине. И это понятно: в свои фонды совхоз получает часть фактической и наполовину меньше от сверхплановой прибыли, специалисты материально поощряются тоже по этому же принципу. Еще пример из практики: в Белгородской области, как рассказывала на своих страницах «Правда» (см. статью первого секретаря Белгородского обкома партии Н. Васильева от 19 июля 1967 года) отказались от погектарного принципа и от планирования «от достигнутого уровня» при распределении планов-заказов. Благодаря этому открылись широкие возможности для внутриобластной специализации, дающей весьма ощутимые результаты. Тут стало легче более гармонично сочетать развитие животноводства и растениеводства. Так что стоит ли уж так восхвалять те принципы планирования, которые отвергнуты жизнью?

В статье «Фактам вопреки» практика планирования производства и заготовок в Ставропольском крае рисуется оптимистично. Здесь, оказывается, не доводятся «задания на закупку тех продуктов, которые по намеченной специализации в данных хозяйствах производить экономически нецелесообразно. План-заказ на эти продукты получали те хозяйства, в которых почвенно-климатические условия благоприятствуют их производству». Значит, случай с «Россией», где отказываются от производства более выгодной культуры во имя менее выгодной, нетипичен? Ничего подобного. Вот данные краевого статуправления (1966): «половина хозяйств края сейчас производство того или иного продукта оказывается убыточным».

На мартовском Пленуме подчеркивалось, что в планах-заказах «должны гармонично сочетаться общегосударственные и внутрихозяйственные интересы». Исходя из этого, а также опираясь на опыт тех областей, где в ходе углубления специализации все более полно учитывают предложения самих хозяйств, я высказал в статье «Спустя два года» свои соображения по методологии планирования. С ними можно не соглашаться, спорить, но непозволительно, видимо, их заведомо исказить. А именно так поступают мои оппоненты.

«Методология» планирования, которую предлагает т. Лисичкин, сводится в основном к отказу от твердого государственного планирования закупок сельхозпродуктов, к замене ее (?) планированием цен». И еще, дескать, автор выступает за отмену «планирования государственных закупок продуктов в натуральном выражении». Но у меня о планировании цен говорится как об одном из этапов общего планирования производства. Причем планированию цен, говорилось в моей статье, предшествует составление общегосударственного плана производства, для осуществления которого и

должно использоваться регулирование ценами, другими экономическими рычагами. Речь, следовательно, идет о таком порядке, когда базой для планирования цен служит план развития производства. В статье поэтому и подчеркивается: «Полученный после этого (после «подгонки» плана и цен.— Г. Л.) вариант плана, основанный на гармонии интересов государства и хозяйства, на совпадении натуральных и стоимостных показателей, должен стать документом, исполнение которого строго обязательно для всех участников его составления». Где же тут мои оппоненты усмотрели отказ от централизованного государственного планирования?

В своей статье «Спустя два года» я уже говорил, что всерьез изображать в наше время кого-то из советских экономистов противником централизованного планирования равносильно преднамеренному оглуплению оппонента. Спорить с ним тогда легко, потому что сейчас даже буржуазные экономисты в большинстве своем окончательно признали преимущества планового ведения хозяйства. А советской экономике, основанной на общественной собственности на средства производства, планирование присуще по самой ее природе и неотделимо от нее. Речь может идти, следовательно, лишь о совершенствовании методологии планирования. И необходимость этого связана с непрерывным ростом и развитием производительных сил. Так же не обоснованы упреки авторов статьи «Фактам вопреки» в мой адрес по поводу якобы «фетишизации товарно-денежных отношений». Подчеркивая значение централизованного планирования, необходимость сочетания, а не противопоставления плана и товарно-денежных отношений, я усиленно обращал внимание («Новый мир», № 2, 1967, стр. 176, 177, 180) на «принципиальное отличие и абсолютно новую сущность товара при социализме» в сравнении с тем, что имеет место при капитализме. «Само собой разумеется,— писал я,— что в таких условиях и социалистический рынок отличается от капиталистического, как и политэкономическое существо товаров, обращающихся на нем». Одной из важных черт социалистического рынка и является как раз его плановый характер. Думается, при непредвзятом чтении этого раздела нет никаких оснований для кривотолков о какой-то «фетишизации» товарно-денежных отношений и отрицании централизованного плана. Невольно возникает мысль, не проявляется ли в рассуждениях и опасениях моих оппонентов вчерашний взгляд на роль стоимостных категорий, тот взгляд, который, к сожалению, нет-нет да и обнаруживает себя и сегодня, несмотря на утверждение нового взгляда на них в решениях нашей партии (мартовский, сентябрьский Пленумы ЦК, Директивы XXIII съезда КПСС, Тезисы ЦК КПСС к пятидесятилетию Октября).

Резкий протест у авторов статьи «Фактам вопреки» вызывает третье положение: мое утверждение, что «сейчас материально-технические средства распределяются между колхозами скорее из расчета инженерно-технических норм, чем из соображений экономических... Каждый получает поначалу приблизительно одинаковое количество техники, минеральных удобрений». Нет, говорят оппоненты. В Ставропольском крае уже давно не практикуется уравнительное распределение техники. И «автор совершенно бездоказательно заявляет, что прикубанские пшеничные районы Ставрополя якобы не получают достаточно техники, а степные восточные районы ее имеют-де с избытком». Тут приводятся цифры, показывающие, что в одном районе больше техники, в другом меньше. «Нет шаблона и в распределении минеральных удобрений»,— утверждают оппоненты.

Но прежде всего о том, что у меня в действительности написано: «В оборот было нушено много солончаковых земель... И вот что получается: на полях безо всякой пользы (урожайность—3—4 центнера с гектара) работают замечательные машины, а в то же время в прикубанских степях не хватает машин»... Как видно, речь идет не об избытке техники в восточных районах вообще и не о том, где ее больше или меньше, а о том, что при нарушенной специализации техника попадает совсем не туда, где она нужна. Кстати, авторы статьи «Фактам вопреки» сетуют: «Потребности в сельскохозяйственной технике колхозов и совхозов, например, нашего края еще удовлетворены не полностью».

Во-вторых, действительно ли в Ставропольском крае не практикуется уравнительное распределение и, в частности, нет шаблона в размещении фондов удобрений? Перед нами данные краевого статуправления. В 1965 году минеральные удобрения распределялись из расчета в основном по норме 2,0 центнера в физическом весе на гектар удобрен-

ной площади и по 0,6 центнера в переводе на действующее вещество Поэтому почти все районы края получили приблизительно одинаковое количество удобрений в указанном расчете.

И наконец: в моей статье речь шла не о том, кому достается средств больше, кому меньше и почему, а о том, что нормированное распределение средств производства снижает эффект их использования. И не случайно в Директивах XXIII съезда КПСС предусматривается постепенный переход к оптовой торговле. Наши оппоненты либо считают ставропольскую практику распределения техники, материалов исключением из общего правила и видят за ней будущее, либо вообще полагают, что материально-техническое снабжение в нашей стране должно быть организовано по-старому. Но ведь этот вопрос уже решен, и совсем иначе.

Авторы статьи «Фактам вопреки» не согласны с утверждением о том, что в нынешних условиях инициатива руководства совхоза в строительстве крайне ограничена, что нынешний директор совхоза, даже получив лимит на производственное строительство, не может построить все, что нужно. Но стоит ли об этом спорить? Ведь любой директор скажет: получив деньги, попробуй еще попасть в «титул». Оппоненты не согласны также, что оплата труда в совхозах еще слабо связана с конечными результатами производства. На сей раз они не подкрепляют свое опровержение цифрами. А зря! Вот три района: Изобильненский, Новоалександровский и Арзгирский. В здешних совхозах в 1965 году произведено соответственно: 10,58; 12,71; 8,07 рубля валовой продукции на один отработанный человеко-день. Можно было бы предполагать и соответствующие различия в зарплате, но вот данные о среднеспособной оплате труда (в прежнем порядке): 3,39; 3,40; 3,30. Можно ли говорить при этом о достаточной зависимости оплаты труда от конечного продукта и что аккордно-премиальная оплата уже решила проблему? Думается, нет.

Симптоматично в этой связи такое заявление моих оппонентов: «Выдуманным оказывается утверждение автора и о том, что совхозы края в своем развитии якобы отстают от колхозов». Но прежде всего в моей статье вообще нет такого утверждения. Там идет речь о Красногвардейском районе Крымской области, а не о Ставрополье. А кроме того, уж если об этом зашел разговор, приведенный оппонентами показатель, что колхозы и совхозы края увеличили в 1966 году валовую продукцию на 23 процента в сравнении с 1964 годом, то есть в одинаковых размерах, не вскрывает еще реального положения дел. Равный процент прироста производства еще не говорит и об одинаковом экономическом эффекте хозяйствования. Несколько ранее начальник краевого статистического управления товарищ Н. Цогоев в упомянутой выше работе обращал на это внимание: «В 1965 году совхозная продукция обошла государство с учетом бюджетных ассигнований примерно на 10—12 процентов дороже, чем колхозная. Спрашивается, почему же совхозная продукция обходится гораздо дороже, чем колхозная? Почему совхозы как государственные предприятия менее рентабельны колхозов (стиль, как и везде, сохраняем по подлиннику.— Г. Л.), хотя они и призваны быть образцом организации крупного социалистического производства? Несомненно, основной причиной этого является отсутствие полного хозрасчета в совхозах. Мелочная опека над совхозами, выражающаяся в слишком детальной регламентации работы совхозов сверху, стала теперь тормозом экономического развития совхозов». Комментарий, как говорится, излишни!

На мартовском Пленуме ЦК в докладе товарища Л. И. Брежнева отмечалось: «Государство выделяет им (совхозам.— Г. Л.) капиталовложения, устанавливает планы сдачи продукции и размеры цен, определяет фонды заработной платы и даже количественный состав, категории рабочих и административно-обслуживающего персонала. Убытки, которые возникают в совхозах, погашаются также за счет государства. Хозяйственный расчет нарушен в самих экономических взаимоотношениях государства с совхозами, а также с колхозами». Кажется, исчерпывающе ясно. Описанное положение стало меняться только с лета нынешнего года. Поэтому странно слышать утверждения, что и оплата труда в совхозах будто уже связана с конечными результатами производства, и инициатива у коллектива, директора ничем уже не скована! С нынешних позиций наших оппонентов трудно понять необходимость перевода совхозов на полный

хозрасчет, о чем недавно было принято специальное решение ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

Авторы статьи «Фактам вопреки» обрушиваются на ту часть моей работы, где говорится о необходимости расширения каналов реализации сверхплановой продукции. Им это кажется призывом к анархии, призывом к «свободной» (они даже ставят это слово в кавычки) реализации колхозной продукции, «исключительно вне государственного плана». По поводу последнего — исключительно вне государственного плана — это опять же известный прием: приписывать автору то, чего он не говорил. «Употребляя понятие «рынок», — сказано в моей статье, — мы имеем в виду... комплекс всех условий, при которых происходит реализация общественного продукта и его отдельных частей. И такому рынку, конечно, не противоречат, а, наоборот, присущи централизованные сбыт и заготовки». Что же касается необходимости расширения сферы, каналов реализации, то на это особо указывалось на мартовском Пленуме ЦК КПСС. «Свободным (без кавычек. — Г. Л.) закупкам сельскохозяйственной продукции государство будет покровительствовать и стимулировать их устойчивыми ценами, способствовать всемерному развитию товарных отношений» (доклад товарища Л. И. Брежнева).

Авторы статьи «Фактам вопреки» относятся к проблемам реализации по-старому: лишь бы произвести продукт, а сбыть его проще простого. Они пишут: «Именно в увеличении производства, а не в сфере обращения и не в «свободной продаже» они (хозяйства. — Г. Л.) видят главный путь укрепления экономики». Такое противопоставление производства и сбыта нанесло в прошлом большой вред экономике, поэтому сейчас и утверждается иной взгляд на торговлю — она рассматривается в тесном единстве со сферой производства; показатель реализованной (а не только произведенной) продукции становится, в соответствии с последними партийными решениями, одним из основных критериев оценки работы социалистического предприятия.

Недооценка нашими оппонентами роли торговли в деле развития производства полностью смыкается с их взглядами на роль закона стоимости в наших условиях. «...Дело дошло... — пишут они, — до абсурдных, оторванных от жизни предложений... до непомерного преувеличения роли закона стоимости как якобы регулятора социалистического производства».

Как известно, в последние годы советские экономисты, так же как экономисты других социалистических стран, оживленно и глубоко обсуждают вопрос о роли закона стоимости в условиях социализма. При этом обнаруживаются разные точки зрения, подчас диаметрально противоположные. Спорить об этом экономисты не считают делом абсурдным. Но в данном случае дискуссия мне представляется невозможной: наши оппоненты, категорически отвергая мою точку зрения на закон стоимости, не приводят никаких аргументов и никак не обосновывают свою.

Говорить можно опять-таки лишь об одном: о явном искажении того, что я писал в статье «Спустя два года». Наши оппоненты утверждают, что я противопоставляю закон стоимости принципам народнохозяйственного планирования. Это неправда. В моей статье говорится, что закон стоимости действует в комплексе других экономических законов социализма. «Закон стоимости и основанные на нем категории, — писал далее я, — составляют тот инструментарий, при помощи которого выясняется, что выгодно и что невыгодно обществу, какой из имеющихся проектов плана следует принять, какой отклонить. Отказать закону стоимости в его регулирующей роли — значит по существу отказаться от попытки экономично руководить хозяйством, превратить стоимостные категории в учетные. Значит ли это, что в хозяйственной жизни мы должны следовать исключительно требованиям закона стоимости и обрекать себя на роль его послушных исполнителей? Конечно, нет! В своей практической деятельности плановые органы могут «нарушать», и порой основательно и серьезно, этот закон, ведя, однако, строгий учет тому, какой ущерб наносит это нарушение экономике и какой выигрывает в какой области достигается благодаря этому... Таким образом, признание регулирующей роли за законом стоимости ни в коей мере не умаляет активного воздействия плана на развитие экономики».

Закон стоимости, говорил В. И. Ленин, проявляет себя как закон цен. Игнорирование влияния цен на развитие производства нанесло в прошлом серьезный ущерб нашей

экономике, особенно сельскому хозяйству. Известно, какое большое значение имело для нашего сельского хозяйства решение мартовского Пленума ЦК КПСС о повышении заготовительных цен на сельскохозяйственную продукцию. Поэтому более чем странно в устах людей, непосредственно связанных с сельским хозяйством, такие пренебрежительные высказывания о законе стоимости.

Не учитывая в наших практических мероприятиях закона стоимости, нет возможности повысить эффективность капитальных вложений в народном хозяйстве. А эта проблема не может не волновать ставропольцев. Если за пятилетие (1951—1955) прирост валовой продукции на рубль капитальных вложений составил за год в среднем 0,98 копейки, в период 1956—1960 годов — 0,87, то за пятилетие с 1961 по 1965 год он составил всего лишь 0,08 копейки (то есть 8 процентов к уровню 1951—1955 годов). Такая низкая эффективность — в немалом результате того, что до мартовского Пленума ЦК КПСС в работе экономического механизма было слишком много холостых ходов. Сейчас идет активная работа по совершенствованию этого механизма. Плановое, научное руководство народным хозяйством опирается на наши знания о действии объективных законов и только в этом случае оказывается эффективным. Это было настоятельно подчеркнуто на мартовском Пленуме ЦК КПСС.

Я дочитываю статью моих оппонентов до конца и убеждаюсь: грозное обвинение — «фактам вопреки» — рассыпается. Факты, приведенные в моей статье, остаются фактами, и ни один из них не опровергнут. И мне думается, для каждого, кто не будет «за морожен» обилием цифр, категоричностью суждений моих оппонентов, кто возьмет и объективно сопоставит мою работу с их статьей, станет очевидным тот же вывод, а также и то, что речь идет не об отдельных фактах, деталях, но о различных взглядах на проблемы дальнейшего развития производства.

Искажение положений моей статьи — не единственный способ, которым оппоненты пользуются при недостатке аргументов. Авторы статьи «Фактам вопреки» густо пересыпают свои рассуждения грубостью. Тут и обвинения в попытке «обосновать свои домыслы...», и «абсурдные, оторванные от жизни предложения», и «попытки выхватывать отдельные факты и подтасовывать...». Что ж, пусть это останется на совести авторов. Но я категорически отвергаю то, что относится к области отнюдь не этической: обвинения в искажении фактов и в искажении сущности решений мартовского Пленума ЦК КПСС. Такой способ вести дискуссии, когда вместо доказательства с помощью веских аргументов пытаются запугивать оппонентов необоснованными обвинениями, вряд ли способствует «творческому развитию и совершенствованию экономической науки, теории и практики», за что в конце своей статьи ратуют ее авторы.

Г. Лисичкин,
кандидат экономических наук.

«МЕТОДИКА» НЕДОБРОСОВЕСТИ

В шестом номере журнала «Детская литература» за этот год напечатана рецензия Н. Побединой на книгу В. Глоцера «Дети пишут стихи», посвященную детскому творчеству («Просвещение», 1964). В рецензии этой, напечатанной три года спустя после (!) выхода книги в свет, Н. Победина выразила отрицательное отношение к книге. Что ж! Н. Победина имеет такое же право ругать книгу, как я, скажем, восторгаться ею. Она имеет право, не найдя в книге «конкретных установок» и «со-

путствующих указаний» для своих «творческих поисков в развитии литературных способностей школьников», рассердиться на автора за отсутствие этих «установок»; имеет право опасаться «личной инициативы», «собственной интуиции», «своеобразного экспериментирования» в руководстве творчеством детей.

Но Н. Победина — уж не знаю, руководствуясь ли «сопутствующими указаниями» или в порядке «личной инициативы»! — внесла такую долю «своеобразного экспе-

риментирования» в общепринятые методы полемики, что оставить без оценки этот опыт никак нельзя.

Захотелось критику, допустим, доказать, что автор книги о руководстве детским творчеством в принципе против всякого руководства этим самым творчеством, что он сторонник «давно отвергнутой нашей педагогикой теории свободного воспитания», что в его книге «воспитательный процесс, весь комплекс его обогащающего воздействия подменяется фактически саморазвитием». И она это «доказывает». Каким образом? По-разному. В одних случаях в полемически заостренном тоне сообщает читателям своей статьи некие неоспоримые педагогические истины, создавая таким образом впечатление, что автор критикуемой ею книги даже этих аксиом не понимает и не принимает. Ну, скажем, рецензент горячо убеждает: литературные способности детей надо развивать, и наблюдательность и воображение тоже надо развивать, и поэтический словарь и поэтические представления детей, конечно же, надо обогащать. Читатель ее статьи, само собой разумеется, согласен, что «развивать» и «обогащать» надо, и думает, почему же это автор книги «Дети пишут стихи» таких элементарных вещей не понимает, какой же он тогда педагог? Откуда читателю знать, если он не знаком с самой книгой, что вся книга написана как раз об этом.

Еще чаще Н. Победина прибегает к другому способу «доказательства» — к цитированию В. Глоцера. Но как не банально она это делает! Выбрасывает, например, из цитат те слова, которые противоречат ее «доказательствам», или обрывает цитату посередине, вставляя между началом и концом ее свои собственные рассуждения, или берет цитату из одного контекста и переносит ее в другой, соединяя, скажем, куски из начала и из конца книги; иногда же по собственному разумению выделяет в цитатах жирным шрифтом, не оговаривая этого, те слова, какие ей хочется, хотя такое выделение, как известно, меняет акцент, интонацию и в конечном итоге — смысл фразы. Такой «раскованности» в обращении с чужим текстом мне еще и выдывать не приходилось.

Рассмотрим механику этих «преобразований» подробнее.

Цитирую Н. Победину: «Поэтов, как указывает В. Глоцер, действительно не де-

лают, но почему же творчество юных стихотворцев, занимающихся в литературно-творческих кружках и студиях, богаче по содержанию, ярче по языку, более эмоционально по сравнению с творческими опытами поэтов-одиночек?» «Не потому ли,— пишет она далее,— что система развития детских литературных способностей... способствует выявлению поэтических задатков, их дальнейшему развитию?»

А Глоцер-то что? Против литературно-творческих кружков? За юных поэтов-одиночек? Против системы?

Против, утверждает Победина и приводит соответствующую цитату из книги Глоцера: «Любая система, любой свод (выделено, как всегда, без указания на то.— *И. Т.*) раз и навсегда установленных правил оказались бы попросту вредными в приложении к разнообразным поэтическим талантам».

Смотрим у В. Глоцера и видим: никаких выступлений против литературно-творческих кружков ни там, откуда взята эта цитата, ни в другом каком-либо месте у него нет (да и странно было бы найти все это у педагога, который много лет занимался с детьми именно в литературно-творческом кружке), а есть совершенно другое. Размышления о специфике поэзии, о ненужности создания для юных поэтов специальных школ такого же типа, как школы для живописцев и музыкантов, о невозможности воспитания двух поэтов по одинаковой системе — «кому нужны были бы поэты-близнецы!». Именно в этом контексте стоит фраза «Любая система, любой свод раз и навсегда установленных...» — и речь в этой фразе идет не о том, что вообще никакой системы не нужно, а о том, что самая хорошая система с раз и навсегда установленными правилами (вот эти последние слова Н. Побединой бы и выделить, в них-то главный смысл фразы и есть.— *И. Т.*) превращается в свою противоположность... Это и только это имеет автор в виду, когда пишет: «Вырасти поэтом тогда бы имел шансы только тот, кто ускользнул из-под действия этой системы». «Какой этой?» — спросим мы. Очевидно, той самой, которая с «раз и навсегда установленными правилами». Но для Побединой это не очевидно. Приводя эту цитату, она выкидывает из нее, не делая отточия, всего два слова — «тогда» и

«этой»,— и у нее получается нечто совсем иное: некое выступление автора против «любой системы».

Цитирую Н. Победину еще раз. «Библиотека, но не школа», не студия являются, по словам В. Глоцера, одним из определяющих приемов развития детских поэтических способностей. Литературно-творческий кружок, по мнению автора книги «Дети пишут стихи», должен быть читательским». Это тоже, на ее взгляд, доказательство того, что Глоцер против специальных литературных занятий с детьми.

Снова смотрим книгу В. Глоцера и видим, что он вовсе не ставит так вопрос — только библиотека, но ни в коем случае не студия, только читательский кружок и никакой иной. Он просто рассказывает, что вот когда-то в Ленинграде в Доме детской литературы создали хорошую библиотеку, а при ней клуб (Н. Победина, если хочет, может назвать этот клуб студией) для занятий с литературно одаренными детьми. А свое утверждение, что кружок должен быть читательским, он разъясняет так, что от приписываемого ему противопоставления читательского кружка творческому не остается и следа. «Литературный кружок,—пишет он,—не должен быть собранием одних поэтов. Гораздо, по-моему, лучше для дела и для тех, кто пишет, и для тех, кто не пишет стихи, когда в кружке собираются вместе пишущие и не пишущие. Атмосфера такого кружка как-то чище: не кружок избранных, а кружок для всех, кто интересуется литературой, и в том числе для тех, кто сочиняет стихи. Поэтому я и сказал вначале, что лучше всего, если литературный кружок будет читательским». Как видим, слово «читательский» он употребляет в определенном смысле, и совсем не в том, какой хочет придать ему Н. Победина.

Критик утверждает далее, что автор искусственно тормозит «творческие устремления ребенка», совершает «насилие над творческими эмоциями». Доказывает это критик теми же приемами — один раз найденные, они не вызывают уже затруднений.— нимало не смущаясь тем, что новое обвинение — в насилии! — плохо связывается с прежними: в невмешательстве, в преклонении перед стихийностью. «Задавая тему,— цитирует Н. Победина автора книги,— я просил: пишите, пожалуйста, прозой. Но несколько раз меня ослуш-

ва лись (снова выделено без указания на то.— И. Т.), и, хотя в большинстве случаев попытка написать стихи вот так, без внутреннего заказа, без настроя только подтверждала мою теорию, все-таки появлялись строки интересные и вдохновенные». Здесь тоже сделаны купюры, искажающие смысл: вместо слова «появились», например, она цитирует «появлялись», и у читателя возникает мысль: если вопреки теории «строки вдохновенные» постоянно, так сказать, «появлялись», то почему педагог не пересмотрел свою теорию? Из упрямства? Из любви к насилию? Других мелочей в искажении этой цитаты, пожалуй, касаться не стоит, главное искажение здесь в том, что мысль: нельзя заставлять детей писать стихи без «внутреннего заказа» и совершать таким образом насилие над ними, Победина, уцепившись за слово «ослушались» и выделив его жирным шрифтом, умудряется истолковать как пример «насилия над творческими эмоциями»...

Теперь Н. Побединой надо «доказать» еще один, чуть ли не основной тезис своего обвинительного заключения: «Автор книги сводит к нулю роль коллектива, последовательно отрешая «юного поэта» от суждений сверстников», лишает «детей возможности встреч с родственными коллективами», выключает «юного стихотворца из общественной жизни». Как рецензент это делает?

В главе «О тщеславии» В. Глоцер размышляет о том, как опасно для юного стихотворца стать объектом нездорового ажиотажа. Для наглядности он выводит там некоего гипотетического педагога, у которого, хотя он и понимает вред для юных поэтов широких и частых выступлений, не хватает все же решимости противостать ретивому администратору Дома пионеров, и он попадает в плен к людям, превыше всего ставящим отчетность. «Показать свою работу, показать «с лучшей стороны» — вот что для него сейчас важнее всего на свете,— продолжает автор свою мысль.— Он и не чувствует, что стихи детей только условно можно назвать его работой, что это все же стихи детей, а не его собственные». Для наглядности же В. Глоцер выводит и некоего гипотетического мальчугана, который, сорвав аплодисменты раз, другой, приглашается теперь уже на все вечера, делается, так ска-

зат, штатным стихотворцем, начинает лихорадочно писать стихи для каждого нового вечера — иначе говоря, становится «жертвой тщеславной игры взрослых».

Цель рассказа В. Глоцера вполне конкретна — уберечь детей от тщеславия, — опасность заражения их «бациллой успеха» вполне реальна, но Н. Победина делает вид, что не понимает, о чем идет речь, и приписывает В. Глоцеру «сведение к нулю роли коллектива» и оскорбление педагогов. Условного педагога она превращает в педагога вообще, в каждого педагога, которому, как якобы утверждает Глоцер, «важнее всего на свете показать свою работу». Условного же мальчика она превращает в ребенка вообще, которого вообще взрослые делают «жертвой» своей тщеславной игры.

«Смешение возрастов, противоречивость и спорность ряда суждений не дают возможности признать работу В. Глоцера как книгу (подчеркнуто мной. — И. Т.), которая «сослужит полезную службу раньше всего педагогам», — пишет Н. Победина, опять вводя в текст цитату. Чью? Автора? «Да, конечно, — думает читатель, — чью же еще?» Оказывается, это не нескромный автор рекомендует свою собственную книгу как книгу, которая «сослужит полезную службу раньше всего педагогам», а К. И. Чуковский в своем предисловии так ее аттестует. Забыв назвать имя автора

приводимой ею цитаты, Н. Победина и этим кладет гирьку на чашу весов своей «концепции».

И, наконец, чтобы подвергнуть сомнению художественный вкус литератора, занимающегося детским творчеством, Н. Победина искажает приводимые им детские стихи и его собственные комментарии к ним.

Предугадывая возможный упрек читателя моего письма в том, что я все время копалась, так сказать, «в мелочах», и ничего не сказала по существу проблем, затрагиваемых в книге В. Глоцера и в статье Н. Побединой, хочу напомнить: я не ставила перед собой задачу дать общую оценку педагогическим воззрениям автора книги «Дети пишут стихи» и его оппонента Н. Побединой. Я хотела лишь показать, так сказать, методику подтасовок. Одним из компонентов этой «методики» является, между прочим, умолчание о том, например, факте, что В. Глоцер в своей книге подверг критике урок коллективного сочинения стихов, проводившийся рецензентом. Мы все же не осмелимся предположить, что именно это обстоятельство вызвало к жизни то «своеобразное экспериментирование» в области полемики, о котором шла речь в этих заметках.

И. ТРАВКИНА.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Е. Полякова. Сто тыщ Смирновых...— **Кайсын Кулиев.** Чем продолжительней молчанье...— **В. Кантор.** Кого читать?— **Эд. Кузьмина.** Одно лето.— **Л. Лазарев.** Документы обвиняют неопровержимо.— **Р. Орлова, Л. Копелев.** Писатель и совесть.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Г. Ханин. Экономический рост и выбор.— **Д. Фурман.** Поиски новой концепции.— **Р. Баландин.** Пути современной географии.— **А. Василевская.** История психологии с точки зрения детерминизма.— **В. Ревич.** Страницы из биографии века.— **Д. Лихачев.** Сага об Исландии.

Литература и искусство

СТО ТЫЩ СМИРНОВЫХ...

А. Приставкин. Голубка. Роман о любви. «Знамя», №№ 3, 4, 5, 6. 1967.

О романе Анатолия Приставкина «Голубка» легко писать то, что называется положительной рецензией.

Он посвящен людям переднего края жизни, строителям огромной сибирской ГЭС. Он реально отображает действительность — правдивы ситуации романа, выразителен пейзаж, узнаваема сегодняшняя речь. Ни разу не приходит сомнение в том, что все происходящее в «Голубке» писано с натуры. Книга Приставкина — правда жизни наших лет.

О романе Анатолия Приставкина «Голубка» легко писать то, что называется отрицательной рецензией. Наброски, эскизы жизни в «Голубке» точны. Их десятки, их сотни; но они словно висят рядами на стенах какого-нибудь молодежного клуба, где художник отчитывается о творческой командировке в Сибирь. В единую, стройную картину они не объединяются. Основные сюжетные линии романа — встреча Жени Голубевой и Виктора Смирнова, их женитьба, работа Виктора в горьком комсомола, смерть Генки Мухина от выстрела пьяного хули-

гана — кажутся случайностями, которые могли быть, а могли и не произойти. Помнятся частности романа, сцены в общежитии, на зимовье, в котловане, но отдельные люди, от безмянных шоферов и подсобников до главных героев, смешиваются в кипении строительства, их отдельные голоса гложут в великом шуме. Про Женю и Виктора можно было написать повесть. Можно серию рассказов. Ощущения необходимости формы большого романа, стройности композиции, завершенности при чтении не возникает.

И та и другая рецензии будут справедливы. Роман Приставкина, уже расписанный библиографами на карточках по разделам «Молодежь в СССР», «Сибирь», «Строительство в СССР», «Гидроэлектростанции», займет свое место на библиотечных полках. Он будет очень нужен тем, кто по комсомольским путевкам и по распределению из школы, из институтов, из армии двинется на Ангару. Историкам сибирских строек книга Приставкина будет необходима так же, как цифры и сводки, даже больше, потому что

писатель сохранит для будущего ту реальность жизни, которая недоступна никаким сводкам.

Но, думается, вряд ли все-таки за этими номерами журнала «Знамя» будет стоять очередь в библиотеке, вряд ли их будут передавать из рук в руки: «Вы еще не читали?» Новая книга Приставкина займет достойное место рядом с книгами о сегодняшнем человеке и сегодняшней жизни. Но в строю этом она не выделится, как не выделится и в строю книг самого Приставкина.

«Голубка» продолжает его рассказы о строителях, верхолазах, инженерах, медсестрах, партийных работниках, геологах Севера и Сибири. Продолжает достойно. Но не поднимается на новую ступень. В рассказах, в сибирских повестях «Записки моего современника», «Рожденному жить», «Страна Лэпия» (производное от ЛЭП — линии электропередач, которую прокладывают в самых трудных условиях, потому что электрики идут в тайгу впереди строителей) было то же. Точный пейзаж. Точный быт: строительство, начатое с бани, комары, которые могут впитаться через кирзовый сапог, выпуск стенгазеты, бегство парня, который благополучно строит себе дом в другом месте, когда в Сибири его заочно исключают из комсомола, бабушка, приехавшая к внуку на стройку, гибель людей в прорвавшемся шлюзе, задыхающийся больной ребенок, к которому высылают вертолет. Ребенок кричит, как его успокоить — не знают: игрушек в тайге нет. «Кто-то покопался в карманах, достал красную книжечку — комсомольскую путевку — и повертел перед личиком ребенка: «Ну, не плачь, не плачь!»...

В прежних повестях, как в «Голубке», радовала зоркость художника, внимание его к мелочам жизни и органичность ощущения громады этой жизни, общего ее движения. И, как в «Голубке», в этом коловороте мелькали и путались имена героев: Жени. Нины, Гали, фамилии — Никишин, Михалев, Парменков; казалось, что фамилии эти случайно выхвачены из какой-то огромной ведомости.

Когда же Приставкин хотел остановиться, взглядеться в лица, понять души — это далеко не всегда ему удавалось: «В темноте скорее угадывалось, чем виделось. Голос глуховатый, может простуженный. Овчинная шуба, шапка с болтающимися ушами. Никишин часто слышал о прорабе Сахно. Знал, что тот исколесил Россию,

строил дороги, после войны был выслан на Лену... В пятьдесят пятом реабилитирован, но остался в этих местах, строил трассу Лена—Тайшет, строил мост через Ангару около Братска, начинал Мирный. Про него говорили: нелюдимый, трудный человек. Весь в движении. Сложное движение души и тела, направленное только к делу! К делу! К делу! Кажется, это был его девиз. Такое слышал Никишин». Это из повести «Рожденному жить». «Мама, я хочу рассказать про нашего главного инженера. Ты не представляешь, что это за человек. Он при Сталине сидел. Половину жизни. Стал инвалидом. Туберкулезник. Ходит с клюшкой. Но как, мама, он умеет строить! Ты знаешь, ему недавно предложили возглавить самую крупную в Союзе стройку, за него хлопотало министерство, а партком не отпустил. И он остался! Ты понимаешь, что значит отказаться от той самой стройки. Но ведь его оставила партия, и он остался». Это из повести «Здравствуй, Димка!».

Такие анкетно-справочные данные прекрасны для служебной характеристики. Но характеристика вовсе не равна характеру. Для повести этого мало. Для романа тем более. Особенно для «романа о любви» — таков подзаголовок «Голубки».

Начинается роман о любви объявлением у входа в автостанцию: «Чья коза пестрая замерзает на привязи 16 квартал около магазина?» Продолжается поездкой в местном «автобусе» — переполненном крытом грузовике. Продолжается картиною котлована, который огромен так, что сначала его попросту не видишь, не соизмеряешь с обычным — лишь потом, приглядевшись, видишь в пропасти, вырытой человеческими руками, верхушки кранов, костры, эстакады, блоки, похожие на небоскребы. Продолжается точными репликами секретаря горкома («Вы ко мне? Вон, товарищ в бушлате! Я спрашиваю: ко мне?»), кондуктора («Граждане, позвольте, я вас оббилечу!»), женщин, называющих друг друга девочками («И вижу я, девочки, что-то мой жених телепается»), начальника стройки («Мне нужны работоспособные кадры»)... Продолжается сценами общежития, стройки, простое, усталости людей, которые даже в меню вместо «сам жареный» видят малопонятные слова «сам жареный». Продолжается в неполадках, авариях, трюмфах гигантской стройки, где смешались люди из разных концов страны, где все сдвинуто, где быт неустроен, очень

труден, но трудности эти — как точно понимает это писатель! — воспринимаются совсем не так, как трудности устоявшейся жизни. Каморка, с боем захваченная молодоженами в общежитии, скрипучая койка, казенный ковш, в котором кипятят воду за неимением чайника, — это совсем не то, что комнатка, выделенная в городской коммунальной квартире на десятки лет, может быть, на всю жизнь. Здесь огромны возможности жизни, ее перспективы. Потому и герои Приставкина не сбегут никуда от этой труднейшей, ответственнейшей, непосильной подчас работы, и писатель, открыв для себя этих людей, не может и не хочет менять героев — перемена ощущается как измена, как поиски, «где легче».

Вроде бы, минуя все литературные традиции и заветы, Приставкин обращается непосредственно к жизни. А. Приставкина и А. Кузнецова, В. Аксенова и Г. Владимова, Ю. Казакова и В. Осипова тянет вдаль от больших городов — они идут по следам геологов, оставивших неотправленные письма и размытые водой дневники, водителей тяжелых самосвалов, везущих первую руду, бетонщиков, у которых руки гудят после тяжелого рабочего дня, обитателей палаточных городков, общежитий, лесных зимовий.

Своими литературным учителем молодые писатели часто называют Хемингуэя и говорят о влиянии, оказанном на них поздним Катаевым. Но послевоенная советская литература гораздо крепче связана с традициями довоенной советской литературы, чем это кажется на первый взгляд. С ранним Катаевым — «Время, вперед!», со зрелым Эренбургом — «День второй», с «Сотью», с «Мужеством», с пьесами Погодина и фильмом «Комсомольск».

Возможно, все это совсем не помнилось молодому писателю, который в одиночку искал, мучился, чтобы выразить жизнь, хлынувшую на него, как прорвавшая плотину вода. Основа преемственности — внутреннее родство, общность писателей, которые не по обязанности развивают «производственную тему», но попросту не видят жизни своей и своих героев вне постоянного, упорного, упрямого труда, определяющего смысл жизни, ставшего смыслом жизни.

Люди этого труда, строители и бетонщики, геологи и шоферы, не идеализируются ни Владимовым, ни Аксеновым, ни Кузнецовым, ни Приставкиным. Приставкин типичен для послевоенного писательского поколе-

ния — и по трудной биографии своей (дедом, техникум, армия, работа на стройке, писательство), и по стремлению писать жизнь не с чужой подказки, но самому разобраться в ней. Он и разбирается, показывает ее такую, какова она есть; любя и уважая своих героев, он не позволяет себе ни «выпрямлять» их, ни «высветлять» самую их жизнь. Для Приставкина тот возвышенный Труд, который должен быть владыкой мира, и ежедневная работа, за которую получают зарплату, сливаются воедино, как сливаются они для героев его.

Поэтому Приставкин не встает в позу человека, читающего оду труду и воспевающего подвиги. Он живет со своими героями, втягивает нас в трудную рабочую жизнь, которая и есть норма жизни для Приставкина, для героев его книг: для Толи Каманина, для прораба Сахно, для Жени Голубевой и ее отца, старого геолога, который, вероятно, никогда не дожидается квартиры в столице и не сядет у телевизора, перебирая страницы прошедшего. Эти люди не могут жить без своей профессии, без ежедневных дежурств и вызовов. Если работа кончается, если их выводят на пенсию (отдохните!) — они умирают.

В аннотациях к книгам Приставкина любят писать, что он рассказывает о «романтике трудового подвига». Сам он, рассказывая о трудах, подвигах и ребятах-романтиках, не настаивает на таких определениях. Он открыто и с полным правом иронизирует над теми бойкими газетно-журнальными статьями, которыми одаривают читателей ненадолго залетевшие на стройку литераторы. Его герой исправно рассказывает такому интервьюеру:

«— С планом работы справились в общем. Расчистили тайгу, поставили три дома, мастерскую, котлопункт. Ждем пополнения.

Женя вдруг понял, что он ничего не сказал еще о пережитом, да что и рассказать это невозможно, потому что позади был год их жизни, волнений, срывов и подъемов, мелочей и главного. Напишут же обо всем так: «Они начинали город! Летом пятьдесят девятого года группа комсомольцев, преодолев серьезные трудности, таежные завалы и буреломы, пришла в глухую тайгу. Они согрели необжитые, глухие места своими молодыми горячими сердцами, и там, где недавно проходил хозяин тайги, медведь, встал молодой город Ельск...»

— Приезжайте к нам в Ельск,— попросил Никишин симпатичного корреспондента...

— Ладно,— сказал тот и дружелюбно протянул руку.— Но информацию я все же дам. Ну, хотя бы и так: «Они начинали город...»

Приставкин не хочет работать, как этот симпатичный корреспондент, он по-настоящему знает и любит начинавших город. Поэтому в «Голубке» он так ощутимо пишет сорокоградусный мороз (когда воздух как бы густеет, вокруг фонарей стоят радужные нимбы, и забытая коза замерзает на привязи), зимовье, где живут лэповцы, молодежную свадьбу, столовки, общежития, ездки самосвалов.

Но «Голубка» по объему больше приближается к «Анне Карениной», чем к «Капитанской дочке». Роману предшествует эпиграф: «Говорят, новые надежды и обновление приходят в наш мир на крыльях голубя». Это обновление, надежды, мужество, женственность, беззащитность, стойкость несет с собою Женя Голубева — Голубка,— которую временами называют Паломой. Мы ее видим впервые вместе с Виктором, когда она приглашает соседей по общежитию к себе на макароны: «Он повернулся на голос, как и остальные, увидел ее светлую голову, большие, чуть раскосые глаза, ковбойку на ней и брюки. Она была поразительно неожиданна, и Виктор так удивился, что больше ничего и не запомнил... И дальше десятки страниц посвящены Голубке, ее работе, ее детству, отношениям с отцом, школе, поступлению в институт («Была она у декана на собеседовании. Он спросил: «Ваша фамилия Голубева?» — «Да». — «Есть известный геолог Голубев, он вам не родственник?» — «Нет,— сказала Женя,— не родственник»), окончанию института, короткой поездке с мужем на юг и долгим ссорам с ненавистным прорабом, неженской работе, которую должна выполнять женщина. Женя ловит на дороге самосвалы, потому что надо возить бетон. Машина сбивает ее в кювет. «Она села и заплакала, стирая с лица грязь, все глядя туда, где исчезла машина. Потом она поднялась. Она пошла в ту сторону, откуда должны были прийти другие машины, прихрамывая, отряхивая на ходу одежду, как будто это имело какое-то значение»...

Так кончается роман о великой сибирской стройке. О многих ее людях. Но не о тех двух, которые оправдали бы обозначение

«роман о любви». Ни Женя, ни Виктор не сделались теми подлинными портретами, которые выделились бы среди торопливых и точных сцен-эскизов. Авторские определения не сливаются с сущностью человека, поступки кажутся случайными. «Неожиданное», увиденное в Жене Виктором, не передается нам, не узнается нами. В мыслях, в строе речи Жени это «неожиданное» оборачивается придуманностью, той литературностью, которую обычно так чувствует, которой так боится Приставкин: «Я ушла в снег и говорю себе: «Зачем жить?» Я пошла по Ангаре вниз, мимо пристани, торопов, скал... Оглянулась — кругом только белое, даже эстакаду не видеть. И ни одного звука, прямо белая пустота, и все. Мне тогда страшно стало. Я подумала, что вот такая, наверное, и есть смерть: никакая. И так я побегала, словно за мной медведи гнались. И вдруг под носом бульдозер: «Стрек, стрек, стрек». Я села на снег и думаю: «Родненький мой, бульдик, бульдичка... Как же ты приятно тарыхтишь!.. Маслом пахнешь, человеком, стройкой. Ну как я без всего этого буду?»

И Виктор Смирнов неотделим от толпы в ковбойках и ватниках. Секретарь горкома комсомола почему-то сразу его запомнил, прибавив, правда, что у него на стройке «сто тыщ Смирновых». Но для нас главный герой безнадежно теряется среди этих «ста тыщ». Все типическое, что есть в других Смирновых и Голубевых, в наших молодоженах обозначено. А их человеческую отдельность Приставкин в «Голубке» не раскрыл.

Можно даже подумать, что это ему вообще не дано. Ведь у каждого таланта есть свои возможности, «амплуа» актера и писателя вовсе не отменены начисто жизнью. Может быть, в писательское «амплуа» Приставкина не входит портретность, законченность, выделение героя из массы? Ведь то, что он умеет показать слитность людей, что он находит соотношение бесчисленных живых мелочей и громадного масштаба всей сегодняшней жизни, тоже способность редкая и нужная!

Но молодой писатель подходит уже к концу десятилетия своего писательства, на счету его не книга, не сборник, но книги и сборники. И то, что было вначале открытием, в последних книгах, в «Голубке» в частности, оборачивается повторением. А сочетание робости и многословия, подробно-

стей и неумения определить главное в человеческом образе становится для Приставкина все более реальной опасностью. Обращаясь к началу его литературной работы, отчетливо видишь, что нечто существенное, свое, так точно найденное, потускнело и как-то растворилось впоследствии.

Вспомним первые, даже не маленькие, а крошечные рассказы-дебюты, напечатанные восемь лет тому назад в журнале «Юность». О детском доме, где мальчик жил в войну. О промерзших окнах, холодно белеющих в темноте, о дряхлом стороже-чеченце, об ожидании отцовских писем с фронта, о фотографиях родных, которые приобретали огромное значение, потому что только они связывали с мирным прошлым, с домом.

Приставкин там не описывал голода, но вспоминал вкус капустных корней, синеватые ладони девочки и толстую заведующую, которая оделяла детдомовскими калориями своих родственников. В рассказе «Шефы» мальчик, едва дождавшись воскресенья, бежит к своему шефу, заведующему складом, и слышит, как жена завскладом сетует: «Мы же не родственники какие, чтобы их кормить»... Рассказы были исполнены правды, суровой и жестокой. Но беспросветности в них не было, как не было и сентиментальности. Объединенные общей темой, рассказы словно высечивали, выхватывали в жизни необходимые писателю лица, необходимые сцены — и веснушчатый Шурка, и старый Джафар, и слепая девочка, переходящая дорогу, помнятся до сих пор.

Из такого детства писатель вынес и сохранил обостренное ощущение ценности жизни и ответственности за нее, понимание счастья самых простых вещей — мира, здоровья, семьи, работы... Это ощущение живет в сибирских повестях. Оно пронизало собой книжку «Селигер Селигерович», где записки путешественника прошлого века и заметки современного краеведа, воспоминания детства, картины деревенской жизни, сбора земляники, рыбалок, дождей, озерных тишайших ночей сливаются в небольшую «документальную повесть», в которой больше всех других персонажей запоминается и радуется автор — его детство, его выздо-

рование от тяжелой болезни, его светлый взгляд на жизнь.

В сибирских повестях Приставкин несколькими героям отдает свою биографию — сиротство, детский дом, армию. Но ни один из этих героев, взятый отдельно, не сделается пока нам таким близким, как сам автор «Маленьких рассказов» и «Селигера». Там картины жизни объединялись прежде всего тем, что принято называть «лирическим я» автора, открытым и простым. В других повестях Приставкин словно бы уходит от этой «лирики», свое «я» растворяя в героях, скрываясь за ними. Но, не умея проникнуть в чужую глубину, он пишет, пишет, пишет картины быта людей, покоренный этим бытом, но еще не покорив его. Первоначальное, житейское выходит на первый план, а сложность жизни, осмысление ее, неповторимость человеческих характеров с трудом пробивается сквозь эту плотную оболочку, сквозь сценки, детали, картинки повседневности.

В одном из маленьких рассказов Приставкина мальчик пытается поднять ведро воды из колодца, но тяжелое ведро вырывается из рук, и много времени проходит, прежде чем мальчику удастся вытянуть его: «Я понял, как трудно достигается глубина»...

И каждому она достается по-своему. Одни идут к ней медленно, долго, другим она дается сразу и навсегда, третьи, легко достигнув ее вначале, теряют дорогу к ней. Она была достигнута Приставкиным вначале — во многих «маленьких рассказах» и в главах «Селигера», — она проблескивает в сибирских рассказах и в сибирских повестях. В «Голубке» она манит в эпизодах, во второстепенностях, но исчезает в образах первого плана. Когда Смирновы и Голубевы встают перед нами как сто тысяч фигур в бушлатах, ватниках и ковбойках, мы верим им и верим в них. Выделить единицы из тысяч Приставкин не умеет. Очень хочется сказать — еще не умеет. Работает он много и честно. Может быть, строгая точность и сдержанная сила первых его «маленьких рассказов» вернется к нему в новом качестве. Трудно достигается глубина.

Е. ПОЛЯКОВА.



ЧЕМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЕЙ МОЛЧАНЬЕ...

С. Липкин. Очевидец. Стихотворения разных лет. «Советский писатель». М. 1967. 183 стр.

Семен Липкин — один из лучших знатоков и переводчиков поэзии Востока. В этом качестве в основном и знали его до сих пор читатели. А он с мальчишеских лет пишет собственные стихи. Их слушал еще Эдуард Багрицкий, внимательно относившийся к своему младшему товарищу по ремеслу. И вот теперь мы получили возможность раскрыть книгу стихов поэта Семена Липкина. Он с полным правом мог бы сказать о себе известными стихами Николая Ушакова:

Но я, писатель терпеливый,
храню, как музыке, слова.

Я научился их звучанье
копить в подвале и беречь.

Липкин очень долго копил и берег свои слова. Мало кто из нынешних поэтов может сравниться с ним в этом трудном для писателя терпении. Поэтому я, как и многие любители поэзии, с особо острым интересом раскрыл книгу «Очевидец». При этом я хорошо помнил заключительное двустушище процитированного стихотворения Ушакова:

Чем продолжительней молчанье,
тем удивительнее речь.

Сказанным, конечно, я, как и Николай Ушаков, вовсе не собираюсь утверждать, что поэт должен молчать десятилетиями и не издаваться. Это противоестественно. Но мне также хорошо помнится мысль Блока о нелегком деле поэта — внесении гармонии в мир — и связанных с этим трудностях.

Первый вывод, к которому приходишь, прочитав книгу Липкина, такой: ее написал умный, много видевший и много думавший человек, поэт большой культуры и мастерства. Он хорошо знает цену слову, отлично чувствует музыку слова, все его оттенки, и в лучших своих вещах достигает большой точности и простоты.

Пусть сказанное мною подтвердят сами стихи. Вот точная живописная картина, созданная всего лишь двумя строчками:

Бьется бабочка в горле кумгана.
Спит на жердочке беркут седой.

А вот слова, рожденные любовью и горечью:

Есть прелесть горькая в моей судьбе:
Сидеть с тобой, тоскуя по тебе.

Слова эти так же естественны, как естествен вздох при боли.

И второй вывод: стремление к внешнему блеску, желание ошарашить читателя неестественной, а потому и ложной образностью, всякая такая мишура и суэта начисто отсутствуют в книге «Очевидец». А это говорит не только о талантливости, но и о зрелости поэта. Чем художник умнее и зрелее, тем меньше у него стремления к дешевой популярности и желания во что бы то ни стало блеснуть. Ему известно:

Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.

Когда человек много знает, много видел и пережил, он идет вглубь, ибо знает: чем глубже колодец, тем вода чище и холодней в зной. Слова, рожденные любовью или болью, всегда естественны и просты. А Липкину ведомо, что значит любовь и боль человеческого сердца.

Я мог бы стореть за кирпичной стеной
В какой-нибудь миром забытой
Треблинке
И сделаться туком в бесплодном
суглинке,
Иль смазочным маслом, иль просто
золотой.
Но вот — я живу. Я снова с тобой,
Я один из немногих счастливыхцев.

Эти стихи суровы, точны, конкретны. Они достойны значительности темы. В таком достойном тоне и написана вся книга. Вот как определяет Липкин свое отношение к поэзии:

Старые прописи не перелистывай,
Новых на них не черти закавык,
Жалко-расчетливой, мощно-неистойвой
Слушай толпы многозначный язык.

На мой взгляд, поэзия нашего времени обязана быть особенно глубокой, серьезной в лучшем смысле слова, правдивой и человеческой. Причины для этого много, как ни в одну эпоху. Не так давно мы вели смертельную войну против фашизма, которая стоила десятков миллионов жизней. Наш век знал лагерь смерти, печи Освенцима и Бухенваль-

да, пепел Хиросимы и Нагасаки. Ничего равного по масштабам жестокости мир не знал прежде, хотя он видел многое, и насилье вершило свои кровавые дела всегда, а больше всего на свете не хватало милосердия и добра. Недаром Бетховен выше всего ставил человеческую доброту.

Наше время, когда люди тревожатся за существование самой жизни, требует от поэта особой чуткости и честности. Об этом и говорит жесткое и сжатое восьмистишие Липкина «Очевидец», давшее название книге:

Ты понял, что распад сердец
Страшней, чем расщепленный атом,
Что невозможно наконец
Коснеть в блаженстве глуповатом,

Что много пройдено дорог,
Что нам нельзя остановиться,
Когда растет уже пророк
Из будничного очевидца.

Я не случайно в своей, может быть сбивчивой, не претендующей на новизну мысли, рецензии повторяю эти трагические названия — Освенцим, Бухенвальд, Хиросима. Все это очень важно для книги С. Липкина, и все это есть в ней. Позволю себе процитировать несколько строф из стихотворения «На Тянь-Шане», в котором так выразительно сказано о судьбе варшавского портного, бурей века заброшенного в Киргизию.

Издалёка занес его случай,
А другие исчезли в золе.
Там, за проволокою колючей,
И теперь он один на земле...

День в пыли исчезает, как всадник.
Овцы тихо вбегают в закут.
Зябко прячет листья виноградник.
И опресноки в юрте пекут.

Точно так их пекли в Галилее,
Под навесом, вечерней порой...
И стоит с сантиметром на шее
Элегантный варшавский портной.

Не соринка в глазу, не слезинка.—
Это жжет его мертвым огнем.
Это ставшая прахом Треблинка
Жгучий пепел оставила в нем.

Стихотворение помечено 1948 годом. Оно о людях трагического века, которые дышали воздухом своего времени, несли в себе его радость и горе, как река несет порой легкие чинаровые листья, а порой — после ливня —

и тяжелые валуны, что, ударяясь друг о друга, высекают искры.

А в заключение я хочу целиком привести стихотворение «Вожатый каравана», которое написано как подражание Саади и которое, мне кажется, хорошо характеризует мастерство поэта.

Звонков залиvistых тревога заняла
слишком рано, —
Повремени еще немного, вожатый каравана!

Летит обугленное сердце за той, кто в
паланкине,
А я кричу, и крик безумца — стоил
огненный в пустыне.

Из-за нее, из-за неверной, моя пылает
рана, —
Останови своих верблюдов, вожатый
каравана!

Ужель она не слышит зова? Не скажет
мне ни слова?
А впрочем, если скажет слово, она обманет
снова.

Зачем звенят звонки измены, звонки ее
обмана?
Останови своих верблюдов, вожатый
каравана!

По-разному толкуют люди, о смерти
рассуждая.
Про то, как с телом расстается душа,
душа живая.

Мне тслики слушать надоело, мой день
затмился ночью:
Исход моей души из тела увидел я воочью!

Она и живая — желанна, и разве это
странно?
Останови своих верблюдов, вожатый
каравана!

Меня всегда огорчает, когда растолкуют стихи. Но сейчас и сам не могу удержаться, чтобы не сказать: как это психологически верно — «Она и лживая — желанна...». А строка-рефрен «Останови своих верблюдов, вожатый каравана!» воспринимается не только как стон и крик души того, чью возлюбленную увозят, но и как обращение к неумолимому Времени человека, влюбленного в мир.

Энергию мысли, живописный образ, значительность содержания — все это соединило дарование поэта. «Очевидец» — очень современная по содержанию и культуре стиха книга.

Кайсын ҚҰЛИЕВ.

КОГО ЧИТАТЬ?

Л. Ершов. Советская сатирическая проза. «Художественная литература». М.—Л. 1966. 297 стр.

Порой мы рассуждаем о нашей литературе в пределах довольно странной схемы: большой художник, жил позже других, близких ему по духу, направлению или даже жанру писателей,—ну, значит, этих, живших до него, нужно рассматривать как предшественников, ценя в их творчестве лишь то, что потом влилось в творчество их преемника.

Однако стоит ли в таком случае предшественников читать? Этот неожиданный и как будто бы несколько абстрактный вопрос приобретает вполне конкретный и законный смысл при знакомстве с книгой Л. Ершова.

Когда исследователь обращается к изучению реального литературного процесса, хочется это только приветствовать. Особенно если дело касается сатиры. Сколько их было, теоретических разговоров о сатире! Чем меньше было самой сатиры, тем больше появлялось рассуждений о ней. О том, «как сатиру надо писать», «какой сатира должна быть», какие традиции наследовать и как наследовать. Сатирическое, комическое, юмор, смех... А «цель настоящей книги,— как сказано во введении,— проследить основные моменты формирования и развития русской советской сатирической прозы на главных этапах истории нашего общества».

Естественно, от такой книги ждешь многого. Ждешь открытия новых имен, новых определений, ждешь, что безжалостный скальпель аналитика будет применен не только к самим произведениям, но и к старым, упрощенным оценкам их. Сатира у нас была, и изрядная. Но как-то случилось, что вопрос «кого читать?» стал иметь для нашей сатиры действительно нешуточное значение.

Стоит ли, скажем, читать Зоценко, Булгакова?.. Когда-то ответ был однозначно отрицательным. Но Л. Ершов много раз оговаривается и повторяет, что его кредо— это объективность и непредвзятость. Начиная рассказ о творчестве Мих. Зоценко и Мих. Булгакова, он пишет: «Теперь наступает время для более спокойной и потому более объективной оценки этих даровитых, сложных и противоречивых сатириков 20—30-х годов. Ошибки и заблуждения в твор-

честве этих писателей нельзя замолчать, но и заслуги их как мастеров сатирического и юмористического жанра тоже не должны быть умалены».

Однако вот что за этой заявкой следует. «М. Булгаков механически переносил принципы гоголевской сатиры и гоголевского видения жизни в свои рассказы и повести с целью создания пассивной напорядки в современной России». «Самая большая неправда сатиры М. Булгакова...» В его «прозе преобладали раздраженность и желчность». «Он часто бывал раздражен и озлоблен», его «попытки продолжить традиции гоголевского жанра поэмы также были неудачными и отличались либо грубой тенденциозностью, либо крайней поверхностностью». А все потому, что его «негибкое или консервативное мышление» было «не в состоянии обнять картину социальных потрясений и выявить объективно-исторические тенденции общественного развития»... Это — о Булгакове.

О Зоценко, как автору кажется, «наступает время» говорить помягче. Конечно, кое-какие тенденции Зоценко «настораживают» автора, порой он «перестает верить» ему. Конечно, «в восприятии юмористом нашей действительности» был довольно таки «существенный изъян». Но все же у Зоценко «большое дарование брало часто верх». Во всяком случае «так обстояло дело в начале и середине 20-х годов, когда произведения Зоценко способствовали борьбе против приобретательства и мешанства». Что случилось с творчеством Зоценко чуть позднее, не совсем понятно. В двадцатые годы, как утверждает автор, Зоценко хотя и критиковал «своих героев-неудачников» «не с идеологических позиций», однако он мог еще их «осмеивать... в силу культурного превосходства, что живо и благодушно воспринималось читателем». Ну а потом? Что же, культурное превосходство стало излишней роскошью?

Что касается И. Эрэнбурга, то о его раннем сатирическом творчестве сказано: «Некоторые создатели произведений с фантастической фабулой поднимаются до известных обобщений, но наше настоящее тоже останется для них малопонятным... (И. Эрэнбург)»... Ну и, понятно, «это не

могло не сказаться на качестве его сатиры».

Конечно, подобные рассуждения, эпитеты и интонация вовсе не означают, что автор вообще выступает против сатиры. Он не считает, «что острой, бичующей сатире нечего делать у нас в стране». Он против того, чтобы сатиру «низводили до положения удивительно безотрадного и никчемного». Он только признает за полноценных сатирических прозаиков лишь Ильфа и Петрова. И даже итоги первого раздела (сатирические жанры двадцатых—тридцатых годов) подводит как «итоги семилетнего развития крупных форм сатирической прозы до выхода в свет первого романа Ильфа и Петрова». Ведь до той поры ситуация была явно неутешительной. «Сначала в повестях-хрониках не было ни фабулы, ни характера, а все подменялось обличительной фактографией окружающей среды. Потом появилась фабула, и одновременно сквозь широкие ячейки торпливого авантюрно-приключенческого сюжета ускользнули среда и характер. Несколькими годами позже у авторов романов-сатир появился характер, но пока еще как схема, без развернутой комедийной интриги, воссозданный описательно и статично. Только в повестях А. Толстого и В. Катаева, в «Зависти» Ю. Олеши намечился синтез, соединение занимательной комической фабулы с реалистическим характером. Так подготавливалась почва для возникновения сатирических романов Ильфа и Петрова».

Некоторое время назад, чтобы доказать правомерность сатиры Ильфа и Петрова, которым некогда тоже приписывалось пасквильянство и злопыхательство, остальных сатириков иной раз готовы были обвинить, и обвиняли, в чем угодно и как угодно. Но ведь сейчас-то время другое! Вот почему нам очень хотелось бы разобраться в точке зрения автора, высказанной в книге.

А получается в книге так: было два замечательных сатирика — Ильф и Петров. А В. Катаев, А. Толстой, Ю. Олеши, И. Эренбург, Мих. Зощенко, Н. Эрдман, Мих. Булгаков, Е. Зозуля рассматриваются лишь в той мере, в какой они оказались «почвой для возникновения сатирических романов Ильфа и Петрова». Один из писателей внес «культурное превосходство», другой — «историзм» и «живое дыхание современности», третий — «сюжетность»,

Алексей же Толстой «первым... достиг органического переплетения жизненной судьбы комического героя и условий породившей его общественной среды». И все эти разбросанные по мелочам достоинства подхватили, наконец, Ильф с Петровым, переплавив их в своем творчестве в истинно классические произведения. Потому их творчеству и посвящен в книге целый раздел. Ведь даже в жанре фельетона «они как бы синтезировали многое, что было достигнуто М. Кольцовым и А. Зоричем в отдельности».

Но, может быть, в таком случае весь этот длинный список сатириков и в самом деле можно пропустить, можно их не читать, раз все их достоинства так органически вошли в творчество Ильфа и Петрова? И уж тем более, наверно, не следует читать А. Платонова. Ведь имя автора «Города Градова» даже в связи с романами и повестями о бюрократизме в книге не упомянуто.

Самоценности явления для автора исследования не существует. Ему, видимо, кажется, что для доказательства величия Ильфа и Петрова необходимо показать, что предшественники писали хуже, хотя Ильф и Петров в таких доказательствах не нуждаются. Но поскольку впрямую поступить так с Зощенко или с Эренбургом трудно, да и многих иных не упомянуть нельзя, надо в каких-то частях объявить их предшественниками, а частью отбросить. Совершив же подобную вивисекцию, можно поискать и иных предшественников, которые действительно писали похуже. А имя таким — легион.

И автор с уверенностью заявляет: «Как появлению Гоголя предшествовала нраво-обличительная сатира невысокого идейно-художественного качества, так и столетие спустя вестниками грядущих комических романов Ильфа и Петрова стали многочисленные опыты создателей так называемых романов-сатир». А надо сказать, что об этих романах сам Л. Ершов весьма невысокого мнения, и это очень существенно. Он пишет: «Если заметить, что художественные образы у авторов романов-сатир не отличались психологической глубиной, то это будет сказано очень мягко. Ибо в их книгах поступки и мысли героев расчерчивались с прямолинейностью и несомненностью плохого плаката». Действительно, романы сатиры Ж. Деларма (Ю. Слезкина), Анны Луначарской, Я. Окунева, С. Полоцкого и

А. Шмульяна довольно невысокого качества. Отчего невысок их уровень, от недостатка психологизма или по какой-нибудь иной причине, сейчас не важно. Важно другое.

Исторические аналогии мало когда помогали выяснению вопроса, чаще они затемняли его смысл. Точных повторений в истории не бывает. Но дело даже не в этом, а в том, что вопрос о предшественниках великого художника — это вопрос об уровне самого этого художника. Скажи мне, кто твой учитель... Есть и в сатире два мира, о которых так хорошо писали Ильф и Петров: «Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами. В большом мире... написаны «Мертвые души»... В маленьком мире... написана песенка «Кирпичики»... В большом мире людьми двигает стремление облагодетельствовать человечество. Маленький мир далек от таких высоких материй. У его обитателей стремление одно — как-нибудь прожить, не испытывая чувства голода». Оба эти мира существуют параллельно. Маленький мир может существовать и до, и после, и одновременно с большим. Он похож на большой, поскольку «внешние явления, воспринимаемые двумя мирами, одинаковы, но подход и толкование этих явлений различны».

В том-то и беда, что автор доказывает неоспоримое преимущество Ильфа и Петрова, сравнивая их с литературой невысокого качества. Он вынужден это делать, так как обратил больших художников в пасквильянтов, признавая их творчество лишь частично, как «почву». А настоящее искусство расчленения не терпит. И получается, что посредством признаются автором охотнее — их творчество не требует сложных манипуляций. О них спокойно и с приятностью можно писать как о предшественниках. А истинные предшественники слишком сами по себе, чтобы лечь добровольно в нехитрую схему. Вот и приходится мучиться, расчленять.

Так совершается своеобразная фильтрация произведений, своего рода обезвреживание сатиры. Не удивительно, что на лонышке фильтра остаются всего два сатирика, приглаженных, как и водится. И мы видим все ту же давно известную схему развития советской сатиры. «Теперь, когда под рукой

имеется обилие историко-литературных фактов и почти полувековой опыт сатирической прозы, нетрудно прочертить стержневую линию ее развития», — пишет Л. Ершов. Мы уже наблюдали, как он это делает.

Мы не коснулись до сих пор последних разделов книги. Меж тем они очень любопытны по собранному материалу и авторским оценкам, которые помогают понять принцип авторского подхода к вопросу и дорисовывают структуру его исследования. Метод его оценок настолько внутренне противоречив, что вторая часть книги является невольным ответом и возражением на первую часть.

Автор пишет о том, что «в 30-е годы развитие сатирических жанров, и особенно романа, пошло по медленно затухающей линии». Это был период, когда «юмор объявляли порождением загнивающих эпох» и пытались «умозрительно возводить стройное здание «нашей», «пролетарской» сатиры, совершенно очищенной и от традиций классиков, и от более чем десятилетнего опыта советских писателей». Автор верно резюмирует: «Словом, обстановка складывалась более благоприятной для одических песнопений, нежели для развития и совершенствования сатирико-юмористического эпоса».

Итак, автор как будто бы вдребезги разносит свою излюбленную схему о непрерывной поступательности литературного движения. Однако нет. Как о единственном отрадном явлении тех лет он пишет о книге Леонида Соловьева «Повесть о Ходже Насреддине». Книга эта бесспорно остроумна и талантлива, и все же трудно согласиться с автором, который отводит ей место — опять призывая на помощь свою схему — на следующей ступеньке неперемнной иерархической лестницы. Причем теперь уже Ильф и Петров оказываются «почвой». «На всем протяжении 30-х годов Ильф и Петров явно нащупывали нового героя. Не об этом ли свидетельствует эволюция их творчества к несколько необычному для их прежней манеры лирико-юмористическому рассказу «Тоня» и ряду фельетонов в «Правде». Эти поиски подготавливали почву для возникновения крупного сатирического жанра, в структуре которого ведущая роль принадлежала бы уже народному герою. Л. Соловьеву в романе о Ходже Насреддине удалось это сделать».

Интересно, однако, узнать, каков же все-таки принцип классификации, отбора в схеме Л. Ершова, какова, так сказать, литературоведческая зацепка, если не вдаваться в разные там метафизические тонкости. Выясняется это из его спора с литературоведами, заявляющими, что в сатире положительных героев может и не быть, что положительный герой — это сам автор. Л. Ершов возражает: «Слов нет, в сатире, чаще чем в любом ином роде искусства, автор сам как бы становится положительным персонажем своего произведения. Но возлагать и нынче на этого, как выражаются некоторые критики, «лирического героя сатиры» (А. Вулис) все надежды, полагая, что только смех, как во времена Гоголя, может быть единственным положительным героем сатиры (Д. Николаев), вряд ли так уж современно».

Не будем задавать банального вопроса, устарел ли Гоголь, просто прикинем: если автор в самом деле мерит ценность сатирического произведения по тому, есть там положительный герой или нет, то зачем же тогда он выступает против бесконфликтности в сатире? Ведь авторы бесконфликтных фельетонов и рассказов, которые так не нравятся Л. Ершову, не уставали пользоваться положительными персонажами. Как это понимать?

Анализ дальнейшего развития нашей сатиры все более и более выявляет противоречивость книги. Автор отмечает: «В области сатиры все явственнее назревал кризис, и наглядным выражением его были практика и теория конца 40-х — начала 50-х годов... Он весьма решительно критикует «абстрактность сатирических образов» Рыклина, «надуманность ситуаций» в фельетонах В. Ардова, стихотворение Дыховичного «Случай с сатириком», автор которого «поспешил категорически заявить, что нынче (это в 1948 году-то!), когда наступило якобы всеобщее материальное благополучие, «пришел сатирику конец!». Все это совершенно справедливо, но ведь сегодня иной оценки подобного творчества и не ждешь, тем более что такая оценка давалась уже неоднократно.

Сегодня нас гораздо больше интересует другое. А именно: почему в «первое послевоенное десятилетие», бывшее для страны «особенно грудным», «сатира старалась не видеть драматизма эпохи, не замечала серьезных политических и нравственных конфликтов, получивших позднее детальный анализ на партийных съездах»? Почему «острейшие социальные и нравственные проблемы низводились до роли мелочей быта, неполадок в сфере торговли и транспорта»? Почему, «когда знакомилась с современной прозой, невольно обращаешь внимание на то, каким безликим, стертым, заученно-литературным, а порой и шаблонно-канцелярским стилем пишутся ныне сатирические книги»? Да и только ли в стиле тут дело? Ведь сам автор говорит о «беспроектных конфликтах, выдержанных сюжетах, не знающих осечки комических ситуациях» современной прозы. Почему же и сегодня, несмотря на то, что «в наши дни уже почти не услышишь сетований на то, что сатире живется куда как плохо», а «сатирики получили «зеленую улицу», «качество сатирической литературы далеко не нараивает на мажорный лад»?

Однако автор так и не отвечает на все эти вопросы. И мы снова вынуждены вернуться к прежней задаче: итак, кого же нам читать?..

Казалось бы, видя неудачи сороковых и пятидесятых годов, автор с особой бережностью должен был подойти к творчеству истинно талантливых художников, осознать их подлинную ценность. Он этого не делает. Да его схема, пожалуй, и не годится для этого.

Сатира существует в обществе. И вне связи с обществом ее рассматривать нельзя. Л. Ершов, как нам кажется, всей конкретной сложности этой связи не уловил. Простое же перечисление слов: «нэп», «разруха», «строительство», «мещанство», «бюрократизм», «борьба старого с новым», «культ личности» — мало еще что говорит.

В. КАНТОР.

ОДНО ЛЕТО

Ричи Достян. Тревога. Повесть. «Советский писатель». М.—Л. 1967. 244 стр.

Семья переехала на дачу. Наутро Славка проснулся в незнакомой комнате. «А на столе — знакомое! А на столе, как своя фамилия, привычные: бутылка из-под «маленькой» с двумя голубушками из-под пива!»

А дальше — воспоминания о том, как «на высокой мачте, в небе очень голубом, стреляло на ветру выцветшее лагерное знамя», и оба мотива противоположно для слуха сплетаются во фразе: «Посмотрим, что я буду иметь вместо лагеря...» Интонация кухонного расчета — и бескорыстные образы пионерского детства.

Да, это странное начало открывает не историю какого-нибудь пропойцы и забулдыги, а повесть об одиннадцатилетнем мальчишке. Об одном лете. О беспечной дачной компании — семеро ребят и один пес — Марс. О прогулке на дальнее озеро. О том, как солнце стоит спляшущим валом, как плавятся от жара сосны, какое блаженство — мчаться куда-то что есть сил или валяться на теплом песке. В книге много света, простора и радости — потому что Ричи Достян удалось передать свежесть и полноту ощущения ребят: сама жизнь — небывалое зрелище, которое творится именно для них. Только ребята могут бежать смотреть, как проходит поезд, — и когда он прошел, «все постепенно задвигались, а вид у них был, как у людей в кинозале, когда зажигается свет». И солнце и закат — великолепный праздник, придуманный нарочно для них. Ничто еще не приелось, все необыкновенно и граничит с чудом.

Вот ребята добрались до луга, опоясанного соснами. «Каштановая лошадь с нестриженной русой гривой и длинным русым хвостом паслась без привязи среди цветов и травы. Такой лошади своими глазами никто из них не видал... Не верилось вообще, что ее когда-либо запрягали. Заметив людей, она плавно подняла голову и вперила в них пыливо-отчужденный взгляд. Ребята смутились, почувствовав себя вошедшими в чужой дом без спроса. Каждый был убежден, что лошадь смотрит именно на него».

Вот ребята выходят к озеру. Ни души кругом. Словно они его открыли, они — одни в целом свете. «Тишина была потрясающая. На той стороне, наверно, было

слышно, как лакает Марс. Потом на все озеро захрустела газета... Мало кто знает, какое это наслаждение в жаркий день войти в лесное озеро по колени и стоять, и есть мороженое, и видеть отражение сосен, которые в воде кажутся еще прекраснее». Все это не просто видишь — ощущаешь вместе с ребятами, переносишься с ними в первозданной свежести мир. И кажется — все прекрасно в этой стихийной ребячьей республике, всех роднит эта открытость небу, лету, счастью. Каждый может быть и мудрецом и поэтом в одиннадцать лет. Да, Ричи Достян твердо верит в изначально хорошее в человеке.

Но она видит, как уже различны они и в мелочах и в важном, потому что у каждого за спиной — различный душевный опыт. Почему Костя и Вика так относятся к Славе, «будто он им золотые часы за так подарил или от смерти их спас»? А Слава «все приглядывается к ним и все подвоха ждет». Почему веселый и нахальный кумир компании Гришка нередко задевает ребят высокомерной небрежностью, равнодушным к жестокости? В каждом, как в зеркале, отразился особый домашний уклад, вкусы и понятия родителей.

Гришка чуть ли не в восемь лет понял: дети нужны родителям, чтобы помогать им во лжи. Оказалось, отец его жульнически обирал всех, кому сдавал дачу, и Гришку, еще несмышленого, приспособил себе в подмогу. «Воспитатели» не заботились, каково будет мальчишке, когда он все поймет, потеряет уважение к отцу и к самому себе. Зато в доме стиральная машина и прочие блага, а у парня полно барахла, чего же еще!

А как солоно придется в жизни бедному Павлику, жертве бабки Юлии, «тонкой натуры» с ее «прелестными вечерами», на которых в «благородной тишине» и «интимном полумраке» смакуют «несравненные» романы Вертинского. У ребят аж в животе крутит, когда семилетний Павлик со своими ясными глазами сыплет сентенциями бабушки Юлии: «клянусь честью», «ты юный гений», «из меня должна вырасти личность, а там (в детском саду.— Э. К.) дети растут, как муравьи».

Ричи Достян не боится презренной прозы. Будни проходного двора, коммунальной

кухни, тесной комнатки с низким потолком и столяр же низким духовным порогом — ведь все это тоже оппечатывается на характерах детей. Вся эта стихия врывается в повесть Р. Достян вместе с матерью Славки.

Славкина мать была грозой всего двора, и Славка еще маленьким очень гордился, когда вокруг шептали: «Вы лучше не связывайтесь с этой бабой». Кажется, ей доставляет наслаждение изводить своим криком Славкину учительницу (просят не баловать сына — «Сначала надо поинтересоваться, в чем эти паразитские шенки ходят, а потом говорить — балути!»); просят выбирать слова — «Я не на базаре, шоб выбирать»). А с каким азартом она поливает бранью Костю и Вику, с которыми Слава подружился («...придет ваша матка — я ее поучу, как людьм спокою не давать!.. Сама нибось по городу шаландает, а я — терпи!»).

Р. Достян почти не рисует внешность этой женщины, ее предысторию. Но так точно услышано в самой жизни каждое ее слово, каждая интонация, так подмечено каждое движение, внешнее и внутреннее: и то, как, обругав кого-то, отведя душу, мать успокоенно заводит песню; как, приехав на родительский день в лагерь, возитесь с привезенной выпивкой и закуской, копается в сумке, раскладывает, вытряхивает и только потом, уже селедочными руками, хватается проверять, не похудел ли сын да не потерял ли новую майку...

Как точно выхвачен из жизни этот характер со всем, что намешано в этой женщине — и грубой, и вроде бы не виноватой в своей грубости. Тут и вечная замороченность, и озлобленность, и жадность, и зависть: «У их это вот есть, а у нас нету. А мы, чай, не хуже их!» И в ту же грубую оболочку укладывается и материнская нежность, и самоотдача: «Да я для тебя шкуры своей не пожалею», «Холера с тобой!.. На, имей — ты не хуже других!» Нежность к своему детищу оказывается неразрывна с враждебностью ко всему прочему миру как конкуренту на жизненном рынке. С детства внушает мать Славке простые азы: «Кроме тебя, мамки, баби да еще тети Клавды-соседки, которая тоже из-за своего Васечки кому хошь голову оторвет, все остальные — паразиты, сволочи, гады и коекто еще!» Это самое страшное в подобной психологии. Если все люди — гады, чего

церемониться! Знай работай локтями, и плевать на всех.

Славка легко схватывает жизненное credo матери. Похвалить кого-нибудь — преступление. «Мир-ровецкие реб...» — начал было Славка рассказывать о первом знакомстве с Костей и Викой — «напоролся на угрюмый взгляд матери, мгновенно потух, напрягся чуть и уже без колебаний перевел себя на ее волну ненасытной зависти и надежды: может, у их все ж таки хуже, чем у нас». И все же приходится Славке признать: «А вообще-то, кажется, правда, не жадные». Но мать не дает ни малейшей уступки: «Не жадных, сыночка, не бывает. Все люди жадные, только которые признаются честно, а которые исусников из себя изображают».

Может, вы не видали таких? Не слышали их визгливых ссор в кухне, во дворе? Но обычно кажется: все это так, «пережитки», не стоит внимания. А между тем «пережитки» понемногу прививаются и подрастающему поколению, ржавый быт иногда разъедает и новую, чистую поросль.

Прежде всего Славка усвоил, как обращаться с самой же матерью, как, играя на ее слабостях, вытянуть из нее, скажем, новый портфель, потому что у какого-то «дохляка» есть! Расчет естественно вносится в отношения с матерью, и уже подвигом считает Славка, если при отъезде на дачу столько всего перетаскал и переделал «за так», безо всякого кино и мороженого. Уже он приучается тянуть с мамки «денюжку». А мать хвастает этим отцу: у сына башка на плечах.

Расчет неизбежен и в отношениях с приятелями. Вика предлагает стакан молока — Славка отшатывается от неожиданности: «Зачем мне ваше молоко, у нас свое есть». Но легко может проехаться на чужой счет, когда компания «скидывается» на мороженое.

Славка вовсе не закоренелый негодяй. Но мировосприятие своей матери он привык считать законом. И эта пелена раздражения и зависти застилает и искажает все.

Это зависть не только к чужому портфелю или пылесосу. Это зависть к чужому веселью, семейному ладу. Ко всем, кто умеет жить иначе, без злобной базарной перебранки. К тем, кто иначе горюет, иначе радуется, к тем, кто грамотнее, вежливее, а часто — к тем, кто попросту говорит спокойно и тихо». Так, соседка тетя Клава

шалела, когда с ней говорили вежливо, и вопила: «Ты что хочешь етим сказать? Ты хочешь етим сказать, что ваши детки культуренькие, а наши — хулиханы?»

Выздоровление Славки началось, когда он стал страдать от привычного грубого окрика, ему хочется заставить мать говорить по-человечески. Оно началось тогда, когда он обнаружил существование мира совсем иного.

Костя и Вика, близнецы, — ровесники Славки. Но все у них чудно, непривычно. Это был чужой вежливый мир, где все «как в кино». «Чуть что — пожалуйста». Поначалу все в этом мудреном мире раздражало Славку. И ссорятся-то они не людски. «Один скажет слово — помолчит. Другой скажет — помолчит. Нет чтобы наорать, как у людей, или треснуть разок в свое удовольствие, а то словечки да взгляды». И удовольствия у них непонятные. Приехали к ним на воскресенье отец и мать. Полдня ходят по лесу, а ничего не собирают, еще и грибов-то нет, просто так. А потом весь вечер сидят все четверо за столом — не едят, а так, разговаривают. У Славки отец игриво чокается, мать громко смеется неприличным смехом и голосит: «Мой миленок...» А там, за стеной, — чужая неслышная радость.

Костя и Вика постоянно Славу удивляют, ставят в тупик — ибо различна сама их исходная позиция, точка отсчета. К примеру, видят ребята на станции незнакомого пса: он ищет хозяина, верно, отстал от поезда. Как несхожа первая — естественная — реакция каждого.

«Вот дура, — равнодушно сказал Слава, — видит ведь, что никого нет, а ищет. Или она, может, думает, что ее хозяин вылезет из-под земли?»

— Не завидую я этому человеку, — сказал Костя. — Наверно, кто-то нечаянно открыл купе, пока он за газетой ходил.

Что может быть дороже этого умения почувствовать за другого человека? Ощущать не только свою боль, влезть в чужую шкуру, понять, что другие, «чужие», «посторонние» так же страдают и чувствуют, как ты. Это — главное, что разделяет психологию новых Славкиных друзей и психо-

логию Славкиной матери. Отсюда — все «странности» Кости — Вики, которые поражают Славку: ну чего они столько нянчатся с Павликом, почему возятся с Марсом, будто это их пес? Даже к собаке они относятся по-человечески — с тем же проникновением в чувства живого существа.

Едва ли не половина повести рисует, как компания приручила Марса, подружилась с ним. Что ж, в этом ничуть не хуже, чем в любых других событиях, могут раскрыться характеры. Ведь характер подростка лепится в мелких событиях каждого дня. Кости — Викины «поправки по мелочам» исподволь сдвигают, поворачивают всю систему Славкиных взглядов.

Счастье, что Славка вовремя столкнулся с хорошими людьми и ощутил недобрый мир своей матери не как закон бытия, а как удушливый чулан, где без воздуха, без света так тошно, что хочется спархнуть чем попало в стенок. Поздно предьявлять счет Славкиной матери — ее уже не переделаешь, — но надо уберечь Славку. Недаром Костя и Вика вежливо выслушивают от нее любую брань, но непримиримы к грубости и крику в устах Славки.

Да, «человек, породив человека, сил своих не шадит, чтобы сделать его во всем похожим на себя». Но справедливо ли, когда один человек распоряжается желаниями, мыслями, поступками другого — не по праву большего ума, большей культуры, благородства, а только по праву родительской власти над своим детищем? Ведь для большинства людей растить человека — единственное занятие на земле, которое... не требует никакой квалификации.

Как вырастить новое поколение чистым, прекрасным душевно, не нагружая его своими изъянами и слабостями? Как воспитывать душу? Об этом — тревога Ричи Достяна. Тема эта настолько волнует автора, что порой он переходит на открытую публицистику, настойчиво и подчас прямолинейно подчеркивая мысль об ответственности родителей перед детьми, о моральном праве на воспитание. Но в целом книга написана свежо и зорко, убеждает жизненной правдой характеров и многих заставит задуматься.

Эд. КУЗЬМИНА.

ДОКУМЕНТЫ ОБВИНЯЮТ НЕОПРОВЕРЖИМО

Б. Медведев. Свидетель обвинения. «Искусство». М. 1965. 168 стр.

Книга Бориса Медведева «Свидетель обвинения» — о кино, о тех фильмах, которые называют иногда «монтажными», а чаще «документальными» или «историко-документальными».

Это не общий очерк документального кино. Автора интересует только одна тема. Но это тема особой, чрезвычайной важности. «Свидетелем обвинения» выступают те документальные ленты, которые неопровержимо уличают фашизм в страшных преступлениях, в циничном попрании элементарных норм человечности и нравственности. Об этих фильмах и пишет Б. Медведев. Почти тридцать картин он анализирует, рассматривая их и как свидетельские показания на процессе, где подсудимым является фашизм, и как художественные произведения. В поле его зрения все наиболее значительное, что было создано за два с лишним десятилетия в Советском Союзе и ГДР, Польше и Франции, Швеции и Италии, США и ФРГ.

Достоинство книги Б. Медведева, однако, не только в полноте обзора и точных характеристиках каждого из рассматриваемых фильмов. Не менее ценно то, что автор вскрывает логику движения и развития антифашистской темы, показывает прямую зависимость этой эволюции от выдвигавшихся на первый план тех или иных проблем послевоенного мироустройства.

Интересно, что в документальных фильмах о фашизме, созданных в первые годы после крушения «тысячелетнего рейха», рассказывающих о том, что происходило еще буквально вчера — только что закончился суд в Нюрнберге над главными военными преступниками, — в этих первых лентах преобладал пафос исторический. В наши дни, обращаясь уже к событиям тридцатилетней давности, художники сосредоточивают внимание в первую очередь на том, что поучительно для современника. Их интересует не просто гитлеровский фашизм или режим Муссолини, поверженные в прах военным поражением, а фашизм вообще — тот, что и сегодня представляет реальную опасность. С этой точки зрения в их произведениях доминирует уже не исторический, а гуще современный пафос. (Конечно, речь идет о преобладающей тенденции, от нее могут

быть и отступления, да и не всегда художнику удается полностью осуществить свое стремление, воплотить свой замысел.)

«Ссылки и тайные аресты, — говорил на Нюрнбергском процессе главный обвинитель от США Р. Джексон, — были с нацистским юмором, напоминающим юмор вампира, названы «Nacht und Nebel» — «Ночь и туман». Таинственность и неопределенность помогли распространять пытку на семью и друзей заключенного, мужчины и женщины исчезали из своих домов, с мест работы или с улиц, и о них не поступало никаких известий. Отсутствие известий не было вызвано перегруженностью аппарата; оно объясняется политикой».

Только в одном ошибался Р. Джексон: в названии «Ночь и туман» нет и тени юмора, даже зловещего, — название носит абсолютно «рабочий», «деловой» характер, указывающий на необходимость строжайшего соблюдения тайны. Свои злодеяния и зверства гитлеровцы стремились совершать под покровом ночи и тумана.

Вывести на свет божий то, что творилось в кошмарной ночи, в густом тумане — за колючей проволокой лагерей уничтожения, в застенках гестапо, за массивными стенами имперской канцелярии, охраняемой тройным караулом эсэсовцев, сделать тайное явным, показать подлинное лицо организаторов этого кровавого безумия, возомнивших себя «сверхчеловеками», — вот главная задача, которая встала перед мастерами документального кино сразу же после разгрома гитлеровской Германии. И они разбили, уничтожили, замечает Б. Медведев, «легенду о фюрере во всех ее вариантах — демоническом и демократическом, героическом и сентиментальном». Они продемонстрировали, как до прихода к власти Гитлер подобострастно льстил обывателю, прикидываясь верным слугой народа («Правительства приходят и уходят, а народ остается», — вещал он на предвыборных митингах), как, оказавшись у государственного кормила, он уже повелевал: «Фюрер дает идеи — нация их осуществляет», — и как в конце проигранной войны говорил с нескрываемой ненавистью: «Если немецкий народ оказался таким трусливым и слабым, то он не заслуживает ничего иного, как позорной гибели».

Таким был Гитлер — безудержно наглым в дни успеха и постыдно трусливым в дни поражений. Таким его и показали авторы документальных фильмов. Они показали, что «народный вождь», «первый рабочий своей нации», «вождь великой войны» (Гитлера снимали на киноплёнку только в этих «ролях») «не был злодеем шекспировского масштаба. Он даже не был значительной личностью». Он был в конечном счёте воплощением всего низменного, подлого и жестокого, что таит в себе мелкий буржуа.

«Как же мог стать главой государства, вождем нации человек... столь неприкрыто презирающий свой собственный народ, именем которого он призывал убивать, грабить и поработать все прочие народы и расы?» — пишет Б. Медведев. Эта проблема должна была встать — и встала — перед художниками, исследующими кровавое время гитлеровского владычества. Решая эту проблему, искусство занялось присгальным исследованием социальной психологии, формируемой фашизмом и формирующей его, изучением тех «родовых» черт фашизма, которые он сохраняет во всех своих разновидностях. То, что представляла собой Германия при Гитлере, Италия при Муссолини, — не единственно возможная форма фашизма, сейчас эта форма скомпрометирована и нравственно, и благодаря военному поражению. Быть может, те последыши Гитлера и Муссолини, которые и сегодня воят на своих сборищах «Зиг хайль!» и носят черные рубашки, менее опасны (эта разновидность нам уже хорошо известна), чем неофашисты, у которых и приветствия другие, и форма иная, — здесь таится неведомая угроза, здесь распознать фашистскую суть сложнее. Обращаясь нынче к истории гитлеровского рейха, наиболее прозорливые художники в первую очередь думают об этой современной угрозе.

Б. Медведев в книге «Свидетель обвинения» выступает не только как историк кино, но и как историк Германии тридцатых — сороковых годов, не только как критик, но и как публицист. Он рассказывает о фильмах, все время имея в виду реальную жизнь. В его книге немало нового документального материала, нового даже для тех читателей, которые внимательно проштудировали обстоятельные исторические очерки Л. Безыменского, Д. Мельникова, А. Пёлторака и других, знакомы и с тем, что у

нас переводилось по истории фашистской Германии.

В одной из теоретических главок книги есть отступление общего порядка, здесь речь идет о документальности — уже не только в кино: «В 1964 году Киевский университет обратился в городские библиотеки с просьбой провести на протяжении шести месяцев учет: какие книги больше всего вызывают интерес, пользуются спросом. Оказалось, что более шестидесяти процентов книг, любимых читателями, принадлежит к документальной литературе — научным открытиям, военным мемуарам, путешествиям. Никогда, кажется, не было такого интереса к этому жанру, никогда, кажется, не было такого потока документальной литературы».

Само собой разумеется, когда в искусстве идет столь широкий и интенсивный процесс, неизбежно возникают настоящие крайности и излишества (они-то прежде всего и бросаются в глаза). Но не по этим крайностям надо судить о явлении, проникнем уже во многие виды искусства. Здесь немало бесспорных достижений. К документализму не осталась безучастной ни одна из зрелых культур наших дней. «После войны с фашизмом документализм — в самых прямых и в опосредствованных формах — стал явлением общемировым», — пишет Б. Медведев, и для такого вывода есть все основания.

Критик стремится определить и причины, породившие этот процесс. Эта его попытка заслуживает всяческой поддержки, потому что и сегодня еще внимание искусствоведа почти целиком сосредоточено на традиционных жанрах, а жанры документальные по инерции воспринимаются как периферия искусства.

Правда, не во всех случаях с Б. Медведевым можно согласиться. Он, например, утверждает: «В XX веке жизнь больше не укладывалась в привычные и комфортабельные формы искусства — в «личные» конфликты и вымышленные ситуации. Она окazyвалась выше и грубее, сложнее и проще, намного более героической и прозаической, более страшной. Во всех сферах жизни — социальной, моральной, научной — человечество переживало сдвиги и потрясения, для которых старые формы искусства были, очевидно, стеснительны». Вряд ли реальная практика искусства подтвердит высказанную здесь Б. Медведевым мысль о том, что

в нашу эпоху документализм вытесняет вымысел. В самом деле, если обратиться к истории советской литературы, то здесь рядом с «документальными» «Чапаевым» и «Железным потоком» на равных правах существуют построенные на «вымышленных ситуациях» «Разгром» и «Севастополь». И в современном зарубежном искусстве вовсе не документализм, как таковой, определяет лицо таких крупных и разных художников, как Феллини и Крамер, Бёль и Моравиа. Начиная слишком расширительно толковать исследуемое явление, критик теряет не только его реальные границы, но и подлинное содержание. Я уже не говорю о том, что формы «привычные» не всегда и не обязательно «комфортабельны», а помянув личные конфликты, слово «личные» в наше время, право же, можно употреблять без снизводительных кавычек.

Куда ближе к истине критик, когда, обращаясь уже к двум последним десятилетиям нашего века, к опыту послевоенного искусства, пишет: «Война с фашизмом шла не только на полях сражений, но и в области идеологии. Система фашистской демагогии — поставленный и тщательно срежиссированный спектакль, именуемый фашистским государством, — вызвала в области искусства огромную силу отталкивания от всего, что есть «пропаганда» (точнее, лживая пропаганда), тягу к подлинности жизни, как она есть... Впрочем, крах идеологии фашизма не ограничивался собственно фашистскими идеалами, грубо замаскированными громкими словами о «народе», «социализме», «труде», «преданности родине», о «всеобщем мире» и пр. Он коснулся гораздо более широкой сферы буржуазных идеалов вообще. Многие высокие и сами по себе прекрасные слова были скомпрометированы — они не сумели противостоять фашизму».

Касаясь общих проблем, автор всячески дает понять, что он ни в коей мере не претендует на последовательную и законченную характеристику эстетических и исторических закономерностей возникновения и расцвета документального искусства. Теоретические главы его книги содержат лишь те соображения общего порядка, которые возникли в ходе конкретного анализа, — он подчеркивает это, рискуя даже назвать теоретические главы, или, точнее, отступления, несколько вычурно — «интермедиями».

В интермедиях этих — немало точных наблюдений и свежих мыслей. Интересно пишет критик об «эффekte острания», которого добивается режиссер, именуя дело со старой хроникой. И о другом способе проникновения в подлинную правду эпохи — Б. Медведев называет его «статистическим эффектом», — который заключается в столкновении массовидной, официально-пропагандистской хроники, где время выглядит таким, каким оно хотело себя видеть, с кадрами уникальными, сохранившими то, что современники хотели скрыть или считали несущественным. И о том, что «монгажный» фильм — в отличие от хроникального — предполагает непременно художественное исследование действительности. Отсюда Б. Медведев приходит к выводу (стоит его воспроизвести, потому что один из важнейших принципов художественной документалистики сформулирован здесь точно и ясно), что для «режиссера, делающего фильм на хроникальном материале, стало главным преодолеть его хроникальность, его документальность, оставаясь, однако, в пределах самого жестокого документализма, не позволяя себе ни одного инсценированного кадра, даже в съемках сегодняшнего дня». Замечу, что соблюдение этих условий для писателя, подвигающегося в художественной документалистике, так же обязательно, как и для режиссера.

Все эти и многие другие наблюдения и мысли Б. Медведева — пусть они не собраны воедино, не уложены в стройную систему — безусловно, заслуживают внимания.

О хороших критических книгах принято говорить, что они написаны живо, увлекательно, читать их легко. Все эти слова как-то не подходят к книге «Свидетель обвинения». Я бы сказал, что она написана сильно. В ней есть не ослабевающий публицистический напор, ощущение стоящей за искусством трагической действительности — все то, что нельзя объяснить одним лишь профессиональным умением. Откуда они — помогают понять следующие несколько строк из книги Бориса Медведева: «О трагедии Герники 26 апреля 1937 года я лишь читал, в трагедии же Сталинграда мне довелось быть участником. Нашу часть отдели на переформирование из района боев на Дону в этот тыловой тогда город почти перед самым 23 августа 1942 года, когда над ним появилось свыше тысячи нацистских са-

молетов — воздушной армии, во главе которой стоял бывший командир легиона «Кондор» Рихтгофен, когда за одни только следующие сутки нацистами было сделано око-

ло двух тысяч вылетов! Рассказывать об этом невозможно. Это надо видеть своими глазами...»

Л. ЛАЗАРЕВ.



ПИСАТЕЛЬ И СОВЕСТЬ

Генрих Бёль. *Чем кончилась одна командировка. Повесть. Перевод с немецкого Натальи Ман и С. Фридлянд. «Иностранная литература», №№ 11, 12, 1966.*

Повесть Генриха Бёля «Чем кончилась одна командировка» разворачивается как репортаж из зала суда, как протокол судебного следствия. Подсудимые — столяр Груль и его сын, ефрейтор бундесвера, сожгли военную автомашину; сожгли среди бела дня на людном шоссе. Они и не пытаются скрывать, что действовали преднамеренно. Прокурор требует сурового приговора. Но адвокат и судья, словно по безмолвному соглашению, рассматривают этот поджог как озорство, как «хеппенинг», то есть одно из тех своеобразных зрелищ, которые в последние годы все чаще устраивают в странах Запада. Во время «хеппенингов» зрители становятся не только наблюдателями, но и участниками, и даже «жертвами», объектами то самых обычных, но многократно, навязчиво повторяемых, то необычайно скандальных происшествий, которые должны демонстрировать драматизм и абсурдность современной повседневной жизни.

В повести Бёля два таких события — поджог машины и суд. Главным образом именно суд, который выясняет причины странных действий отца и сына. С самого начала известно, что приговор вынесен крайне мягкий — штраф и кратковременное заключение, которое фактически уже отбыто. Только после этого начинается повесть о суде, неторопливая, обстоятельная, и в ней возникает суд художника, но вовсе не над теми, кто сидит на скамье подсудимых. Напротив, они-то и оказываются обвинителями. Старший Груль — столяр-краснодеревщик, мастер-художник, влюбленный в свое ремесло, — разорен бессмысленными налогами. Бескорыстный, честный, он вынужден мошенничать, чтобы хоть как-то прожить, а тем временем сын выполняет нелепые приказы, неделями гоняет по всей стране военные машины только затем, чтобы накрутить на спидометре цифры, требуемые по инструкции. Отец и сын устрои-

ли «хеппенинг», сжигая военную машину, как своеобразную демонстрацию протеста. Это была демонстрация без лозунгов и знамен — только два участника и один костер. Такой протест двух одиночек против государства, против общественного строя, который обрекает их на бессмысленное существование, может казаться наивным жестом, выражением бессильного гнева. Но суд, описанный зорким и насмешливым художником, существенно расширяет значение необычного происшествия.

Автора этой повести Генриха Бёля за последние десять лет узнали и полюбили многие люди нашей страны.

С 1957 по 1967 год на русском, украинском, грузинском, латышском, эстонском и других языках были опубликованы в журналах либо изданы отдельными книгами все романы Бёля, большинство его повестей и рассказов, а также некоторые радиопьесы, очерки, статьи и речи. Сейчас уже можно было бы издавать у нас собрание его сочинений.

На продолжении этого же десятилетия в нашей литературной жизни было немало значительных, плодотворных событий, немало и скоропреходящих сенсаций. Книги Бёля никогда не читались с таким увлечением и вместе с тем не вызывали такой ожесточенной критики, как некоторые романы Ремарка. У Бёля не было таких ревностных подражателей и почитателей, как те молодые люди, которые пишут «хемингуэвские диалоги», запускают бороды под «Хема», собирают портреты великого американца. Произведениям Бёля в библиотеках и клубах не посвящали стольких читательских конференций, как романам Митчела Уилсона.

В декабре 1967 года Бёлю исполняется пятьдесят лет. У юбилейных вех принято оглядываться на пройденный путь, осмысливать, обобщать. Его литературная судьба развивается, его известность нарастает от-

носителем спокойно, можно сказать — скромно. Его слава как бы под стать общему колориту и интонации его книг — она не навязчива, не претенциозна, не суетна. Но тем более прочно складываются отношения Бёля с его советскими читателями.

Зарубежные литераторы часто спрашивают, почему именно Бёля — западного немца, католика, далекого от коммунизма, — так любят в Советском Союзе? Отвечая на этот вопрос, можно сослаться и на познавательный интерес, который естественно возбуждают произведения западно-немецкого писателя. Но многие литературные земляки Бёля, добросовестные и наблюдательные бытописатели и, уж конечно, историки и социологи, способны удовлетворить такой интерес не менее, если не более полно. С другой стороны, для читателей, которых привлекают формальные, авангардистские искания, проза Бёля представляется скорее традиционной, даже старомодной. Тем не менее статистика и данные всяческих опросов свидетельствуют о его возрастающей популярности у читателей разных поколений, разных профессий и вкусов, о популярности, масштабы которой нельзя объяснить ни только содержанием его книг, ни только уровнем художественного дарования автора. Творчеству Генриха Бёля присущи особенности, которые делают его по-настоящему близким нашему читателю.

Когда в 1959 году Бёлю вручали литературную премию города Вупперталя, он подробно говорил о том, что он считает важнейшей основой своего призвания:

«Тот, кто имеет дело со словами и относится к ним так же пристрастно, как, осмелюсь признаться, отношусь к ним я, по мере того, как он с ними имеет дело, вынужден все больше и больше задумываться, потому что ясно сознает, какими сложными расщепляемыми существами являются в наши дни слова. Едва они произнесены или написаны, как они уже преобразуются и возлагают на того, кто их произнес или написал, такую ответственность, какую он лишь редко бывает способен вынести в полной мере... И каждый, кто имеет дело со словами, кто пишет заметку в газету или записывает строчку стихов на листке бумаги, должен знать, что он приводит в движение целые миры, что он выпускает на свет сложные, расщепляемые существа... Таким образом... будет, вероятно, понятно, что я...

ссылаюсь на такую инстанцию, которая на первый взгляд ничего общего не имеет с искусством, — на совесть. И это не сокровенная совесть художника, к которой он взывает ежедневно, проверяя, не отдалился ли от своего искусства на расстояние гои пропасти, что не шире одного волоска. Нет, я обращаюсь к совести человека как общественного существа. Слова способны действовать. мы испытали это на собственной шкуре. Слова могут готовить войны, могут их призывать, хотя и не всегда только словами можно обеспечить мир. Слово, которым завладел бессовестный демагог, или карьерист, или оппортунист, может стать причиной гибели миллионов людей. Машины, производящие общественное мнение, могут выплевывать это слово, как пулемет выплевывает пули: 400—600—800 в минуту. С помощью слов можно обречь на гибель любую группу сограждан, выделенных совершенно произвольно. Мне достаточно напомнить одно такое слово: еврей. Завтра это может быть другим словом: например, атеист, или христианин, или коммунист, конформист или нонконформист. Выражение: «Если бы слова могли убивать» — давно перестало быть нереальным, давно из сослагательного перешло в изъявительное наклонение. Слова могут убивать. И сейчас это только вопрос нашей совести — допустить или не допустить, чтобы наш язык низвергался в ту область, где слова становятся смертоносными».

Такое понимание природы и значения слова, такое сознание ответственности писателя определяет все творчество и всю жизнь Бёля.

Осенью 1962 года Генрих Бёль в первый раз был нашим гостем. Во время встречи с московскими литераторами его спросили: «На каком фронте вы были во время войны?» Руководитель встречи попытался было отклонить вопрос: «Мы принимаем гостя, антифашиста, борца за мир, к чему сейчас вспоминать тяжелое прошлое?» Бёль возразил удивленно: «Я не могу не ответить... Ведь я был солдатом гитлеровской армии. Был во Франции, был в вашей стране. Я не хочу оправдываться тем, что я не стрелял, так как был телефонистом. Нет, я не хочу на это ссылаться. Потому что я сознаю и свою ответственность, и свою долю тяжкой вины: ведь я был солдатом преступной армии... Я не могу и не хочу забывать, я считаю, что помнить — необходи-

мо, помнить и напоминать, чтобы прошлое не повторилось».

Память художника Бёля — это память его совести.

Но применимы ли эти высокие понятия к насмешливой повести «Чем кончилась одна командировка», в которой пародируется лексика репортеров, жаргон юристов, говор маленьких людей маленького городка для того, чтобы рассказать историю, гротескную едва ли не до абсурдности?

История странного процесса позволяет автору в очень тесных пределах пространства и времени — в одном судебном зале и в нескольких точках в непосредственной близости от него, в течение одного дня — показать образы и судьбы самых разных людей. Можно говорить о необычайной даже для Бёля «плотности информации», отличающей эту густонаселенную, разноголосую повесть. Правда, стремительное чередование лиц, воспоминаний, речей мешает запомнить иных персонажей даже после повторного чтения. Но такой «кинотемп» создает одну из особенностей достоверного отражения пестрой, мелькающей, непрочной действительности.

«В самом тесном из трех небольших судебных залов» захолустного городишки Бирглар сблизились, скрестилось и переплелось несколько жизненных путей, каждый из которых мог бы стать сюжетом повести или даже романа. Такова история добродушного судьи Штольфуза и его жены, сочиняющей бесконечные истории о детях, которых у нее никогда не было, или судьба одинокой чудачки, старой девы Агнесы Халь с ее любовью к музыке и справедливости. Семья прокурора и защитника, благодушный сельский священник и язвительный ефрейтор, свидетели и наблюдатели процесса и, конечно, сами обвиняемые — все они, судя уже только по тому, что о них рассказано «между прочим», — могли бы быть героями самостоятельных произведений. То, что целые человеческие жизни как бы только набросаны беглыми штрихами, наспех на полях судебного протокола, между строчками репортажа, а главным оказывается дело «о хеппенинге», может показаться странным. По определению компетентного свидетеля на процессе, профессора-искусствоведа, которое явно разделяют и суд и автор. «хеппенинг» — это «попытка создать спасительный беспорядок, это творчество не образное, а лишенное об-

разов, можно даже сказать — искажающее их, но искажающее в направлении, определенном художником... и творящее из отсутствия образов новые образы».

Абсурдность современного мира рождает искусство абсурда. Для одних оно — трагически мучительная попытка вырваться из этого мира; для других — очередная мода, ходовой товар. Герриху Бёлю чуждо искусство абсурда, но оно стало неотъемлемой частью того мира, в котором он живет. И писатель не отворачивается от этого, по сути далекого ему искусства с высокомерной брезгливостью, а пристально вглядывается, хочет понять, исследует почву, из которой оно растет, и — как в этой повести — использует его некоторые выразительные средства.

Абсурден поступок отца и сына Грулей: ну что можно изменить, что можно доказать или опровергнуть, сжигая одну военную автомашину? Абсурден судебный процесс, в котором добряка судью использует его хитроумное начальство для того, чтобы скрыть от гласности действительные причины событий. И, уж конечно, абсурдна экономическая система, при которой неизбежно разоряется одаренный мастер Груль, чьи работы находят множество потребителей и почитателей. Бундесвер — армию, охраняющую эту систему, — один из свидетелей защиты, патер Кольб, называет «грандиозной организацией, смысл которой сводится к производству абсурдных ничемностей». Наивный, добродушный священник видит в бундесвере, воскрешающем губительные тенденции кайзеровской и нацистской военщины, только «полную, почти абсолютную бессмысленность».

Для поэтической прозы Бёля характерны своеобразные рефрены, как бы подчеркивающие ее внутреннюю музыкальную структуру. Таковы, например, рекламный призыв: «Доверяй своему аптекарю» — в романе «И не сказал ни единого слова», вторяющиеся напоминания об этикетках мармеладных консервов в романе «Дом без хозяина»; отвлеченные понятия «причастие агнца» и «причастие буйвола» существенны и для внутреннего смысла, и для стиля романа «Бильярд в половине десятого», а предельно конкретный «образ» казарменного сортира, обрамленный высокопарными газетными цитатами оказывается ироническим ключом повести «Самовольная отлучка» («Новый мир», № 1, 1965).

В отчете о судебном деле Грулей нет рефрена, нет композиционных скреп, внятно выраженных словесными формулами. Однако уже в самом начале процесса добро-совестный служака, старик полицейский, размышляет о том, что тщетны все старания «внести немного порядка в этот сумасшедший мир». И мир предстает все более безнадежно сумасшедшим по мере того, как выступают свидетели. Их показания, разговоры между собой, воспоминания, события, происходящие в суде и за его стенами, стычки тупо-ревностного прокурора со снисходительным судьей и бойким адвокатом, размышления и наблюдения представителя высших инстанций — все это пестрые осколки, которые образуют мозаичную картину сумасшедшего, абсурдного мира.

В этой повести нет фантастики. Люди не превращаются в насекомых, не подвластны мистически непостижимым силам, как в романах Кафки, в этот город не вторгаются орды носорогов, как у Ионеско, никто не произносит явно бессмысленных речей. Общее ощущение абсурдности создается сочетанием вполне реалистических образов, логичных рассуждений, простых слов. Создается повторением ситуаций и впечатлений. Такой прием можно было бы назвать эффектом «заевшей» пластинки — когда обычные слова, непрерывно повторяемые, воспринимаются как смешные или безумные.

Прием повторов характерен для сатиры Бёля (см., например, рассказы «Молчание доктора Мурке», «Если б всегда было рождество», «Неожиданные гости» и другие). Но в повести «Чем кончилась одна командировка» его заменяет нагнетание слов и словосочетаний, которые постепенно как бы превращаются в непролазно вязкое месиво, оказываясь воплощением нелепой действительности.

Но в то же время в крошечке гротескной абсурдной мозаики проступают определенные закономерности: когда милейшая старая дева составляет завещание, отказывая свое имущество младшему Грулю с условием, что тот будет ежегодно сжигать одну военную автомашину; когда становится понятным, почему именно власти хотели скрыть, замолчать этот процесс; когда владелец газеты, покорно подчинившийся желаниям властей, хвастливо рассуждает о свободолюбии, о гласности... Это общественно-исторические и общественно-психо-

логические закономерности, которые неуловимы в искусстве абсурда и могут быть раскрыты лишь художником, сознающим свою ответственность не только перед словом, но и перед людьми.

В 1965 году Бёль прочитал несколько лекций студентам Франкфуртского университета. Первую лекцию он начал словами: «Я хочу попытаться... рассмотреть эстетику человеческого». Завершая последнюю лекцию, он сказал: «Без литературы государство не существует, а общество мертво». Объясняя молодым слушателям, как он представляет себе свое призвание, он подробно говорил, что никогда не ощущает себя одиноким, а напротив, постоянно чувствует связь со своим временем, со своим поколением «с его беспокойством и бездомностью». Говоря о том, чем создается общественно-историческая и нравственная почва современной немецкой литературы, Бёль воскликнул: «Слишком много убийц разгуливает свободно и нагло по моей стране, и многих из них никогда уже не удастся изобличить... Раскаяние, возмездие, сознание вины не стали у нас ни общественными, ни политическими категориями». Но Бёль постоянно об этом помнит. Он художник слова. В работе над словом — смысл его жизни. Он убежден, что именно слово «делает человека человеком, соединяет его с самим собой, с другими людьми и с богом», а те, кто использует слово лишь как средство в корыстных интересах, в бесчеловечных целях — политики, церковники, бессовестные беллетристы и газетчики, — тем самым обесценивают, омертвляют живой язык, ведут к разобщению и расчеловечиванию людей. Бёлю не по пути и с теми литераторами, которые противопоставляют этому лишь «снобистскую самоизоляцию» слова, нарочито отделяют художественное творчество от общественной жизни... Он говорит, что для таких литераторов слово существует лишь в «ритме собственных колебаний».

Бёль стал писателем после войны, из-за войны и против войны. Ему отвратительно все, что связано с войной, и сжигать автомашину бундесвера ему было так же необходимо и так же приятно, как и его героям. Озорная, ироническая повесть, возникшая из этого необычного аутодафе, выражает ту же ненависть, то же отвращение и ту же тревогу, которыми пронизано все его творчество, начиная с самых первых рассказов.

В одной из франкфуртских лекций он исследует понятие поэзии, начиная с его этимологических источников, с древнегреческого слова «поэйо». Оказывается, среди пятидесяти разных значений этого слова и производных от него есть такие, как, например, «создавать», «строить», «производить», «открывать», «устраивать», «осушестволять», «начинать» и т. д. Но нет ничего, что бы напоминало понятия «подчиняться» или «выполнять приказы». Это филологическое исследование Бёль дополняет личными воспоминаниями. Он был военнопленным в американском лагере и там видел, как офицеры вермахта, еще недавно приказывавшие своим солдатам беспощадно убивать и безоговорочно умирать во имя фюрера, потом так же истово, ревностно приказывали им становиться демократами. Готовность подчиняться любым приказам и требовать подчинения от других немцы националисты почитают как национальную добродетель. Для Бёля эта холопская добродетель и безнравственна и антипоэтична. Он отвергает ее как художник и как публицист. Он говорит: «Бесчеловечность может ссылаться на необходимость следовать приказу, и ей подозрительна человечность, потому что та никогда не прибегает к ссылке на приказы».

Он не пытается гипнотически внушать свои взгляды. Он хочет, чтобы его читатели сами пришли к сознанию того, что фашизм не остался в прошлом, что его миазмами и сейчас «зачумлены мышление, воздух и слова». Он убежден: для того, чтобы возродить человечность, необходима упорная, кропотливая работа, «скупная, трудоемкая, требующая терпения, начинающаяся со школьных учебников, даже с детских садов».

Бёль стремится к такой литературе, которая может «создавать эстетику человечности, развивать формы и стили, отвечающие нравственной необходимости». И необходимым условием того, что он называет «очеловечиванием» литературы, он считает полное освобождение от националистических предрассудков и демократичность искусства. Художник не должен пренебрегать никем из людей и ничем из того, что составляет их жизнь. «Меня часто с известным пренебрежением называли писателем маленьких людей, но я всегда считал это лестным для себя потому, что до сих пор

только у маленьких людей находил величие». Он уверен, что любой «низменный» предмет может стать поэтическим, если только он служит человеку, связывает людей между собой или с окружающим миром.

Так и в этой повести, пронизанной гневным отвращением, иронией и тревогой, вместе с тем неподдельно жизнерадостны описания простейших земных утех, того, как люди вкусно едят и пьют, веселятся, любят, шутят. Повесть «Чем кончилась одна командировка» мы не станем причислять к лучшим произведениям Бёля, но и в ней, в игре живого света, создаваемой множественностью разнородных граней, видна та же кристаллическая структура, которая присуща и глубинным основам, и вершинам его творчества. Совесть для Бёля — столько же нравственная, сколько и художественная сила. Совесть определяет его жизненный путь, его общественную позицию воинствующего гуманиста, и его творческий метод — неподкупный, нелицеприятный реализм. Он писатель по-настоящему добрый и беспощадно правдивый.

Томас Манн говорил и писал о том, как многим он обязан «святой русской литературе». Святость литературы — это нераздельное единство нравственности и художественности, нераздельное единство человеколюбия и правды. Впервые с такой силой и так явственно именно в русской литературе совесть стала и эстетической категорией.

Генрих Бёль с юности узнал и полюбил творения Толстого, Гоголя, Достоевского, Чехова; ему близка и наша современная литература: он любит стихи Маяковского, Пастернака, Ахматовой, он любит прозу Бабеля, Пришвина, Солженицына, Пановой. В настоящее время Бёль работает над телевизионным фильмом «Петербург Достоевского» и написал статью о творчестве Паустовского.

Однако не только благодаря давним и новым живым связям с нашей словесностью, а прежде всего благодаря его собственному творческому развитию, благодаря единству его нравственно-художественного мировосприятия Генрих Бёль стал по-настоящему родственно близок нашим читателям.

**Р. ОРЛОВА,
Л. КОПЕЛЕВ.**

Политика и наука**ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ВЫБОР**

А. И. Анчишкин, Ю. В. Яременко. Темпы и пропорции экономического развития. «Экономика». М. 1967. 208 стр.

Темпы экономического развития всегда являлись одной из главных проблем руководства хозяйством. От них в конечном счете зависит экономическое могущество страны и уровень народного благосостояния. Не удивительно поэтому, что названная проблема привлекает пристальное внимание как ученых-экономистов, так и широкой общественности. Интерес к ней особенно повышается в период резких изменений темпов экономического развития. Так, замедление их в нашей стране в 1959—1964 годах вызвало буквально поток экономических исследований, пытавшихся вскрыть как конкретные причины этого замедления, так и наиболее общие закономерности экономического развития, заставило критически взглянуть на многие стороны существовавших тогда методов управления хозяйством.

И здравый экономический смысл, и хозяйственный опыт доказывают, что темпы экономического развития непосредственно зависят от эффективности общественного производства и являются при определенных условиях ее наиболее обобщенным выражением. Вот эта бесспорность и очевидность связи темпов с эффективностью экономического развития сыграла злую шутку с нашей экономической наукой. В течение многих лет связь трактовалась как абсолютная идентичность. Теперь же стала общеизвестной противоречивость указанной зависимости: рост темпов может быть связан не с повышением эффективности хозяйства, а с увеличением доли производственного накопления в национальном доходе.

Авторы рецензируемой книги отказались от подхода к проблеме темпов только с точки зрения глобальных величин и взглянули на нее структурно, с точки зрения всего многообразия производственных и потребительских благ, необходимых обществу, соответствия структуры производства структуре общественных потребностей. «В условиях общественной собственности на средства производства,— пишут они,— нет проблемы реализации и проблемы рынка в капиталистическом смысле слова. Это, однако, вовсе не означает, что социалистическое

общество заинтересовано во всяком расширении масштабов производства, что всякий экономический рост — благо. Общественные потребности — это средства производства и предметы потребления определенного объема, состава, ассортимента и качества, которые могут быть потреблены обществом на данной стадии развития... Существование разрыва между составом производства и составом общественных потребностей приводит к народнохозяйственным потерям. Эти потери сказываются прежде всего в том, что в производство поступает недостаточное количество технически оснащенных и эффективных средств производства, а население не может полностью удовлетворить свой спрос... Возможность поддерживать высокие темпы роста в условиях медленной перестройки производства может быть создана при длительной дефицитности основных средств производства и предметов потребления, а также при высокой доле производства средств производства для средств производства, что приводит к замкнутым и довольно устойчивым производственным связям, медленно поддающимся перестройке. Однако социалистическое общество не заинтересовано в поддержании высоких темпов роста, если надо жертвовать ради них своими неудовлетворенными потребностями».

Такой подход к проблеме экономической эффективности позволяет более глубоко оценить характер проводимых в социалистических странах хозяйственных реформ и вместе с тем обеспечить их лучшее осуществление. Не секрет, что весьма часто и друзья и враги хозяйственных реформ оценивают их успешность по изменению темпов экономического развития. Можно, однако, представить себе и такую возможность: реформа обеспечивает более высокую экономическую эффективность, не приводя к увеличению темпов роста.

О том, что эта проблема не является чисто академической, свидетельствует опыт экономических экспериментов в нашей стране в период, предшествовавший хозяйственной реформе. Тогда ряду предприятий легкой промышленности было предоставлено

право устанавливать номенклатуру продукции на основе заказов торговых организаций; план по номенклатуре не утверждался сверху. И вот на некоторых из этих предприятий произошло известное падение объемов производства. Это объяснялось тем, что легкая промышленность производила ограниченный ассортимент товаров народного потребления, навязывая его торговле и населению. Когда торговля получила возможность оказывать эффективное воздействие на производство, она предъявила гораздо более широкий по ассортименту заказ на его продукцию. Любому грамотному экономисту известно, что массовое производство имеет преимущества по производительности перед серийным и тем более индивидуальным. Необходимость изготовить более широкую номенклатуру изделий снизила степень массовости производства, поскольку по каждому виду и размеру требовался уже меньший объем производства. Для тех хозяйственников, которые мыслят лишь глобальными показателями эффективности, этого оказалось достаточно, чтобы поставить под сомнение отмену директивного планирования.

Мы вовсе не хотим сказать, что конкретные формы связи промышленности и торговли, применявшиеся в ходе эксперимента, были безупречны. Можно согласиться с критикой того взгляда, который понимает прямые связи между промышленностью и торговлей лишь как связи по типу завод — магазин. Такое упрощенное понимание прямых связей не учитывает подтвержденную многолетним (если не многовековым) опытом прогрессивную роль оптовой торговли как связующего звена между промышленностью и розницей. Однако даже при самых совершенных формах организации непосредственных связей между промышленностью и торговлей нельзя исключить возможность некоторого падения объема производства или — чаще — темпа его роста на отдельных предприятиях и целых отраслях в момент перехода к наиболее полному удовлетворению разнообразных потребностей населения.

Темпы роста отражают действительное изменение эффективности производства лишь при такой организации хозяйственных отношений, когда обеспечивается свобода выбора и потребитель может получить любой товар и в то время, когда он ему нужен. Другое дело, что длительное время объективные условия развития социалисти-

ческого общества не позволяли обеспечивать свободу выбора ввиду ограниченности материальных ресурсов и сложных внешних условий. Теперь, с изменением обстановки, свобода выбора, суверенитет потребителя, господство потребителя на рынке все более внедряются в нашу экономику. Сложность заключается в том, что основная масса наших хозяйственных руководителей формировалась именно в эпоху «товарного голода», и потому переход к экономике «свободного выбора» связан для них с большими трудностями. Иные из хозяйственников этого типа отличаются тем, что они умудряются осуществлять в старом духе самые прогрессивные мероприятия, лишая их своего основного смысла. Так, вводимые в настоящее время в качестве главных показателей оценки деятельности предприятия — объем реализации и рентабельность в ряде случаев по экономическому содержанию чрезвычайно напоминают старые показатели со всеми их недостатками, ибо номенклатура продукции по-прежнему жестко устанавливается сверху. А это означает, что вместо суверенитета потребителя и свободы его выбора в экономику вновь насаждают всеобъемлющее господство плановика с его субъективной оценкой, что «нужно», а что «не нужно» народу.

По-новому раскрыв смысл экономического роста, авторы переходят к выявлению измерителей и методов его планирования. Здесь они выдвигают ряд интересных соображений. В частности, аргументированно доказывается, что сопоставление суммарных объемов производства за многолетние периоды одинаковой продолжительности более точно характеризует реальный процесс роста, чем сопоставление годовых показателей. В книге не только дается качественная оценка экономических связей, но и делается попытка установить их количественные взаимоотношения. С этой целью используются некоторые новые для нашей экономической науки методы.

Книга Анчишкина и Яременко соединяет в себе научность и простоту, доступность изложения. Сравнивая ее с работами на ту же тему, вышедшими лет пять-шесть тому назад, видишь, как быстро ликвидирует советская экономическая наука свое отставание от потребностей народного хозяйства. Вместе с тем на содержании книги сказались и некоторые еще не преодоленные слабости нашей науки.

В последние годы значительный прогресс наблюдался в той части экономической науки, которая рассматривает экономические явления в абстрактном, чисто логическом виде. Несравненно слабее развивается конкретно-исторический метод исследования экономических явлений. Между тем он позволяет выявить такие стороны экономической жизни, которые трудно установить чисто логическим путем. В рецензируемой книге бросается в глаза разрыв между глубокой и аргументированностью абстрактно-теоретического анализа проблемы экономического роста и слабостью конкретно-исторического объяснения колебаний темпов развития советской экономики в различные периоды. Авторы отступают даже от имеющихся достижений в изучении этого вопроса. Так, они сравнивают темпы роста в различные периоды с помощью исключительно стоимостных показателей. Между тем многие видные советские экономисты (Вайнштейн, Кронрод, Ноткин и другие) указывали, что в периоды коренных структурных сдвигов стоимостные показатели искажают реальные темпы роста. Если бы авторы использовали в качестве измерителей, хотя бы для предвоенных лет, такие ключевые продукты, как прокат черных металлов, топливо, цемент, зерно, важнейшие потребитель-

ские товары, железнодорожные перевозки, они пришли бы к более верным представлениям о динамике экономического развития в этот период. С помощью такого анализа нетрудно установить ошибочность глубоко укоренившегося представления, будто темпы роста в годы второй пятилетки были ниже, чем в первой, и что снижение темпов в 1937—1940 годах было незначительным. Это позволило бы установить и более обоснованную периодизацию истории советской экономики, основанную не на плановых периодах, а на фактическом развитии.

Правильное исчисление динамических рядов экономического роста имеет сугубо актуальное значение. Дело в том, что в планировании, особенно перспективном, широко используется метод экстраполяции, состоящий в том, что выводы, полученные из наблюдения над одной частью какого-либо явления, распространяются на другую его часть. Потому ошибки в оценке тех или иных показателей в прошлом серьезно затрудняют перспективное планирование. Преодоление отставания конкретно-исторического направления советской экономической мысли является непременным условием ее дальнейшего прогресса.

Г. ХАНИН.

Новосибирск.



ПОИСКИ НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ

Общее и особенное в историческом развитии стран Востока. Материалы дискуссии об общественных формациях на Востоке (Азиатский способ производства). «Наука». М. 1966. 248 стр.

У нас еще до сих пор встречается, если так можно выразиться, «хронологический» подход к актуальности в исторической науке. XX веком заниматься актуальнее, чем XIX, XIX — актуальнее, чем XVIII, а XVIII веком до нашей эры заниматься совершенно неактуально и даже не совсем ясно, для чего им вообще надо заниматься.

Книга «Общее и особенное в историческом развитии стран Востока» — один из примеров, опровергающих подобные взгляды. Истинная актуальность исторической проблемы — не просто в хронологической близости к нашему времени, а в ее социологической содержательности. Именно через социологические обобщения вопросы

самой древней истории могут иметь и имеют прямое отношение к животрепещущим проблемам современности.

Эта книга представляет собой материалы обсуждения проблемы «азиатского» способа производства. Обсуждение было организовано в мае 1965 года в Институте народов Азии АН СССР.

Вопрос об «азиатском» способе производства имеет большую и сложную историю. Еще Маркс и Энгельс неоднократно отмечали особенности исторического пути Востока. Эти особенности они видели в необычной для Запада роли государства. Деспотическое восточное государство часто само является главным эксплуататором трудя-

шихся. Причины этого, по их мнению, заключались в том, что специфика распространения на Востоке ирригационного земледелия, требующего широких общественных работ, приводит к отсутствию или ограничению частной собственности на землю и к особой устойчивости общин, внутри которых разделение труда может происходить без ущерба для их прочности. «Связующим единством» между ними является деспотическое и бюрократическое государство, которое, обладая верховной собственностью на землю, осуществляет общественные работы и эксплуатирует общины. Самодовлеющий характер подобной системы порождает застойность восточных обществ. В таких социальных структурах Маркс и Энгельс видели особый способ производства, условно названный ими «азиатским».

Но вопрос о месте этого способа производства в человеческой истории, о движущих силах его развития не был ими окончательно разрешен, что легко объяснить крайне малой изученностью в их время истории древнего Востока. Очевидно, именно поэтому иногда Маркс и Энгельс, говоря об историческом пути человечества, вообще не упоминают «азиатского» способа производства¹.

Плеханов был сторонником концепции «азиатского» способа производства, но в целом до Октябрьской революции марксистская мысль мало разрабатывала эту проблему.

Тем временем с конца XIX века происходит колоссальный рост сведений по древней и средневековой истории, что позволяет поставить вопрос на более широкой и глубокой основе. С другой стороны, проблема «азиатского» способа производства приобретает особую актуальность в связи с подъемом национально-освободительного движения, а затем в связи с приобретением независимости колониальными странами Востока и выходом ряда этих стран на «некапиталистический» путь развития. Для того,

чтобы глубже понять характер и перспективы этого пути, нужно знать и понимать прошлое.

В советской науке вопрос об особенностях исторического развития Востока и «азиатском» способе производства был поставлен в дискуссии конца двадцатых — начала тридцатых годов. В ходе дискуссии принята была концепция, согласно которой все человечество проходит в своем развитии пять общественно-экономических формаций: первобытнообщинную, рабовладельческую, феодальную, капиталистическую и коммунистическую. К сожалению, в специфической обстановке того времени эта концепция, сыгравшая положительную роль в развитии науки, превращена была в догму. Ученым, считавшим, что существовали какие-либо формации или пути развития, не укладывающиеся в принятую схему, были предъявлены идеологические обвинения, и они были вынуждены умолкнуть. Все это задерживало развитие нашего востоковедения, хотя, конечно, и в тех условиях оно продолжало идти вперед, накапливая все новые факты.

После XX съезда партии в отдельных работах советских и зарубежных ученых-марксистов видно стремление вернуться к обсуждению этого вопроса. Поворотным пунктом был 1964 год, когда вышла в свет книга академика Е. С. Варги «Очерки по проблемам политэкономии капитализма», в которой он посвящает специальную главу «азиатскому» способу производства. Это положило начало новой широкой научной дискуссии, кульминационным пунктом которой как раз и явилось обсуждение, ставшее содержанием рецензируемой книги. В нем приняло участие большое число ученых, представляющих едва ли не все основные мнения и оттенки мнений по данному вопросу.

Лишь немногие из выступавших утверждают, что сама попытка поставить под сомнение универсальность принятой схемы есть дело ненужное и даже вредное. Большинство же участников, в том числе и сторонники традиционной концепции, считает дискуссии необходимым этапом в развитии советской науки. Некоторые из выступавших, например В. Н. Никифоров, не отказываясь от этой концепции, признают, однако, что «живущее до сих пор в представлении многих упрощенное изображение рабовладельческого строя (как в Европе, так

¹ Взгляды Маркса и Энгельса на эволюцию восточных обществ до последнего времени не были предметом специального изучения. Интересующихся этой проблемой отсылаем к содержательной статье Н. В. Тер-Акопяна «Развитие взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса на азиатский способ производства и земледельческую общину» («Народы Азии и Африки», №№ 2, 3, 1965).

и на Востоке) нуждается в исправлении». Иные же вообще полагают, что «для большей части мира нужно отказаться от правомерной для Европы идеи обязательной последовательности смены докапиталистических формаций» (В. А. Тюрин). Эти ученые считают, что отличие социальных структур восточных обществ от классических образцов европейского рабовладения и феодализма настолько велико, что в них нельзя видеть лишь местные особенности одних и тех же формаций. Все они подчеркивают особый характер деспотического государства на доколониальном Востоке, его необычайное для Запада экономическое значение, слабое развитие рабовладения. Указывают, что в ряде стран в периоды, приписываемые к эпохе феодализма, рабство играло большую роль, чем в периоды, традиционно считающиеся периодами рабовладельческой формации. Но и в понимании характера «азиатского» способа производства, и в представлении о его хронологических рамках имеют место глубокие разногласия.

Одни видят в «азиатском» способе производства переплетение рабовладения с феодализмом, взаимно оказывавших тормозящее влияние друг на друга, чем и объяснялись медленные темпы развития Востока (Л. С. Васильев и И. А. Стучевский, причем И. А. Стучевский считает, что постепенно азиатская формация переходила в формацию феодальную). Другие полагают, что азиатский способ производства — особая форма рабства и феодализма, «осложненная длительным существованием общины» (В. В. Крылов). М. А. Виткин указывает на наличие особого периода эксплуатации крестьянства со стороны бюрократии и думает, что это нечто вроде последнего этапа первобытнообщинного строя. Ю. М. Кобищанов считает, что вообще следует отказаться от таких понятий, как рабовладельческий или «азиатский» способы производства, и всю историю древнего мира (в том числе Греции и Рима) пытается причислить к феодальной формации.

Наиболее радикальной является концепция Л. А. Седова, который отстаивает существование трех совершенно различных типов «дондустриального» развития. Один из них — известный нам европейский тип.

Другой — это тип обществ кочевников-скотоводов. Третий — тип земледельческих обществ, основанных на ирригации, — особо характерный для Азии. Каждый из этих типов развития имеет свою, особую стадиальность, которую Л. А. Седов и пытается проследить по отношению к «азиатскому» типу. Э. О. Берзин также указывает на многообразие путей образования государства и классов и в связи с этим на многообразие путей исторического развития докапиталистических обществ.

Мы не можем в настоящей рецензии оценивать все эти точки зрения и обсуждать аргументацию их сторонников. Многие интересные выступления здесь вообще не упомянуты, но уже из сказанного видно, что в ходе обсуждения было высказано много оригинальных концепций и мыслей. Каковы же итоги дискуссии?

Ее значение в том, что она обобщает достижения советского востоковедения и намечает дальнейшие пути его развития, ставит ряд важных исторических и философских проблем.

Дискуссия способствовала, в частности, выработке более широкого взгляда на проблемы государства. Актуальность этих проблем самоочевидна. Их разрешение поможет уяснить характер социальных структур во многих странах Азии и Африки, понять сложные процессы в современном Китае.

К положительным итогам дискуссии можно отнести и ее здоровый, творческий характер. Все ее участники в своем анализе исторического развития Востока исходят из марксистской методологии. Разногласия между ними велики, но разногласия при изучении сложного и запутанного вопроса — признак нормального, естественного развития науки, в то время как искусственное единогласие — болезненное явление. И очень ценно, что при самом широком расхождении в подходе к проблеме для большинства выступавших характерно трезвое отношение к своим собственным взглядам, терпимость и уважение ко взглядам противников.

Дискуссия в Институте народов Азии и появившаяся в результате нее книга — свидетельство новых плодотворных поисков в нашей науке.

Д. ФУРМАН.

ПУТИ СОВРЕМЕННОЙ ГЕОГРАФИИ

Ганс Бёш. География мирового хозяйства. Перевод с английского. «Прогресс». М. 1966. 279 стр.

Во введении к своему труду Г. Бёш, видный швейцарский географ, пишет: «...главная цель, преследуемая этой книгой, состоит не в том, чтобы сообщить читателю большее или меньшее количество фактов, а в том, чтобы познакомить его с определенной системой взглядов».

Впрочем, даже при беглом знакомстве видно, что книга насыщена фактами, прекрасно иллюстрирована картами, таблицами, графиками. Особенно много карт. На них часто показано не только современное состояние хозяйства, но и динамика его развития и пути транспортировки продукции — крупные, как арты, и мелкие, словно капилляры, охватывающие всю геосферу хозяйственной деятельности человечества. Описывая те или иные отрасли хозяйства в целом, Г. Бёш останавливается и на характеристике их роли в хозяйстве отдельных стран — хороший пример сочетания общих рассуждений с конкретным историческим подходом.

Обилие сведений о мировом хозяйстве (дополненных и уточненных с ненавязчивыми комментариями редактором В. П. Макаковским) и планетарные обобщения придают книге особенную ценность: у нас до сих пор нет достаточно полного курса экономической географии мира. Наши ученые предпочитают писать отдельные монографии по странам социализма и странам капитализма. Быть может, здесь сказывается широко у нас популярный взгляд на экономическую географию как на общественную науку. Нет спора, социальные условия накладывают существенный отпечаток на экономическую географию. И все-таки она «имеет дело преимущественно с многосторонними взаимосвязями между человеком и природной средой» и «есть прежде всего география», — как утверждает Г. Бёш.

Определение экономической географии как общественной науки создает опасность подмены ее политической экономией. При этом некоторые острые проблемы географии отодвигаются на второй план. Например, взаимосвязь общества с природной средой подчас определялась у нас двумя афоризмами: «человек покоряет природу» и «при капитализме — хищническое отношение к природным ресурсам, при социа-

лизме — бережное». Актуальнейшая проблема, стоящая перед любым цивилизованным обществом, считалась как бы заведомо решенной в условиях прогрессивной социалистической системы хозяйства. Вместо того чтобы забыть тревогу перед возрастающим загрязнением вод, уничтожением природных ландшафтов, эрозией почв и т. п., большинство наших географов до недавнего времени безмолвствовало. А вель природе и, соответственно, экономике нашей страны наносился в ряде случаев огромный, порой невосполнимый ущерб.

Социализированный человек, по словам К. Маркса, рационально регулирует свой обмен веществ с природой. Ему призвана помогать экономическая география. Постоянно учитывая социальный аспект проблемы, можно в то же время говорить об общности основных задач, стоящих перед экономистами-географами разных стран, — общности, которая обуславливается единством (в естественнонаучном смысле) хозяйственной деятельности человечества на нашей планете.

Г. Бёш делит все виды человеческой деятельности на первичные, вторичные и третичные. К первым относит сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство. Ко вторым — добычу и переработку различного сырья и электроэнергии. К третьим — услуги и управление. Первичные отрасли наиболее тесно связаны с природными условиями, с «естественным фоном», на котором разворачивается великая, поистине геологическая деятельность человечества. Г. Бёш посвятил почти половину своей книги сельскому хозяйству, особенно подробно разобрав проблемы использования земли. Он показал эволюцию сельскохозяйственных ландшафтов, связанную с нарастающей интенсификацией хозяйства, конкретно для различных стран.

На фактическом материале, представленном Г. Бёшем, можно проследить интересную закономерность: первичная деятельность постепенно преодолевает свою зависимость от естественных природных условий. Этому способствует внедрение техники, осушение и ирригация, выведение холодостойких сортов растений, парники, гидропоника. Человечество разворачивает произ-

водство синтетических продуктов питания. Имеются реальные возможности использовать в пищу белки, жиры и углеводы, синтезированные из неорганических соединений.

Показательно влияние социальных факторов на развитие вторичной хозяйственной деятельности и в первую очередь — индустриализации. Совершенно правильно Г. Бёш связывает рождение индустриализации с промышленной революцией XVIII—XIX веков. Но это — стихийный и не единственный путь к индустриализации. В нашей стране индустриализация была внедрена сознательно, согласно определенному политическому курсу и в результате коренных социальных преобразований. Именно на такой путь разумной регуляции развития хозяйства встают ныне слаборазвитые страны, избавляющиеся от колониальной зависимости.

Проблемы индустриализации тесно связаны с урбанизацией и отдыхом (третичная деятельность). Развитие промышленности и концентрация рабочей силы сказались, конечно, на росте и облике городов. Однако автор книги обоснованно связывает урбанизацию главным образом со стремительным прогрессом третичных видов: торговли, управления, обслуживания, образования, науки. Город — гордый узел современной цивилизации. Климат и природные условия городского ландшафта не благоприятствуют здоровью людей и в первую очередь не удовлетворяют требованиям психогигиены. В то же время в городе концентрируются культурные и научные ценности, органы управления хозяйством огромных районов. К сожалению, на этих вопросах Г. Бёш не останавливается, не давая характеристики главных особенностей городского ландшафта.

В книге приведен график занятости работников в различных отраслях деятельности (для Франции) с 1800 года до середины нашего века с прогнозом дальнейших изменений до 2100 года. Сравнительно равномерно уменьшалась доля работников первичных отраслей хозяйства. Во вторичных областях число работников увеличивалось до 1950 года, а затем стало уменьшаться (сказалось развитие автоматки и появление кибернетических машин). И лишь удельный вес представителей третичных видов хозяйства постоянно возрастает. Ожидается, что в 2100 году восемь

из десяти работающих будут заняты третичной деятельностью.

Прогнозы на более или менее отдаленное будущее всегда содержат немалую долю неопределенности и фантастики. И все-таки уже анализ современного положения приводит к выводу, что на долю человека (и кибернетических машин) приходится главным образом функция управления хозяйством. Так мы подходим к одной из важнейших проблем современного естествознания: роли человека и техники в природе.

К сожалению, в экономической географии редко даже ставится подобный вопрос. В книге Г. Бёша уделено ему мало места. Ученый употребляет термин «антропосфера», обосновав его тем, что общественный человек является активной преобразующей силой на Земле. Однако, учитывая своеобразную роль человека в современных геологических процессах, было бы вернее воспользоваться известным термином «ноосфера» (сфера разума), который широко использовал В. И. Вернадский. В современном производстве мускульной силой человека можно пренебречь по сравнению с гигантской мощью техники. Другое дело — разум...

Экономическая география призвана изучать главным образом деятельность техники, управляемой разумом человека и своеобразным «разумом» кибернетических машин. Сюда входит и геохимическая деятельность (перераспределение и синтез химических элементов и соединений), и геофизическая (перемещение масс горных пород, изменения рельефа и т. д.), и биологическая, и многие другие. Особенность географического подхода — рассмотрение всех этих проблем с позиций учения о ландшафтах Земли. Основной объект экономической географии — техногенные (измененные техникой, человеком) ландшафты: их история, современное состояние, взаимодействие, перспективы, связь с социальными условиями. При этом география из описательной превращается в активную науку, без учета рекомендаций которой нельзя рассчитывать на серьезные успехи в использовании и охране природных богатств, в рациональном размещении производительных сил, планировании и управлении хозяйством.

Ценность книги Г. Бёша — в анализе и

систематизации обширного фактического материала, в последовательном изложении методики географо-экономических исследований. Но, пожалуй, не меньшая ее ценность в том, что она не убивает спорные идеи безапелляционными афоризмами, не

изрекает тривиальных истин (о, привычные грехи учебников!), а учит мыслить, поднимает важные и актуальные вопросы, побуждает к серьезным раздумьям.

Р. БАЛАНДИН.



ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДЕТЕРМИНИЗМА

М. Г. Ярошевский. История психологии. «Мысль». М. 1966. 565 стр.

История психологии — одной из главных наук о человеке — так же сложна и своеобразна, как и предмет этой науки. Труд М. Г. Ярошевского — первая попытка советского ученого представить ее основные вехи — от древнейших времен до середины XX столетия.

Потребности общественной жизни издавна вынуждали человека накапливать знание о поведении других людей и своем собственном внутреннем мире. Это знание закреплялось в фольклоре, литературе, искусстве, философии, медицине, педагогике и других формах воплощения и передачи от поколения к поколению социального опыта. В книге М. Г. Ярошевского речь идет о развитии важнейшего вида знания о психике — научного знания. о способах его приобретения и построения в различные исторические эпохи. Руководящим принципом для автора послужил принцип детерминизма, то есть объяснения психики не из нее самой, а из ее обусловленности закономерными причинными связями материального мира. Там, где мысль ориентировалась на выведение психического из того, что психическим не является, — только там, подчеркивает автор, зарождалась элементы знания, заслуживающего называться научным.

В книге последовательно проводится идея о том, что история психологии не была конгломератом разрозненных теорий и персон. За сдвигами в абстрактных представлениях о душе и ее явлениях слышны отзвуки социальных бурь, крушения империй, зарождения новых общественных формаций, индустриальных революций.

Чтобы сложилось лежащее в основе научной методологии убеждение в том, что душевная жизнь человека определяется законами и силами, которые исходят не от богов и предков, а присущи миру, как таковому, потребовалось изменение реального положения личности, приобретение ею неза-

висимости от родовых связей. Чтобы от анализа природы мысль перешла к анализу внутреннего мира, устремилась к познанию самой себя, недостаточно было простой любознательности: реальные условия жизни людей в один из кризисных моментов истории античного общества повернули умы к сократовской теме. Знаменитая психологическая концепция Декарта стала возможной благодаря возникновению новой механики и изменившемуся положению человека в условиях перехода к капиталистическому способу производства...

Иногда перед лицом успехов современной экспериментальной психологии, оснащенной электронными приборами, быстродействующими счетными машинами и т. п., возникает представление о том, что многовековая «драма идей», составляющая содержание истории психологии, имеет лишь архивный интерес. Книга М. Г. Ярошевского разрушает это представление, соединяет историю с современностью. Вместе с тем в ней ярко показаны преобразования, совершившиеся, когда — опять-таки под давлением новых социальных потребностей — психология превратилась в конце XIX века из раздела философских и биологических знаний в самостоятельную науку.

Базируясь на эксперименте и математике, молодая наука двинулась вперед семимильными шагами. Изучение скорости психических реакций, законов памяти, механизмов мышления, математически точных соотношений между раздражителями и ощущениями и др. придало психологии облик строгой естественнонаучной дисциплины. Быстро возрастает ее влияние на различные области практики — медицинской, педагогической, а затем и инженерной.

Но выйдя из лаборатории в практику, опытная психология неизбежно должна была специально заняться изучением индивидуальных различий между людьми, тех

признаков, которые отличают одного человека от другого. Потребность в научно обоснованном определении способностей людей, уровня их умственного развития и характерологических особенностей привела к изобретению тестов. В книге М. Г. Ярошевского, впервые за многие годы, дается исторически объективная оценка этого метода. Показано, что благодаря тестам существенно усовершенствовалась техника определения индивидуально-психологических различий и соотношений между ними. Тесты рассчитаны на вскрытие статистической закономерности, что не менее важно, чем выяснение причинных связей. Вместе с тем нужно различать научную технику тестирования от широко распространенных дилетантских попыток в этой области.

Впигывая достижения многих наук о природе и обществе, психология в свою очередь доставляет им не заменимую никакой другой информацию о психической структуре человеческой личности. Отвечая потребностям современной научно-технической революции, получают развитие новые отрасли психологии: инженерная, космическая, менеджеральная (психология управления промышленными предприятиями) и другие.

К ценным сторонам книги следует отнести характер критического анализа автором основных направлений зарубежной психологии XX века. К сожалению, в прошлые годы имелась тенденция смешивать ложные философские установки зарубежных психологических школ и их конкретный научный вклад. На этом основании все, что было

сделано бихевиоризмом, гештальтизмом, фрейдизмом, объявлялось антинаучным. Автору удалось дать содержательную позитивную критику зарубежной психологии, показать, что эти направления не были одним лишь заблуждением, избежав которого психология смогла бы далеко продвигнуться вперед.

Бихевиоризм, требовавший ограничить изучение поведения связями между внешними раздражителями и телесными реакциями организма, содержал немало отрицательного. Но вместе с тем он сыграл важную роль в борьбе за объективный метод, против гештальтских представлений. Плодотворной была и главная методологическая идея гештальт-психологии, которая на множестве экспериментальных фактов показала, что отдельные компоненты психической жизни (например, ощущения, действия, желания) находятся в сложной зависимости от целостных структур, в которые они включены. Что касается фрейдизма (психоанализа), то при всей шаткости его построений он впервые в истории психологии выдвинул проблему опытного изучения динамики бессознательных мотивов человеческого поведения. И как бы ложно ни освещалась эта проблема самим Фрейдом, ее реальность и важность несомненны.

Проследившая судьбу различных психологических школ, их зарождение и распад, М. Г. Ярошевский рисует широкую картину развития движущегося многими потоками знания о человеке, его личности и поведении.

А. ВАСИЛЕВСКАЯ.



СТРАНИЦЫ ИЗ БИОГРАФИИ ВЕКА

Д. Данин. Резерфорд («Жизнь замечательных людей»). «Молодая гвардия». М. 1966. 624 стр.

В биографии Эрнста Резерфорда — итоге пятилетнего труда Даниила Данина — среди множества фактов, историй, казусов из жизни гениального англичанина и других ученых приведен эпизод, случившийся с американским физиком Майкельсоном. Встретившись с приятелем, он стал с энтузиазмом рассказывать тому о фантастических возможностях спектроскопии, в частности о том, что с ее помощью на Солнце был обнаружен натрий. Помолчав, приятель

спросил: «Ну, а кому это важно, что там есть натрий?»

Вопрос этот не так уж наивен, и ответ на него не всегда очевиден, как может показаться на первый взгляд. В наши дни он стал еще острее, чем во времена Майкельсона. И не только потому, что ныне значительно больше народу занято «отвлеченной наукой», но и потому, что сейчас фундаментальные научные исследования (в особенности космические, физические, геофи-

зические) требуют фундаментальных затрат. С чувством почтительного удивления рассказывает Д. Данин о том, с какой примитивной экипировкой отважились отправиться в путь первые исследователи тайн микромира. Несколько утрируя, можно сказать, что основополагающие открытия в области строения материи (Беккереля, супругов Кюри, Резерфорда) были сделаны с помощью приборов чуть ли не из консервных банок. Стоит ли проводить сравнение с современными ускорителями?..

И сколько бы раз наука ни доказала, что ни одно из ее открытий, казалось бы, самых далеких от будничной практики, не проходит бесследно, а рано или поздно энергичным толчком продвигает вперед всю жизнь человечества, все равно пока еще сомнения в практической пользе научных исследований существуют и отвечать на вопрос, важно ли знать о натрии на Солнце, приходится довольно часто. И не только необразованным приятелям ученых. Жизнеописание Эрнста Резерфорда тоже служит ответом на этот вопрос.

Фигура главного героя поражает воображение своей грандиозностью. Даже простое перечисление его основных открытий ошеломляет: каждого из них достаточно, чтобы навсегда войти в историю науки. А то и просто в Историю. В самом деле: Резерфорд обнаружил альфа- и бета-излучения, естественное превращение элементов друг в друга, создал теорию радиоактивного распада, открыл физическую природу альфа-лучей, создал первую, планетарную модель атома, сформировал первые представления об атомном ядре, открыл искусственное расщепление этого ядра, предсказал существование нейтрона, сверхтяжелого водорода (того, что теперь называют тритием) и легкого гелия (гелий-3)... Во всей летописи мировой науки, слава богу, не бедной великими именами, не так-то уж и много найдется успевших столько.

Для всестороннего рассмотрения столь крупной личности требуется, помимо таланта, такая подготовка, изучение такого количества документов, архивов, свидетельств, что только диву даешься, как глубоко освоен в книге Д. Данина этот огромный материал.

Конечно, сейчас вряд ли кто-нибудь станет сомневаться в практическом значении открытий Резерфорда, одного из «отцов атомного века». Этот век, поднявший на не-

бывало высокий пьедестал человека науки, бескомпромиссно поставил и проблему ответственности ученого за результаты своих исследований. Нам, к сожалению, известны ученые типа Эдварда Теллера — создателя водородной бомбы, термоядерного маньяка. Д. Данин показывает полдюжины великана, великана бескорыстного, всегда готового разделить славу со своими учениками и сотрудниками, всей своей жизнью заслужившего право на беспредельное уважение людей.

Мораль, которую исповедовал этот сын простого новозеландского фермера, вероятно, можно было бы назвать патриархальной. Вообще чем больше знакомишься с личностью Резерфорда, тем больше проникает в сознание мысль об удивляющем несоответствии между его характером, цельным, как глыба, между его душевным и физическим (опять-таки хочется сказать — деревенским) здоровьем и нашим веком с его неуспокоенностью, изломанностью, противоречиями.

Естественно приходит на ум сопоставление (его приводит и Д. Данин) с другим гением XX века — Альбертом Эйнштейном, потерявший свитер которого стал одной из современных притч. Резерфорд и Эйнштейн не были близко знакомы друг с другом, но по существу, по своему нравственному существу, они были близки. Резерфорд, подобно Эйнштейну, сторонился политики или, вернее, считал, что он сторонится политики. Но, например, его дружба и многолетнее сотрудничество с человеком из «страны большевиков» П. Л. Капицей показывает замечательную широту и независимость взглядов Резерфорда. И совсем не случайно Резерфорд и Эйнштейн встретились в 1933 году на антифашистском митинге.

Ученый умер в 1937 году, всего за год до того, как Отто Хан (кстати, его ученик) и Фриц Штрассман открыли деление урана. Со дня его смерти до первого ядерного взрыва не прошло и десяти лет. И можно не сомневаться, какой была бы реакция его на Хирсиму, как можно не сомневаться (впрочем, есть и прямые заявления), что многие из участников «Манхэттенского проекта» отказались бы участвовать в выращивании атомных грибов, если бы не оказавшееся ошибочным предположение о вероятном появлении этого оружия у Гитлера. (Интересно, догадывался ли сам Резерфорд о возможных последствиях своих открытий? Трудно сказать. Д. Данин передает его любопытные, но, к сожалению, не письменные

высказывания, например такое: «Некий дурак в лаборатории сможет взорвать ничего не подозревающую вселенную».)

Научно-художественная литература, в особенности за последнее десятилетие, завоевала равноправие с «просто» художественной прозой. Почему-то считалось: когда нам повествуют о терзаниях юноши, переживающего первую любовь, го это психологизм, диалектика души, а когда показывают, как мысль гения мучительно бьется над загадками природы, над тем же строением атома, то это лишь популяризация науки. Но ведь подобные раздумья и есть главное содержание духовной жизни ученого, богатейшее содержание. Научные открытия, переведенные в страницы замысловатых формул и графиков, и вправду теряют личный оттенок, они становятся объективным знанием, но трудно представить себе более сложный, более эмоционально наполненный психологический процесс, чем рождение открытия. Новейшее научное направление — эвристика — пытается разгадать тайну творчества, познать законы, по которым человеческий мозг постигает дотоле неизвестное. Однако пока о творчестве способно рассказать лишь творчество. Д. Данин как-то называл научно-художественную литературу

кентавром. В биографическом жанре ее двуединая сущность особенно заметна. Рассказать о жизни ученого можно только при равном внимании и к его характеру, личности, и к сути его открытий. В известной биографии Александра Флеминга, принадлежащей перу Андре Моруа, самая слабая сторона, например, — описание научных изысканий, которые привели его к открытию пенициллина. Но эффектно звучащее противопоставление — у Д. Данина это самая сильная сторона — было бы неверным. Самая сильная сторона «Резерфорда» как раз в гармоническом сочетании человеческого и научного.

Рецензируя книгу Д. Данина, можно было бы обратить внимание на мастерство писателя, на выразительность деталей, на умелый монтаж документального материала с общим потоком повествования. Но какими бы ни были художественные достоинства и познавательное значение биографии Резерфорда, основная ее ценность, мне представляется, все же в другом: в тех раздумьях, которые вызывает чтение этого увлекательного произведения. Потому что самый главный его урок — урок нравственный.

В. РЕВИЧ.

★

САГА ОБ ИСЛАНДИИ

М. И. Стеблин-Каменский. Культура Исландии. «Наука». Л. 1957. 184 стр.

У нас нет книг о культуре зарубежных стран. Либо у нас появляются довольно поверхностные путевые очерки, в которых авторы выступают в роли случайных и торопливых туристов, дивящихся чужим обычаям главным образом по своим уличным, ресторанным и гостевым впечатлениям, либо это географические очерки, в которых гуманитарной культуре и истории страны отводится строго лимитированное крохотное место. Авторы-туристы стремятся прежде всего рассказать о пресловутых «контрастах», что, являясь признаком строя, в общем, не очень отличает одну капиталистическую страну от другой и не составляет органического свойства многовековой национальной культуры. Автор-географов история и духовная культура попросту мало интересуют, и если они о них пишут, то по необходимости и со скукой.

А между тем нужны книги, которые

знакомили бы нашего читателя со всем тем, что было и есть значительного в других странах, с вкладом каждого народа в мировую культуру, с лучшим, а не с худшим в его национальном облике. Это прямая задача подлинного интернационализма. Как было бы хорошо, если бы у нас накопец-то появились книги, написанные специалистами: «Культура Франции», «Культура Англии», «Культура Германии»... А за этими странами могли бы появиться книги по культуре Турции, Индии, Афганистана... Да разве перечислишь все страны, о национальной, духовной культуре которых было бы не только интересно, но и необходимо прочесть советскому читателю? Чтобы научиться ценить свое, надо знать чужое. Подлинный патриотизм — это любовь к своему при знании и уважении чужого.

Много ли мы, например, знаем о культуре нашего соседа Турции? Где получить

представление о языках этой страны, не занимаясь их практическим изучением? Где прочесть о ее прикладных искусствах, о ее замечательной поэзии? Многие ли из нас знают о восхитительном турецком барокко в архитектуре?

Но довольно сетований. Необходимость в книгах по культуре отдельных стран будет ясна каждому читателю, который прочтет талантливую книгу М. И. Стеблин-Каменского «Культура Исландии» — книгу, написанную не только крупнейшим специалистом по языку и фольклору этой страны, но и превосходным наблюдательным писателем.

Книга сложилась под живым впечатлением двух поездок ее автора в Исландию — 1958 и 1965 годах, но это не «путевые очерки». Это книга специалиста. Она посвящена не впечатлениям, а глубокой характеристике исландской культуры, — характеристике, основанной на специальных многолетних исследованиях. Впечатления лишь согревают ее изложение, конкретизируют сообщаемые сведения.

Мне нравится, как М. И. Стеблин-Каменский рассматривает популярную форму изложения своей книги. «Популярная форма изложения, — пишет он, — принята в книге не потому, что она дает право обойти трудные проблемы или упрощать их, а, наоборот, потому, что она позволяет сосредоточиться на сущности рассматриваемых проблем, не загромождая изложение пересказом чужих работ, перечислением имен, дат и фактов, ссылками, сносками и прочим балластом, неизбежным во всяком изложении, рассчитанном на ученых специалистов».

Книга построена не по трафарету, принятому при рассмотрении культуры (литература, живопись, архитектура, театр, музыка). М. И. Стеблин-Каменский сосредоточивает внимание читателей только на тех сторонах исландской культуры, которые представляют особенный интерес. В книге шесть глав: «Действительность», «Язык», «Миф», «Поэзия», «Сага», «Сказка». И это все, что есть в культуре Исландии примечательного? — спросит читатель, заглядывая в оглавление. Нет, не все, но это действительно главное. Обо всем другом читатель сможет узнать через эти шесть аспектов подхода к исландской культуре. В этих главах рассказано и об

истории Исландии, и о ее политическом устройстве, и о ее хозяйстве. Есть в книге интереснейшие наблюдения о современной живописи Исландии, причем замечания автора о связи этой живописи с красками и линиями исландского пейзажа настолько наглядны, что им позавидует не только искусствовед, но и сам художник. Пишет он и об архитектуре, и о градостроительстве, и о театре.

Нет, я не собираюсь пересказывать книгу. Это просто невозможно. Ведь вопросы, о которых говорит М. И. Стеблин-Каменский, не обходя трудностей, очень сложны и сказать о них проще, чем это сделал сам автор, просто невозможно. Моя задача скромнее — порекомендовать ее прочесть.

Но разве уж так важно прочесть книгу о культуре страны, насчитывающей всего лишь около двухсот тысяч жителей? Ответ на этот вопрос дает автор: «Познавательный смысл всякого путешествия в том, чтобы, увидев непохожее на привычное, лучше понять привычное». А Исландия очень «непохожая» страна.

Книга М. И. Стеблин-Каменского — путешествие в страну «лунного пейзажа», в страну, где «все было не так, как в истории культуры других европейских стран». Он и пишет по преимуществу об этих «не так», о поражающем своеобразии исландской природы, людей, литературы, языка, фольклора, быта. Он пишет о поучительном для нас соединении в Исландии самой древней истории с самой острой современностью. В этой стране, говорит автор, «воздух необыкновенно прозрачный, и, как и всюду в Исландии, кажется, что видно не только далеко в пространство, но и далеко в прошлые века». Для нас, советских читателей, поучительны то благоговение, та любовь, с которыми исландцы относятся к своим национальным реликвиям, к своей природе, к своим памятникам старины.

Культура страны, в которой в прошлом было еще меньше жителей, чем сейчас, имеет мировое значение. М. И. Стеблин-Каменский пишет: «Для народов, говорящих на германских языках, и особенно для скандинавских народов, древнеисландская культура сыграла не меньшую роль, чем та, которую античная культура сыграла для европейских народов вообще». Вслед за главой исландских филологов Сигурдом Нордалем он называет исланд-

ский народ «самым литературным народом мира».

Когда М. И. Стеблин-Каменский пишет, что «Исландию называют страной поэтов», что в Исландии «по любому случаю сочиняется шутовское или сатирическое четверостишие, так называемая ферсейхтла», что Исландия — «заповедник поэтов» и прочее, то первоначально это принимаешь за обычное преувеличение влюбленного в страну автора. После прочтения главы «Поэзия» в этом не только перестасшь сомневаться, но перестасшь удивляться даже тому, что один исландец, которому хирург делал серьезную операцию, «импровизировал стихи в одном из трудных исландских размеров». С поразительной, доступной только выдающемуся специалисту конкретностью показывается здесь исключительное богатство жанров, размеров, форм исландской поэзии. В доступной форме объясняется, что такое знаменитые исландские кенинги, раскрываются деловые (дипломатические, юридические, даже хозяйственные) функции поэзии, объясняется все своеобразие ее положения в культуре страны. Утверждения, казавшиеся вначале простыми преувеличениями, раскрываются в своем жизненном наполнении, становятся убедительными и понятными.

Нет возможности рассказать обо всем том интересном, что есть в книге. Хорошо, например, описаны особенности быта народа, связанные с его малочисленностью. «В малочисленном народе,— пишет М. И. Стеблин-Каменский,— одному человеку приходится выполнять несколько дел, которые в большом народе обычно выполняют разные люди. Исландскому эстрадному автору нередко приходится не только выступать на концерте в качестве конферансье, но и самому расставлять стулья для исполнителей». Мелочь? Но за этой мелочью становятся понятнее и более серьезные наблюдения. «В Исландии ученый — также часто и поэт, а политический деятель — часто также и ученый». А как хорошо иллюстрируется мысль, что «расстояние между людьми разного положения в маленьком народе короче, чем в большом».

В книге немало суждений, далеко выходящих за рамки темы, имеющих общий смысл, который с интересом воспримет фольклорист, литературовед, искусствовед. Говоря, например, о мифах, М. И. Стеб-

лин-Каменский показывает, что «герои — это, как правило, более идеализированные, менее реалистические человеческие образы, чем боги. Возможно, это связано с тем, что образы героев — результат идеализации, тогда как образы богов — результат обобщения».

М. И. Стеблин-Каменский любит слово «парадокс» и сам нередко прибегает к парадоксам: своим и чужим. Так, говоря о современном исландском писателе Тоурберге Тоурдарсоне, он пишет: «Этот голубоглазый и светловолосый человек, небольшого роста, очень моложавый для своих семидесяти пяти лет и парадоксально сочетающий в себе ребяческую наивность и суеверие с обличительным пафосом передового политического деятеля и тонкой иронией, любит поражать своих посетителей тем, что демонстрирует им свою веру в привидения. «Меня спрашивают,— говорит он,— как я, будучи коммунистом, могу верить в привидения. Но как я могу не верить в них, если я несколько раз в жизни видел их так же ясно, как я сейчас вижу вас?» И далее М. И. Стеблин-Каменский показывает недоумевающему читателю, что эта вера в привидения у Тоурберга Тоурдарсона не что иное, как позиция художника. «Как художник он не может не следовать поэтике данного жанра (жанра сказки.— Д. Л.), то есть должен делать вид, что его сказка о привидениях правдива, что автор верит в ее достоверность». А на следующей странице, заключая свою книгу, он продолжает эту игру художника уже сам.

Вот это заключение. «Если, путешествуя по Исландии на машине с шофером-исландцем, спросить его как-нибудь с наступлением вечера, не приходилось ли ему в жизни встречать привидений, то, как бы он ни был флегматичен, он непременно оживится, и окажется, что если не он, то его товарищ по таксомоторному парку или знакомый шофер действительно встречался с привидениями. И он начнет с исландским юмором рассказывать о пассажирах, которые вдруг исчезают из машины или снимают с себя шляпу и вместе с ней голову или оказываются прозрачными и т. д. и т. п. И вы будете ехать по пустынной местности, где только изредка увидите стадо овец, сгрудившееся на склоне горы и как будто совершенно неподвижное, или мохнатых лошадок, бродящих на свободе

по лугу, или одинокий хутор в отдалении от дороги, а у дороги «молочный помост» и на нем — почтовый ящик и бидоны с молоком, приготовленные к отправке в город. Но возможно, что вы вообще не увидите никаких признаков человеческого жилья и не встретите ни души. В вечернем освещении горы станут прозрачными. Всюду вокруг будет первозданная пустыня. И вы увидите, как в сумерках скалы начнут превращаться в ночных трётлей, или как два ворона Одина вдруг поднимутся с камня и полетят вслед за вами. И машина будет мчаться по черной гравийной дороге, и фары будут выхватывать из хаоса ночи камни, мох, вереск, и туман поползет отовсюду, или начнет накрапывать дождь, и сквозь туман, дождь и мрак будет угадываться, как привидение, пустынное исландское плоскогорье, хейди...»

Я затрудняюсь определить жанр книги. Это не путевые записки, но это и не ученое сочинение. Лучше всего ее причислить к жанру саг. «Сагой», — пишет М. И. Стеблин-Каменский, — называется в Исландии всякое прозаическое повествование. Слово это произошло от глагола, который значит «говорить» или «рассказывать» (*segja*). Первоначально, в дописьменное время, оно значило «устное прозаическое повествование». Книгу М. И. Стеблин-Каменского, в которой так сильно чувствуется галант художника и живое дыхание устной речи, вполне можно назвать сагой об Исландии. Жаль только, что она скупо иллюстрирована.

Д. ЛИХАЧЕВ,
член-корреспондент Академии наук СССР.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

С. Н. БАРАНОВ. Ветер с Балтики. Воениздат. М. 1967. 199 стр.

Автор этой книги — бывший матрос Балтийского флота, участник штурма Зимнего, а затем член ВЦИКа — начинает свои воспоминания с февральской революции и заканчивает Брестским миром. Ценность этих воспоминаний в том, что они показывают общественный и политический рост рядового участника революции, рост самосознания масс в период от февраля к Октябрю. С. Н. Баранов хорошо передает настроения народных масс — матросов, рабочих и крестьян. Его воспоминания, написанные свежо и просто, доносят до нас живые детали незабываемой эпохи.

Вот как описывает он, например, заседания большевистской фракции ВЦИКа в 1917—1918 годах: «Здесь народные комиссары (министры) сидели рядом с закоптелыми солдатами-фронтовиками, рядом с рабочими, матросами и прочим «низшим сословием»... Они были товарищами по одной и той же большевистской партии. Разговаривали, шутили, пока не появлялся президиум и не начиналось заседание, а потом вместе решали вопросы, каких еще никто до них не решал.

Владимир Ильич был образцом точности и дисциплированности, но если почему-либо опаздывал к началу заседания фракции, то входил в комнату тихо и незаметно. Если в это время кто-нибудь держал речь, он не доходил до президиума, а тихонько садился в последнем ряду и только по окончании речи быстро проходил вперед и занимал свободное место в президиуме. При появлении его не вставали и не аплодировали. Чувствовалось, что такой порядок заведен еще до того, как мы вошли во фракцию».

Книга С. Н. Баранова помогает глазами современника увидеть самый знаменательный и героический в истории год.

Е. Майорова.

★

И. М. КРИВОГУЗ, Ю. Л. МОЛЧАНОВ. Ленин и борьба за единство рабочего движения. Лениздат. 1967. 293 стр.

Рассказать в относительно небольшой книге о роли В. И. Ленина и ленинских идей в борьбе за единство рабочего движения в период с конца XIX века и до наших дней —

задача трудная. Не удивительно, что многие страницы книги двух ленинградских историков, посвященной этой теме, написаны бегло, о многом говорится мимоходом, анализ отдельных событий поверхностен.

И все же книга эта интересна. Она дает обширную по времени и фактам сводку материалов, рисует общую картину борьбы за единство на разных этапах рабочего движения, вскрывает ее закономерности, тенденции, говорит о перспективах.

Читателю будет особенно интересно познакомиться с теми страницами книги, где авторы, замедлив бег по эпохам и странам, начинают тщательно выискивать отдельные моменты, отдельные важные, порой малоизученные вопросы. Так, несомненно, внимание привлечет подробный рассказ о сложных событиях двадцатых годов (берлинская конференция трех Интернационалов и др.), когда В. И. Ленин и коммунисты-ленинцы вопреки сопротивлению социал-демократических лидеров и сектантству «левых» заложили основы единства действий разных отрядов рабочего класса. Авторы убедительно показывают, что решения III и IV конгрессов Коминтерна создали базу для разработки тактики единого фронта. Последующие главы также будут прочитаны с интересом, хотя читатель, знакомый с книгой Б. М. Лейбзона и К. К. Шириня «Поворот в политике Коминтерна», найдет здесь не много нового. Тем не менее все же нелишне еще раз вспомнить те годы, когда перед лицом фашизма и войны коммунистическое движение сумело в новых условиях творчески применить ленинские идеи о единстве, создать принципиально новую форму объединения всех демократических сил — единый рабочий, единый народный фронт. Однако все это было достигнуто далеко не сразу и не легко. Авторы напоминают историю подготовки и принятия решений VII конгресса Коминтерна, когда потребовалось мужество, чтобы отвергнуть устаревшие, оказавшиеся вредными формулы и определения, освященные авторитетом Сталина.

Рассказывая о воплощении в жизнь решений VII конгресса, авторы останавливаются на все еще малоизученном вопросе о позиции руководства Коминтерна накануне и в начале второй мировой войны, пишут о том, что наряду с правильным общим курсом против войны допускалась упрощенная связь политики Коминтерна с внешней по-

литикой СССР, недооценивалась антифашистская направленность войны, происходил фактический пересмотр политики единого фронта.

Много места уделено в книге второй мировой войне и послевоенным годам, когда борьба за единство рабочего движения поднялась на новую, более высокую ступень и коммунисты могли поставить проблему перехода от единых действий к единым пролетарским партиям. Рассказано в книге и об истории создания объединенных рабочих партий в социалистических странах, о деятельности Коминформбюро и Комиско. Заключительная глава сообщает интересный фактический материал о современном коммунистическом и рабочем движении, говорит о тех перспективах, которые имеются в наши дни для борьбы за единство действий трудящихся против власти монополий, за мир, демократию и социализм.

Б. Козенко,
кандидат исторических наук.

★

МИХАИЛ ЦУНЦ. Властелин рек. «Детская литература». М. 1967. 175 стр.

«...Прислушайся к гулу десятков рек, низвергающихся водопадами на турбины. Прислушайся, и ты отличишь голоса Большой Волги и Большого Днепра, Ангары и Иртыша, тихого Дона и шумного Сулака, Сыр-Дарьи, бегущей в Голодную степь, и Аму-Дарьи, несущей свои воды в глубь Кара-Кумов, студеной Ковды и знойного Аракса, «золотого» Мамакана и «алмазного» Вилюля, равнинного Немана и горного Нарына...» Такими словами завершается эта книга.

И читатель, который вместе с автором-гидом совершил увлекательное путешествие по стране, мысленно прислушается к могучему гулу рек, покоренных советским человеком и озаряющих страну океаном огней.

Автору удалось вложить в небольшую книжку большой объем сведений. В книге о воде нет «воды», нет суесловия и риторики. Тут цифры и факты. Но рассказано о них не сухим информационным языком, а живым и страстным языком публициста, увлеченного темой и отлично знающего материал.

О строительстве гидростанций на Волге, Каме, Вахше, Енисее, об атомных, геотермических и приливных электростанциях, о каналах и орошении пустынь, о захватывающих перспективах поворота северных рек, утепления Арктики и многом другом с интересом прочтут не только подростки старшего возраста, на которых рассчитана книга, но, думаемое, и взрослые читатели.

Довести годовое производство электроэнергии к 1980 году до трех триллионов киловатт-часов. Такая грандиозная задача выдвинута в Программе КПСС. О том, как успешно претворяется в жизнь ленинская идея электрификации страны, рассказывает-

ся в этой книге. И рассказ этот ведется так, что, надо полагать, он вызовет у читателей не только чувство гордости за свою могучую страну, за талантливый и мужественный советский народ, но и жажду деятельности, стремление вложить свой личный труд и свои знания в благородное дело преобразования природы.

Б. Исаев.

★

ГРАФИКА ПИКАССО. Альбом. Авторы очерков о жизни и творчестве Пабло Пикассо **И. Г. Эренбург** и **М. В. Алпатов.** «Искусство». М. 1967. 186 стр.

Шесть с лишним десятков лет работает Пабло Пикассо — живописец, график, скульптор, гончар. Его имя окружено легендами. Его картины висят в лучших музеях мира. Пожалуй, ни о ком из ныне живущих художников не написано столько, сколько о нем. Глубокие искусствоведческие труды и сенсационные измышления газетных шелкоперов; слепое поклонение и упрямая предвзятость; серьезные попытки анализа и вердикты, основанные на цитате из стародавнего интервью... Всякое бывало.

Впрочем, что бы ни говорилось, ни писалось о Пикассо, он продолжал идти своим путем, работать упорно, неистово, самозабвенно.

«Я не мог бы жить, не отдавая искусству все свое время. Я люблю его, как единственную цель всей своей жизни. Все, что я делаю в связи с искусством, доставляет мне величайшую радость».

В этих словах художника, поставленных эпиграфом к альбому его графики, — частичное объяснение его невероятной работоспособности, энергии, не покидающей Пикассо и в его восемьдесят пять лет.

Конечно, искусство Пикассо очень сложно, даже противоречиво. Недаром оно вызывает ожесточенные споры не только у искусствоведов, а и у зрителей. Но и интерес к нему велик. Тому свидетельством, в частности, успех двух московских выставок.

Чтобы спорить, надо знать. Это истина азбучная. Ведь что толку было, скажем, во всех журнальных дебатах о Кафке до тех пор, пока не вышел по-русски его однотомник?.. Альбом, выпущенный издательством «Искусство», дает широким читательским кругам возможность познакомиться с творчеством Пикассо. В этом бесспорная ценность альбома.

Среди разнообразных видов деятельности Пикассо в искусстве издательство избрало графику. Возможно, это ограничение отчасти продиктовано причинами техническими — графика поддается воспроизведению средствами полиграфии куда легче, чем живопись, — но оно придало альбому внутреннюю цельность. М. В. Алпатов пишет: «Графика Пикассо имеет вполне самостоятельное и самодовлеющее значение. Это особый художественный мир, созданный художником».

В альбоме напечатано около ста сорока работ Пикассо. Конечно, это лишь малая

доля всего сделанного им в сфере графики. Однако составители позаботились о том, чтобы отбор был достаточно «представительным», а хронологические рамки альбома охватывали бы всю творческую биографию художника. В альбоме нашли отражение все так называемые «периоды» и «манеры» Пикассо.

Альбому предпосланы два очерка о жизни и творчестве Пикассо. Первый из них принадлежит перу покойного И. Г. Эренбурга. Имя его — мастера литературного портрета, знатока живописи и давнего друга Пикассо — говорит само за себя. Эренбург знал Пикассо в течение многих десятилетий, он написал о нем не только как о художнике, но главным образом как о человеке. В основу очерка положена глава из широко известной книги «Люди. Годы. Жизнь».

Второй очерк, написанный известным искусствоведом М. В. Алпатовым, — одна из серьезных попыток анализа творчества Пикассо, о которых упоминалось выше.

Издан альбом хорошо. Стоит он 4 р. 50 к. Тираж сто тысяч экземпляров. При солидной цене и немалом тираже купить альбом все же очень трудно. Значит, издание его отвечает ожиданиям многочисленных читателей, любящих искусство.

Б. З.

★

М. БУЛАТОВ, В. ПОРУДОМИНСКИЙ. Собирал человек слова... Повесть о В. И. Дале. «Детская литература». М. 1966. 223 стр.

На переплете этой книги стоят имена писателей, друг друга не знавших и никогда не узнавших. Михаил Булатов, задумавший ее и собравший значительную часть материала, умер. И тогда Владимир Порудоминский вызвался сделать то, что не успел Булатов, — написать книгу.

Я рассказываю об этом потому, во-первых, что такого рода соавторство напоминает взаимоотношения солдат в бою; во-вторых, нравственная атмосфера, в какой создавалась книга, отвечает сущности ее героя — Владимира Ивановича Даля, подвижническому строю его жизни.

Даль изображен в главном его деле — собирании слов и составлении словаря и сборника пословиц. Рассказывается об этом не в научно-популярных довесках к биографии, как это случается иной раз в подобных книгах. Дело Даля, стихия звучащего слова, в которой он жил, тесно связаны с самим сюжетом, естественно влетены в него.

Можно еще добавить, что слово здесь как бы один из персонажей, что живой русский язык, «звучавший» в Дале всю его жизнь, пронизывает книгу, вызывая и в читателе потребность вслушиваться в него. Многим, я убежден, откроется вдруг, что в слове видна родная страна — ее география, история, образ жизни, занятия и воззрения народа.

Книга написана увлекательно, однако, на мой взгляд, грешит некоторой беллетризацией. Едва ли следовало сочинять дневник

доктора де Морни, друга Даля: в документальном произведении сочиненный документ выглядит странно. Мне думается, что и авторская речь должна бы звучать строже, литературнее, — это только подчеркнуло бы живописность и выразительность народной речи, которой занят был Даль. Уже в самом названии книги «Собирал человек слова...» слышится нарочитость, стилизация под сказ; не лучше ли было бы — «Человек собирал слова»?

Быть может, переиздавая книгу, Порудоминский обо всем этом подумает. А новое издание потребует, потому что книга давно разошлась, нужна же она не только детям среднего и старшего возраста, для которых издана, но и всякому, кому интересен и дорог русский язык.

Е. Дорош.

★

КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ. Джек, покори-тель великанов, и другие сказки для детей. «Детская литература». М. 1966. 206 стр.

Оказывается, у «Доктора Айболита» (а он, как известно, существует не только в стихах, но и в прозе) есть прозаические продолжения.

И как же рад я был новой встрече с героями любимой книги моего детства!

Первым делом я взялся за две последние сказки, продолжающие «Айболита», — «Огонь и вода» и «Приключения белой мышки». С радостью узнал я о бесславной кончине пирата Беналса и о том, что к Тянитолкаю, зверю, которого нет «ни в одном цирке, ни в одном зоологическом парке», приехал из Африки его сын Дик. А потом выслушал печальную историю белой мышки — правда, заканчивается эта история хорошо, к полному удовольствию малышей.

Конечно, полное удовольствие будет лишь у тех малышей, чьим папам и мамам удастся раздобыть эту яркую, прекрасно иллюстрированную (художник Ф. Лемкуль) книжку.

«Он был добрый», — говорится об Айболите в первой же строке сказки, сразу после сообщения о том, что доктор «жил-был». Главное в докторе Айболите — человечность. И сама сказка о нем — это сказка о человеческой доброте, сказка о человечности.

Доктор, невзирая на опасности, едет в Африку — лечить обезьян, вырывает отца Пенты из лап пиратов, бросается в горящий дом — там «остались три маленьких кролика...». И маленькие читатели начинают сознавать, что быть добрым, оказывается, не так-то просто, что для этого порой нужны еще и смелость, решительность, мужество.

По сказкам об Айболите, да и по той, что дала название сборнику — «Джек, покори-тель великанов», — можно учиться писать для детей. «Весело было в деревне! Вдруг откуда-то пришел страшный великан Корморан...». Иной писатель отвел бы для этого не одну страницу (кто жил в деревне, да

как жил, да откуда взялся великан), а Чуковский укладывает все это в две фразы, прекрасно сознавая, что недостающие подробности ребенок восполнит своим богатым воображением.

Несколько слов на обороте титульного листа напоминают нам, что сказки об Айболите восходят к американскому источнику. Да, конечно, восходят. Но Корней Иванович Чуковский заставляет нас забыть, что на свете может существовать другой Айболит, кроме русского.

С. Сиваконь.

★

Н. С. ЛЕЙТЕС. Романы Анны Зегерс. Пермь. 1966. 104 стр.

Эта книжка издана Пермским государственным университетом тиражом в шестьсот экземпляров. Это значит, что она вряд ли попадет даже во многие крупные библиотеки, а жаль. Она могла бы принести пользу широкому кругу читателей, в особенности студентам.

«Романы Анны Зегерс» — критический очерк и вместе с тем исследование. Сжатость изложения — одно из достоинств работы. Книга не загромождена пересказом общезвестного, написана четко и собранно.

Н. Лейтес цитирует слова Анны Зегерс: писатель — своего рода мореплаватель, «страны, которые он должен открыть, лежат во внутреннем мире людей». Под этим углом зрения и разворачивается анализ: автор стремится проследить, как складывалось, как развивалось у Зегерс мастерство художественного познания человека.

Уже первый роман Анны Зегерс «Восстание рыбаков» (1928) положил начало ее литературной известности. Думается, что Н. Лейтес не права, когда хочет отыскать здесь следы влияния экспрессионизма. Но любопытно намечена проблема: в этой ранней книге людская масса рисуется сплошной, монолитной — в дальнейшем писательница идет ко все более дифференцированному изображению народа.

В анализе романов «Седьмой крест» и «Мертвые остаются молодыми» Н. Лейтес выдвигает на первый план антитезу «настоящей» и «ненастоящей» жизни. Быт буржуа и обывателей фашистской Германии, выписанный с обилием зримых деталей, в конечном счете оказывается ненастоящим, призрачным, должен отступить перед побеждающей реальностью революционных сил, пусть даже носители этих сил изображены немногими, скупыми штрихами.

Удачен разбор романа «Решение». В этом многолюдном, даже несколько перенаселенном повествовании по-новому обнаружи-

вается умение А. Зегерс передавать многообразие человеческих характеров и судеб. В «Решении», верно замечает Н. Лейтес, «каждый человек-труженик — личность, перед которой раскрываются безграничные возможности индивидуального развития».

Т. Мотылева.

★

ЭВРИКА. 1966 ГОД. «Молодая гвардия». М. 1966. 360 стр.

Семья научно-популярных журналов и альманахов пополнилась еще одним годовым сборником — «Эврика». Сборник состоит из небольших статей-сообщений о самых разных областях науки: астрономии, физике, медицине, биологии и т. д. — и разделен на три части, озаглавленные: «Идеи», «Поиски», «Решения».

Заметки первой части рассказывают о том, что ученые думают насчет обитаемости космоса, будущего климата нашей планеты, как они надеются усовершенствовать транспорт и телефон (сделать, например, телефон в каждой квартире не только междугородным, но и межконтинентальным). Есть здесь заметки о том, какой курорт строится в Гагре, и о добыче полезных ископаемых в океане, об идее дома-города и проектах спасения знаменитой пизанской падающей башни. В конце раздела несколько заметок об удивительных вещах, которые время от времени случаются на Земле и ставят ученых в тупик, например, о человеке, который совсем не спит десятки лет, или о человеке, не знающем боли.

Во втором и третьем разделах опять заметки, начиная от поисков и решений в области астрономии и космонавтики и кончая рассказами о невиданных чудовищах в шотландском озере Несс и у берегов Австралии или о племени, обнаруженном в Австралии, стоящем на уровне культуры каменного века.

В каждом разделе имеются статьи на темы, без которых не обходится ни один научно-популярный журнал: о применении лазеров и о раке, о долголети и угрозе перенаселения Земли, о гипнозе и дельфинах, о генетике, об искусственной пище и о вреде курения.

Сборник получился живой и даже веселый, чему способствуют остроумные рисунки, иллюстрирующие каждую статью, читать его увлекательно, а после прочтения чувствуешь, что получил живое представление об уровне современной науки, о том, что знает, понимает, может современное человечество и перед чем еще оно останавливается в недоумении.

И. Кондратова.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. О науке и высшем образовании. 415 стр. Цена 94 к.

Ж. Дюкло. Октябрь 17 года и Франция. Перевод с французского. 445 стр. Цена 1 р. 24 к.

В. Зыбковец. Человек без религии. У истоков общественного сознания. 240 стр. Цена 37 к.

К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия. Сборник. 810 стр. Цена 1 р. 93 к.

З. Мирский, А. Борисов и А. Куценков. У карты мира. Как изменился мир за 50 лет. 239 стр. Цена 32 к.

И. Панцхава. Человек, его жизнь и бессмертие. 191 стр. Цена 20 к.

50 лет Октября — торжество марксизма-ленинизма. Сборник статей. 366 стр. Цена 1 р. 9 к.

«ЭКОНОМИКА»

И. Евенко. Совершенствование управления хозяйством и вычислительная техника. 152 стр. Цена 51 к.

М. Мелешкин, А. Сидоров и И. Червено. Ускорение освоения мощностей в промышленности. 288 стр. Цена 93 к.

Пятидневная рабочая неделя. Коллективная монография. Под редакцией Е. Капустина. 175 стр. Цена 72 к.

В. Синько. Управление качеством промышленной продукции. 64 стр. Цена 18 к.

Ч. Эдвардс и Р. Браун. Реклама в розничной торговле США. Сокращенный перевод с английского. 269 стр. Цена 1 р. 30 к.

Экономика стран социализма. 1968 год (Ежегодник). 255 стр. Цена 61 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Баранов. Революция и судьба художника. А. Толстой и его путь к социалистическому реализму. 464 стр. Цена 1 р. 2 к.

А. Беляуснас. Каунасский роман. Перевод с литовского. 324 стр. Цена 49 к.

Зульфия. Моя весна. Стихи. Перевод с узбекского. 179 стр. Цена 57 к.

В. Озеров. Полвека советской литературы. Литературно-критические очерки. 496 стр. Цена 1 р. 2 к.

К. Паустовский. Насдине с осенью. Портреты, воспоминания, очерки. 271 стр. 89 к.

Ф. Сухов. Малновый звон. Стихи и поэма. 108 стр. Цена 34 к.

А. Твардовский. Книга лирики. Рисунки О. Верейского. 414 стр. Цена 1 р. 56 к.

Б. Ямпольский. Волшебный фонарь. Повесть, рассказы-миниатюры. 276 стр. Цена 43 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Ф. Алиева. Радугу раздаю. Стихи. Перевод с аварского. Вступительная статья Н. Капиевой. 191 стр. Цена 53 к.

Л. Гойтисоло. Все те же слова. Перевод с испанского Н. Томашевского. 416 стр. Цена 1 р. 32 к.

Друзья Октября и мира. Переводы. Вступительная статья А. Чаковского. 326 стр. Цена 2 р. 96 к.

Литература и современность. Сборник 7. Статьи о литературе 1966 года. 431 стр. Цена 1 р. 22 к.

Русские сказки. Иллюстрации Т. Мавриной. 131 стр. Цена 1 р. 92 к.

Стихи о Ленине. 63 стр. Цена 81 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Ч. Айтматов. Прощай, Гульсары! Повесть. 205 стр. Цена 37 к.

К. Воннегут. Утопия 14. Перевод с английского («Библиотека современной фантастики»). 398 стр. Цена 1 р. 25 к.

Г. Гегечкори. Сезам, отворись! Стихи и поэма. Перевод с грузинского. 46 стр. Цена 16 к.

С. Дангулов. Дипломаты. Роман. 495 стр. Цена 1 р. 20 к.

В. Привальский. Бунтарь. Повесть. 295 стр. Цена 58 к.

С. Сартаков. Первая встреча. Рассказы о В. И. Ленине. 160 стр. Цена 21 к.

М. Танк. Избранная лирика. Перевод с белорусского. 31 стр. Цена 12 к.

К. Чапек. Фабрика Абсолюта. Роман-фельетон. Белая болезнь. Драма. Перевод с чешского («Библиотека современной фантастики»). 270 стр. Цена 4 р. 89 к.



СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»

ЗА 1967 ГОД

С ВЕРШИНЫ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЯ

Машины учатся и учат. Рассказывает министр тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР И. Ф. СИНИЦЫН. VIII—3.

Конкурируя с природой. Рассказывает министр химической промышленности СССР Л. А. КОСТАНДОВ. VIII—11.

Новые рубежи. Рассказывает министр станкостроительной и инструментальной промышленности СССР А. И. КОСТОУСОВ. IX—3.

Промышленность здоровья. Рассказывает министр медицинской промышленности СССР П. В. ГУСЕНКОВ. IX—11.

Великое содружество наций. Беседа с Председателем Совета Национальностей Верховного Совета СССР Ю. И. ПАЛЕЦКИСОМ. X—11.

Экзамен перед будущим. Беседа с заместителем председателя Госстроя СССР И. А. ГАНИЧЕВЫМ. X—18.

Основа технического прогресса. Беседа с министром приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР К. Н. РУДНЕВЫМ. XI—3.

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

Вячеслав Адамчик. Кароль Небожа. Рассказ. Перевел с белорусского Н. Кислик. XII—31.

Виктор Астафьев. Ясным ли днем. Рассказ. VII—112.

А. Бартов. Побег из колчаковской тюрьмы. Предисловие А. Твардовского. X—77.

Бельгийские рассказы

Вард Рейслинк. Любители конины. Перевела с фламандского Е. Макарова. **Йос Вандело.** Шутка. Перевел с фламандского В. Островский. V—135.

Владимир Войнович. Два товарища. Повесть. I—85.

Расул Гамзатов. Мой Дагестан. Перевел с аварского Вл. Солоухин. IX—17; X—27; XI—114.

Е. Герасимов. Путешествие в Спас на Песках. Из записок старого журналиста. XII—44.

И. Грекова. На испытаниях. Повесть VII—14.

Ефим Дорош. Размышления в Загорске (Из книги «Древнее рядом с нами»). V—96.

В. Емельянов. Герой Социалистического Труда, член-корреспондент Академии наук СССР. О времени, о товарищах, о себе. Записки инженера. I—5; II—61.

С. Залыгин. Соленая Падь. Роман. IV—3; V—22; VI—5.

Анна Зегерс. Тот самый голубой цвет. Перевела с немецкого В. Станевич. X—87.

Ярослав Ивашевич. Костел в Скарышеве. Рассказ. Перевел с польского А. Марьямов. VI—140.

И. Исаков. Переводчик (Из воспоминаний о 1917 году). XI—147.

Фазиль Искандер. Колчерикий. Рассказ. IV—101.

Трумэн Капоте. Дети в день рождения. Перевела с английского С. Митина. IV—121.

Валентин Катаев. Трава забвенья. III—3.

Виктор Лихоносов. Родные. Рассказ. II—145.

Н. Мельников. Одним человеком меньше. Из записок корреспондента. V—121.

Д. Набоков. Детские годы в Супруновке. Из семейной хроники. Предисловие Ефима Дороша. XI—68.

Виктор Некрасов. Дом Турбиных. VIII—132.

Б. Никитин. Твердое слово. Рассказ. IX—75.

Евгений Носов. Пятый день осенней выставки. Рассказ. VIII—111.

М. Рошин. С утра до ночи. Рассказ. VIII—75.

Евгений Снегирев. Роди мне три сына. Рассказ. VI—122.

И. Соколов-Микитов. Из записной книжки. VI—131.

Максим Танк. Листки календаря. Перевела с белорусского С. Григорьева. XI—13.

Лев Тимофеев. В селе Благодатном. Очерк. IV—144.

Конст. Федин. Костер. Роман. Книга вторая (Продолжение. Начало см. «Новый мир», №№ 1, 5, 1965 г.). II—3.

А. Шаров. Из рассказов о детстве: 1. «Разбойники»; 2. Суд. XII—6.

Вас. Шукшин. Три рассказа: Волки; Начальник; Вянет, пропадает. 1—154.— Новые рассказы: В профиль и анфас; Думы; Как помирал старик; «Раскасы»; Чудик. IX—88.

СТИХИ И ПОЭМЫ

Маргарита Алигер. Из лирики: Аэродром Орли; Несчетный счет минувших дней...; Конец июля; Сена; Два старика в Париже. IX—109.

Микола Бажан. Повести о надежде (Вариации на тему Р. М. Рильке). Перевел с украинского Д. Самойлов. XII—22.

Дебора Вааранди. Освенцим. Стихи. Перевел с эстонского Д. Самойлов. IV—95.

Ояр Вацетис. Эйнштейн. Стихи. Перевел с латышского Ал. Ревич. VI—134.

Игорь Волгин. Два стихотворения. XI—43.

Александр Гитович (1909—1966). Из неопубликованного. Стихи. IV—120.

Татьяна Глушкова. Из «Псковской тетради». Стихи. III—133.

Ахмед Ерикеев. Осенние листья. Стихотворение. Перевел с татарского С. Липкин. I—153.

Анатолий Жигулин. Воспоминание: Диржабль; Утиные дворики; Подмосковье. Стихи. II—143.

Из современной югославской поэзии

Еврем Бркович. Революция (Из поэмы).—**Оскар Давичо.** Хана.—**Десанка Максимович.** Прошу о помилованье...—**Танасие Младенович.** Белый петух.—**Тоне Павчек.** Во имя...; Жизнь.—**Васко Попа.** Воскресший памятник.—**Стеван Раичкович.** Руки; Устальная песнь.—**Изет Сарайлич.** Говорю о Европе.—**Божидар Тимотиевич.** Стихи о грядущем. Перевел с сербохорватского и словенского Юрий Левитанский. IV—135.

Из стихов белорусских поэтов

Анатолий Вертинский. Горе — не беда... Перевела Светлана Евсеева. Простые люди узнать хотят... Перевела Р. Казакова. Косим траву — она не кричит... Перевел В. Чекин.—**Аркадий Кулешов.** Еще о друзьях. Перевел Яков Хелемский.—**Пимен Панченко.** При свете молний; Отплывает белый теплоход... Перевел Яков Хелемский. VI—117.

Мустай Карим. Четыре стихотворения. Перевел с башкирского Яков Козловский. XII—3.

Дм. Кедрин. Из неопубликованного. Стихи. II—142.

Давид Кугультинов. Из новых стихов. Перевела с калмыцкого Юлия Нейман. I—3.

Аркадий Кулешов. Из цикла «На передовой»: Седьмого ноября 1966; На передовой; Я трижды побеждал судьбу; С юных лет я — узник... Перевел с белорусского Яков Хелемский. X—6.

Кайсын Кулиев. Из книги «Кизилвый отсвет». Стихи. Перевел с балкарского Н. Гребнев. VI—3.—**Кузнец.** Главы из поэмы. Перевел с балкарского Н. Гребнев. IX—79.—**Герои гор.** Перевел с балкарского Н. Гребнев. X—4.

С. Липкин. Из лирики: Свирель пастуха; Любовь; У магазина; Происшествие. VIII—129.

Вл. Лифшиц. Судеты; На предвоенного...; Датская легенда. Стихи. IV—99.

Владимир Львов. Из военных стихов. II—59.

Юстинас Марцинкявичюс. Стена (Поэма города). Перевел с литовского А. Межиров. VIII—19.

Сергей Наровчатов. Из новых стихов. VII—110.—**Рождение** (1919 г.). Стихотворение. X—9.

Сергей Орлов. В электричке. Стихотворение. XI—12.

Пимен Панченко. Два стихотворения. Перевели с белорусского Н. Кислик, Б. Слуцкий. XI—10.

А. Передрев. Околица родная, что случилось?... Стихотворение. V—94.

Ан. Преловский. Три стихотворения. IX—73.

Вадим Рабинович. Два стихотворения. III—135.

Д. Самойлов. Смерть поэта; Химера самосохраненья!..; Выезд. Стихи. III—130. Александр Блок в 1917-м. Стихотворение. XII—41.

Луис Сернуда. Стихи разных лет. Перевели с испанского Морис Ваксмахер и М. Самаев. V—178.

Владимир Соколов. Новоарбатская баллада; Нет сил никаких улыбаться... Стихи. I—83.

Алексей Сурков. Пятьдесят неповторимых лет. Стихотворение. X—3.

Тхай Туан. Они не спят... Стихи. Перевел с вьетнамского Илья Фоянков. XI—160.

И. Фоянков В дом приду. Стихотворение. V—95.

Баграт Шинкуба. Кольчуга (Из поэмы «Песнь о скале»). Перевела с абхазского Римма Казакова. V—90.

Ганс Магнус Энциенсбергер. О трудностях перевоспитания; Изотоп; Молва. Стихи. Перевел с немецкого Лев Гинзбург. VIII—143.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

С. М. Алянский. Встречи с Блоком (Из записок издателя). Предисловие Константина Федина. VI—159.

В. Арманд. Живая нить (Из воспоминаний и переписки с Н. К. Крупской). IV—198.

Всесоюзный староста. Воспоминания П. Я. Гурова и В. Н. Шульгина о М. И. Калининне. VII—186.

И. Дубинский. Колокол громкого боя. II—186.

За власть Советов!

Л. Киселев. В Крыму (1919—1920 годы). VIII—179.

П. Стрелянов. На Дону (1917—1918 годы). VIII—194.

Октябрь, 1917

Воспоминания А. А. Игнатьева, А. Г. Соколовьева, Е. Е. Шарова, Б. Е. Этингофа, А. П. Спундэ. X—165.

И. Раневский. В революционном Петрограде. X—199.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

В. Архангельский. На Печору, за семьей. III—137.

Ю. Бурлаков. Одним табором. XII—97.
Леонид Иванов. Новые времена — новые заботы. VI—207.

И. Осипов. Маршруты искателей. V—184.
А. Побожий. Под небом Монголии. VIII—147.

Владимир Познер. Из книги «Тысяча и один день» (Отрывки). Перевод с французского. XI—162.

Е. Полякова. Большая Москва, Медведково... X—135.

ПУБЛИЦИСТИКА

В. Белкин, В. Ивантер. Банк и управленческие экономикой. XII—134.

А. Бирман. Талант экономиста. I—167.
Е. Гнедин. Не меч, но мир (Заметки о становлении советской дипломатии). VII—154.

Вл. Канторович. Социология и литература. XII—148.

А. Кирюхин. Земля и вода. V—204.
О. Лацис. Нет исключения без правила. Заметки об экономике строительства. IV—158.

А. Летнев. Африканский калейдоскоп. III—157.

Г. Лисичкин, кандидат экономических наук. Спустя два года. II—160.

В. Моев. Вокруг автомобиля. VII—129.
Феликс Новиков. Путь зодчества. IX—113.

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Михаил Ботвинник. По шахматному Альбиону. XI—202.

Тимур Гайдар. Из Гаваны по телефону (Репортаж о революции). II—199; III—177.

С. Кондрашов. Недалеко от Нью-Йорка (Из дневника корреспондента). IX—128.

А. Куценков. Из Раджастана в Гуджерат (Путевые заметки). IV—173.

В МИРЕ НАУКИ

Л. А. Арцимович, академик. Физик нашего времени (Заметки о науке и ее месте в обществе). I—190.

Диалог историков. Переписка А. Тойнби и Н. Конрада. VII—174

Сергей Львов. Жизнь и смерть Петра Рамуса (Исторический очерк). IX—184.

Ю. Фролов, заслуженный деятель науки РСФСР, профессор. В среду, у Павлова (Из воспоминаний). IV—186.

В МИРЕ ИСКУССТВА

А. Каменский. Поэзия человечности. XII—174.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Берды Кербабаяв. Размышления на высоте восьми тысяч метров. Перевел с туркменского В. Курдичкий. VI—3.

Н. Н. Михайлов. Путешествие к себе. V—3.

Юрий Смолич. Мои сверстники. XI—182.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Полвека советской литературы

Ф. Бирюков Над страницами «Тихого Дона» (Заметки о стиле). VII—195.

Е. Волкова. Целеустремленность поисков (О творчестве В. Каверина). IX—231.

И. Крамов. Александр Малышкин (От «Падения Даира» к «Людам из захолустья»). XI—232.

Наша анкета: Э. Межелайтис. Новая эра человека.— **Г. Бакланов.** По самому строгому счету.— **А. Бек.** Книги жизни.— **В. Семин.** Ответственность памяти.— **М. Карим.** Чудо-праздник.— **В. Быков.** Быть достойными нашего читателя.— **К. Паустовский.** Будущее нашей литературы.— **Н. Рыленков.** Сокровищница духовного опыта народа (Предисловие от редакции). XI—216.

Е. Полякова. За землю, за волю... (Книги Александра Неверова). IV—204.

Ст. Рассадин. Искусство быть самим собой. VII—206.

Ник. Смирнов. А. С. Новиков-Прибой среди друзей. III—237.

А. Твардовский. Поэзия Михаила Исаковского. VIII—206.

Г. Трефилова. О стиле Паустовского. IV—214.

Николай Чуковский. Что я помню о Блоке. II—229.

Анар. «Большое бремя — понимать». V—233.

Г. Брейтбурд. Итальянский «новый авангард». III—220.

М. Злобина. Заметки о драматургии Сухова-Кобылина (К 150-летию со дня рождения). IX—239.

Л. Лазарев. Это стало историей (Заметки о томе «Литературного наследства» «Советские писатели на фронтах Великой Отечественной войны»). VI—235.

В. Лакшин. Пути журнальные (Заметки о книгах по истории журналистики). VIII—229.

А. Лебедев. Судьба великого наследия. XII—202.

Л. Поляк. Человек и история (Страницы советского эпоса). X—230.

Ф. Светов. О молодом герое. V—218.

И. Травкина. Реклама и книга, или «Всемирным сестрам по серьгам». II—238.

А. Цейтлин. Заметки о стиле Ленина-публициста. I—237.

М. Чудакова, А. Чудаков. Современная повесть и юмор. VII—222.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

И. Брайнин. Новые документы о В. А. Старосельском. IV—243.

И. Дажина. «В водовороте новой России». Письма А. М. Коллонтай В. И. Ленину и Н. К. Крупской в Швейцарию. IV—235.

Из переписки трудящихся с **В. И. Лениным**. Публикация И. Смирнова. X—224.

Илья Фрадкин. Немецкие писатели в революционной России. XI—189.

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных журналов

М. Ландор. «Монастыри» и бунтарство. XI—209.

Р. Орлова. Молодые левые. VI—229.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

И. С. Кривенко. Страница жизни. Запись и обработка З. С. Поповой. XI—197.

Л. Кунецкая. Кремль. Квартира Ильича. IV—221.

Г. Лисичкин, кандидат экономических наук. О чем говорят факты. XII—228.

С. Лисичкин, профессор. Научным исследованиям — разумная организация. VIII—270.

Ж. Медведев, кандидат биологических наук. У истоков генетической дискуссии. IV—226.

И. Моргенштерн, библиограф. Остановите афоризм! V—279.

По поводу очерка **В. Каверина** «Малиновый звон». Письмо Анри Лорана, национального секретаря Общества бельгийско-советской дружбы. Ответ **В. Каверина**. VII—274.

А. Розанов, инженер-полковник. В споре нужны аргументы. VII—276.

И. Травкина. «Методика» недобросовестности. XII—235.

Н. Трифонов. О какой статье Луначарского писал Ленин? V—278.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Борис Пастернак. Люди и положения. Автобиографический очерк (Текст публикации подготовлен Е. Б. Пастернаком). I—204.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство

С. Бабенышева. Растет душа человека... (Л. Пантелеев. Живые памятники. Рассказы. Путевые заметки. Дневники. Воспоминания. Л. Пантелеев. Наша Маша. Книга для родителей). XI—255.

Мих. Байтальский. Реки не текут вспять (Алим Кешоков. Зеленый полумесяц. Роман. Авторизованный перевод с кабардинского Сергея Бондарина). V—245.

А. Берзер. Возвращение мастера (Михаил Булгаков. Избранная проза). IX—259.

И. Бернштейн. Роман о судьбе поколения (Ян Отчешашек. Хромой Орфей Роман. Перевод с чешского Т. Аксель, Н. Арошевой, Д. Горбова). I—262.

В. Борнычева. О мастерстве воспитания и «усложненных» формулах (Владимир

Попов. Разорванный круг. Роман). VII—246.

И. Виноградов. Любкина свадьба и другие истории (Анна Масс. Жестокое солнце. Повесть в девяти новеллах). VII—233.

Л. Волинский. На карусели (Илья Глазунов. Дорога к тебе. Из записок художника). II—254.

Б. Герман. Кузьмин — иллюстратор Тынянова (Юрий Тынянов. Малолетний Витушишников (Рисунки Н. Кузьмина). II—260.

Е. Гинзбург. Цвет времени (Михаил Кольцов, каким он был. Воспоминания). VI—258.

А. Горбунов. Хемингуэй — человек и писатель (И. А. Кашкин. Хемингуэй. «Прометей». И. А. Кашкин. Эрнест Хемингуэй. Критико-биографический очерк). VIII—251.

Я. Гордин. Гипотезы и факты (Д. С. Бабкин. А. Н. Радищев. Литературно-общественная деятельность). V—252.— Пушкин и современная романистика (Виктор Гроссман. Арион. Роман в трех частях с эпилогом. Всеволод Воеводин. Повесть о Пушкине). IX—264.

Овидий Горчаков. Доктор Вера — настоящий человек (Борис Полевой. Доктор Вера. Повесть в ненаписанных письмах). VI—251.

Ариадна Громова. Правда, только правда... (Анатолий Кузнецов. Бабий Яр. Роман-документ). II—247.

Н. Гусев, доктор филологических наук. Толстой и зарубежный мир (Толстой и зарубежный мир. «Литературное наследство». Том семьдесят пятый. Книга первая, книга вторая). III—257.

М. Злобина. Плата за вещи (Жорж Перек. Вещи. Повесть шестидесятых годов. Перевод с французского Т. Ивановой). VII—250.

Л. Зонина. Миф, именуемый комиссар Мэрге (Жорж Сименон. Неизвестные в доме. Повести и рассказы. Перевод с французского). V—255.

Наталья Ильина. Катя за границей (Борис Евгеньев. В Лондоне листопад... Рассказ). VII—243.

В. Кантор. Кого читать? (Л. Ершов. Советская сатирическая проза). XII—246.

В. Кардин. Дневник очеркиста (П. Ребрин. Тюкалинские страницы). V—250.

С. Кармалита. «Из реки по имени — «факт»...» («Иностранная литература», № 5, 1967). X—258.

Ц. Кин. Человек — вещь (Гоффридо Паризе. Хозяин. Роман. Перевод с итальянского Ю. Добровольской). II—262.

И. Крамов. Судьба и время (Юрий Трифонов. Отблеск костра). III—252.

Е. Краснощекова. В процессе роста (Л. М. Фарбер. Советская литература первых лет революции (1917—1920 гг.). Советская литература 20-х годов (Материалы межвузовской научной конференции). Проблемы развития советской литературы 20-х годов. Сборник статей. Из истории со-

ветской литературы 20-х годов (Материалы межвузовской научной конференции). IV—252.

Э. Кузьмина. Сухопутные пловцы (Джон Чивер. Ангел на мосту). III—261.— Испытание смехом (Ф. Кривин. Божественные истории). V—248.— Одно лето (Ричи Достян. Тревога. Повесть). XII—250.

Кайсын Кулиев. Чем продолжительней молчанье... (С. Липкин. Очевидец. Стихотворения разных лет). XII—244.

В. Кутейщикова. Мера вины (Карлос Фуэнтес. Смерть Артемно Круса. Роман. Перевод с испанского). IX—269.

Л. Лазарев. Документы обвиняют неопровержимо (Б. Медведев. Свидетель обвинения). XII—253.

Е. Ландау. «Правосознание» по-алферовски (М. Ланской. Происшествие. Повесть). I—259.

Ф. Левин. Свен Вооре, его личина и лицо (Энн Ветемаа. Монумент. Повесть. Перевел с эстонского Леон Тоом). III—255.— Детский дом в Краесветске (Виктор Астафьев.— Кража. Повесть). VI—260.

Л. Левицкий. Душа действительности (Новелла Матвеева. Душа вещей. Книга стихов). VI—254.

Вл. Лифшиц. Поэт-воин (Александр Гитович. Зимние послания друзьям. Александр Гитович. Стихотворения). II—250.

Н. Мельников. Красное небо (Алла Белякова. Красное небо. Рассказы). XI—262.

Р. Мишин. Сердце «ничейного брата» (Р. Грачев. Где твой дом. Рассказы). VIII—246.

О. Михайлов. У начала советской журналистики (Очерки истории русской советской журналистики. 1917—1932). X—253.

А. Монгайт, доктор исторических наук. Книга о древнерусской живописи (О Чайковская. Против неба — на земле). VII—241.

Р. Орлова. Страна Грина (Грэхем Грин. Комеднанти. Роман. Перевод с английского Н. Волжиной). IV—259.

Р. Орлова, Л. Колпелев. Писатель и совесть (Генрих Бёль. Чем кончилась одна командировка. Повесть. Перевод с немецкого Наталии Ман и С. Фридлянд). XII—256.

Г. Павлова. Путь мастера (Творчество Константина Федины. Статьи. Сообщения. Документальные материалы. Встречи с Фединым. Библиография). II—257.

Е. Полякова. Сто тыщ Смирновых... (А. Приставкин. Голубка. Роман о любви). XII—239.

Р. Райт-Ковалева. История одной биографии (Э. Хьюз. Бернард Шоу. Перевод с английского). VI—263.

Ст. Рассадин. «Человеческий подход» (Анатоль Аграновский. Столкновение. Заметки писателя). I—257.— «Идти

и этот путь не выдавать за чудо» (Кайсын Кулиев. Мир дому твоему. Перевод с балкарского). XI—258.

Н. Реформатская. Книга о книгах поэтов (Ан. Тарасенков. Русские поэты XX века. 1900—1955. Библиография). VIII—249.

Б. Рифтин. За тридевять земель от Боккаччо (Проделки Праздного Дракона. Шестнадцать повестей из сборников XVII века. Перевод с китайского Д. Воскресенского). IV—257.

М. Рошин. Главная книга (Ольга Берггольц. Избранные произведения. В двух томах. Том 1. Стихотворения и поэмы. Том 2. Проза). X—248.

М. Рубинчик. Мгновения и время (В. Лихоносов. Что-то будет. Рассказы. Виктор Лихоносов. Вечера. Рассказы). IV—250.

К. Рудинский. Стремление к ясности (М. Туровская. Да и нет. О кино и театре последнего десятилетия). XI—264.

Ф. Светов. Об ответственности человека (Лев Гинзбург. Бездна. Повествование, основанное на документах). VII—237.

Н. Снеткова. Роман о «поддельной» Испании (Хуан Антонио де Сунсунегу. Мир следует своим путем. Роман. Перевод с испанского М. Абезгауз и Р. Линцер). XI—268.

В. Сурвилло. Испытание счастьем (А. Авдеенко. Я люблю. Книга вторая). IX—252.

А. Турков. Сегодня и вчера (Ярослав Смеляков. День России. Новые стихи). XI—253.

Т. Хмельницкая. Автобиографическая проза Каверина (В. Каверин. «Здравствуй, брат. Писать очень трудно...» Портреты, письма о литературе, воспоминания). I—253.

Б. Шнайдер. Современный эпос (Я. Ивашкевич. Хвала и слава. Роман в трех томах. Перевод с польского. Т. 1, т. 2, т. 3). VIII—254.

Н. Штейн. Курако и другие герои А. Бека (Александр Бек. Мои герои. Повести). X—251.

Политика и наука

Л. Абалкин, кандидат экономических наук. Труд и его проблемы (Е. Л. Маневич. Проблемы общественного труда в СССР). VI—265.

А. Василевская. История психологии с точки зрения детерминизма (М. Г. Ярошевский. История психологии). XII—268.

А. Вебер. Уроки истории (Р. Палм Датт. Интернационал. Очерк истории коммунистического движения. 1848—1963. Перевод с английского). IV—263.

С. Владимиров. Науковедение (Г. М. Добров. Наука о науке. Введение в общее науковедение. Наука о науке (сборник статей). Перевод с английского). IV—269.

Г. Водолазов. Выбор есть всегда (Суд истории. Репортажи с Нюрнбергского процесса). XI—276.

А. Володин. Диалектика истории и логика исследования (Ю. Ф. Карякин и Е. Г. Плимак. Запретная мысль обретает свободу. 175 лет борьбы вокруг идейного наследия Радищева). XI—273.

В. Выгодский, кандидат экономических наук. Уроки великой книги (А. В. Уроева. Книга, живущая в веках). IX—272.

Г. Герасимов. Демографические неожиданности (Проблемы демографической статистики). II—267.

Е. Гнедин. Закономерности движения (Я. А. Кронрод. Законы политической экономии социализма. Очерки методологии и теории). II—265.

А. Гуревич, профессор, доктор исторических наук. Наследие византийской цивилизации (История Византии. В трех томах. Том I). VIII—265.

Дм. Дажин. Штрихи большой жизни (Воспоминания о Надежде Константиновне Крупской). III—267.

И. Дьяконов, доктор исторических наук. Какой должна быть орфографическая реформа? (Орфография и русский язык). XI—280.

В. Ермаков. История явная и тайная (Н. Я. Эйфельман. Тайные корреспонденты «Полярной звезды»). II—271.

Ю. Ефремов. Лицо страны (Советский Союз. Географическое описание. В 22 томах. Армения). V—268.

Людмила Зак, кандидат исторических наук. Рыцарь интернационализма (Ирина Кун. Бела Кун. Воспоминания. Авторизованный перевод с венгерского Агнессы Кун). X—273.—База культуры (В. А. Куманев. Социализм и всенародная грамотность. Ликвидация массовой неграмотности в СССР). XI—271.

В. Кабанов. Крестьянские мемуары (1917 год в деревне (Воспоминания крестьян). X—265.

А. Каждан. Психология общества (Б. Ф. Поршнев. Социальная психология и история). I—265.—Библия—это значит «книги»... (Зенон Косидовский. Библейские сказания. Перевод с польского Э. Гессен, Ю. Мирской). VI—274

И. Карпенко. НОТ вчера и сегодня (А. К. Гастев. Как надо работать. Практическое введение в науку организации труда). VIII—261.

Ф. Кедров. Книга об академике И. В. Курчатове (И. Н. Головин. И. В. Курчатov). VIII—258.

А. Китайгородский, доктор физико-математических наук. Вечные сенсации (Oskar Pfungst. Clever Hans (The Horse of Mr. von Osten). Оскар Пфунгст. Умный Ганс (Лошадь г-на фон Остена). На английском языке). IX—277.

И. Кон, профессор, доктор философских наук. Человек и его работа (Человек и его работа. Социологическое исследование). IX—274.

А. Кондратов. Взята ли этруская Бастилия? (З. Майяни. Этрусски начинают говорить). VIII—263.

М. Константинов, член КПСС с 1915 года. Эстафета революционной борьбы (Революционеры Прикамья. 150 биографий деятелей революционного движения, работавших в Прикамье. Составители П. А. Аликина и И. Г. Гороя). X—269.

О. Лацис. В зеркале истории (И. В. Парамонов. Пути пройденные. В. З. Дробижев. Главный штаб социалистической промышленности (Очерки истории ВСНХ. 1917—1932 гг.). VII—258.

А. Литвин, кандидат исторических наук. Книги о гражданской войне (М. И. Романов. Средневожжские партийные организации в годы гражданской войны (1918—1919). З. А. Аминев. Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Башкирии (1917—1919 гг.). П. И. Рощевский. Гражданская война в Зауралье). VI—267.

Д. Лихачев, член-корреспондент АН СССР. Сага об Исландии (М. И. Стеблин-Каменский. Культура Исландии). XII—271.

В. Логинов. «...Вождь исключительно благодаря своему интеллекту» (Письма В. И. Ленину из-за рубежа). V—259.

Б. Маклярский, кандидат экономических наук. За фасадом «великого общества» (Политическая жизнь в США. Проблемы внутренней политики). XI—278.

К. Миккульский, кандидат экономических наук. Социалистическая экономика сегодня (Мир социализма в цифрах и фактах. 1965 год. Справочник). VI—269.

А. Некрич. Историк, публицист, борец (С. В. Оболенская. Франц Меринг как историк). V—274.

Вас. Осокин. Вредна ли книжная пыль? (Ол. Ласунский. Власть книги. Рассказы о книгах и книжниках). VII—269.

А. Писареико, инженер лесного хозяйства, кандидат сельскохозяйственных наук; **А. Обозов,** ученый-лесовод. Размышления над аксиомами (И. Зыков. Три аксиомы). VI—272.

Я. Притыкин. На стыке наук (Л. Н. Гумилев. Открытие Хазарии (Историко-географический этюд). III—274.

Э. Рабинович. Загадки древней цивилизации (Жан-Филипп Лауэр. Загадки египетских пирамид. Сокращенный перевод с французского. Ревекка Рубинштейн. Загадки пирамид). VII—266.

В. Ревич. Страницы из биографии века (Д. Данин. Резерфорд. «Жизнь замечательных людей»). XII—269.

Ф. Светов. Записки революционера (П. А. Кропоткин. Записки революционера). X—270.

С. Семанов, В. Старцев, кандидаты исторических наук. Десять шагов революции (И. П. Лейберов. Свержение царизма. Ю. С. Токарев. Апрельский кризис. Ю. А. Прохвятилов. Июньская демонстрация. З. В. Степанов. Июльские события. Н. Я. Иванов. Крах заговора против революции. А. Я. Великанова. На-

кануне штурма. Е. П. Путьрский. Восстание совершилось! А. Л. Фрайман. Революция дает отпор. О. Н. Знаменский. Конец Учредительного собрания. А. В. Красникова. Мы новый мир построим!). X—263.

Т. Смирнов. Переработанное и дополненное (А. М. Бирман. Учись хозяйствовать. Рассказы об экономике предприятия. Издание третье, переработанное и дополненное). VII—253.

В. Смолин. В защиту истины (Л. М. Еремеев. Глазами друзей и врагов. О роли Советского Союза в разгроме фашистской Германии. Предисловие Маршала Советского Союза М. В. Захарова). V—272.

В. Старцев, кандидат исторических наук. Монография об Октябрьском восстании (Е. Ф. Ерыкалов. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде). III—265.

К. Тарновский, кандидат исторических наук. Бонапартизм, дума, революция (А. Я. Аврех. Царизм и третьеиюньская система). IV—266.

А. Толстяков. Судьба книги (Герман Дрюбин. Книги, восставшие из пепла). III—273.

П. Трояновский. Урок на Востоке (Финал. Историко-мемуарный очерк о разгроме империалистической Японии в 1945 г.). II—277.

Д. Угринович, доктор философских наук. Исследование религиозного сознания верующих (Н. П. Андрианов, Р. А. Лопаткин, В. В. Павлюк. Особенности современного религиозного сознания). III—270.

Г. Федоров, доктор исторических наук. ...И сталь и камень... (П. И. Борисковский. Первобитное прошлое Вьетнама). II—274.

В. Френкель. Размышления фантаста (Артур Кларк. Черты будущего. Перевод с английского). VII—271.

Д. Фурман. Поиски новой концепции (Общее и особенное в историческом развитии стран Востока. Материал дискуссии об общественных формациях на Востоке (Азиатский способ производства). XII—263.

Г. Ханин, преподаватель Новосибирского государственного университета. Новое во внешней торговле (Промышленность, внешняя торговля, планирование. Актуальные проблемы промышленности и внешней торговли). IV—274.—Экономический рост и выбор (А. И. Анчишкин, Ю. В. Яременко. Темпы и пропорции экономического развития). XII—261.

Мих. Цунц. Покорители Енисея (Исполнина Енисее. Сборник. Составители: О. Грек, Б. Костюковский, В. Полустарченко, З. Яхнин). IV—272.

Ольга Чайковская. О профессии адвоката (В. Л. Россельс. Судебные защитительные речи). I—271.

Бор. Шабалин, кандидат исторических наук. Путь завода (С. Костюченко, И. Хренов, Ю. Федоров. История Кировского завода. 1917—1945). X—267.

Л. Шкаренков. Дела и судьбы белой эмиграции (Дмитрий Мейснер. Миражи и действительность. Записки эмигранта). VII—255.

В. Шкредов, доцент. Право колхоза и сила привычки (М. И. Козырь. Имущественные правоотношения колхозов в СССР). I—269.

Н. Эйдельман, кандидат исторических наук. В предчувствии краха (Дневник государственного секретаря А. А. Половцова. В двух томах. Том I. 1883—1886 гг. Том II. 1887—1892 гг.). VII—261.

С. Эпштейн. Новое в управлении американскими предприятиями (Новейшие тенденции в организации управления крупными фирмами в США). III—276.

М. Ярошевский, проф., доктор педагогических наук. Портрет академика Павлова (Л. А. Орбели. Воспоминания). I—273.

КОРОТКО О КНИГАХ

Мартин Нильсен. Рапорт из Штутгута. Перевод с датского.—Против расизма. Расизм в странах «свободного мира» и новый этап борьбы против него.—Давид Юм. Сочинения в двух томах.—Богуслав Лаштовичка. В Лондоне во время войны. Воспоминания о борьбе за новую Чехословакию. 1939—1945. Перевод с чешского.—А. Алексеев. Колумбы росские.—Александр Горбовский. Загадки древнейшей истории. Книга гипотез.—И. Заячковский. Враги наших врагов.—И. В. Давыдовский. Геронтология.—Лев Славин. Рассказы.—Арсений Тарковский. Земле — земное. Вторая книга стихов.—Михаил Александрович Шолохов. Сборник статей.—Византийская любовная проза. Перевод с греческого.—Айрис Мэрдок. Под сетью. Роман. Перевод с английского М. Лорие. I—277.

А. С. Бахов. На заре советской дипломатии. Органы советской дипломатии в 1917—1922 гг.—Л. Котов. Смоленское подполье.—В. Боярский, М. Черток. Недра, открытые солнцу.—Н. Живейнов. Операция Р. W. «Психологическая война» американских империалистов.—Е. Нилов. Боткин.—В. В. Строков, Ю. Д. Дмитриев. Леса и их обитатели.—Д. Славянтер. На пороге атомного века.—Тахави Ахтанов. Исповедь степи. Повести и рассказы. Перевод с казахского.—Герман Абрамов. Высокая вода. Стихи.—Юрий Гончаров. Дезертир. Повести.—Глеб Горбовский. Спасибо, земля. Вторая книга стихов. Глеб Горбовский. Косые сучья. Третья книга стихов.—И. П. Еремин. Литература Древней Руси (Этюды и характеристики).—И. Соловьева. Спектакль идет сегодня. II—280.

М. А. Гагиева. Женщины гор.—Софья Аверичева. Дневник разведчицы.—Александр Кременской. В нехоженном лесу. Рассказы.—И. Рахтанов. Рассказы по памяти.—Академик М. Н. Тихомиров. Средневековая Россия на международных путях (XIV—XV вв.).—Г. И. Мишкевич. Мастер-

невидимка.— Л. Г. Фризман. Творческий путь Баратынского.— Р. Подольный. Предки и мы.— В. Г. Сироткин. Дуэль двух дипломатий. Россия и Франция в 1801—1812 гг.— Ван Гог. Письма.— Андре Моруа. Превратности любви. Семейный круг. Перевод с французского.— Р. Шекли. Паломничество на Землю. Перевод с английского.— Гуго Глязер. Новейшие победы медицины. Сокращенный перевод с немецкого. III—280.

Н. Г. Зорина, А. А. Савенков. В. И. Ленин — историк печати.— Э. Баскаков. Биография гербов, флагов, гимнов зарубежных стран.— Л. А. Пинегина, С. А. Федюкин. Джекказган — город меди. Исторический очерк.— А. Рубинов. Отцы города.— С. А. Токарев. История русской этнографии (Дооктябрьский период).— А. А. Формозов. Памятники первобытного искусства на территории СССР.— Я. М. Свет. История открытия и исследования Австралии и Океании.— Физики шутят. Сборник переводов.— Миервалдис Бирзе. Песочные часы. Повесть. Перевод с латышского Ю. Каппе.— Мих. Кульчицкий. Самое такое. Стихи.— Леонид Гурунц. Карабах, край родной (Карабахские тетради).— Аделина Адалис. До начала. Новые стихи.— Евгений Ратнер. Степь широкая. Повесть о встречах и событиях на целине.— Леонид Лавров. Из трех книг. Стихи.— И. З. Суриков и поэты-суриковцы. «Библиотека поэта» (Большая серия).— Джордж Майкл. Семья Майклов в Африке. Перевод с английского. IV—278.

Г. Уткин. Штурм «Восточного вала». Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра.— Они — участники великой войны. Сборник.— Грант Матевосян. Мы и наши горы. Оранжевый табун. Повести. Перевод с армянского Анаит Баяндур.— М. Демин. Мирская тропа. Рассказы, повесть.— Письма славы и бессмертия. 1905—1920 годы.— Александр Дейч. Голос памяти. Театральные впечатления и встречи.— А. Шалимов. На пороге великих тайн.— Г. К. Иванов. Русская поэзия в отечественной музыке (до 1917 года). Справочник. Выпуск I.— В. Я. Френкель. Яков Ильич Френкель.— Владимир Жуковский. Песня, спетая один раз. Повесть.— Нижегородские пионеры советской радиотехники. Составитель проф. Б. А. Остроумов. V—281.

Д. Руднев. Береженное людьем и временем. Документальные очерки.— А. Вербицкий, Е. Ефимов. Сердце чекиста.— Расул Гамзатов. Мулатка. Стихи. Перевод с аварского Н. Гребнева и Я. Козловского.— Ю. И. Семенов. Как возникло человечество.— Николай Родичев. Цветы отцу. Рассказы. Повесть.— Лидия Либединская. Зеленая лампа. Воспоминания.— Д. Б. Шелов. Танаис — потерянный и найденный город.— В. Польшин. Мама, папа и я.— Взаимодействие литературы и изобразительного искусства в Древней Руси. Труды Отдела древнерусской литературы. XXII.— Ю. Филалов. Ядро — выстрел! — Н. Д. Волков. Театральные вечера.— Ник. Зарудин. Закон яблока. Рассказы.— А. Н. Рубакин. Похвала старости.— А. Квятковский. Поэтический

словарь.— Дэвид Уэбстер. Акулы-людоеды (Факты и легенды). Перевод с английского. VI—278.

Ахмедхан Абу-Бакар. Снежные люди. Повесть. Перевод с даргинского.— Сергей Орлов. Дни. Стихи.— На каторжном острове. Дневники, письма и воспоминания политкаторжан «нового Шлиссельбурга» (1907—1917 гг.).— Иван Костыря. Пора новолунный. Повести.— А. Воронский. Бурса. Вступительная статья А. Дементьева.— Михаил Шур. Повесть с адресом.— Генерал-майор И. К. Спатарель. Против черного барона.— В. В. Кованов. Меридианы, события, встречи. Заметки и размышления советского врача.— В. Азерников. Тайнопись жизни.— Исаак Борисов. Есть слова. Книга лирики. Перевод с еврейского.— Б. С. Рябинин. О любви к живому.— А. Рубакин. Над рекою времени. Воспоминания.— Якуб Кадри Караосманоглу. Дипломат поневоле. Воспоминания и наблюдения. Сокращенный перевод с турецкого Г. Александрова.— Станислав Панкратов. Вахрушев. Повести.— Стелла Корытная. Пером и объективом. VII—279.

Ральф Паркер. Советский Союз продлил мне молодость. Избранные статьи и репортажи. Перевод с английского. Вступительная статья Бориса Изакова.— С. Норильский. Н. М. Федоровский.— Грей Уолтер. Живой мозг. Перевод с английского.— А. Турков. От десяти до девяноста. О творчестве А. Я. Бруштейн.— Ю. С. Мусабеков. Занимательные истории из жизни ученых.— Николай Амосов. Мысли и сердце. Повесть.— В. И. Костин. Татьяна Алексеевна Маврина.— Л. Я. Резников. Горький и Север.— Ст. Рассадин. Так начинают жить стихом. Книга о поэзии для детей.— Ф. Сыркина. Александр Григорьевич Тышлер.— Бартоломе де Лас-Касас. К истории завоевания Америки.— Е. Черненко. Жизнь в саду. VIII—278.

П. А. Моисеенко. Воспоминания старого революционера.— Павел Подляшук. Повесть о «красном докторе».— В. Ф. Коток. Наказы избирателей в социалистическом государстве (Императивный мандат).— Хранители ключей. Рассказы эстонских писателей.— Абдижамил Нурпеисов. Сумерки. Роман. Книга первая. Авторизованный перевод с казахского Юрия Казакова.— Сельное солнце. Стихи молодых поэтов Германской Демократической Республики. Перевод с немецкого.— Нора Аргунова. Ночное происшествие. Рассказы и повесть. IX—280.

История СССР с древнейших времен до наших дней. Серия вторая. Том VII. Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в СССР 1917—1920 гг.— Голос великой революции.— Н. Е. Буренин. Памятные годы. Воспоминания.— Николай Чуковский. Пятый день. Повести и рассказы.— И. Дубинский. Контрудар. Роман.— Сергей Марков. Топаз. Стихотворения.— Ф. И. Хасхачих. Вопросы теории познания диалектического материализма.— А. В. Фадеев. Идеи связи и культурная жизнь народов дореформенной

России.— Рабочий класс Африки.— В. Гоффеншефер. Из истории марксистской критики. Поль Лафарг и борьба за реализм.— Рядом с героями.— Н. И. Наконник. Охотники за камнями.— А. Я. Гуревич. Походы викингов.— Л. Дж. Милн, М. Милн. Чувства животных и человека. Перевод с английского.— Н. Н. Болховитинов. Становление русско-американских отношений. 1775—1815.— Юрий Алянский. Театр в квадрате обстрела.— Времена Хокуса. Сборник японской научной фантастики. Перевод с японского. X—276.

Г. Е. Глезерман. Исторический материализм и развитие социалистического общества.— Организация управления промышленностью. Библиографический справочник. 1917—1967.— А. Китайгородский. Реникса.— Л. Н. Гумилев. Древние тюрки.— И. Рождественская. Поэзия Эдуарда Багрицкого.— Сергей Бобров. Мальчик. Лирическая повесть.— С. Борщевский. «Отечественные записки» 1868—1884. Хронологический указатель анонимных и псевдонимных текстов. XI—283.

С. Н. Баранов. Ветер с Балтики.— И. М. Кривогуз, Ю. Л. Молчанов. Ленин и борьба за единство рабочего движения.— Михаил Цуци. Властелин рек.— Графика Пикассо. Альбом. Авторы очерков о жизни и творчестве Пабло Пикассо И. Г. Эренбург и М. В. Алпатов.— М. Булатов, В. Порудоминский. Собирал человек слова... Повесть о В. И. Дале.— Корней Чуковский. Джек, покоритель великанов, и другие сказки для детей.— Н. С. Лейтес. Романы Анны Зегерс.— Эврика 1966 год. XII—275.

ПАМЯТИ ИЛЬИ ГРИГОРЬЕВИЧА ЭРЕНБУРГА

Борис Полевой. IX—284.

А. Твардовский. IX—285.

От редакции. I—284.

Книжные новинки: I—286; II—287; III—287; IV—287; V—287; VI—287; VII—287; VIII—286; IX—287; X—287; XI—287; XII—279.



Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорош, А. И. Кондратович (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров**
(ответственный секретарь)

Редакция Малый Путинковский пер., д. 1/2 Тел. К 9-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6. пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 1/XI 1967 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 29/XII 1967 г.
Формат бумаги 70 × 108/16. 29,86 уч.-изд. л. 9 бум. л. (24,66 усл. п. л.)
А 13224. Зак. 3764. Тир. 128 700

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636